

10

НОВОБЫИ
МИР

1974

НОВОБЫИ МИР

10



1974

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания I

№ 10

Октябрь, 1974 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

- | | Стр. |
|---|------|
| В. БОГОМОЛОВ — В августе сорок четвертого... Роман | 3 |
| ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК — Из киргизской поэзии: Суюнбай Эралиев — Моим горам, по-моему, подобен..., Время. Темиркул Уметалиев — Джида серебрится! Джида серебрится!. Аалы Токомбаев — Мумиё, Портрет. Насирдин Байтемиров — Плач о Бюбюсаре. Турар Кожомбердиев — Ночь на джайлоо. Сулайман Маймулов — Москва. Перевели Марк Ватагин, Михаил Синельников, Игорь Волгин | 110 |
| ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК — Из молдавской поэзии: Емилиян Буков — Товарищ, Цветы труда. Петря Дариеико — Мне это приснилось, Неповторимость. Петря Кручейюк — Смотрю на вас, Много бродил я по свету. Нина Жосу — Родина, Холод. Ливну Деляну — Песня моей республики, Осень. Анатол Чокану — Днем одним моложе. Ливну Дамьян — Вечная засада. Анатол Кодру — Дома. Перевели Елена Аксельрод, Татьяна Сикорская, Александр Големба, Кирилл Ковальджи, Юлия Нейман, Лариса Васильева, Новелла Матвеева | 117 |
| ГАРИЙ НЕМЧЕНКО — Считанные дни, роман. Окончание | 126 |
| ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК — Из таджикской поэзии: Мирсаид Миршакар — У Мавзолея. Мирзо Турсун-заде — Женщина. Мумии Каюат — Память. Боки Рахим-заде — У нас в Таджикистане. Мавджуфа Хакимова — Отец, Солдат. Аминджан Шукухи — Лестница четверостиший. Перевели Александр Големба, Александр Наумов, Римма Казакова, Елена Аксельрод, Михаил Синельников | 196 |
| ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК — Из туркменской поэзии: Бердыназар Худайназаров — Колодезных дел мастера. Керим Курбанипесов — Чувство локтя. Нури Байрамов — Когда мы были мальчишками, Алла-ай! Ата Атаджанов — Гор высоту..., Размышления. Тоушан Эсенова — Три пальмы плодовых. Ягмур Пиркулиев — Снова лето, жалей не жалей... Перевели Юрий Гордиенко, Олег Дмитриев, Александр Наумов | 204 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК — <i>Из узбекской поэзии: Миртемир — Свеча. Аскад Мухтар — Здесь даже время замедляет бег... Зульфия — Будущее. Мирмухсин — Детства моего грехи... Тураб Тула — Ночлег. Рамз Бабаджан — Памяти армянского друга. Хамид Гулям — Айва. Джамал Камал — Касанье. Перевели Александр Наумов, Валерий Краснопольский, Юлия Нейман, Римма Казакова</i>	212
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР ДОРОШЕНКО — <i>Самотлор</i>	219
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>К 150-летию со дня рождения И. С. Никитина</i>	
ВЛАДИМИР ЦЫБИН — <i>Навстречу времени</i>	232
—————	
АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ — <i>Сила правды и бессилие наветов</i>	241
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
И. Дедков. Напряжение поиска.— Л. Лебедева. Доброе начало.— Олег Смирнов. Дорога поколения.— Я. Гордин. Плоды упрощения.	
<i>Политика и наука</i>	
В. Косолапов. Проблемы формирования нового человека.— Георгий Айдинов. Пером очевидца.— Н. Новиков. Пульс планеты.— Е. Амбарцумов. Не вполне различимое будущее	265
КОРОТКО О КНИГАХ — С. Шешуков.— В. Гура. Роман и революция. Пути советского романа. 1917—1929. ♦ Ст. Рассадин.— С. Липкин. Рожденный из камня. Повесть по мотивам кавказских сказаний. ♦ А. Хорт.— Наталия Ильина. Светящиеся табло. Фельетоны разных лет. ♦ П. Топер.— Левон Мкртчян. Черты родства. ♦ Е. Луцкая.— Художники театра о своем творчестве. Составители: Ф. Сыркина, Б. Кноблок, А. Мовшенсон, Е. Буторина. ♦ Лесь Ганюк.— Александр Дейч. Франсуа-Жозеф Тальма. ♦ А. Абрамов.— Ал. Михайлов. Ритмы времени (Этюды о русской советской поэзии наших дней)	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287
—————	

В. БОГОМОЛОВ

★

В АВГУСТЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО...

Роман

*Немногим, которым обязаны
очень многие...*

1. АЛЕХИН, ТАМАНЦЕВ, БЛИНОВ

Их было трое, тех, кто официально, в документах именовались «оперативно-розыскной группой» Управления контрразведки фронта. В их распоряжении была машина, потрепанная, выдавшая виды полуторка «ГАЗ-АА», и шофер-сержант Хижняк.

Измученные шестью сутками интенсивных, но безуспешных поисков, они уже затемно вернулись в Управление, уверенные, что хоть завтрашний день смогут отоспаться и отдохнуть. Однако как только старший группы, капитан Алехин, доложил о прибытии, им было приказано немедленно отправиться в район Шиловичей и продолжать розыск. Часа два спустя, заправив машину бензином и получив во время ужина энергичный инструктаж специально вызванного офицера-минера, они выехали.

К рассвету позади осталось более ста пятидесяти километров. Солнце еще не всходило, но уже светало, когда Хижняк, остановив полуторку, ступил на подножку и, перегнувшись через борт, растолкал Алехина.

Капитан — среднего роста, худощавый, с выцветшими белесоватыми бровями на загорелом малоподвижном лице — откинул шинель и, поеживаясь, приподнялся в кузове. Машина стояла на обочине шоссе. Было очень тихо, свежо и росисто. Впереди, примерно в полутора километрах, маленькими темными пирамидками виднелись хаты какого-то села.

— Шиловичи, — сообщил Хижняк. Подняв боковой щиток капота, он склонился к мотору. — Подъехать ближе?

— Нет, — сказал Алехин, осматриваясь. — Хорош.

Слева протекал ручей с отлогими сухими берегами. Справа от шоссе за широкой полосой жнивья и кустарниковой порослью тянулся лес. Тот самый лес, откуда каких-нибудь одиннадцать часов назад велась радиопередача. Алехин в бинокль с полминуты рассматривал его, затем стал будить спавших в кузове офицеров.

Один из них, Андрей Блинов, светлоголовый, лет девятнадцати лейтенант, с румяными от сна щеками, сразу проснувшись, сел на сене, потер глаза и, ничего не понимая, уставился на Алехина.

Добудиться другого — старшего лейтенанта Таманцева — было не так легко. Он спал, с головой завернувшись в плащ-палатку, и когда

его стали будить, натянул ее туго, в полусне дважды лягнул ногой воздух и перевалился на другой бок.

Наконец он проснулся совсем и, поняв, что спать ему больше не дадут, отбросил плащ-палатку, сел и, угрюмо оглядываясь темно-серыми, из-под густых сросшихся бровей глазами, спросил, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Где мы?..

— Идем,— позвал его Алехин, спускаясь к ручью, где уже умывались Блинов и Хижняк.— Освежись.

Таманцев взглянул на ручей, сплонул далеко в сторону и вдруг, почти не притронувшись к краю борта, стремительно подбросив свое тело, выпрыгнул из машины.

Он был, как и Блинов, высокого роста, однако шире в плечах, уже в бедрах, мускулистей и жилистей. Потягиваясь и хмуро поглядывая вокруг, он сошел к ручью и, скинув гимнастерку, начал умываться.

Вода была холодна и прозрачна, как в роднике.

— Болотом пахнет,— сказал, однако, Таманцев.— Заметьте, во всех реках вода отдает болотом. Даже в Днестре.

— Ты, понятно, меньше, чем на море, не согласен,— вытирая лицо, усмехнулся Алехин.

— Именно!.. Вам этого не понять,— с сожалением посмотрев на капитана, вздохнул Таманцев и, быстро оборачиваясь, начальственным баском, но весело вскричал:— Хижняк, завтрака не вижу!

— Не шуми. Завтрака не будет,— сказал Алехин.— Возьмете сухим пайком.

— Веселенькая жизнь!.. Ни поспать, ни пожрать...

— Давайте в кузов! — перебил его Алехин и, оборачиваясь к Хижняку, предложил: — А ты пока погуляй...

Офицеры забрались в кузов. Алехин закурил, затем, вынув из планшетки, разложил на фанерном чемодане новенькую крупномасштабную карту и, примерясь, сделал повыше Шиловичей точку карандашом.

— Мы находимся здесь.

— Историческое место! — фыркнул Таманцев.

— Помолчи! — строго сказал Алехин, и лицо его стало официальным.— Слушайте приказ!.. Видите лес?.. Вот он.— Алехин показал на карте.— Вчера в восемнадцать ноль-пять отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик.

— Это что, все тот же? — не совсем уверенно спросил Блинов.

— Да.

— А текст? — тотчас осведомился Таманцев.

— Предположительно передача велась вот из этого квадрата,— будто не слыша его вопроса, продолжал Алехин.— Будем...

— А что думает Эн Фэ? — мгновенно справился Таманцев.

Это был его обычный вопрос. Он почти всегда интересовался: «А что сказал Эн Фэ?.. Что думает Эн Фэ?.. А с Эн Фэ вы это прокачали?..»

— Не знаю, его не было,— сказал Алехин.— Будем осматривать лес...

— А текст? — настаивал Таманцев.

— Будем осматривать лес,— повыся голос, твердо повторил Алехин.— Нужны следы — свежие, суточной давности. Смотрите и запоминайте свои участки.

Едва заметными линиями карандаша он разделил северную часть леса на три сектора и, показав офицерам и подробно объяснив ориентиры, продолжал:

— Начинаем от этого квадрата — здесь смотреть особенно тща-

тельно! — и двигаемся к периферии. Поиски вести до девятнадцати ноль-ноль. Оставаться в лесу позже — запрещаю! Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь в том подлеске. — Алехин вытянул руку; Андрей и Таманцев посмотрели, куда он указывал. — Погоны и пилотки снять, документы оставить, оружие на виду не держать! При встрече с кем-либо в лесу действовать по обстоятельствам.

Расстегнув ворота гимнастерок, Таманцев и Блинов отвязывали погоны; Алехин затаился и продолжал:

— Ни на минуту не расслабляться! Все время помнить о минах и о возможности внезапного нападения. Учтите: в этом лесу убили Басоса.

Отбросив окурок, он взглянул на часы, поднялся и приказал:

— Приступайте!

2. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ¹

СВОДКА

«Начальнику Главного управления войск по охране тыла действующей Красной Армии.

Копия: Начальнику Управления контрразведки «Смерш»² фронта

13 августа 1944 г.

Оперативная обстановка на фронте и в тылах фронта в течение пятидесяти суток с момента начала наступления (по 11 августа включительно) характеризовалась следующими основными факторами:

— *успешными наступательными действиями наших войск и отсутствием при этом сплошной линии фронта. Освобождением всей территории БССР и значительной части территории Литвы, свыше трех лет находившихся под немецкой оккупацией;*

— *разгромом группы вражеских армий «Центр», насчитывавшей в своем составе около 50 дивизий;*

— *засоренностью освобожденной территории многочисленной агентурой контрразведывательных и карательных органов противника, его пособниками, изменниками и предателями Родины, большинство из которых, избегая ответственности, перешли на нелегальное положение, объединяются в банды, скрываются в лесах и на хуторах;*

— *наличием в тылах фронта сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника;*

— *наличием на освобожденной территории различных подпольных националистических организаций и вооруженных формирований; многочисленными проявлениями бандитизма;*

— *производимыми Ставкой перегруппировкой и сосредоточением наших войск и стремлением противника разгадать замыслы советского командования, установить, где и какими силами будут нанесены последующие удары.*

¹ Здесь и далее грифы, указывающие степень секретности документов, резолюции должностных лиц и служебные пометки (время отправления, кто передал, кто принял и другие), а также номера документов — опускаются.

В документах (и в тексте романа) изменены фамилии нескольких генералов и старших офицеров, а также порядковые номера трех воинских соединений.

² «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам») — название советской военной контрразведки в 1943—1945 годах. Полное наименование: контрразведка «Смерш» НКВД СССР. Органы «Смерш» подчинялись непосредственно Верховному Главнокомандующему, Наркому Обороны И. В. Сталину.

Сопутствующие факторы:

— обилие лесистой местности, в том числе больших чащобных массивов, служащих хорошим укрытием для остаточных групп противника, различных бандформирований и лиц, уклоняющихся от мобилизации;

— большое количество оставленного на полях боев оружия, что дает возможность враждебным элементам без труда вооружаться;

— слабость, неукомплектованность восстановленных местных органов советской власти и учреждений, особенно в низовых звеньях;

— значительная протяженность фронтовых коммуникаций и большое количество объектов, требующих надежной охраны;

— выраженный некомплект личного состава в войсках фронта, что затрудняет получение поддержек от частей и соединений при проведении операций по очистке войсковых тылов.

Остаточные группы немцев

Разрозненные группы солдат и офицеров противника в первой половине июля стремились к одной общей цели: скрытно или с боями продвигаясь на запад, пройти сквозь боевые порядки наших войск и соединиться со своими частями. Однако 15—20 июля немецким командованием неоднократно шифрованными радиogramмами передавался приказ всем остаточным группам не форсировать переход линии фронта, а, наоборот, оставаясь в наших оперативных тылах, собирать и передавать шифром по радио сведения разведывательного характера, и прежде всего о дислокации, численности и передвижении частей Красной Армии. Для этого предложено, в частности, используя естественные укрытия, вести наблюдение за нашими фронтовыми железнодорожными и шоссеино-грунтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, а также захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения.

Подпольные националистические организации и формирования

1. По имеющимся у нас данным, в тылах фронта действуют следующие подпольные организации польского эмигрантского «правительства» в Лондоне: «Народове силы збройне», «Армия Крайова»³, созданная в последние недели «Непоглеглость» и — на территории Литовской ССР, в р-не гор. Вильнюс — «Делегатура Жонгу».

Ядро перечисленных нелегальных формирований составляют польские офицеры и подофицеры запаса, помещичье-буржуазные элементы и частично интеллигенция. Руководство всеми организациями осуществляется из Лондона генералом Соснковским через своих представителей в Польше генерала «Бур» (графа Тадеуша Коморовского), полковников «Гжегожа» (Пелчинского) и «Ниль» (Фильдорфа).

Как установлено, лондонским центром польскому подполью гана директива о проведении активной подрывной деятельности в тылах

³ АК (Армия Крайова) — подпольная вооруженная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне, действовавшая на территории Польши, Южной Литвы и западных областей Украины и Белоруссии. В 1944—1945 годах, выполняя указания лондонского центра, многие отряды АК проводили подрывную деятельность в тылах советских войск: убивали бойцов и офицеров Красной Армии, а также советских работников, занимались шпионажем, совершали диверсии и грабили мирное население. Нередко аковцы были обмундированы в форму военнослужащих Красной Армии.

Красной Армии, для чего приказано сохранить на нелегальном положении большую часть отрядов, оружия и все приемопередаточные радиостанции. Полковником Фильдорфом, посетившим в июне с. г. Виленский и Новогрудский округа, даны на местах конкретные распоряжения — с приходом Красной Армии: а) саботировать мероприятия военных и гражданских властей, б) совершать диверсии на фронтовых коммуникациях и террористические акты в отношении советских военнослужащих, местных руководителей и актива, в) собирать и передавать шифром генералу «Бур» — Коморовскому и непосредственно в Лондон сведения разведывательного характера о Красной Армии и обстановке в ее тылах.

В перехваченной 28 июля с. г. и дешифрованной радиограмме лондонского центра всем подпольным организациям предлагается не признавать образованный в Люблине Польский Комитет Национального Освобождения и саботировать его мероприятия, в частности мобилизацию в войско Польское. Там же обращается внимание на необходимость активного ведения военной разведки в тылах действующих советских армий, для чего приказывается установить постоянное наблюдение за всеми железнодорожными узлами.

Наибольшую террористическую и диверсионную активность проявляют отряды «Волка» (р-н пуци Рудницкого), «Крыся» (р-н гор. Вильнюса) и «Рагнера» (около 300 человек) в р-не гор. Лига.

2. На освобожденной территории Литовской ССР действуют скрывающиеся в лесах и населенных пунктах вооруженные националистические бандгруппы так называемой «ЛЛА», именующие себя «литовскими партизанами».

Основу этих подпольных формирований составляют «белоповязочники» и другие активные немецкие пособники, офицеры и младшие командиры бывшей литовской армии, помещичье-кулацкий и прочий вражеский элемент. Координируются действия указанных отрядов «Комитетом литовского национального фронта», созданным по инициативе германского командования и его разведывательных органов.

Согласно показаниям арестованных участников «ЛЛА», кроме осуществления жестокого террора в отношении советских военнослужащих и представителей местной власти, литовское подполье имеет задание вести оперативную разведку в тылах и на коммуникациях Красной Армии и незамедлительно передавать добытые сведения, для чего многие бандгруппы снабжены коротковолновыми радиостанциями, шифрами и немецкими дешифровальными блокнотами.

Наиболее характерные враждебные проявления последнего периода (с 1 по 10 августа включительно):

В Вильнюсе и его окрестностях, преимущественно в ночное время, убито и пропало без вести 11 военнослужащих Красной Армии, в том числе 7 офицеров. Там же убит майор войска Польского, прибывший в краткосрочный отпуск для встречи с родными.

2 августа взорвана и сожжена водоканка на станции Бастуны.

2 августа в 4-00 в дер. Калитанцы неизвестными зверски уничтожена семья бывшего партизана, находящегося ныне в рядах Красной Армии, Макаревича В. И. — жена, дочь и племянница 1940 г. р.

3 августа в районе Жирмуны, в 20 км севернее г. Лига, бандгруппой власовцев обстреляна автомашина — убито 5 красноармейцев, тяжело ранены полковник и майор.

В ночь на 5 августа в трех местах взорвано полотно железной дороги между станциями Неман и Новоелья.

5 августа 1944 г. в с. Турчела (30 км южнее Вильнюса) брошенной в окно гранатой убит коммунист, депутат сельского Совета.

7 августа в районе села Войтовичи подверглась нападению из заранее подготовленной засады автомашина 39-й армии. В результате убито 13 человек, 11 из них сожжено вместе с машиной. Два человека уведены в лес бандитами, захватившими также оружие, обмундирование и все личные служебные документы.

6 августа прибывший на побывку в с. Рагунь сержант войска Польского в ту же ночь похищен неизвестными.

8 августа на перегоне Лида — Вильнюс пущен под откос воинский эшелон с боеприпасами.

10 августа в 4-30 литовской бандгруппой неустановленной численности совершено нападение на волостной отдел НКВД в м. Сиесики. Убито четыре работника милиции, освобождено из-под стражи 6 бангитов.

10 августа в селе Малые Солешники расстреляны председатель сельсовета Василевский, его жена и 13-летняя дочь, пытавшаяся защитить отца.

Всего в тылах фронта за первую декаду августа убито, похищено и пропало без вести 169 военнослужащих Красной Армии. У большинства убитых забрано оружие, обмундирование и личные воинские документы.

За эти 10 суток убиты 13 представителей местных органов власти; в трех населенных пунктах сожжены здания сельсоветов.

В связи с многочисленными бандпроявлениями и убийствами военнослужащих нами и армейским командованием значительно усилены охранные мероприятия. Приказом командующего всему личному составу частей и соединений фронта разрешено выходить за пределы расположения части только группами не менее трех человек и при условии наличия у каждого автоматического оружия. Тем же приказом запрещено движение автомашин в вечернее и ночное время вне населенных пунктов без надлежащей охраны.

Всего с 23 июня по 11 августа сего года включительно ликвидировано (не считая одиночек) 209 вооруженных групп противника и различных бандформирований, действовавших в тылах фронта. При этом захвачено: минометов — 22, пулеметов — 356, винтовок и автоматов — 3827, лошадей — 190, радиостанций — 46, в том числе 28 коротковолновых.

Начальник войск по охране тыла фронта
генерал-майор Лобов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»⁴

«Срочно!

Москва Матюшину

В дополнение к №.....от 7.08.44 г.

Разыскиваемая нами по делу «Неман» неизвестная радиостанция с позывными КАО (перехват от 7.08.44 г. был передан Вам незамедлительно) сегодня, 13 августа, выходила в эфир из леса в районе Шиловичей (Барановичская область)⁵.

Сообщая записанные сегодня группы цифр шифрованной радиogramмы, настоятельно прошу Вас, учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в Управлении контрразведки фронта, ускорить дешифровку как первого, так и второго радиоперехватов.

Егоров».

⁴ «ВЧ» (точное наименование «ВЧ — связь») — высокочастотная телефонная связь.

⁵ С 20 сентября 1944 года Гродно, Лида и район Шиловичей — Гродненская область.

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Начальнику Главного Управления Контрразведки «Смерш»

Спецсообщение

Сегодня, 13 августа, в 18-05 слежечными станциями вторично зафиксирован выход в эфир неизвестной коротковолновой рации с позывными КАО, действующей в тылах фронта.

Место выхода передатчика в эфир определяется как северная часть Шиловичского лесного массива. Рабочая частота рации 4627 килогерц. Записанный перехват — радиограмма, шифрованная группами пятизначных цифр. Скорость и четкость передачи свидетельствуют о высокой квалификации радиста.

До этого выход рации с позывными КАО в эфир фиксировался 7 августа с/г из леса юго-восточнее Столбцов.

Проведенные в первом случае розыскные мероприятия не дали положительных результатов.

Представляется вероятным, что передачи ведутся агентами, оставленными противником при отступлении или же переброшенными в тылы фронта.

Не исключено, однако, что рация с позывными КАО используется одной из подпольных групп Армии Крайовой.

Также не исключено, что передачи ведутся одной из остаточных групп немцев.

Нами предпринимаются меры к отысканию в Шиловичском лесном массиве точного места выхода разыскиваемой рации в эфир, обнаружению следов и улик. Одновременно делается все возможное для выявления сведений, способствовавших бы установлению и задержанию лиц, причастных к работе передатчика.

На оперативную пеленгацию рации в случае ее выхода в эфир направлены все радиоразведывательные группы фронта.

Непосредственно по делу работает оперативная группа капитана Алехина.

На розыск рации и лиц, причастных к ее работе, нами ориентированы все органы контрразведки фронта, начальник войск по охране тыла, а также Управления контрразведки соседних фронтов.

Егоров».

3. ЧИСТИЛЬЩИК⁶, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ТАМАНЦЕВ ПО ПРОЗВИЩУ СКОРОХВАТ

С утра у меня было жуткое, прямо-таки похоронное настроение — в этом лесу убили Лешку Басоса, моего самого близкого друга и, наверное, лучшего парня на земле. И хотя погиб он недели три назад, я весь день невольно думал о нем.

Я находился тогда на задании, а когда вернулся, его уже похоронили. Мне рассказали, что на теле было множество ран и тяжелые ожоги — перед смертью его, раненого, крепко пытали, видимо, стараясь что-то выведать, кололи ножами, прижигали ступни, грудь и лицо. А затем добились двумя выстрелами в затылок.

В школе младшего комсостава пограничных войск почти год мы спали на одних нарах, и его затылок с такими знакомыми мне двумя

⁶ Чистильщик (от «чистить» — очищать районы передовой и оперативные тылы от вражеской агентуры) — жаргонное обозначение розысника военной контрразведки. Здесь и далее преимущественно специфичный, узкопрофессиональный жаргон розысников военной контрразведки.

макушками и завитками рыжеватых волос на шее с утра маячил у меня перед глазами.

Он воевал три года, а погиб не в открытом бою. Где-то здесь его подловили — так и неизвестно кто?! — подстрелили, видимо, из засады, мучали, жгли, а затем убили — как ненавидел я этот проклятый лес! Жажда мести — встретить бы и посчитаться! — с самого утра овладела мной.

Настроение настроением, а дело делом — не поминать же Лешку и даже не мстить за него мы сюда приехали.

Если лес под Столбцами, где мы искали до вчерашнего полудня, война как бы обошла стороной, то здесь было совсем наоборот.

В самом начале, метрах в двухстах от опушки, я наткнулся на обгоревший немецкий штабной автомобиль. Его не подбили, а сожгли сами фрицы: деревья тут совсем зажали тропу и ехать стало невозможно.

Немного погодя я увидел под кустами два трупа. Точнее, зловонные скелеты в полуистлевшем темном немецком обмундировании — танкисты. И дальше на заросших тропинках этого глухого, чащобного леса мне то и дело попадались поржавевшие винтовки и автоматы с вынутыми затворами, испятнанные кровью грязно-рыжие бинты и вата, брошенные ящики и пачки с патронами, пустые консервные банки и обрывки бумаг, фрицевские походные ранцы с рыжеватым верхом из телячьих шкур и солдатские каски.

Уже после полудня в самой чащобе я обнаружил два могильных холмика месячной примерно давности, успевшие осесть, с наспех сколоченными березовыми крестами и надписями, выжженными готическими буквами на светлых поперечинах:

Karl von Tilen
Major
1916—1944

Otto Mader
Ober-leutenant
1905—1944

Свои кладбища при отступлении они чаще всего перепахивали, уничтожали, опасаясь надругательств. А тут, в укромном месте, поместили все чин чинном, очевидно, рассчитывая еще вернуться. Шутники, нечего сказать...

Там же, за кустами, валялись санитарные носилки. Как я и думал, эти фрицы только кончились здесь — их несли, раненных, десятки, а может, сотни километров. Не пристрелили, как случилось, и не бросили — это мне понравилось.

За день мне встретились сотни всевозможных примет войны и поспешного немецкого отступления. Не было в этом лесу, пожалуй, только того, что нас интересовало: свежих — суточной давности — следов пребывания здесь человека.

Что же касается мин, то не так страшен черт, как его малюют. За весь день я наткнулся лишь на одну, немецкую противопехотную.

Я заметил блеснувшую в траве тоненькую стальную проволоку, натянутую поперек тропы сантиметрах в пятнадцати от земли. Стоило мне ее задеть — и мои кишки и другие остатки повисли бы на деревьях или еще где-нибудь.

За три года войны бывало всякое, но самому разряжать мины приходилось считанные разы, и на эту я не счит нужным тратить время. Обозначив ее с двух сторон палками, я двинулся дальше.

Хотя за день мне попала только одна, сама мысль, что лес местами минирован и в любое мгновение можно взлететь на воздух, все время давила на психику, создавая какое-то паскудное внутреннее напряжение, от которого я никак не мог избавиться.

После полудня, выйдя к ручью, я скинул сапоги, расстелил на солнце портянки, умылся и перекусил. Напился и минут десять лежал, уперев приподнятые ноги в ствол дерева и размышляя о тех, за кем мы охотились.

Вчера они выходили в эфир из этого леса, неделю назад — под Столбцами, а завтра могут появиться в любом месте: за Гродно, под Брестом или где-нибудь в Прибалтике. Кочующая рация — Фигаро здесь, Фигаро там... Обнаружить в таком лесу место выхода — все равно что отыскать иголку в стое сена. Это тебе не мамочкина бахча, где каждый кавун знаком и лично симпатичен. И весь расчет, что будут следы, будет зацепка. Черта лысого — почему они должны наследить?.. Под Столбцами мы что, не старались?.. Землю носом рыли! Впятером шестеро суток. А толку?.. Как говорится, две консервные банки плюс дыра от баранки! А этот массивчик побольше, поглуже и засорен изрядно.

Сюда бы приехать с толковой псиной вроде Тигра, что был у меня перед войной. Но это тебе не на границе. При виде служебной собаки каждому становится ясно, что кого-то разыскивают, и начальство собак не жалует. Начальство, как и все мы, озабочено конспирацией.

К концу дня я опять подумал: нужен текст! В нем почти всегда можно уловить хоть какие-то сведения о районе нахождения разыскиваемых и о том, что их интересует. От текста и следует танцевать.

Я знал, что с дешифровкой не ладилось и перехват сообщили в Москву. А у них двенадцать фронтов, военные округа и своих дел под завязку. Москве не укажешь, они сами себе начальники. А из нас душу вынут. Это уж как пить дать. Старая песенка — умри, но сделай!..

4. В ШИЛОВИЧАХ

Оставив Хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни, Алехин заброшенным, заросшим травой огородом вышел на улицу. Первый встречный — конопатый мальчишка, спозаранок гонявший гуся у колодца, — показал ему хату «старшины» сельсовета. От соседних таких же невзрачных, с замшелыми крышами хат ее можно было отличить лишь по тому, что вместо калитки в изгороди была подвешена дверца от немецкого автомобиля. Назвал мальчишка и фамилию председателя — Васюков.

Не обращая внимания на тощую собаку, хватавшую его за сапоги, Алехин прошел к хате — дверь была закрыта и заперта изнутри. Он постучал.

Было слышно, как в хате кто-то ходил. Прошло с полминуты — в сенях послышался шум, медленные тяжелые шаги, и тут же все замерло. Алехин почувствовал, что его рассматривают, и, чтобы стоящий за дверью понял, что он не переодетый аковец и не «зеленый», а русский, вполголоса зашел:

Вспомню я пехоту, и родную роту,
И тебя, того, кто дал мне закурить...

Наконец дверь отворилась. Перед Алехиным, глядя пристально и настороженно, опираясь на костыли и болезненно морщась, стоял невысокий, лет тридцати пяти мужчина с бледным худым лицом, покрытым рыжеватой щетиной, в польском защитном френче и поношенных шароварах. Левого ноги у него не было, и штанина, криво ушитая на уровне колена, болталась свободно. В правой полусогнутой руке он держал наган.

Это и был председатель сельсовета Васюков.

Пустыми грязными сенцами они прошли в хату, обставленную совсем бедно: старая деревянная кровать, ветхий тонконогий стол и скамья. Потемнелые бревенчатые стены, совершенно голые, на печи — рванный тюфяк и ворох тряпья. На дощатом столе — крынка, тарелка с остатками хлеба и стакан из-под молока. Тут же, уставясь стволом в окно, стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати, закинутой порыжевшей солдатской шинелью, висел трофейный автомат. Воздух в хате был кислый, спертый.

Васюков ухватил старое вышитое полотенце и вытер скамью; Алехин сел. Не оставляя костью, Васюков опустился на кровать и посмотрел выжидающе.

Алехин начал издали: поинтересовался, какие вёски⁷ и хутора входят в сельсовет, как убираются хлеба, много ли мужиков, как с тяглом, и задал еще несколько вопросов общего характера.

Васюков отвечал обстоятельно, неторопливо, придерживая левой рукой культию и время от времени болезненно морщась. Он знал хорошо и местность и людей, в разговоре его проскальзывали польские и белорусские слова; однако поговору Алехин сразу определил: «Не местный».

— Вы что, нездешний? — улучив момент, спросил капитан.

— Смоленский я. А здесь попал в сорок первом в окруженье и партизанил три года. Так и остался. А вы по каким делам? — в свою очередь поинтересовался Васюков.

Алехин поднялся, достал командировочное предписание и, развернув, предъявил его.

— «...для вы... пол... нения за... дания коман... дования», — медленно прочел председатель. — Ясен вопрос! — осмотрев печать, немного погодя сказал он, возвращая документ и ничуть, однако, не представляя, какое задание может выполнять этот пехотный капитан с полевыми погонами на выгоревшей гимнастерке в Шиловичах, более чем в ста километрах от передовой.

И Алехин, наблюдавший за выражением лица Васюкова, понял это.

Он оглянулся на перегородку и, услышав от Васюкова: «Там нет никого», посмотрел инвалиду-председателю в глаза и тихим голосом доверительно сообщил:

— Я по части постоя... расквартирования... Возможно, и у вас будут стоять... Не сейчас, а ближе к зиме... месяца через полтора-два, не раньше. Только об этом пока никому!

— Ну что вы, — понимающе сказал Васюков, явно польщенный доверием. — Разве я без понятия? И много поставят?

— Да, думаю, в Шиловичах примерно роту. Это уже как командование решит. Мое дело ознакомиться с обстановкой, посмотреть местность и доложить.

— Роту — это можно. А больше не разместить, — сказал Васюков озабоченно. — Вы так и доложите — больше роты нельзя. Ведь их обиходить надо. Я сам три года служил, командиром отделения был, понимаю. Солдату в бою достается, а уж на постое условия нужны. А где их взять? — вздохнул он.

— С водой как у вас?

— Вода что — ее на всех хватит. И дров в достатке. А вот с жильем кепско⁸. Полы-то все больше земляные, холодные.

— А дрова где берете? — спросил Алехин, стараясь направить разговор в нужное русло.

— Там вот, за шоссе. — Васюков кивнул влево, в сторону печки.

⁷ Вёски — деревни (белорус.).

⁸ Кепско — плохо (польск.).

— А у вас же лес рядом,— удивился Алехин, указывая в противоположном направлении: его интересовал прежде всего этот лес и то, что с ним было связано.

— Там, за шоссе, швырок еще немцами заготовлен. Сухой, как лучина, и пилить не надо. Его и возят,— объяснил Васюков.— А в этот лес не ходят — запрещено!

— Почему?

— Тут немцы, как отступали, оборону, должно, держать думали. Или преследование задержать хотели. Словом, мин поставили.

— Поня-ятно...

— Мусить⁹, и немного, но где и сколько — никто не знает. В день, как меня назначили, мальчишки туда полезли. За трофеями. И двух у самого края — на куски! Мы по опушке сразу знаки расставили. Мол, проход запрещен, мины! Так что наши, шиловичские, в этот лес — ни шагу! А с военными случай был.

— С какими военными?

— Тут связистки у нас с неделю стояли. Молоденькие, веселые — известно дело, на отдыхе. А в лесу грибов, ягод полно. И вот пошли двое, да не вернулись...

— Давно это?

— Дней десять уже. Стали искать их — метров за триста от опушки нашли, вот там.— Васюков взглядом указал на стену, где висел автомат.— Снасиловали их и убили. Обмундирование забрали и документы.

— Кто же убил?

— А кто знает... После приехали энкэвэдэ с Лиды. Пограничники. На трех машинах, с собаками. Осматривали лес, перестрелка была — будто нашли кого-то и побили. Опять же, говорят, кто-то на mine подорвался. Но точно не знаю: проческу, значит, от нас начали, а больше не приходили. Должно, так лесом на Каменку и вышли.

— Это было, говорите, с неделю назад. А вот в последние дни, вчера или позавчера, вы здесь незнакомых людей не встречали?... Военнослужащих... не видели? Я почему спрашиваю,— пояснил капитан,— кроме меня, посланы еще три группы квартирнеров. Так если мы для постоя одни и те же деревни присмотрим или хутора, ерунда ведь получится.

— Понятно... Нет, насчет квартир последние дни не обращались... А видеть двух командиров вчера видел. Мусить, и с вашей части,— неуверенно заметил Васюков.— Но ко мне они не приходили.

— А где вы их видели, в деревне?

— Нет. Я вчера тут спор улаживал. Тесинского и Семашко. Из-за межи разодрались. Пошли, значит, на поле, вот сюда.— Васюков рукой показал за спину.— Обмерили все, столб зарыли. Ну, и после дела, как водится, хлеб-соль: бимбера бутылку распили. Сидим у копешек, закусьваем. И вижу, от леса идут двое. Командиры. Мусить, и с вашей части.

— Когда это было, в котором часу?

— Вечером. Перед заходом. Часов в восемь, должно...

— А какие они из себя? Как выглядят?

— Обыкновенно. Один постарше вроде и плотнее. Он впереди шел. А другой — худой, молодой, видать, этот подлиннее.

— Тот, что постарше, смуглый такой, носастый! Это же Лещенко! — обрадованно сказал Алехин, называя первую пришедшую на ум фамилию.— Капитан! В хромовых сапогах и в кителе. У него еще фуражка с матерчатым козырьком.

⁹ Мусить — может (польск.).

— Там метров двести, ежели не больше. Разве звание разберешь? Но только в пилотках они оба и в гимнастерках. Это точно.

— Может, Ткачев и Журба? — словно размышляя вслух, проговорил Алехин. — Они что же, из леса вышли? А вещи у них с собой какие-нибудь были?

— Когда я увидел, они шли от леса. А были они там или нет — не знаю. И вещей не видел. У одного, должно, плащ-палатка в руке, а у другого... вроде совсем ничего.

— А эти, Тесинский и Семашко, их видели? Может, они лучше разглядели?

— Нет. У меня глаз дальний. Ежли я не увидел, а те-то и подавно. Это точно.

Они поговорили еще минут десять; Алехин понемногу уяснил большинство интересовавших его вопросов и соображал, ехать ли отсюда прямо в Каменку или заглянуть по дороге на хутора, расположенные вдоль леса.

Васюков, под конец разговорясь, доверительно рассказал о знакомом мужике, имеющем «аппарат», и, озорновато улыбаясь, предложил:

— Ежли придется вам здесь стоять — съездим к нему обязательно! У него первачок — дух прихватывает!

У Алехина, к самогону весьма равнодушного, лицо приняло то радостно-оживленное выражение, какое появляется у любителей алкоголя, как только запахнет выпивкой. Сдерживаясь, чтобы не переиграть, он опустил глаза и согласно сказал:

— Уж если стоять здесь будем — сообразим. Непременно!

Он поднялся, чтобы уходить, — в это мгновение гряда тряпья на печи зашевелилась. Посмотрев недоуменно, Алехин насторожился. Васюков с помощью костылей подскочил к печке, потянулся как мог и, сунув руку в тряпье, вытащил оттуда и быстро поставил на пол мальчонку примерно двух с половиной лет, беловолового, в стираной перестираной рубашонке.

— Сынишка, — пояснил он.

Выглядывая из-за ноги отца и потирая кулачком ясные голубоватые глазенки, ребенок несколько секунд рассматривал незнакомого военного и вдруг улыбнулся.

— Как тебя зовут? — ласково и весело спросил Алехин.

— Палтизан! — бойко ответил малыш.

Васюков, улыбаясь, переступил в сторону. И только тут Алехин заметил, что у мальчика нет левой руки: из короткого рукава рубашонки выглядывала необычно маленькая багровая культия.

Алехин был несентиментален и за войну перевидал всякое. И все же ему сделалось не по себе при виде этого крошечного калеки, с такой подкупающей улыбкой смотревшего ему в глаза. И, не удержавшись, он проговорил:

— Как же это, а?

— В отряде был. В Налибоках зажали нас — осколком мины задело, — вздохнул Васюков. — Ну, умываться! — велел он сынишке.

Мальчуган проворно шмыгнул за перегородку.

— А жена где? — поинтересовался Алехин.

— Ушла. — Переставив костыли, Васюков повернулся спиной к Алехину и шагнул за перегородку. — В город сбежала. С фершалом...

Опираясь на костыль и наклонясь, он лил воду из кружки, а малыш, стоя над оббитым эмалированным тазиком, старательно и торопясь тер чумазую мордашу ладошкой.

Алехин в душе выругал себя — о жене спрашивать не следовало. Ответив, Васюков замолчал, замкнулся, и лицо у него стало угрюмое.

Умывшись, мальчик поспешно утерся тем самым полотенцем, каким отец вытирал скамью для Алехина, и проворно натянул маленькие, запачканные зеленью трусики.

Его отец тем временем молча и не глядя на Алехина отрезал краюшку хлеба, сунул ее в цепкую ручонку сына и, сняв со стены автомат, повесил себе на грудь.

Алехин вышел первым и уже ступал по росистой траве, когда, услышав сзади сдавленный стон, стремительно обернулся. Васюков, стиснув зубы и закрыв глаза, стоял, прислонясь к косяку дверей. Бисеринки пота проступили на его нездорово-бледном лице. Ребенок, справлявший у самого порога малую нужду, замер и, задрвав головку, испуганно, не по-детски озабоченными глазами смотрел на отца.

— Что с вами? — бросился к Васюкову Алехин.

— Ничего... — приоткрыв глаза, прошептал Васюков. — Рана... открылась... Уж третий день... Должно, кость наружу выходит... Мозжит, мочи нет. А тут задел костылем — аж в глазах потемнело...

— Вам необходимо в госпиталь! — с решимостью заявил Алехин, соображая, как это лучше устроить. — Насчет машины я позабочусь, вас сегодня же отвезут в Лиду!

— Нет, нельзя, — покачал головой Васюков и, зажав костыль под мышкой, поправил автомат.

— Вы что, за ребенка боитесь, оставить не с кем?

— Нет... А в госпиталь не могу! — Морщась от боли, Васюков переставил костыли и двинулся, выбрасывая вперед ногу и подпрыгивая на каждом шагу. — Сельсовет оставить нельзя.

— Почему? — Алехин, проворно открыв калитку, пропустил Васюкова вперед. — У вас заместитель есть?

— В армию забрали... Никого нет... Секретарь — девчонка. Несмышленная... Никак нельзя. Понимаете, не могу! — Опираясь на костыли, Васюков стал посреди улицы и, оглянувшись, вполголоса сказал: — Банды объявились. Третьего дня пришли в Соломенцы человек сорок. Председателя сельсовета убили, и дочь, и жену. А печать забрали...

О бандах Алехин знал, но о случае в Соломенцах не слышал. А деревня эта была неподалеку, и Алехин подумал, что в лесу, где будут вестись поиски, можно напороться не только на мины или на мелкую группу, но и на банду — запросто.

— Как же мне в госпиталь? — продолжал Васюков. — Да я здесь как на посту! Один-одинешенек — и печать передать некому. За мной вся вёска смотрит. Лягу в госпиталь, а подумают: струсил, сбежал! Не-ет! Не могу... Я здесь — советская власть, понимаете?

— Понимаю. Я только думаю: ну а в случае чего — что вы сможете?

— Все! — убежденно сказал Васюков, и лицо его сделалось злым. — Партийный я — живым не дамся!

Их нагнали две женщины, босые, в платочках, и, сказав обычное: «День добрый», пошли в стороне, несколько поотстав, — очевидно, им нужен был председатель, но говорить с ним при Алехине они не хотели или же не решались.

Близ проулка Алехин простился с Васюковым, причем тот попытался улыбнуться и тихонько, вроде виновато или огорченно сказал:

— И какой же я председатель: образования — три класса. А никуда не денешься — другого нету!

Отойдя шагов тридцать, Алехин оглянулся — подпрыгивая на костылях, Васюков двигался посреди улицы, на ходу разговаривая с женщинами. Позади него, силясь не отстать, бежал малыш с краюшкой, зажатой в руке.

5. ЧИСТИЛЬЩИК-СТАЖЕР, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕЙ БЛИНОВ

Лес этот с узкими, заросшими тропами и большими участками непролазного глушняка местами выглядел диковато, но вовсе не был нехоженым, каким казался со стороны, — он был изрядно засорен и загажен войной.

Разложившиеся трупы немцев в обмундировании разных родов войск, ящики с боеприпасами и солдатские ранцы, пожелтевшие обрывки газет, напечатанных готическим шрифтом, и пустые коробки от сигарет, фляги и котелки, бутылки из-под рома, заржавевшие винтовки и автоматы без затворов, сожженный мотоцикл с коляской, миномет без прицела и даже немецкая дивизионная пушка, невесть как затасанная в глубину леса, — что только не встречалось на пути Андрею.

Все это явно не имело отношения к тому, что его интересовало, — он проходил мимо, не останавливаясь.

Единственно что на минуту задержало его внимание в первой половине дня — старый, разложившийся труп в полуистлевшем белье, с обрывком толстой веревки вокруг шеи. Явно повешенный или удушенный — кто?.. кем?.. за что?..

Такого обилия грибов и ягод, как в этом безлюдном лесу, Андрей никогда еще не видел. Сизоватые россыпи черники, темные, перезрелые земляничины, должно быть, невероятно сладкие — он не сорвал ни одной, дав себе слово поесть досыта только после того, как что-либо обнаружит.

Однако свежих — суточной давности — следов человека в этом лесу не было. Ни отпечатков ног, ни разорванной паутины, ни остатков пищи или костра, ни погнутых стеблей или примятости, ни свежесломанных веток, ни иных следов — ничего.

Над лесом и будто над всей землей стояла великолепная тишина. В жарком тускло-голубом небе не появлялось ни облачка. Как только он оказывался на солнце, горячие лучи припекали голову, жгли сквозь гимнастерку плечи и спину.

В полдень, присев на несколько минут в тени на берегу ручья, Андрей съел кусок консервированной колбасы с ломтем черного хлеба, напился, обмыл лицо и, перемотав портянки, продолжал поиски.

О минах он не забывал ни на минуту, но попались они ему только в одном месте — у развилки лесных дорог.

Он на расстоянии заметил пятно высохшей пожелтелой травы размером с большой носовой платок. Подойдя, привычно лег рядом, снял дерн, осторожно разрыл землю, пошарил пальцами по бокам ямки и внизу — минуты две спустя «шпринг-мина», обыкновенная немецкая противопехотка «S-34», лишенная взрывателя, вывинченного Андреем, валялась за кустом.

Он прошел не более двадцати метров, когда увидел впереди на зеленом фоне травы такое же желтое пятно.

Во вчерашнем инструктаже он ничуть не нуждался. В полку на Смоленщине и Витебщине ему довелось разрядить сотни, а может, тысячи таких мин с взрывателями нажимного и натяжного действия, обычных и со всякими «сюрпризами». Он мог обезвреживать их в темноте, с закрытыми глазами и делал это теперь, после восьми часов безрезультатного хождения по лесу, с чувством заметного удовлетворения. Он разряжал четвертую, когда подумал: к чему все это? зачем?

Если там, на передовой, снятые мины были показателем боевой деятельности взвода и его самого как командира, то здесь они никого не интересовали, поскольку не имели отношения к делу — к разыски-

ваемой ради и агентам. Они были всего лишь особенностью местности, где велись поиски.

И, подумав об этом, он не стал более терять на них время и последние две просто обозначил вешками, а разряжать не стал.

И снова шагал, упорно двигая ногами в густой лопушистой траве. Пробираясь цѣликом, поминутно отклонял руками ветки, обрывал разгоряченным лицом паутину, пролезал под нижними сучьями. Стремясь ничего не пропустить, беспрестанно вертел головой, отчего болезненно ныла шея. Ставший необычайно тяжелым пистолет оттягивал карман и растирал ляжку, взмокшие потом гимнастерка и шаровары липли к телу, жаром горели в сапогах натруженные ноги.

Ему, как и его товарищам, неделями приходилось спать по четыре-пять часов в сутки. Постоянное недосыпание изнуряло даже двужильного Таманцева; Андрей же подчас прямо-таки валился с ног. И сейчас он находился в том гадком состоянии, когда хочется только спать: упасть в любом месте и спать, спать и спать. С трудом превозмогая себя, спотыкаясь усталыми ногами об обнажившиеся кое-где корни, он настойчиво шагал так похожими одна на другую заросшими тропинками...

6. СТАРШИЙ ГРУППЫ КАПИТАН АЛЕХИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Первый день ничего, по существу, не дал.

Кроме Шиловичей, я побывал еще в Каменке, и в Новоселках — деревнях, прилегающих к Шиловичскому лесу с противоположной стороны, — и на двух десятках окрестных хуторов.

Те, кого мы искали, навряд ли находились в лесу. Представлялось вероятным, что вчера или позавчера они проникли туда, а после передачи, не теряя времени, тотчас скрылись; естественно было полагать, что на подступах к лесу их кто-нибудь видел.

Двое неизвестных, замеченные Васюковым, несомненно заслуживали нашего внимания, однако принимать их за рабочую версию следовало с существенными оговорками. Во-первых, Васюков не видел, взялись ли эти двое из леса или двигались до того вдоль опушки, — может, в лесу они и не были? Во-вторых, передача велась с участка, расположенного ближе к Новоселкам, чем к Шиловичам, и, чтобы оставить массив и побыстрее удалиться от места выхода ради в эфир, разумнее было не идти через весь лес, а по-скорому выбраться там на оживленное шоссе и сесть на попутную машину. И в-третьих — самое для нас огорчительное, — Васюков видел неизвестных на значительном расстоянии, не разглядел и не смог хотя бы приблизительно обрисовать их внешность.

Я без труда нахожу общий язык с крестьянами, а интересовал меня простой и, казалось бы, безобидный вопрос: кого из незнакомых людей встречали или видели в последние дни близ леса и неподалеку? Понятно, я не спрашивал об этом прямо — как и обычно, приходилось конспирировать.

Я побеседовал, наверное, не менее чем с полусотней человек — в основном с женщинами, стариками и подростками, — полагаю, из них лишь двое, бывшие партизаны, были со мной по-настоящему откровенны; остальные смотрели настороженно и говорили, что ничего не знают.

— Темный народ, забитый, — жаловался мне в Лиде начальник милиции. — Западники, известное дело. Слова из них не вытянешь...

Такие суждения я слышал не раз, и доля истины в том имелась, впрочем, я хорошо понимал и этих «темных» людей.

За пять последних лет здесь четырежды круто менялась жизнь: сначала санационная Польша, затем — присоединение к Советской Белоруссии, потом война — она пришла сюда на вторые сутки — и кровавая немецкая оккупация и, наконец, снова — уже второй месяц — советская власть.

Причем, помимо официальных сил, были весьма действенные и нелегальные. Во время оккупации в лесах хозяйничали партизаны, теперь же рыскали различные банды, остаточные группы немцев, встречались и мелкие шайки обыкновенных дезертиров.

В действиях враждебных нелегальных сил было и общее — внезапность появления, жестокость, пренебрежение человеческими жизнями, имелись и свои особенности. Аковцы, устраивая засады, обстреливали на дорогах автомашины, убивали в первую очередь военнослужащих, ввязывались в бои даже с небольшими подразделениями Красной Армии. «Зеленые» — банды литовских националистов, — навдываясь с севера, расправлялись с коммунистами и сельсоветчиками, вырезая подчас без разбору целые семьи, грабили нещадно крестьян; немцы и власовцы были осторожны, в деревни обычно не заходили, нападали только в лесах, на глухих дорогах и на хуторах, не оставляя, однако, в живых ни одного свидетеля: они старались себя не обнаруживать, чтобы избежать возможного преследования и уничтожения.

Со всеми этими страшными силами местные жители оказывались, как правило, один на один; они пребывали в постоянном страхе перед любым пришельцем, ожидая от каждого только насилия, ограбления или смерти и не без основания полагая, что короткий язык — хоть какой-то залог покоя и личной безопасности. Моя же форма их едва ли в чем убеждала, поскольку наше армейское обмундирование пользовали и аковцы, и «зеленые», и власовцы, и даже немцы.

Отмолчаться подчас стремились и местные должностные лица. Весьма характерный разговор произошел у меня в Каменке.

Обязанности председателя сельсовета там исполнял старый носатый крестьянин — белорус с реденькими выцветшими усами и самокруткой в зубах. Сидя за столом, посреди пустой грязной хаты, он увлеченно играл в шашки с длинноногим подростком — посыльным — и даже не скрыл своего огорчения, что им помешали.

Трое стариков, вооруженных немецкими винтовками, охраняли сельсовет снаружи. Они ввалились следом за мной и молча наблюдали, как «старшина» проверял мои документы, затем, потоптавшись, вышли вместе с мальчишкой.

Как и в Шиловичах, я отрекомендовался представителем по расквартированию и предъявил вместе с командировочным предписанием не красную книжечку с пугающей надписью «Контрразведка «Смерш», а офицерское удостоверение личности.

Старик показался мне простоватым и словоохотливым, но это только с первого взгляда.

Он действительно охотно говорил на разные общие темы, например про хлеба и дороговизну, про нехватку мужчин или тягла, на что пожаловался трижды, видимо опасаясь, что я попрошу подводу. Однако за время нашей беседы он умудрился не назвать почти ни одной фамилии, ни словом не обмолвился о бандах, будто их и не было; меж тем я проникся мыслью, что именно их он более всего боялся.

Он ловко уклонился от разговора о тех, кто сотрудничал и ушел с немцами, на вопрос же о Шиловичском лесе коротко заметил: «Мы туда не ходим». И начал о другом.

На счету у меня была каждая минута, а он пространно рассказывал, и я был вынужден слушать, как дети его соседки, играя, чуть не

спалили хату или как баба по имени Теофина родила весной двойню, причем у девочки белые волосики, а у мальчика черные, к чему бы так?

При этом он все время простецки, добродушно улыбался и дымил свирепым самосадам, лицо же его, казалось, говорило: «Пойми, ты приехал и уехал, а мне здесь жить!»

После Каменки я заглянул на хутора, окаймлявшие Шиловичский массив с северо-запада.

Одинокие хаты с надворными постройками тянулись вдоль леса на значительном расстоянии друг от друга, каждая посреди своих огородиков, рощиц и крохотных полей. Я заходил во все, где были хозяйева, но не услышал и не увидел ничего для нас интересного.

Хижняк должен был к двум часам подъехать и в условленном месте ожидать меня. В начале третьего я направился к шоссе, чтобы, оставив в машине погоны, пилотку и документы, идти в лес осматривать свой участок.

Я спешил орешником, когда различил позади приближающиеся шаги. Оглянулся — никого. Прислушался — меня определенно кто-то догонял. Сдвинув на ходу предохранитель «ТТ», я сунул пистолет в брючный карман и, выбрав подходящее место, мгновенно спрятался за кустом.

Вскоре я увидел того, кто торопился мне вслед. По орешнику быстро шел, почти бежал черноволосый горбатый мужчина, приземистый, тщедушный, лет сорока, в истрепанном пиджаке и таких же стареньких, с большими заплатами на коленях и сзади брюках, заправленных в грязные сапоги.

С этим крестьянином я беседовал не далее чем час назад в его хате, где, кроме него, в тот момент находились еще две женщины, как я понял, жена и теща. Я заметил, что перед моим приходом у них что-то произошло, ссора или серьезная размолвка. В лицах у всех троих проглядывала какая-то встревоженность или расстройство. У женщин, особенно у старшей, были красноватые, с припухшими веками, явно заплаканные глаза. Сам горбун смотрел с плохо скрываемой боязнью; он говорил по-польски, отвечал односложно, тихо, то и дело повторяя: «Не разумем... Не вем»¹⁰.

Сейчас, миновав меня, он сделал еще с десяток шагов, остановился и прислушался, наверно, пытаюсь определить, куда я делся. Затем обернулся, увидев меня, испуганно вздрогнул и в замешательстве проговорил:

— День добры...

— День добрый,— невозмутимо ответил я, хотя мы с ним уже здоровались и по логике следовало бы спросить: «Что вам от меня нужно?»

Несомненно, он бежал за мной. Я смотрел выжидательно. Капли пота блестели на его небритом разгоряченном лице; выпуклая уродливая грудь дышала часто и возбужденно. Его грубые сапоги до верха голенищ были запачканы засохшим навозом.

— Пан товарищ...— испуганно оглянувшись, начал он, тут же умолк и снова прислушался.— Пан официэр...

Он говорил по-польски, взволнованно, сбивчивым полушепотом; очень многого я не понимал, все время переспрашивал и минут за тридцать нашей беседы с немалым трудом уяснил суть дела.

Рассказывая, он то и дело оглядывался или, сделав мне знак, умолкал и напряженно прислушивался. Я дважды поинтересовался причиной его беспокойства, но оба раза он, вероятно не понимая, лишь недоуменно пожимал плечами.

¹⁰ Не разумем.. Не вем — Не понимаю... Не знаю.

Расставшись с ним и держа путь к машине, я обдумывал его рассказ.

То, что я сумел понять, выглядело так.

Вчера на рассвете он, Станислав Свирид, разыскивая корову, не вернувшуюся вечером к дому, увидел неподалеку от опушки Шиловичского леса трех человек в советской военной форме. Они прошли гуськом поблизости, но он притаился в ельнике, и его не заметили. В переднем он узнал Павловского Казимира, двух других видел впервые.

По словам Свирида, во время оккупации этот Павловский служил немцам где-то под Варшавой, якобы в полиции, на какой-то ответственной должности; во всяком случае, получал большие деньги. (О больших деньгах, как мне показалось, с оттенком зависти, Свирид упомянул трижды.) Неоднократно Павловский приезжал на побывку к своему отцу, жившему на соседнем хуторе; был он всегда в цивильном и в шляпе, но, как уверял Свирид, якобы имел офицерский чин и награды от немцев.

По словам Свирида, отец Павловского, по национальности немец, в настоящее время арестованный, находился в Лиде, а родная тетка проживала в Каменке.

Собственно, по лесам в разных шайках бродили и бывшие полицейские и всякие пособники, не успевшие уйти с немцами. Занимались ими местные органы и маневренные группы войск НКВД, нас же они интересовали лишь в той мере, в какой представляли опасность для армии и тылов фронта.

Настораживало в этой истории другое.

Публика в шайках собиралась неоднородная, одетая и вооруженная весьма по-разному. Свирид же уверял, что эти трое были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундировании, причем у двоих наверняка были советские автоматы.

И второе. При отступлении немцев полицейские обычно уходили с ними на запад. Павловский же, служивший где-то под Варшавой, наоборот, оказался почему-то километров на двести восточнее, по эту сторону фронта — каким образом? В то же время я понимал, что его пребывание близ Шиловичского массива за тринадцать часов до выхода разыскиваемого передатчика в эфир могло быть и чистой случайностью.

Меня занимало, чем был так обеспокоен Свирид и почему у себя в хате он отмалчивался, а затем, очевидно, следил за мной, догнал и все рассказал.

Многое относительно Павловского еще требовалось узнать, проверить и уточнить как в Лиде, так и здесь, на месте — безотлагательно. Но сейчас я не мог терять даже минуты: меня ждал лес.

7. ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ БЛИНОВ

На глаза ему попался старый дуб: небольшое дупло таинственно чернело в стволе дерева примерно в метре над головой Андрея. Несколько секунд он стоял, размышляя. «А вдруг?..» Подпрыгнув, ухватился за край дупла, подтянулся и, опираясь кромками подошв о кору, всунул руку — труха, гнилая труха. В тот же миг нога соскользнула, и он сорвался вниз, едва не сломав руку и до крови ободрав запястье.

Если поутру этот глуховатый, ничем не примечательный лес представлялся ему особенным и значительным, представлялся тем самым местом, откуда велась передача, если утром Андрей был полон уверенности и надежд, волновался и ждал, то под вечер с каждым часом он все менее и менее верил, что удастся что-либо обнаружить.

В самом деле, легко ли сыскать среди такого массива следы тех, кто радировал, и почему они должны были наследить — это вовсе не обязательно. И потом — сколь точно определено место выхода: Андрей знал, что действительное положение пеленгуемой рации будет всегда несколько в стороне от предположительно найденного и что погрешности при пеленгации могут иногда достигать нескольких километров.

Более всего его угнетало ощущение своей неполноценности. Если до ранения, в полку на передовой, он был не хуже других командиров взводов, а порой и лучше, то здесь, в группе, он был из троих самый слабый по опыту, умению и, естественно, по результатам. И сколь он ни старался, но, в общем-то, каждый раз оказывался в той или иной степени иждивенцем Алехина и Таманцева, и мысль об этом постоянно удручала его.

Когда солнце склонилось к горизонту, он пошел на восток, чтобы дотемна выйти к Шиловичам, и вскоре забрел на обширную болотину, покрытую мхом, ржавчиной и мелким ольшаником. Выдерживая направление, он продолжал двигаться напрямую, однако ноги вязли все глубже, ржавая гнилая вода заливалась в голенища.

Он мучительно припоминал карту. Болото в этом месте вроде не значилось, или он просто не обратил внимания. Лес виднелся вокруг на одинаковом примерно расстоянии, надо было только решить, как лучше выбраться.

Он осматривался, когда услышал в отдалении две короткие автоматные очереди и тотчас еще одиночные выстрелы, и прежде всего подумал об Алехине и Таманцеве. Не теряя и секунды, он бросился бежать вправо, в ту сторону, где стреляли, с трудом выдирая ноги и проклиная и это болото и свою невезучесть. На ходу он все время прислушивался, ожидая услышать условный сигнал манком: «Необходима помощь!» — однако над лесом снова царил тишина. Что там произошло?.. Ни у Алехина, ни у Таманцева не было с собой автоматов — кто же стрелял первым? Кто и в кого?.. Неужто Алехина или Таманцева подловили, как Басоса?..

Выбиваясь из сил, он достиг окраины болота, почва под ногами стала тверже, сапоги погружались только по щиколотку. За узкой полосой ветвистого ольшаника высились большие деревья. Торопливо продираясь кустарником, Андрей выскочил на крохотную полянку, поросшую осокой, и влево у кустов увидел бьющий из земли родник, обложенный черными, словно обугленными коряжинами, наполовину ушедшими в землю.

Став на колени у бочажка, он припал к воде и жадно пил, одновременно поспешно умывая разгоряченное лицо. Студеная прозрачная вода отдавала болотом и жестоко щемила зубы.

Он выпрямился на коряжине, прислушиваясь, и в следующее мгновение замер от неожиданности... На темной болотной земле, шагах в трех от себя он увидел то, что искал весь день и о чем можно было только мечтать: свежие отпечатки армейских сапог, свеженькие, еще не успевшие выветриться...

8. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ТАМАНЦЕВ

Было около шести; времени до возвращения оставалось немного, и он решил заглянуть к заброшенной смолокурне, находившейся южнее, в каких-нибудь двух километрах. Его тянуло туда с самого утра, наверно, потому, что стоящие отдельно в лесу или пустынном месте строения всегда привлекают.

Трупный запах он почувствовал издалека. Когда же, ориентируясь преимущественно по солнцу, вышел к тому месту, где в прошлые годы курили смолу, смрад разложения стал совсем непереносимым.

Хоронясь за кустами, он несколько минут прислушивался и рассматривал поляну, протекающий по ней ручей и то, что осталось от смолокурни.

Бревенчатые постройки вправо от него были разрушены и частично пожжены; там же торчал дымоход разваленной наполовину смолокурной печи с остатками вмурованного в нее котла. Поручено все это было не теперь, когда проходил фронт, а раньше — остатки строевой и печь успели замшеть и порастить травой.

Влево, ближе к Таманцеву, на высоком крепком фундаменте стояла каменная коробка одноэтажного дома без крыши и без стропил. Внимание его привлекли пустые оконные проемы, вернее прилегающие к ним снизу и по бокам участки стены, густо усеянные щербинами. Что здесь недавно была перестрелка, он отметил еще раньше по следам на кустах и на стволе дерева — судя по срезанным пулями увядшим веточкам и листьям, случилось это дней восемь — десять назад.

В зловонной тишине едва слышно журчал ручей, из леса доносилось негромкое пение птиц, но ни звуков, ни каких-нибудь признаков пребывания здесь или вблизи человека Таманцев не обнаружил.

Под прикрытием кустов он перешел левее, откуда до остова здания оставалось всего метров десять, и в углу, между стеной и крыльцом, увидел раздутый, обезображенный труп немца. На лице трупа, точнее на обклеванном до костей светлом черепе, неподвижно сидел большой иссиня-черный ворон с длинным изогнутым клювом. Веселенький натюрмортик, нечего сказать!

Переложив пистолет из заднего кармана брюк в боковой, Таманцев рывком достиг крыльца и взбежал по ступенькам. При его появлении стервятник недовольно взлетел, а когда он вскочил в здание, с громким карканьем метнулись в окна десятки ворон.

На темном полу среди разного хлама, пустых консервных банок, кусков штукатурки и бесчисленной россыпи стреляных автоматных гильз лежало в различных позах семь трупов — немцы. Все они были без сапог и без кожаных ремней, с обклеванными вороньем черепами и конечностями, двое — без мундиров, а один — без брюк, в грязных-прегрязных подштанниках. Сотни синеватых мух роились на мертвечине.

В соседнем, меньшем по размеру, помещении у окон оказалось еще четыре обезображенных тлением и стервятниками трупа.

Сбродные были фрицы — один в темной, с брюками навыпуск танкистской форме, шестеро в эсэсовском обмундировании, остальные в серовато-мышинном, пехотном. По тысячам патронных гильз — возле оконных проемов они сплошь устилали пол, — по отбитой на стенах штукатурке и расположению трупов можно было предположить, как все это произошло: заняв круговую оборону, они отстреливались жестоко, однако их всех перебили. Автоматно-пулеметным огнем и брошенными сюда гранатами. Приняв в соображение жару и влажность этого места, а также по цвету пятен крови Таманцев определил примерно и возраст трупов — пять — семь суток, не меньше.

От нестерпимого смрада он буквально задышался и с радостью бежал бы в лес подальше, но, коль уж забрел сюда, следовало осмотреть все как положено.

В первом помещении, влево, у окна вытянулись рядом трупы двух эсэсовцев — большой и малый. И остановив взгляд на меньшем, Таманцев по фигуре определил: женщина!

Она лежала спиной вверх, в форменных эсэсовских брюках и офи-

церском мундирчике РОА без погон. От презрения он даже сплюнул и в то же мгновение боковым зрением — уголком глаза — уловил, как на краю поляны против окна шевельнулась ветка куста. Он стремглав пригнулся — тотчас автоматные очереди прошли воздух над его головой. Выставив над подоконником ствол пистолета, он не выгибая выстрелил дважды туда, где шевельнулась ветка. В следующее мгновение он отпрянул в угол, за кафельную печь, чтобы иметь каменные стены за спиной и прикрытые спереди на случай, если сюда бросят гранату. Сколько их и кто они?! По звуку — стреляли из немецких автоматов. С двумя пистолетами и запасными обоймами — дорого же он им дастся! Он ожидал услышать голоса, крики команд, ожидал нападения, а различил лишь шорох шагов, причем удаляющихся.

Очевидно, их было мало и они не решились. Он прополз между трупами к дверному проему, огляделся и спустя мгновение был в кустах с противоположной стороны. Никто не стрелял, и вообще не было слышно ни шороха, ни звука. Не менее минуты он выжидал, потом с пистолетом наготове, оглябая поляну, прокрался к тому месту в кустах, откуда в него стреляли. Здесь в траве полно было гильз от ППШ, не сегодняшних, начавших темнеть, и он не сразу нашел то, что его интересовало: четыре, а затем отдельно еще пять свеженьких гильз от немецкого автомата. Он продолжал искать и дальше в лесу обнаружил на траве и на листьях внизу капли крови. Они были овальной формы с ответвлениями в сторону движения раненного им человека — тот поспешно удалялся от поляны.

Теперь он мог определенно сказать: стрелявших было двое и вооружены они были немецкими автоматами. Одного он ранил, и они скрылись, не пытаясь больше его убить или захватить. Скорее всего он напоролся на каких-нибудь шальных, блуждающих фрицев или же на аковцев.

В первую минуту он решил было преследовать и настичь их, но, взглянув на часы, удержался. Солнце уже спустилось к горизонту, быстро темнело, а обнаружить в густом лесу с наступлением сумерек мелкую группу или одиночного противника чрезвычайно трудно, практически невозможно.

Он возвращался опушкой к Шиловичам, обдумывал происшедшее и мысленно ругал себя. Прослушать их приближение он не мог. Значит, они подошли туда раньше, услышав его шаги, затаились, и он их вовремя не обнаружил. «Кулема!.. Пижон!.. Скотина безрогая!..»

9. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!»

Полякову

На № от 13.08.44 г.

1. Длина рабочей волны передатчика, разыскиваемого по делу «Неман», соответствует одному из диапазонов аковской радиосвязи. К тому же в начале второго перехвата повторяются три одинаковых цифровых сочетания, которые, возможно, расшифровываются как «999» или «555». Наличие этих знаков перед текстом при радиосвязи АК[овцев] с лондонской централью соответственно означает: «оперативный» или «в собственные руки главнокомандующего».

2. Шиловичский лесной массив находится в 140 километрах к западу от места первого выхода радиции в эфир; перемещение передат-

чика соответствует направлению движения остаточных групп немцев, пытающихся лесами пробраться к линии фронта.

Сообщите, учтены ли Вами эти обстоятельства при проведении розыскных мероприятий.

О ходе розыска докладывайте каждые сутки.

Устинов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Москва Устинову

На № от 14.08.44 г.

Обстоятельства, на которые Вы обращаете наше внимание, нами ранее уже учтены и все органы контрразведки фронта по обеим версиям ориентированы.

Поляков».

10. АЛЕХИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

С майором, начальником Лидского отдела госбезопасности, у меня были свои, особые отношения.

Собственно, по закону, без официального в каждом случае запроса, он не имел права сообщать мне какие-либо сведения. Однако мы не раз помогали ему, и не только машиной и бензином, с чем у них было совсем худо; в свою очередь, он старался всячески идти нам на встречу.

Я намеревался при содействии майора хоть что-нибудь узнать о ряде людей, в том числе о Павловском и Свириде. И еще мне хотелось посмотреть следственные дела лиц, арестованных в последние дни и недели в той части района, где находился Шиловичский лес, а может, и побеседовать кое с кем из них.

Как назло, в этот поздний час в кабинете, кроме самого майора, находилось еще его начальство: незнакомый мне подполковник из Барановичей. Я представился и был вынужден в двух словах упомянуть, что интересуюсь Шиловичами и Каменкой.

Услышав это, подполковник поднялся и, расхаживая по кабинету, произнес целую речь. Смысл ее состоял в том, что Шиловичский массив занозой сидит на территории области и что у них нет сил и возможностей очистить, или, как он выразился, «обезвредить», его. Это дело армии, но, мол, нас это ничуть не волнует, поскольку коммуникации фронта проходят в стороне, что же касается жизни района, безопасности местных жителей и властей, то нам, мол, нет до них никакого дела.

Вот так всегда. Армия считает нас органами госбезопасности, а органы считают нас армией.

Он говорил громко и с пафосом, словно выступал на трибуне. Я попал как кур во щи. Он обращался ко мне так, будто я был, по крайней мере, командующим армией и при желании мне ничего не стоило выделить потребные силы (как я прикинул, не менее трех тысяч человек), чтобы «обезвредить» Шиловичский лес.

Я бы многое мог ему сказать, но противоречить в таких ситуациях — пустая трата времени. К тому же мне смертельно хотелось спать.

Он вещал, а я сидел перед ним на табурете, делая вид, что внимательно слушаю, и даже согласно кивал головой; в одном же месте, заметив улыбку на лице майора, я тоже как дурак улыбнулся. Более всего я боялся, что забудусь хоть на мгновение, усну и свалюсь.

Наконец он умолк и, сопровождаемый майором, отправился отдыхать. Я спускался за ними по лестнице, лихорадочно измышляя предлог, чтобы отозвать майора в сторону и переговорить.

Внизу, извиняясь перед начальством, он заскочил в кабинет, где сидел дежурный — румяный усатый капитан с орденом Красного Знамени на гимнастерке. Я вошел следом и, прикрыв за собой дверь, без обиняков сказал, что мне надо чуть позже позвонить начальству по «ВЧ».

— Откроешь ему кабинет, — вешая ключ на доску, приказал майор дежурному.

— И не в службу, а в дружбу, — мгновенно продолжал я, — разреши посмотреть следственные дела.

— Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде, — оборачиваясь, не без ехидства заметил майор и велел дежурному: — Передай Сенчиле, пусть покажет... Только карателей и пособников!.. Ты извини — начальство. — Кивнув в сторону двери, он торопливо сунул мне руку. — Заскакивай завтра.

«Только карателей и пособников!..» И за это спасибо... На большее я и не рассчитывал.

— Минутку. — Удерживая его ладонь, я бесцеремонно загородил дорогу. — Ты на Каменских хуторах горбуна Станислава Свирида знаешь? Чернявый такой... нервный.

— Не знаю, — выдернув руку и обходя меня, сказал майор. — И фамилия не встречалась.

— А Павловского?

— Какого? Один сидит у нас.

— Это старший. — Сам удивляясь своей настырности, я у самого выхода ухватил майора сзади за рукав. — А сын?

— У него два сына. — Открыв дверь, майор проворно ступил через порог и уже из коридора повторил: — Заскакивай завтра...

Немного погодя я сидел в чьем-то пустом прокуренном кабинете и при тусклом свете керосиновой лампы просматривал следственные дела бывших старост, полицаев и других пособников немцев.

В протоколах значились весьма стереотипные вопросы и почти одними и теми же словами фиксировались ответы подследственных. Большинство из них было арестовано еще несколько недель назад. Ничего для нас интересного. Совершенно.

«...Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы выдали немцам семью партизана Иосифа Тышкевича?..»

«...Перечислите, кто еще, кроме вас, участвовал в массовых расстрелах советских военнопленных в Кашарах в августе 1941 года?»

«...При обыске у вас обнаружены золотые вещи: кольца, монеты, бывшие в употреблении зубные коронки. Расскажите, где, когда и при каких обстоятельствах они к вам попали?»

Понятно, они боролись за жизнь, отказывались, отпирались. Тоже довольно однообразно, одинаково. Их уличали свидетельскими показаниями, очными ставками, документами.

Каратели, убийцы, мародеры — но какое отношение они могли иметь к разыскиваемой нами рации и вообще к шпионажу? Зачем они нам? Зачем я трачу на них время?

А вдруг?..

Это «А вдруг?» всегда подбадривает при поисках, порождает надежду и энергию. Но я клевал носом и еле соображал. Чтобы не заснуть, я попытался петь — меняхватило на полтора или два куплета.

Дело Павловского-старшего выглядело точно так же, как и другие: сероватая папка, постановление об аресте, протоколы допросов и далее неподшитые рабочие документы.

Он был арестован как фольксдойче, за измену Родине, однако что он совершил криминального, кроме подписания фолькслиста и попытки уйти с немцами, я так и не понял.

И не только я. За протоколами следовала бумажка с замечанием начальства:

«т. Зайцев. Не вскрыта практическая предательская деятельность П. Необходимо выявить и задокументировать».

Задавался между прочим Павловскому и вопрос о сыновьях, на что он ответил:

«Мои сыновья, Казимир и Николай, действительно служили у немцев на территории Польши в строительных организациях, в каких именно — я не знаю. Никакие подробности их службы у немцев мне не известны».

Вот так. В строительных организациях. А Свирид уверял, что в полиции. На ответственной должности.

Собственно, полицаи и другие пособники нас мало интересовали. Однако меня занимало, что делал Казимир Павловский и двое с ним в день радиосеанса вблизи Шиловичского леса? Как он оказался там? И почему все трое экипированы одинаково, в наше якобы офицерское обмундирование? Для того, чтобы лазать по лесам, это не нужно, более того — опасно. Впрочем, я допускал, что относительно их вида, деталей внешности Свирид с перепугу мог и напутать.

* * *

Минут десять спустя, сидя у аппарата «ВЧ» в кабинете начальника отдела, я ждал, пока меня соединят с подполковником Поляковым.

Я звонил, чтобы доложить о ходе розыска и в тайной надежде, что в Управлении уже получен текст расшифровки или, может, какие-нибудь новые сведения о передатчике с позывными КАО и о разыскиваемых.

Такая надежда в тебе всегда. И вовсе не от иждивенчества. Сколь бы успешно ни шли дела, никогда не забываешь, что группа не одинока, что на тебя работают, и не только в Управлении. Кто-кто, а Поляков не упустит проследить, чтобы делалось все возможное повсюду, в том числе и в Москве.

Наконец в трубке слышался негромкий, чуть картавый голос подполковника, и я весьма отчетливо представил его себе — невысокого, с выпуклым шишковатым лбом и чуть оттопыренными ушами, в гимнастерке с измятыми полевыми погонами, сидевшей на нем свободно, мешковато. Я представил, как, слушая меня, он, сидя боком в кресле, станет делать пометки на листе бумаги и при этом по привычке будет время от времени тихонько пошмыгивать носом как-то по-детски и вроде обиженно.

Я стал докладывать о ходе розыска, рассказал о следах у родника и о том, как обстреляли Таманцева, о разговорах с Васюковым и Свиридом. Во всем этом не было ничего значительного, но он слушал меня не перебивая, только изредка поддакивал, уточнял, и я уже понял — ничего нового у них нет.

— Что делал Павловский и двое с ним в день радиосеанса вблизи Шиловичского леса — это вопрос... — когда я умолк, произнес он. — Как оказался там?.. Значит, так... Павловский Казимир, или Казимеж, Георгиевич, тысяча девятьсот семнадцатого или восемнадцатого года рождения, уроженец города Минска (неточно), по документам предположительно белорус или поляк... Да-а, негусто... Проверим по всем материалам розыска... Теперь, Павел Васильевич, относительно текста...

Генерал только что разговаривал с Москвой. Дешифровки еще нет. И наши бьются пока без результата. Но я надеюсь, что завтра или послезавтра текст будет. А пока дожидайте лес!..

11. В ЛЕСУ У РОДНИКА

Хижняк разбудил их затемно — наскоро позавтракав, они до солнца уже были в лесу.

Все вокруг еще спало предрассветным сном. Они шли узенькой дорожкой, оставляя темные полосы следов на серебристо-белой от росы траве. Таманцев недовольно оглядывался. Впрочем, день обещал быть жарким: сойдет роса и полосы-следы исчезнут. А пока воздух прохладен и полон пахучей свежести, шагать бы вот так налегке и шагать...

Андрею мучительно хотелось заговорить. Ведь вскоре придется разойтись и провести весь день в одиночестве. Но говорить можно лишь о деле (а что ему сказать?), да и то шепотом. «Лес шума не любит», — не раз замечал Алехин.

Спустя полчаса Андрей вывел их к роднику. По ту сторону коряг на темной болотной земле, под кустом, как и вчера отчетливо, виднелись отпечатки сапог. Балансируя на длинной изогнутой коряжине, Таманцев и Алехин присели на корточки и рассматривали следы. Вытянув из кармана нитку с разноцветными узелками, Таманцев промерил длину отпечатка, длину и ширину подметки и каблука. Затем, погнув палец, приложил его к следу: земля почти не липла.

Еще около минуты он разглядывал отпечатки и трогал их, осторожно касаясь краев сильными пальцами.

— Немецкий офицерский сапог. Массового пошива, — выпрямляясь, наконец промолвил он. — Размер соответствует нашему сорок второму. Малоношенные, можно сказать, новые. Индивидуальные дефекты износа еще не выражены. След сравнительно свежий, давностью не более двух суток. Отпечаток случайный: тот, кто пил, отступился или же соскользнул с коряги и наследил. Это человек высокого роста: сто семьдесят пять — сто восемьдесят сантиметров.

— В-в лесу к-кто-то есть, — не выдержав, прошептал Андрей (после контузии он заикался, особенно в минуты волнения).

— Тонкое жизненное наблюдение! — фыркнул Таманцев и, помедля, продолжал:

— Возможно, он был не один. Трава следов не хранит, а здесь они наверняка ступали по корягам. И если бы один не наследил, то ничего бы и не осталось.

— Р-родник не с-слышен и с д-дороги не виден, — обращаясь к Алехину, прошептал Андрей; ему очень хотелось, чтобы обнаруженные им следы оказались результативными и пригодились при розыске. — С-следовательно, з-зайти сюда могли т-только люди, з-знающие лес или б-бывавшие здесь.

— А также тот, у кого есть карта, — мгновенно добавил Таманцев. — Родник наверняка обозначен.

К огорчению Андрея, он оказался прав.

Несколько минут они втроем лазили в мокрой густой траве, осматривали кусты и деревья вокруг родника.

— Мартышкин труд! — сплюнул Таманцев, с неприязнью разглядывая следы. — Вот вам еще фактик! Который тоже ничего не дает и не объясняет. Нужен текст! — убежденно сказал он. — А без текста будем торкаться, как слепые щенята!

— Текст должны сообщить сегодня или завтра, — сказал Але-

хин.— Текст будет! — заверил он.— А пока мы должны отыскать место выхода и установить, кто позавчера был в этом лесу.

— «Должны... Обязаны!» — усмехнулся Таманцев.— Следы-то мы, может, и соберем, а вот людей... Кто они?.. — указывая на отпечатки, спросил он.— Агенты-парашютисты?.. Отнюдь! За три года я не видел ни одного, обутого в новенькие немецкие сапоги. Может, это аковцы?.. Или немцы? А может, просто дезертиры?..

— А-дезертиры с р-рацией?.. — запротестовал Андрей.

— А кто сказал, что у них есть рация?! — ни к кому не обращаясь, холодно осведомился Таманцев.— Лично мне этот след ничего не говорит. Это отпечаток немецкого сапога. Всего-навсего! И не более!..

12. ТАМАНЦЕВ

Жизнь — чертовски капризная штука. Изредка она улыбается, но чаще поворачивается задом и показывает свой характер. Как ни странно, в этот день она нам улыbnулась.

Около часа мы осматривали лес в окрестностях родника. В одном месте, на дороге, Паша разглядел неясные следы сапог. В траве на глинистой влажной земле удалось различить шесть отпечатков подошв. Они оказались идентичными с обнаруженными у родника и той же давности.

И здесь и там были следы одного и того же человека. Очевидно, напившись, он прошел в сторону Каменки или к смолокурне; так мы предположили, посмотрев по карте. Не исключено, что это был один из тех, кто вчера меня там обстрелял. Но здесь-то он, по-видимому, был один. Судя по дорожке следов, он шел деловым шагом, со скоростью пять-шесть километров в час.

Паша решил проследовать в направлении его движения до опушки или даже до Каменки. Расставаясь, я ему еще раз сказал, что нужен текст дешифровки, он поморщился, но промолчал.

Блинов и я отправились на свои участки. Мы разошлись, не подозревая, что несколько часов спустя жизнь улыбнется нам, и как — в тридцать два зуба!

Даже не знаю, что меня дернуло свернуть на ту глухую тропинку. Трудно сказать, что в таких случаях срабатывает — интуиция или верхнее чутье¹¹. Тропка была как тропка, заросшая травой, и я все время усиленно смотрел себе под ноги. Как и вчера, немецкая противопехотная мина с взрывателем нажимного или натяжного действия более всего волновала мой организм.

Удивительно, как в высокой густой траве я ее заметил. Нет, не мину, а обыкновенную ромашку с недавно обломанной головкой, поникшей на стебельке сантиметрах в тридцати над землей. На ходу задев, повредить ее, наверно, мог и зверь, но я все же свернул туда, тем более что различил в кустах слабый просвет. Не сделал и десяти шагов — поляна. Начал ее осматривать и увидел под орешником примятую траву — квадрат размером с плащ-палатку. Я весь напрягся — наверно, такие ощущения бывают у собаки, когда она делает стойку. Я стал обыскивать все последовательно, обшаривать, разводя траву и ветви руками, и минут через двадцать в стороне, за кустами, отыскал огурец — свеженький! Причем надкушенный.

Я отрезал кусочек, пожевал и тут же выплюнул — горький. Поэтому его и выбросили. Да здравствуют горькие огурцы! Да здравствуют следы и улики!

Скинув сапоги и бродки, чтобы не зазеленить, и сунув пистолеты

¹¹ Верхнее чутье (охотничье) — способность собаки улавливать запахи по воздуху, а не по следу.

за ремень гимнастерки, я разбил поляну на сектора и за два с лишним часа пядь за пядью обползал на четвереньках ее всю и кусты под деревьями, по краям. Я растер колени, а левое умудрился ободрать, однако попотел не зря. В высокой густой траве за кромкой поляны я обнаружил второй огурец, тоже надкушенный и, как я тут же убедился, горький, а за кустом, вблизи примятости, обгорелую спичку — свеженькую! — и едва заметные в траве остатки рассыпавшегося пепла.

Это взволновало меня более всего. Следов костра поблизости не было, очевидно, от спички прикуривали или что-либо поджигали. Может, уничтожали листки шифровального блокнота?..

Пепла оказалось с гулькин нос, однако я все же смог определить, что он — увы! — не от бумаги, а табачный: от папиросы или сигареты.

Дорого бы я сейчас дал за тот самый окурочок. Хотя все вокруг было осмотрено, я принялся снова обыскивать поляну..

13. ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ БЛИНОВ

Впереди, за кустарником, он увидел ветхие крыши двух каких-то строений, длинный тонкий журавль и понял, что перед ним один из хуторов и что вышел он к опушке леса раньше чем следовало.

Жажда томила его, он направился к хутору, решив напиться, а затем на час вернуться в лес. Он пробирался кустарником, когда неожиданно там, у строений, хрипло надрываясь, залаяла собака, и сквозь ветви почти одновременно Андрей разглядел старую хату, а чуть правее и дальше, метрах в двухстах от себя, увидел двух военных, подходивших к хутору с противоположной стороны. Он их наблюдал несколько мгновений, успел заметить вещмешок за плечами у одного, и тут же угол хаты скрыл их.

Андрей заторопился, забирая несколько вправо, чтобы, не обнаруживая себя, оказаться с другой стороны хаты, где уже слышались голоса, кто-то дважды прикрикнул на собаку, но она не умолкая лаяла и заглушала слова.

Ориентируясь по замшелой крыше и высокому журавлю, он продвинулся еще и остановился. Подойти ближе не решился — могла учуять собака — и стал выглядывать место для наблюдения.

Он выбрал корявый дуб с толстым стволом и густой развесистой кроной. Высокие кусты вплотную подступали к дереву, окружая его внизу, как цыплята наседку.

Подобравшись орешником к дубу, Андрей без шума вскарабкался на дерево и прильнул к одному из просветов в листе.

Военные, скинув гимнастерки и одинаковые выцветшие синие майки, обливались водой у колодца, перед хатой. Судя по обмундированию, это были офицеры, но в каких званиях, Андрей издали разглядеть не мог. Он поискал глазами вещмешок, но не нашел, наверно, его занесли в хату.

Тут же Андрей увидел хозяина — щупловатого невзрачного мужчину, босого, в темно-серых штанах и рубахе без ремня. С кринкой в руке он появился из погреба и, проходя по двору в хату, прикрикнул на собаку, что, впрочем, не оказало на нее никакого действия.

Старший из офицеров был среднего роста, лет, наверно, сорока, плотно сложенный мужчина с вытянутым носом на приметном совершенно круглом лице и несколько коротковатыми ногами. Младший — юноша, немного выше ростом, худощавый, на вид лет двадцати, со светлыми, зачесанными назад волосами.

Они с заметным удовольствием плескали водой в лицо, терли шею, плечи, о чем-то негромко разговаривая, — ни одного слова Андрей не разобрал. Собака — рослая кудлатая псина, посаженная на цепь у

конуры, возле амбарчика,— время от времени лаяла, но уже без прежней злобы, а так, по обязанности.

Еще раз появился хозяин, прошел в сарай и вскоре вернулся, неся миску с яйцами. Офицеры вслед за ним ушли в хату, и Андрей принялся рассматривать хутор.

Приземистая захудалая хата с полусгнившей драночной крышей, низковатой дверью и тремя небольшими окошками на фасадной стороне.

Рядом находились: погреб с просевшей погребницей, бревенчатый амбарчик, сарай с покосившимися воротами, а за ним — десяток низкорослых яблонь.

И постройки и ограда изрядно потемнели от старости, крыши сквозили дырами; все выглядело запустело и неприглядно.

Справа метрах в трехстах за деревьями виднелся еще хутор, откуда вроде и появились офицеры.

«Кто они?.. Зачем пришли?.. Какие отношения у них с хозяином?..» — размышлял Андрей; во внешности офицеров, в их поведении не было, пожалуй, ничего, что могло бы внести ясность в эти вопросы.

Прошло добрых полчаса, из хаты никто не выходил, и он по-прежнему сидел на дереве. От соседнего хутора доносилось негромкое пение — заунывно-жалостный девичий голос:

Ты ж мая, ты ж мая пирапелка...

Жажда мучала его, руки и ноги совершенно онемели. Желая переменить положение, он переступил ногой, гнилой сук обломился, и Андрей чуть не сверзился — едва успел ухватиться одеревеневшей, дрожавшей от долгого напряжения рукою за ветвь над головой. Он тотчас замер, но собака услышала треск и залилась хриплым яростным лаем.

Она не умолкала и рвалась на цепи в том направлении, где на дереве сидел Андрей, даже когда вышел хозяин. Он сказал ей что-то, однако она продолжала лаять и рваться.

Только тут Андрей сообразил, что ветер тянет от него к хате, что собака почуяла чужого и теперь не успокоится. Не хватало еще, чтобы его обнаружили! Он увидел, как хозяин нагнулся у конуры, возможно, собираясь отомкнуть цепь. Андрей буквально свалился с дерева и бросился к опушке в сторону Шиловичей...

14. ТАМАНЦЕВ

Я потратил еще около часа, пытаюсь найти окурочек, однако безуспешно.

Я мог определенно сказать, что не так давно, судя по всему — позавчера днем, здесь побывали два или три человека, сидели, курили и закусывали. Причем это стреляные воробьи и весьма осторожные. На месте пребывания они не оставили ни клочка бумаги, ни окурочка, ни следов пищи. Оказавшиеся несъедобными огурцы брошены далеко, за край поляны, а обгорелая спичка сунута в густой мох за кустом — обнаружить их без тщательного обыскивания практически невозможно.

Такая предусмотрительность укрепила меня в мысли, что те, кто был здесь, старались не наследить, и более того — зародила надежду, что я наткнулся на место выхода рации в эфир. Хотя от этой поляны до треугольника ошибок¹², определенного при пеленгации слезечными станциями, было не меньше километра.

¹² Треугольник ошибок — треугольник, образуемый синхронно точками пересечения слезечных пеленгов на искомый передатчик.

По обыкновению, я попытался смоделировать действия этих людей и «развернул» рацию, предположив, что передатчик находился там, где примята трава. Скинув опять сапоги, я облазил деревья на краю поляны к западу и северо-западу от этого места, с особым вниманием осматривая ветви от нижних до самой вершины, но при всем старании никаких следов забрасывания антенны так и не нашел.

А если мои предположения ошибочны и у тех, кто позавчера побывал здесь, не было с собой никакой рации? Я стоял босой посреди поляны, побуждая свои извилины к усиленной мозговой деятельности.

Я понимал, что из огурцов, спички и примятости на траве шубы еще не сошьешь. Пока что все это — фактики в мире Галактики! А она велика и бесконечна...

В раздумье я остановил взгляд на двух высоких орешинах и дубке шагах в пятнадцати от примятости. На них я не лазил — не выдержали бы, да и росли они в стороне от «раскинутой» мною антенны.

Не без труда пригибая, я стал по очереди осматривать их и на второй орешине на высоте метров четырех в углублении развилки двух верхних ветвей увидел то, что искал: повреждение коры, свежий след — как пропилено — забрасывали проволочную антенну с грузиком, а потом стягивали.

В таком огромном глухом массиве силами всего лишь трех человек обнаружить на вторые сутки место выхода рации в эфир — все равно что углядеть иголку в стоге сена. Или выиграть сто тысяч по лотерейному билету. Мысленно я себе аплодировал; от радости мне хотелось хлопать себя по ляжкам и кричать: «Я самый великий!»

Эмоции эмоциями, а дело делом. Достав один из манков, я прилачился и, подражая голосу самки рябчика, засвистел:

— Ти-уу-ти... Ти-уу-ти... Ти-уу-ти...

Выждав с полминуты, повторил зов, и тут же в отдалении послышались ответные клики самца:

— Тии-тии-тиу-ти... Тии-тии-тиу-ти...

Наши условные сигналы означали примерно: «Желательно ваше присутствие», «Иду» — приняв мой зов, капитан уже двигался ко мне через лес. Судя по звуку, он находился от меня километрах в двух.

Пока он шел, я продолжал поиски. Под кустами при выходе на тропу я разглядел на земле крупинки махорки и толченого перца — присыпали следы — и снова отметил осторожность и предусмотрительность побывавших здесь людей. Я ползал на четвереньках в лопушистой траве, выбирая крупинки; время от времени я подавал манком сигналы, чтобы капитан мог на ходу уточнять направление движения.

Раньше Паши, к моему удовольствию, появились настоящие рябчики: старый и два молодых петушка, ладные, с красивыми пепельно-серыми хвостами. Перелетая с дерева на дерево, они достигли края поляны и, обнаружив человека, мгновенно исчезли.

Паша даже не пытался скрыть свою радость. Не говоря ни слова, я показал ему примятость, спичку и огурцы, а затем пригнул орешину; он увидел пропил на коре и не удержался — обнял меня. Такое за ним не водилось, и я это оценил.

— Ну а дальше? — шепотом осведомился я.

Мы обшарили все вокруг, облазили кусты и все тропинки в радиусе не менее пятисот метров, однако ничего больше не нашли. Словно те, кто вел передачу, не ступали затем по земле, а поднялись в воздух или вообще растворились. Теоретически якобы невозможно не наследить, но это только теоретически...

Я знал, что сегодня же к ночи в Москве станет известно, что в таком-то лесном массиве, большом и непроходимом (это отметят непременно), мы отыскиали место выхода рации в эфир, и в сообщении,

должно быть, упомянут и мою фамилию. Это, разумеется, приятно, ну а дальше?..

По существу, имелось с десяток вопросов, на которые мы должны были бы теперь ответить. Однако на три из них, пожалуй основные, мы не могли бы сказать ничего определенного:

откуда пришли и каким путем ушли те, кто вел передачу?
 сколько здесь было человек (два или три?) и, главное, кто они?
 откуда и кто мог их видеть на подступах к лесу?

Усталые и голодные, мы молча возвращались под вечер к Шилевичам. Мы были чисты перед начальством и перед Москвой — как ангелы. Но проку пока что от этого — шиш да кумыш!

15. ПРИДЕТСЯ ИХ УСТАНАВЛИВАТЬ...

Не доходя Шилевичей, Андрей свернул от опушки влево, где над рощицей поднимался легкий дымок. Вскоре сквозь кустарник он различил укромную полянку, почерневший котел над костром и дюжью фигуру Хижняка с поварешкой в руке. На траве возле костра стояли наготове чистые алюминиевые миски. Ни Алехина, ни Таманцева еще не было, и Андрея это весьма огорчило.

Уходя от хутора, он спешил сюда, чтобы сообщить об офицерах, а дальше, как он надеялся, все делалось бы по усмотрению Алехина или Таманцева. Сам Андрей при всем желании не мог определить, в какой степени эти офицеры представляют интерес и следует ли ими заниматься. Однако Алехин и Таманцев еще не вернулись, и получалось нескладно.

Взяв в машине бинокль, Андрей вышел кустами к всполью и улегся под орешинной. Прямо перед ним широкой полосой расстиралось несеяное поле, вправо было видно шоссе, слева — опушка леса.

По шоссе время от времени проезжали машины, груженные боеприпасами, ящиками и мешками с продуктами. Тупорылый тягач медленно буксировал громоздкое артиллерийское орудие; потом со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк.

Лежа под кустом, Андрей в бинокль разглядывал двигавшихся по шоссе солдат. В полном боевом снаряжении, обвешанные автоматами, малыми саперными лопатками, поясными сумками и с вещмешками за спиной, они шагали рота за ротой, колоннами по четыре, мерно и неторопливо.

Где-то они будут через неделю?.. За Мариамполем, у Шауля или, может, под Сувалками?..

Андрею вспомнился родной гвардейский полк, в котором он провоевал около года и где знал чуть ли не всех офицеров, многих сержантов, солдат; вспомнились бойцы его, Андрея, взвода. Где они сейчас?..

«Теперь бы идти да идти... На запад!.. А здесь?.. Ищи да собирай окурки...»

Тоскливая грусть овладела Андреем. Последняя повозка полкового обоза скрылась за поворотом, и шоссе на время опустело, а Андрей в печальном оцепенении все лежал, опустив бинокль и устремив глаза вдаль...

Он очнулся, слышав на поляне голоса Алехина и Таманцева, и оглянулся. Таманцев подходил к костру быстрой упругой походкой так легко и бодро, словно весь день отсыпался где-то неподалеку и, только что проснувшись, поспешал к ужину. Андрей подумал, что Таманцев сейчас или после ужина будет еще обязательно не менее полу-

часа тренироваться в силовом задержании, в «качании маятника», в различных прыжках, финтах и перебежках, будет до третьего пота вырабатывать суплес¹³, и Андрей с особой силой ощутил свою неполноценность.

Надо было подняться и подойти. Высвобождая занемевшую руку, Андрей перевалился на бок и при этом невольно повел взглядом влево. По полю от леса к шоссе, шагах в двухстах от Андрея, шли двое. Андрей машинально поднес бинокль к глазам и замер от неожиданности, а в следующий миг отодвинулся за орешину: это были те самые офицеры, которых он видел час назад на хуторе у опушки леса. При чем — он заметил это сразу — вещмешка у них не было!

— Т-товарищ к-капитан, сюда! — оборотясь, взволнованно позвал Андрей. — Б-быстрее!

Алехин подошел и, взяв протянутый ему бинокль, стаа за кустом возле Андрея; тотчас здесь же оказался Таманцев.

Офицеры со сложенными плащ-палатками в руках шли по полю, о чем-то переговариваясь. Андрей торопливо рассказывал, как увидел их на хуторе, как залаяла собака и он был вынужден ретироваться. Трижды он упомянул о вещмешке.

— Кто же подходит к собаке с подветренной стороны?! Кулема!.. — сплюнул Таманцев. — Выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта, — предположил он, переступая между орешинами и осторожно отклоняя ветвь рукой.

В это мгновение шедший справа коренастый капитан обернул свое круглое лицо в сторону деревни, и Алехин в бинокль, а Таманцев своими дальнорезкими глазами смогли его разглядеть.

— Я его, кажется, видел в Лиде, — проговорил Алехин неуверенно.

— Век бы их не видеть! — с чувством сказал Таманцев. — Я жрать хочу, понимаете, жрать! А теперь придется их устанавливать!

Он был прав. Алехин молча смотрел в бинокль. Офицеры находились уже метрах в пятидесяти от шоссе.

— Чего думать-то?! — раздувая ноздри, нетерпеливо и с недовольством воскликнул Таманцев. — Надо ехать за ними!

Выйдя к шоссе, офицеры перепрыгнули кювет и стали на ближней к разведчикам обочине, судя по всему, намереваясь остановить попутную машину. Наблюдая за ними в бинокль, Алехин еще несколько секунд молчал.

— К машине! — наконец приказал он. — Едем.

Таманцев и Андрей бросились сквозь кустарник к полуторке. Хижняк, ничего не подозревая, с поварешкой в руке стоял у костра и мурлыкал что-то под нос.

— Готово, — не оборачиваясь сообщил он.

— Моторы! — скомандовал Таманцев. — Выезжаем!

Откинув задний борт, он и Андрей поспешно вбрасывали вещи в кузов. Хижняк некоторое время смотрел не понимая, затем подбежал к машине запустил мотор и, быстро вернувшись, в растерянности стал у костра. Таманцев, оттолкнув его, ухватил котел и решительным движением вылил всю жирную дымящуюся жидель на огонь.

— Бульон!

— К черту! — выругался Таманцев, заливая костер водой. — По местам!

Скользя меж кустами, он бросился к всполью — спустя полминуты выбежал и сообщил Андрею:

¹³ Суплес — гибкость тела. Вырабатывается специальными тренировочными упражнениями, способствующими увеличению подвижности позвоночника и эластичности межпозвоночных хрящевых дисков, всего суставно-связочного аппарата и мышечной системы.

— Они сели на машину! «ЗИС» И-1-72-15...

Вслед за ним из орешника выскочил Алексин. Таманцев и Андрей как по команде разом полезли в кузов.

— Останешься! — приказал Таманцеву капитан. — Осмотри дорожку следов: на пашне должны быть хорошие отпечатки... Связь в городе через коменданта...

Он впрыгнул в кабину, крикнув Хижняку:

— В Лиду!

16. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!»

Егорову

Спецсообщение

Сегодня, 15.08.44 г., на рассвете оперативно-войсковой группой отдела контрразведки армии был скрытно окружен хутор Залески (18 км северо-западнее города Лиды) с целью изъятия подпольной радиостанции АК и ареста содержателей передатчика Святковских Витольда и Янины, вывешенных нами по связям с отрядом «Рагнера».

При появлении наших офицеров (пог предложением покупки мо- лока) Святковские вместе с третьим аковцем Юзефом Новаком, состоящим якобы в одной с ними террористической, так называемой «ликвидационной» группе, заперлись в доме, уничтожая компрометирующие улики, а затем оказали ожесточенное сопротивление. В результате Святковская и Новак были убиты, а Святковский подорвал себя связкой противотанковых гранат.

В развалинах дома обнаружены: две сильно поврежденные и обгоревшие рации — аппарат английского производства типа АП-4 выпуск 1943 г. и коротковолновый приемник типа КС-1. В разбитом зеркале-тайнике найдены старые кодовые таблицы и два неначатых оперативных журнала для фиксации данных о связи (позывные, волны, слышимость) и количестве принятых и переданных корреспонденций.

Большую часть документов Святковским и Новаку удалось уничтожить. Собрать цельный пепел для восстановления текста не представлялось возможным.

При раскопках у задней стены амбара обнаружен тайник, из которого нами изъят: ящик с радиодетальями и запасными батареями для раций и три комплекта советского военного обмундирования, из них один — офицерского состава, с пятнами крови на груди и на правом плече.

По имеющимся у нас проверенным данным, 12 и 13 августа Святковские отсутствовали, и дом их пустовал. Не исключено пребывание Святковских 13 августа в час радиосеанса передатчика с позывными КАО в районе Шиловичского леса, находящегося в зоне действий отряда «Рагнера», всего в тридцати километрах от их дома-хутора Залески...

Понтрягин».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Понтрягину

Примите все меры, чтобы установить, где находились Святковские 13 и 7 августа сего года во второй половине дня.

Особый интерес для нас представляют сведения о радиошифре, которым они могли пользоваться, а также режим и любые подробности радиопередачи.

Егоров».

17. В ЛИДУ!

Когда Хижняк проулком выехал на шоссе, трехтонный «ЗИС», на который сели двое офицеров, уже скрылся из виду.

Стрелка на спидометре полуторки дрожала между цифрами «сорок» и «пятьдесят»: скорость для булыжного покрытия немалая, но, как казалось теперь Андрею, все же недостаточная. Алехин откинулся в угол кабины и, обернув бинокль платком, прижал к глазам. У следующей вёски он смог хорошо рассмотреть ехавший далеко впереди «ЗИС».

Это была потрепанная трехтонка со слабо различимым на заднем борту номером И-1-72-15. Кроме молодого офицера (круглолицый капитан сел в кабину), в кузове машины ехало человек семь гражданских, судя по одежде, крестьян, и двое солдат. Кусок заднего борта с левой стороны вверху был выломан: «Приметная машина!»

Вскоре у одной из деревень «ЗИС» остановился; было видно, как крестьяне снимали мешки с машины, а затем, сгрудясь у кабины, расплачивались с водителем. Хижняк, чтобы сохранить дистанцию, вынужден был притормозить, и сейчас же колонна «студебеккеров», с десятком автомашин, обогнала «газик» и поехала перед ним. Это разведчиков никак не устраивало: между полуторкой и «ЗИСом» с обломанным бортом должно было быть — для прикрытия — не более двух-трех машин.

— Обгоняй! — приказал Алехин.

Хижняк поочередно обогнал несколько грузовиков; перед «газиком» теперь катил кургузый «виллис». Хижняк сигналом трижды просил принять вправо, однако шофер «виллиса» продолжал ехать как ехал. Обсаженная с обеих сторон деревьями дорога была довольно узка, что затрудняло обгон, а в данном положении делало его совсем невозможным. И все же, выбрав удобный момент, Хижняк в нарушение всех правил пошел на обгон с правой стороны и поравнялся с «виллисом»; какое-то мгновение машины неслись рядышком бок о бок. Сидевший подле шофера усатый майор-танкист что-то негодуяще прокричал и погрозил Хижняку кулаком. Хижняк не обратил на это внимания, но «виллис» выскочил вперед, и шофер, очевидно по приказанию майора не уступая дороги, снова катил по самой середине. Сквозь заднее стекло кабины Андрей видел, как Хижняк, возбужденно размахивая рукой, говорил что-то Алехину. Как и большинство опытных шоферов, Хижняк не терпел быстрой езды, а тем более гонки по неровной дороге; обычно спокойный и несколько флегматичный, он в таких случаях, распаясь, выходил из себя и ругался на чем свет стоит.

До Лиды оставалось четыре километра.

Впереди на переезде путеобходчица, приземистая женщина в выгоревшем ситцевом платке и старых сапогах, опускала полосатый шлагбаум.

«Виллис» рванулся и проскочил под перекладной, которая все опускалась. Хижняк и Алехин закричали из кабины в один голос, женщина обернулась, у нее было красное, с очень светлыми бровями, сонное лицо. Алехин пулей вылетел из машины, вырвав у нее веревку, толкнул шлагбаум кверху, и под оглушающе-тревожный гудок паровоза полуторка, подпрыгнув на рельсах, перескочила полотно.

Далеко впереди завиднелись освещенные неярким вечерним солнцем окраины Лиды.

Хижняк быстро нагнал «виллис» и опять засигналил; маленькая кургузая машина, по-прежнему не торопясь, упрямо ехала по самой середине. Дорога стала пошире, и Хижняк, решившись, неожиданно резко прибавил скорость и по самой обочине, чуть не слетев в кювет, впритирку обошел «виллис».

Теперь ему ничто не мешало, и он гнал вовсю. Перед полуторкой мчались грузовые машины, впереди них время от времени был виден «ЗИС» И-1-72-15; в кузове на скамье у самой кабины в профиль к разведчикам сидел молодой светловолосый офицер.

На контрольно-проверочном пункте при въезде в город по обе стороны шлагбаума скопилось десятка три машин. Девушки-регулировщицы проверяли у водителей проездные документы и пропускали машины поочередно с той и другой стороны. Полуторка остановилась, между ней и «ЗИСом» с обломанным бортом было шесть грузовиков. Хижняк сразу вылез и пошел вокруг полуторки, осматривая и обстукивая баллоны ногой; Алехин, соскочив на обочину, разглядывал, что делается впереди.

Из подъехавшего «виллиса» с грозным видом вылез усатый майор; он был еще молод, лет двадцати шести.

Похлопывая себя прутом по голенищу хромового сапога, он властно и нетерпеливо крикнул Хижняку:

— Сержант, ко мне!..

Хижняк вопросительно посмотрел на Алехина.

— Садись за руль,— приказал Алехин, и Хижняк, пригнув голову, втиснулся в кабину.

— Капитан, идите сюда! — весь красный от бешенства, вскричал майор.

Алехин подошел и отдал честь.

— Да как вы смеете...— задыхаясь, проговорил майор,— обгонять легковую машину... старшего по званию!..

Алехин молча достал и показал ему свое служебное удостоверение, вернее, обложку с вытисненной надписью «Контрразведка „Смерш“».

— Но я же не знал,— произнес майор растерянно.— Поверьте, товарищ капитан, не знал...

— А вам и нечего знать,— вполголоса заметил Алехин.— Есть правила движения, обязательные для всех, и надо их соблюдать...

Козырнув, он пошел вперед и догнал полуторку — машины медленно одна за другой подвигались к шлагбауму.

— Уйдут... т-товарищ капитан! — не выдержал Андрей.

— Не подымайся в кузове,— велел ему Алехин и быстро направился к дощатой будке КПП; он понимал, что, пока проверят шесть передних грузовиков, «ЗИС» будет далеко.

Андрей видел, как Алехин зашел в открытую дверь. Спустя какие-то секунды у водителя «ЗИСа», за которым они следили, проверили документы, и машина тронулась от шлагбаума.

— Выворачивай влево! — приказал Андрей Хижняку.— Живо!

Хижняк выехал влево и умудрился рывком проскочить к шлагбауму, но уже двинулась встречная машина, и он вынужден был затормозить, успев, однако, в последнее мгновение вывернуть вправо так, что полуторка стала наискось, загородив дорогу. Сержант-регулировщица с загорелым, ставшим от злости некрасивым лицом, размахивая флажком, бросилась к полуторке.

— Куда?! Куда прешься?..— охриплым голосом кричала она.

И спереди и сзади яростно сигналили; слышались бранные выкри-

ки возмущенных шоферов. Хижняк, приоткрыв дверцу, ступил ногой на подножку и, не снимая руки с крестовины руля, высунулся из кабины, осматриваясь. В эту критическую минуту появился Таманцев — он только что подъехал на попутной машине. Ни о чем не спрашивая, он обежал полуторку и рванулся к встречной машине.

— Назад!.. Назад осаживай! — сделав свирепое лицо, зычным голосом заорал он на водителя и нагло представился: — Военный автоспектор!.. Ты что делаешь?! Назад осаживай!..

Рябой старшина, водитель встречного «ЗИСа», несколько оторопел от такого натиска, начал было оправдываться, но Таманцев, распахнув дверцу кабины, решительно отодвинул его и, сам вскочив за руль, пророчно откатил машину назад и вправо, к самому кювету.

Меж тем регулировщица, став перед полуторкой, ругала Хижняка, несомненного виновника затора, к тому же не желавшего осаживать назад, за обочину, на арестную площадку, как она требовала.

— Не шуми! У меня нет заднего хода! Понимаешь, нету! — умоляющим басом клялся Хижняк, грязной тряпкой утирая пот с лица. — Ну не ори. Сейчас разъедемся... И зачем вас на войну берут?! Тьфу, дьявол! — в сердцах сплюнул он.

Из дощатой будки к шлагбауму уже спешили Алехин и массивная, злая начальница КПП.

— Пропусти их! — дожевывая на ходу, закричала она регулировщице.

...Домчать до поворота и, почти не сбрасывая скорости, развернуться вправо, куда скрылся «ЗИС», было для Хижняка делом одной минуты, но впереди... впереди не было видно ни одной машины...

— Прямо! — приказал Алехин.

Полуторка пронеслась по улице несколько кварталов, и вот на одном из перекрестков на параллельной улочке промелькнул «ЗИС» с военными в кузове. Хижняк тормознул так, что Андрея и Таманцева с силой прижало к переднему борту, и тотчас стал разворачиваться назад, но Таманцев, перегнувшись в кабину, закричал:

— Это не та машина!

Полуторка остановилась; Алехин вылез на подножку, росинки пота блестели у него на лбу.

— Р-развернемся влево, — посоветовал Андрей нерешительно, — п-проскочим назад, мимо базара и к с-станции.

— Наши армейские сапоги, — сказал Алехину Таманцев, — сорок первый и сорок второй размеры, массового пошива, широкой колодки... Ношенные, с выраженными индивидуальными признаками... С теми отпечатками, что у родника, разумеется, ничего схожего... Но установить их все равно придется, — имея в виду офицеров, заметил он. — С нас потребуют!.. Что же касается машины, полагаю, что «ЗИС» с фронтального продсклада. Знаете, возле станции огороженные штабеля?

— И мне так думается, «зисок» с продсклада, — не совсем уверенно вступился Хижняк.

— Что же ты раньше молчал?

— Ручаться не могу. И вам ведь люди нужны, а не машина, — сказал Хижняк понимающе. — А они, может, сойдут, и тогда...

— Разворачивайся! На склад!

18. НА ФРОНТОВОМ ПРОДСКЛАДЕ

Как только машина подъехала к территории склада, Таманцев на ходу перевалился через борт и, пока Алехин, выйдя из машины, объяснялся у въезда с часовым, прошмыгнул в ворота.

На большой ровной площадке под брезентами, штабелями ящиков, бочек и мешков были сложены различные продукты. Все вокруг находилось в движении: шофера и кладовщики, этот беспокойный полустроевой люд, более чем кто-либо исполненный сознания своей значительности и необходимости на войне, получатели из частей и солдаты в перепачканных мукой гимнастерках, что таскали ящики и мешки на весы, грузили в автомашины. В правом углу, у изгороди из колючей проволоки, с враждебной настороженностью уставилось стволом в небо зенитное орудие.

Возле штабеля мешков с мукой, у вереницы машин, ожидавших очереди на погрузку, Алехин разыскал начальника склада, пожилого майора, толстого, с большим выступающим животом, однако на редкость подвижного и энергичного. Узнав, что Алехин из контрразведки, он, оставив дела, провел его в просторную землянку, где помещался штаб склада, попросил двух сержантов-писарей выйти и только тогда, усевшись сам и усадив Алехина, спросил, что его интересует.

— «ЗИС» И-1-72-15 ваша машина?

— И-1-72-15?.. Моя. А что случилось?

— Пока ничего,— успокоил Алехин.— Она только что вернулась со стороны Алитуса: очевидно, из Мариамполя или же Каунаса. У нее еще сзади выломан кусок борта.

— В Мариамполь машина ходила. Какая — точно не скажу. И насчет борта не знаю: транспортом ведает мой заместитель... Сейчас выясним,— пообещал майор и поднялся.

— А шофера вы знаете?

— И-1-72-15?.. Борискин... Откровенно говоря, знаю его мало. Он у нас недавно, месяца два... Но плохого ничего сказать не могу. Шофер как шофер.

— Мне бы хотелось побеседовать с ним. И посмотреть книгу учета личного состава. Только чтобы без шума,— попросил Алехин.

— Понятно.

Выйдя из землянки, майор что-то сказал одному из писарей, затем вернулся и, по армейскому обыкновению, спросив Алехина, не хочет ли он поесть, молча принялся рыться в стареньком канцелярском шкафу. Он, как видно, был нелюбопытен, лишних вопросов не задавал; во всех его действиях чувствовалась спокойная деловитость, и Алехин не мог это не оценить.

В дверь постучали.

— Войдите!

— Товарищ майор, ефрейтор Борискин по вашему приказанию прибыл...

Алехин увидел перед собой невысокого худого блондина с темными хитроватыми глазами на бледном невымытом лице. На Борискине были грязные, промасленные шаровары и гимнастерка с солдатскими погонями, а на ногах старые, с порывевшими голяшками хромовые сапоги; он быстро перевел взгляд с майора на незнакомого капитана и, по-видимому не ожидая для себя ничего хорошего, сразу насторожился.

— Садись,— предложил майор.

— Ничего... постоим.— Борискин снова быстро посмотрел на Алехина.

— Ты когда борт обломал?

— Это прошлой ночью на разгрузке. Я не виноват! «Студер» задним ходом разворачивался и врезал. А я тут ни при чем. Я докладывал помпотеху...

— Ладно. Проверю... Вот капитан хочет с тобой побеседовать.— Майор кивнул в сторону Алехина.

— Это насчет чего? — прищурился Борискин.

— Узнаешь, — сказал майор и, склонившись к уху Алехина, шепотом спросил: — Мне уйти?

— Почему? Оставайтесь... Садитесь, ефрейтор, — предложил Алехин, и Борискин уселся на табурете шагах в трех от стола.

Алехин как можно непринужденнее задал ему несколько общих вопросов: откуда родом, кого из родственников имеет, с какого времени в армии, доволен ли службой в части, много ли приходится ездить, куда и с каким грузом.

Борискин отвечал не спеша и довольно лаконично, с какой-то настороженностью обдумывая каждое слово и избегая при этом **смотреть** Алехину в глаза.

— Сегодня куда-нибудь ездили?

— Ездил... В Мариамполь. Мешки возил... Вот маршрутный лист.— Борискин с готовностью достал из кармана гимнастерки сложенный вчетверо помятый листок бумаги и, развернув, положил на стол **перед** Алехиным.

— А кто еще сегодня ехал на вашей машине?

— Как кто? Никто.

— Может, подвозили кого-нибудь?

— Нет! У нас это не положено. Продуктовая машина! Порожнем разве когда офицера подвезешь, и то своего, из начальства. А гражданских ни-ни!.. Насчет этого бдительность...

Он говорил так убедительно, что можно было ему поверить. Возможно, если бы Алехин своими глазами не видел, как Борискин вез на машине людей и получал деньги с крестьян.

Майор между тем отыскал в шкафу большую тетрадь в картонной обложке, став спиной к Борискину, разложил ее на столе, полистал и прочел что-то такое, отчего в лице его выразилось удивление. Сделав какую-то пометку, он пододвинул тетрадь Алехину; капитан уже догадался, что это форма четыре — книга учета личного состава.

Продолжая разговаривать с Борискиным, Алехин прочел: «...Водитель... ефрейтор... Борискин Сергей Александрович, 1912 г. р., б/п... образование 4 класса, в плену и под оккупацией не был... В 1936 году судим по ст. 162-й¹⁴ п. «д» на 5 лет... Награды: медали «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы».

Отметку о судимости майор отчеркнул сбоку карандашом. Когда Алехин, просмотрев запись о Борискине, глянул на майора, тот, колыхнув грузный живот, понимающе вздохнул.

— Значит, сегодня вы никого не подвозили? — продолжал Алехин.

— Нет!

— Никого за всю дорогу?.. Припомните получше.

— Чего тут припоминать-то, — обидчиво сказал Борискин. — Один ехал — зачем мне врать?

...Чего от него хотят, он не мог понять, предположил же сначала совсем иное.

Уже несколько лет он был в основном чист на руку, но сегодня на рассвете перед поездкой в Мариамполь, как на грех, **не** удержался и, когда кладовщик отвернулся, сунул в кузов под мешкотару **коробку** с американским пиленым сахаром. Сделал он это не оттого, что **его** тянуло украсть или выпить (страдая желудком, он пил редко и мало),

¹⁴ Статья 162 УК РСФСР того времени предусматривала уголовную ответственность за хищение имущества.

а просто потому, что кладовщик этот, с шоферами и солдатами беспринципно грубый, перед начальством лисил, имел славу бабьего угодника, частенько выпивал и ходил в офицерском обмундировании — словом, преуспевал. Сахара же у него было несколько вагонов, и, по понятиям Борискина, он не мог не воровать.

И вот стоило после стольких лет праведной жизни украсть, как его попутали! — так он решил, когда вызвали к начальнику склада; он был уверен, что Алехин из военной прокуратуры. Попался! И как же это могло получиться?.. Видеть его никто не видел, в этом он не сомневался, сахар же был продан барыгам в Мариамполе, а оставшиеся грамм двести, завернутые в тряпочку, спокойно лежали в кабине под сиденьем. И неужто дознались, он и придумать не мог, как не мог понять, какое отношение к краже сахара имеют вопросы этого капитана; Алехин казался ему прожженным хитрецом: «Издали подъезжает!»

Подвозить же по пути пассажиров запрещалось, а калымить тем более — по головке за это не гладили, — и Борискин все отрицал, сразу решив, что признаваться не следует. И, начав врать, он врал все дальше. А вежливость Алехина, та самая вежливость, которой Борискину в жизни перепали жалкие крохи, еще более настораживала его.

Алехин же старался уяснить себе, почему Борискин лжет — с какой целью? Он с самого начала полагал, что неизвестные офицеры были случайными пассажирами машины И-1-72-15, и Борискин интересовал Алехина только как источник получения хоть каких-либо сведений об этих офицерах для их дальнейшего розыска.

Алехин еще минут десять бился с Борискиным, а тот упрямо врал, пока не начал смекать, что дело тут не в сахаре, а в чем-то другом, а поскольку он себя больше ни в чем существенном виновным не чувствовал, он помалу успокоился и стал несколько откровеннее. Однако сознаться во лжи было не так-то легко.

— Послушайте, Борискин. — Алехин поднялся и, улыбаясь, подошел к шоферу. — Вот вы утверждаете, что сегодня никого не подвозили. Так ведь?.. — весело спросил он, наблюдая за выражением лица Борискина. — Так!.. Однако не более как полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое офицеров..

Борискин посмотрел на Алехина, словно припоминая, озабоченно сдвинул брови и закусил губу, затем уставился глазами в землю и, почесывая затылок и стараясь скрыть некоторую растерянность, проговорил:

— Обождите, обождите... Ах да! — вдруг радостно воскликнул он, поднимаясь, и облегченно заулыбался. — Точно! Совсем забыл!.. По дороге попросились двое, и я их подвез. И чего тут плохого? Что ж им, пешедрала топать?

— Пешедралом скучновато, — согласился Алехин, угощая папиросой повеселевшего Борискина и закуривая сам, — хорошие знакомые?

— Не. Я их не знаю!.. Гад буду, товарищ капитан, — приложив руку к груди и глядя Алехину в глаза, поклялся Борискин. — Попросились, я и взял. Пожалел!..

— Кто они и откуда, не говорили?

— Нет. Да я и не спрашивал: мне это ни к чему. Ссадил их возле комендатуры — вы же видели... Один капитан, в годах уже, лысый. Обходительный такой, газеты мне еще на курево дал. — Борискин зашарил руками по карманам и, усмехаясь, поинтересовался: — Они небось натворили чего?.. А другой молоденький, лейтенант; у него еще слева фикса, ну, зуб золотой... Через эту жалость одни неприятности... Знал бы такое дело...

19. ВЕЧЕРОМ И НОЧЬЮ В ГОРОДЕ

Пока Алехин беседовал в землянке с Борискиным, Таманцев умудрился проникнуть в автопарк, где стоял «ЗИС» с выломанным бортом, и буквально на глазах у часового обшарил кабину и кузов машины, не забыв заглянуть под сиденье и в ящик для инструментов. На самом дне под промасленной ветошью он нашел сахар, завернутый в тряпочку, подумал, что он, наверно, ворованный, но ничего представляющего интерес для дела обнаружить не смог.

Кусок газеты, что дали Борискину на «курево», оказался обрывком сегодняшнего номера лидской газеты «Уперад».

Очевидно, неизвестные, замеченные Блиновым, утром выехали из Лиды; вечером же они вернулись в город и сошли у комендатуры. Оставалось установить их среди офицеров, посетивших комендатуру после девятнадцати часов, а также проживающих по соседству, — дело представлялось вроде бы ясным и простым.

Комендант города, худой, с ввалившимися щеками, мрачного вида майор, знал Алехина еще с сорок первого года, по боям под Москвой, и был рад оказать содействие. Он принес регистрационные книги, и Алехин выписал четырех офицеров из числа тех, кто проживал поблизости или побывал в комендатуре за последние полтора часа и по установочным данным имел некоторое сходство с бритым капитаном и его товарищем. Таманцева Алехин сразу же послал на станцию.

Вызванные по распоряжению коменданта с квартир офицеры (трое, одного не нашли) были незаметно показаны Алехину и Андрею: интересующих разведчиков людей среди них, увы, не оказалось...

А всего в городе, по данным комендатуры, размещалось на частных квартирах свыше пятисот офицеров из разных частей и до двухсот командированных.

— Вот смотрите.— Майор, достав из сейфа, разложил на столе план Лиды с обозначением частей и соединений, дислоцированных в районе города.— Сложность в том, что окраины города закреплены за частями. Это их районы расквартирования... В Северном городке и в Южном,— он показал пальцем на карте,— свои комендатуры. А мы осуществляем только общий надзор. Учеты у них аховые и проверить по-настоящему дьявольски трудно!

Алехин поднялся: на улице стемнело, надо было спешить, в комендатуре же делать больше было нечего.

— Я ночую здесь,— сказал, прощаясь, майор.— Если понадобится, беспокойте.

* * *

— Они где-то тут, в городе,— заметил Алехин, когда он и Андрей вышли на улицу.

— А может, шофер врет? Может, он ссадил их у станции, они уехали, а мы будем искать понапрасну?

— Не думаю. Они просили остановить возле комендатуры, а заходили они туда или нет, он не видел и не говорил. Будем искать в городе.

Алехин разбил город на участки: себе он взял станцию, прилегающий район и выезд по Варшавской в сторону Гродно; Таманцеву поручил юго-восточную часть города и выезд на Молодечно; Андрею — контрольно-проверочный пункт при выезде из Лиды в Вильно и соседние улицы.

...После десяти улицы обезлюдели: наступил комендантский час. Но Андрей все ходил и ходил, присматриваясь в темноте к редким про-

хожим — в большинстве своем военным, — настороженно следил за одиночными машинами, что останавливались у контрольного пункта.

...На станции — в помещениях, на перроне, во всех закоулках — Алехин оглядел и знал уже каждого. В бараке для военнослужащих и в агитпункте спали вповалку на полу, на скамьях и на столах, изнемогая от жаркой духоты и храпа. Новые пассажиры после полуночи не появлялись.

Дежурные по контрольному пункту в час ночи ушли, и очень редкие машины проезжали под задранными к небу шлагбаумом не останавливаясь. Прилегающие к станции улицы, казалось, вымерли: ближайший пассажирский поезд, как сказали Алехину в комендатуре, должен был пройти только утром.

...В третьем часу, еле двигая ногами от усталости, Андрей добрал до квартиры, где остановился Хижняк с машиной, сняв ремень и сапоги, свалился на широченную деревянную кровать и, едва коснувшись щекой подушки, уже спал мертвым сном. Он не слышал, как Таманцев, вернувшись злой и голодный, искал в темноте что поесть, ругался вполголоса и ворчал, пока не улегся.

20. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Начальнику Главного Управления Контрразведки «Смерш»

В дополнение к №№ и от :

Розыск передатчика с позывными КАО осложнен отсутствием текстов радиоперехватов от 7 и 13 августа с/г., сообщенных нами незамедлительно в ГУКР «Смерш» для параллельной дешифровки.

Учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в Управлении контрразведки фронта, прошу Вашего распоряжения о внеочередной дешифровке обоих перехватов.

Пользуясь случаем, считаю своим долгом еще раз обратить Ваше внимание на выраженный некомплект оперативного состава в розыском отделе и в отделении дешифровки Управления.

За семь недель наступления из 48 розыскников (при штате 56) выбыло 23, причем в числе оставшихся 9 человек — стажеры, не имеющие достаточного опыта розыскной работы.

В отделении дешифровки из 5 положенных по штату криптографов после прямого попадания бомбы при передислокации в районе Яшун осталось всего лишь двое молодых офицеров, неспособных к оперативной дешифровке шифрсистем высокой надежности.

Егоров».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Егорову

На № от 15.08.44 г.

Ликвидировать некомплект оперативного состава в розыском отделе и отделении дешифровки Управления контрразведки фронта в ближайшее время не представляется возможным.

Мною дано распоряжение о внеочередной расшифровке перехватов от 7 и 13 августа сего года.

Колыбанов».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Срочно!

Егорову

На № от 13.08.44 г.

Сообщаю, что сегодня, 15 августа, в тылах армии, юго-восточнее Солтанишки, была обнаружена и после перестрелки ликвидирована остаточная группа немцев в количестве 39 человек, из них 17 было убито, 4 удалось скрыться, остальные, частично раненые, взяты в плен.

Как установлено при допросах, в составе группы более месяца продвигались к линии фронта из района Могилева военнослужащие штаба 4-й немецкой армии, 12-й и 337-й пехотных дивизий и 76-й штурмовой. Медленность передвижения объясняется как крайней осторожностью, так и наличием в группе 8 тяжелораненых, в том числе командира 76-й штурмовой дивизии генерал-майора Людвига Хорта и старшего офицера штаба 4-й армии подполковника Ганса Кефера, которых якобы несли на самодельных носилках около шести-сот километров.

Ликвидированная группа имела 2 станковых пулемета МГ-34, 27 автоматов, гранаты и армейский коротковолновый передатчик образца 1942 г. фирмы «Телефункен». Как выяснилось при допросах, 13 августа, во второй половине дня, после выбора поляны, подходящей для посадочной полосы, радист группы выходил в эфир якобы с просьбой о немедленной присылке самолета за умиравшим от гангрены генералом Хортом и еще двумя ранеными.

Согласно показаниям пленных Отто Гайна и Эриха Штоббе, которые во время сеанса находились в сторожевом охранении неподалеку от передатчика, место выхода рации в эфир определяется как северо-западная окраина Шиловичского леса. В связи с гибелью во время перестрелки подполковника Кефера, фельдфебеля Химмеля и двух офицеров, принимавших непосредственное участие в радиопередаче, установить ее подробности, в частности позывные, рабочую волну и т. п., не представляется возможным.

Показания Гайна и Штоббе не вызывают сомнений в достоверности. Полагаю целесообразным доставку обоих в район Шиловичского леса для установления места выхода рации в эфир.

Быстров».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Срочно!

Быстрову

На № от 15.08.44 г.

Допросом военнопленных остаточной группы установите, выходила ли рация группы в эфир до 13 августа. Если выходила, то где, когда и при каких обстоятельствах. Особый интерес для нас представляют любые сведения о шифре или коде и о режиме радиопередачи.

Также выясните, занималась ли группа во время своего передвижения сбором разведывательных данных, велось ли ими наблюдение за железными и шоссейными дорогами.

Военнопленных Гайна и Штоббе незамедлительно этапировать в Лигу, отдел контрразведки авиакорпуса, для проведения следственного эксперимента с целью установления места выхода рации в эфир и воспроизведения обстановки и обстоятельств передачи.

Егоров».

21. КАПИТАН АЛЕХИН

Тринадцать лет назад, еще до того, как он начал специализироваться по зерновым культурам, его курсовая об огурцах была напечатана в сборнике лучших студенческих работ. Тринадцать лет назад он превосходно знал (да и по сей день вроде не забыл) признаки и характеристики всех сортов, но определить найденные Таманцевым на месте выхода рации в эфир так и не смог.

Рано утром он заехал на базар, где ведрами, мешками и на вес продавалось немало огурцов; все они без исключения были одного, хорошо известного ему сорта типа — должик («Западно-русская подгруппа... Зеленец удлиненно-эллипсоидальный с сильным сбегом к основанию, с суженной и заостренной вершиной... крупнобугорчатый, черношипный... трехгранный в поперечном разрезе... Длина зеленца 10—14 см., диаметр 4—5 см., вес 100—150 граммов... Окраска плода зеленая с крупными продолговатыми ситцевыми пятнами и светлыми полосками...»).

Огурцы, найденные на поляне, отличались от должика и формой, в частности закругленностью граней, и окраской, и толщиной зеленца.

В городской милиции Алехину порекомендовали известного здесь овощевода, местного старожилы, в давнем прошлом — поручика русской армии, некоего Шорохова Ивана Семеновича.

Минут через пять, оставив машину за углом, Алехин подходил к его домику.

Шорохова можно было найти на этой улице и без точного адреса. Его участок выделялся среди других палисадов отменно ухоженными грядками и обилием плодовых деревьев. Сам хозяин — Алехин увидел его издали, — маленький щуплый старичок с седым прозрачным пушком вокруг макушки, строгал рейку на верстаке под навесом.

— Иван Семенович?

— Иван Семенович, — весело подтвердил старикан.

— Мне рекомендовали вас как главного специалиста, — улыбнулся Алехин. — Хочу посоветоваться насчет огурцов.

— Для закуски? — пошутил старик.

— Не без этого. — Алехин выложил на верстак пять огурцов, в том числе два с обкусанными кончиками. — Что можно о них сказать?

Старик живо разобрал огурцы на две кучки.

— Должик, траку, должик, должик, траку...

— Местные сорта?

— Должик — местный, а траку — Прибалтика, за Вильно... Тракайский уезд... Здесь его не выращивают.

— Это точно?

— Так точно. С ручательством.

— Вы их определяете по форме и окраске зеленца... по сбегу к плодоножке?

— Да. Вы что — овощник? — оживился старик.

— Любитель, — улыбнулся Алехин и указал на огурцы: — Как вы думаете, когда они сорваны?

— Должик — свежие, вчера, а может, и сегодня. На базаре купили?.. А траку... — Он разглядывал огурцы с обкусанными концами. — Все зависит от условий хранения... Трое суток как минимум, если не четверо. А зачем вам это?

— Спасибо, Иван Семенович. — Алехин собрал огурцы и отступил: — На закуску пустим должик...

* * *

В залитом утренним радужным светом кабинете начальника городского отдела госбезопасности, кроме самого майора, находился еще смуглый длинноволосый лейтенант.

— Ты интересовался Павловскими,— сказал майор, беря в руки маленькую просаленную бумажку, и протянул ее Алехину.— Эту записку, запеченную в пирог, пытались передать в камеру старику.

— Кто?

— Его сестра... Вот перевод.

Алехин взял бумажку, затем листок с русским текстом и прочел: «Юзеф!

Да поможет тебе бог.

Вчера вернулась Юлия. Девочка здорова.

Молимся за тебя.

Твоя сестра Зофия»

— Кто это — Юлия? — поинтересовался Алехин.

— Пока не знаем... Займись и доложи,— приказал майор лейтенанту.— Давай.

Лейтенант взял обе бумажки и положил в свою папку.

— Слушай, если ехать из Шиловичей на Каменку, первый хутор слева, у леса,— кто там живет? — спросил майора Алехин.

— Из Шиловичей на Каменку... первый хутор слева...— припоминая, повторил майор и сказал уже подошедшему к двери лейтенанту:— Мы были у него. Помнишь, он нас самогоном угощал?

— Окулич,— назвал лейтенант, оборачиваясь, и осведомился у Алехина:— Зачем он вам?

— Он был связан с партизанами,— вспомнил майор, раскрывая папку с бумагами, и приказал:— Что мы о нем знаем — поделись с капитаном...

22. ПОДПОЛКОВНИК ПОЛЯКОВ

В районах Лиды и Гродно у него работали три розыскные группы, имелись и небольшие, но весьма ответственные дела, которые не хотелось кому-либо перепоручать.

Но самым важным в этой поездке было посещение двух точек по радиоигре¹⁵; на одной из них, под Лидой, сегодня ночью предстояла приемка груза и немецкого агента.

Начинал эту игру почти год назад сам Поляков, и велась она — по характеру дезинформации — весьма дерзко, и в этой дерзости заключалась ее неизмеримая ценность и одновременно опасность провала. Риск возрастал с каждой неделей, с каждой переданной радиограммой, все это не могло продолжаться бесконечно, и подполковник решил присутствовать сегодня ночью, считал себя обязанным не только потому, что хотел первым беседовать с приземлившимся агентом, но и оттого, что сегодня вместо контейнеров и человека на костры вполне могли сбросить и десяток осколочных бомб — так тоже случалось.

Для Полякова, в свое время за каких-то два часа в осеннем лесочке под Вязьмой склонившего к сотрудничеству только что пойманного радиста и старшего группы, на свою ответственность тут же доверившего им первый выход в эфир, сочинявшего для них легенду и составлявшего все до единого «донесения», эта игра была родным детищем в полном смысле слова, и размышлял о ней в это утро он более всего.

¹⁵ Радиоигра — использование захваченной радиции и радиста для дезинформации противника.

Выехав перед рассветом, он за три часа дороги из Управления ни разу не вспомнил о радиции с позывными КАО. Он переключился и подумал о ней, лишь когда, не доезжая Каменки, шофер притормозил и он увидел стоявший впереди на обочине «студебеккер» и около него двух военнопленных, автоматчиков охраны и трех офицеров. Он знал только одного из них — хромого после ранения, большеголового капитана, переводчика отдела контрразведки армии. Взяв объемистый авиационный планшет, Поляков выскочил из машины.

Хотя он склонялся к мысли, что разыскиваемые группой Алехина — агенты-парашютисты, не следовало пренебрегать и остальными версиями.

Алехин физически был не в состоянии все охватить, хотелось, чем возможно, ему помочь. И вчера вечером, когда пришло сообщение о ликвидации остаточной группы противника, Поляков сразу прикинул, что сумеет по дороге выкроить полтора-два часа, тем более что в его напряженном, преимущественно кабинетном образе жизни проведение следственного эксперимента — установление точного места выхода немецкой радиции в эфир и поиски там вещественных доказательств — было, можно сказать, отдыхом, прогулкой на свежем воздухе.

Разведенные порознь военнопленные — долговязый Штоббе, заискивающе-услужливый штабной фельдфебель, и плотный, приземистый Гайн, молчаливый, сумрачный повар, солдат, — указали одну и ту же поляну на краю леса.

Офицерам и автоматчикам из роты охраны Поляков приказал тщательно осмотреть окрестность, а сам с немцами и капитаном-переводчиком занялся непосредственно участком, где, по словам Гайна и Штоббе, располагалось ядро группы.

— Die Bahre mit dem General war hier... — указывая рукой, сказал длинный худой немец. — Die Funkstelle befand sich in diesem Gebüsch... Und ich war in der Sicherung da drüben...

— Он говорит, что носилки с генералом стояли здесь, — перевел капитан, — радиция располагалась у этих кустов, а сам он находился в охране вон там...

— Я понял... Радиция располагалась здесь... — заметил Поляков, шаря глазами по траве. — Спросите их, как раскидывали антенну.

— Wie wurde die Antenne angespannt?... — спросил переводчик. — Haben sie es gesehen?¹⁶

Невысокий плотный отрицательно качнул головой.

— Nicht!¹⁷ — поспешно сказал длинный, вытягивая руки по швам.

Тощий, с ввалившимися глазами и щеками, в грязном, заштопанном во многих местах обмундировании и разбитых ботинках без шнурков, он выглядел довольно жалко. Он шел рядом с Поляковым, старательно осматривая траву, и вдруг с радостным криком бросился под куст и поднял немецкую батарейку. Подскочил к Полякову и, щелкнув металлическими оковками каблуков, протянул ему батарейку и заискивающе сказал:

— Ich bin Mechaniker, ich hab' in einem Werk gearbeitet¹⁸.

— Питание для радиции, — рассматривая батарейку в руке Полякова, заметил капитан. — Значит, они не врут.

— Братъ им теперь ни к чему... — заглядывая под куст, сказал Поляков и поднял отрезок проволоки с маленькой вилкой. — Это тоже от радиции.

— Funker, Funker... — радостно подтвердил длинный. — Негг

¹⁶ Как раскидывали антенну?.. Вы видели?..

¹⁷ Никак нет!

¹⁸ Я механик, работал на заводе.

Oberst, ich bitte zu berücksichtigen, dass ich Arbeiter bin... Ich habe drei Kinder und muss unbedingt zurück!¹⁹

Приземистый немец смотрел на него исподлобья с презрительной враждебностью.

— Аромат-то какой,— вдыхая воздух, заметил Поляков,— божественный!.. Чего он хочет?..

— Боятся, что его расстреляют. Просит учесть, что он механик, словом, рабочий...

— Это я понял...— оглядывая поляну, в раздумье сказал Поляков.— Рацию развертывали здесь, но нам от этого не легче... Чтобы исключить или, наоборот, принять эту версию, нужна дешифровка перехвата... На месте задержания шифровальный блокнот не обнаружен. Здесь-то он несомненно был. Попытайтесь отыскать...

— Но... Где?

— Возможно, блокнот брошен или утерян по дороге... Вам всем... вместе с ними,— Поляков взглядом указал в сторону немцев,— придется проделать их путь... Все сорок километров двигайтесь цепью... Как с ногой, выдержите?

— Да.— Капитан покраснел.

— Обнюхайте каждую травинку. Особое внимание к местам, где они устраивали привалы.

— А если шифр уничтожен, сожжен?

— Не думаю. Штабные документы целы. Постарайтесь отыскать!

23. ПОИСКИ УТРОМ В ГОРОДЕ

Рано утром, когда, позавтракав, они вышли на улицу, Таманцева прорвало. Он перебил вдруг Алехина и, раздувая ноздри, возбужденно сказал:

— Что вы все твердите: «должны», «обязаны»? Нужен текст дешифровки. А без текста можно торкаться до второго пришествия, как слепые щенята!

— Текст будет,— пообещал капитан.

— Когда?! — распаляясь, воскликнул Таманцев.— Москва десятые сутки не может размотать перехват, а мы — отдувайся!

— Девятые,— поправил Алехин.— Ты что, не с той ноги встал?

— Я с той! — разозлился Таманцев.— Вы меня дурачком не делайте! Мы уродуемся как бобики! Москве не укажешь, а с нас живых не слезут!..

— Короче! Что ты предлагаешь?

— От текста надо танцевать, от текста! Вы боитесь потребовать расшифровку с Управления, а они дрейфят перед Москвой. Цирлих-манирлих! Я так не могу и не желаю!.. У Москвы одних только фронтов — двенадцать, да разве они о нас вспомнят?! Их за глотку надо брать, за глотку! Давайте я сам позвоно — хоть генералу, хоть в Москву, хоть куда... Плевал я на субординацию! Мы не в бирюльки играем и не на белок охотимся! Это дело государственной важности! И у нас железная позиция! Давайте я позвоно! Да я им так мозги раскручу, что не соберут!

— Все?

— Нет, не все!

— Андрея бы постыдился.

— А я не ему, я вам это говорю!

— Принял к сведению,— невозмутимо сказал Алехин.

¹⁹ Радио, радио... Господин полковник, прошу учесть, что я механик, рабочий человек... У меня трое детей... Я должен вернуться!

В ярости сплунув, Таманцев взялся рукой за край борта и прыгнул в полоторку.

Потом, нахоясь, он трясся в кузове возле Андрея оскорбленный и обиженный. Когда машина остановилась, чтобы его высадить, Алехин, ступив на подножку, сказал:

— В двенадцать часов подполковник должен быть в отделе контрразведки авиакорпуса. Можешь все ему высказать.

Таманцев молча соскочил и не оглядываясь пошел по улице. Андрей с капитаном поехали дальше.

Утро оказалось столь же бесплодным, как и вечер.

Андрею достался центр города и базар. Он ходил по улицам, время от времени толкался по базару, присматривался ко всем военным, а заодно и к гражданским, — ни одного похожего лица.

На базаре среди покупателей, точнее, покупательниц, попадались и военные; но более всего там было крестьян.

В порыжелых домотканых маринарках, в платках, картузах и польских форменных фуражках с лакированными козырьками, они теснились у подвод, ходили по рядам, ко всему приценивались, покупали же мало, только что из одежды. Слышалась русская, белорусская, а чаще польская речь.

Продавалась всякая всячина — от картошки и живых свиней до католических иконок и военного обмундирования. На лотках торговцев-профессионалов красовались сотни пачек литовских и немецких сигарет, самодельные пирожные и свечи, конфеты, полукопченая колбаса и булочки; здесь же под яркой заманчивой вывеской «Буфет. Обеды как у мамы!» продавали горячие блюда и ароматный самогон — бимбер.

Частная торговля в освобожденных городах удивляла Андрея: он не мог понять предпринимательства. Буржуи, как он представлял их по книгам и кино, наверно, выглядели точно так, как эти сытые люди за лотками.

— Нэп, — авторитетно объяснял Таманцев. — Некоторое оживление частного капитала и спекулянтов. Придет время, их так прижмут — небо с овчинку покажется!..

Как и вчера, стояла тягостная жара, разогретый воздух был неподвижен. Заплатив двадцать рублей, Андрей выпил бутылку ядовито-красной воды на сахарине и снова отправился на улицы города.

Он остановился, не доходя перекрестка, увидев на другой стороне улицы, у тенистого палисада, заметную своей красотой пару: девушку в медицинском халате и белой шапочке и высокого щеголеватого лейтенанта.

— Ну что? — раздался рядом с Андреем голос вышедшего из-за угла Таманцева.

— Ничего.

— Ниц нема, — понимающе сказал Таманцев и перевел взгляд на парочку: — Влюбляются... Живут же люди!

— Надо было з-задержать их вчера на к-контрольном пункте.

— Учат тебя, учат, — досадливо поморщился Таманцев. — Ты пойми: нам нужны их связи, нужны факты, улики... Да, может, они в этом лесу даже не были. А может, были, но не имеют отношения к разыскиваемой нами рации. А если, допустим, имеют — брать их надо с поличным, доказательно. Или разобраться и исключить... А ты все одно: хватай мешки — вокзал отходит!

Несколько секунд они молчали. Пара на той стороне уже рассталась; девушка ушла, а лейтенант стоял с невеселым лицом и курил.

— Кошка между ними пробежала, — сказал Таманцев (он считал

себя незаурядным психологом и физиономистом).— Или котенок как минимум.

— Ты д-думаешь, они в городе и мы их найдем?

— Думаю!.. Должны: городишко-то небольшой!.. Выше голову! — Он похлопал Андрея по плечу.— Шарик ведь круглый — куда же они денутся?!

24. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Весьма срочно!»

Егорову Из Москвы 16.08.44 г.

Сообщая дешифровку перехвата по делу «Неман», предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы передатчика.

Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельных фронтов. Очевидно наблюдение за железной дорогой на линии Гродно — Белосток; не исключены челночные маршруты Вильнюс — Белосток (через Гродно) и Вильнюс — Брест (через Лиду — Мосты — Волковыск)...²⁰

...О ходе розыска и всех проводимых Вами мероприятиях докладывайте ежедневно.

Приложение — упомянутое.

Кольбанов».

«ЗБ № 1604 «Неман». Перехват от 13.08.44 г.

«ККК» Последние трое суток [на] участке Гродно — Белосток проходило [в] среднем 22—25 эшелонов [с] войсками [и] техникой. [В] обратном направлении 5—7 санлетучек [и] порожняк. [Из] Прибалтики [на] Вислу [в] районы Варшавы [и] Демблина перебрасываются моторизованные понтонно-мостовые части [с] парками ТМП [и] Н2П, дивизионы РА М-13 [и] М-31. [На] Брест проследовал 473-й батальон автомобилей-амфибий. [В] Белостоке, Гродно, Вильно призваны 1895 — 1927 года рождения. Ваши указания нотариусу переданы. Срочно нужны батареи [и] бланки. Кравцов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!»

Лига, Полякову

Сообщаю дешифрованный перехват от 13.08.44 г. и розыскную ориентировку на Павловского.

Рация с позывными КАО заслуживает самого серьезного внимания. Продумайте и доложите, что еще возможно предпринять.

Задержитесь на сутки в Лиге для активизации розыска, оказания практической помощи группе Алехина и организации поимки Павловского.

Егоров».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!»

Лига, Полякову, Алехину

По ориентировке ГУКР «Смерш» № 9.651 от 27.07.44 г. разыскивается агент германской разведки Грибовский, он же Волков, он же

²⁰ Два абзаца этого документа опускаются.

Трофименко, он же Павловский Казимир, он же Иван, он же Владимир, по отчеству Георгиевич, а также Иосифович, 1915 г. р., урож. г. Минска, образование среднее, в прошлом член ВЛКСМ, инструктор и активист Осоавиахима.

В 1936—1939 гг. служил действительную в радиотехнических частях Московского военного округа.

Мать Павловского перед войной якобы осуждена за антисоветскую деятельность к 10 годам лишения свободы. Отец — по национальности немец, проживает на одном из хуторов Лидского р-на, Барановичской области.

Сам Павловский в начале войны, будучи сержантом Красной Армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил кенигсбергскую школу германской разведки. В 1942—1943 гг. девять или десять раз перебрасывался в тылы Красной Армии: радистом и старшим разведывательной группы. В 1942 г. под Москвой в момент задержания, отстреливаясь, убил офицера комендатуры и двух патрулей. С 1942 г. (неточно) — фольксдойче. За успешное выполнение заданий абвера награжден Железным крестом II степени, серебряной и двумя бронзовыми боевыми медалями.

В совершенстве владеет стрелковым оружием, приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании.

Словесный портрет: рост — высокий; фигура — средняя; волосы — русые; лоб — широкий; глаза — темно-серые; лицо — овальное; брови — дугообразные, широкие; нос — толстый, прямой, с горизонтальным основанием... Броских примет не имеет...

В середине июля сего года в группе агентов, также обмундированных в форму советских офицеров, находился на переправочном пункте немецкой разведки в местечке Дальвиц близ Инстербурга (Восточная Пруссия), ожидая переброски в тылы Красной Армии».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Срочно!

Егорову

Сегодня, 16 августа, в тылах корпуса, севернее местечка Заболотье, окружена и после отказа сдаться уничтожена остаточная группа противника в количестве девяти человек.

В составе группы, кроме двух немцев, офицеров отдела «1-Ц» штаба 9-й германской армии капитана Эриха Гебба и обер-лейтенанта Гельмута Штиля, продвигались в западном направлении семь влосовцев, из них трое в форме РОА (без знаков различия), а четверо в советском военном обмундировании с погонами и красноармейскими книжками сержантов частей 1-го Белорусского фронта, очевидно, захваченными у убитых ими советских военнослужащих.

При ликвидации группы взято восемь автоматов, в том числе четыре ППШ, девять пистолетов, пятнадцать гранат, а также коротковолновая приемо-передаточная радиостанция немецкого производства, выпуск 1943 г., в рабочем состоянии.

Среди документов обнаружены: таблицы цифрового кода, перешифровальные блокноты с вырванными использованными листами, немецкие топографические крупномасштабные карты с нанесенным на них маршрутом движения из района Бобруйска, личные письма и фотографии.

Судя по записям в блокноте капитана Гебба, в пути группой дважды велось наблюдение за железной дорогой: в первом случае — трое суток, во втором — около двух. Пункты наблюдения не указаны, и установить их не представилось возможным.

Как явствуется из маршрута, 12 или 13 августа группа проследовала северной опушкой Шиловичского лесного массива, где, судя по отметке, устраивала привал. Не исключено, что захваченная нами рация является разыскиваемым передатчиком с позывными КАО.

Буняченко».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Срочно!

Буняченко

Рацию и все документы ликвидированной группы немедленно доставьте в розыскной отдел Управления.

Егоров».

25. В ПОЛДЕНЬ НА АЭРОДРОМЕ

— Ты хотел танцевать от текста — танцуй! — сумрачно сказал Алехин Таманцеву и взял папиросу, предложенную Поляковым. — Благодарю.

Они стояли втроем у «виллиса» на краю аэродрома, возле одноэтажного здания отдела контрразведки авиакорпуса. В руке Поляков держал несколько листков — он только что прочел Алехину и Таманцеву дешифровку перехвата и ориентировку о Павловском.

— Разрешите, — попросил Таманцев у Полякова и взял листок с текстом.

— Ждешь его как манны небесной... — с досадой заметил Алехин и нетерпеливо прикурил. — Благодарю... А первый перехват, от седьмого августа?

— С тем, очевидно, задержка... — Поляков недовольно шмыгнул носом. — Приказание о внеочередной расшифровке касалось обоих. Очевидно, задержка... Шифр сложный, а они еще, наверно, меняют ключ. Я буду звонить и напомню.

— Квалифицированная разведсводка... — рассматривая текст, проговорил Таманцев.

— И все?

— Наблюдение за перевозками... за железной дорогой... — глядя в текст и напряженно соображая, не сдавался Таманцев. — Это... должно быть, резидентура...

— И все? — не унимался Алехин.

— А что, в Москве тоже так думают, — с почти неуловимой иронией сказал Поляков; он посмотрел на второй лист и прочел: — «Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельных фронтов. Очевидно наблюдение за железной дорогой на линии Гродно — Белосток; не исключены челночные маршруты Вильнюс — Белосток (через Гродно) и Вильнюс — Брест (через Лиду — Мосты — Волковыск)...»

— И все?

— Нет, почему же... — Поляков посмотрел в текст. — «...предлагаю принять активные меры... Обращаю Ваше внимание... Обеспечьте... докладывайте...»

— Да, из этого шубы не сошьешь, — возвращая листок с текстом, сказал Таманцев. — Кстати, территориально Белосток и все, что южнее Гродно, — Второй Белорусский фронт.

— Но все остальное-то наше! И в эфир они выходят у нас.

— Есть место выхода рации в эфир, есть текст и кое-какие улики, а зацепиться не за что... — вроде бы рассуждая вслух, неторопливо

произнес Поляков.— Скверно... Безусловно наблюдение за железной дорогой, причем не визуальное, со стороны, а где-то на станциях...

— Будто под брезент заглядывают,— заметил Алехин.

— Маршрутники или фланеры? ²¹ — спросил Таманцев; он во всем любил конкретность, определенность.

— Очевидно, стационарное наблюдение ²²,— глядя на Полякова, предположил Алехин.

— Скорей всего комбинированное,— сказал подполковник.— Это опытные, знающие свое дело люди...

— Судя по тексту, не немцы и, очевидно, не аковцы.

— Я же говорил: агенты-парашютисты! — воскликнул Таманцев.

— Возможно,— уклончиво сказал Поляков; он, как всегда, до последнего не хотел отсекать и другие версии.— Причем связанные с агентурой, оставленной немцами на оседание... Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение...

— Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям...

— Все, что касается анализа движения, я беру на себя...— заявил Поляков и взглянул на следующий лист: — Теперь Павловский... Независимо от того, имеет он отношение к разыскиваемой нами рации или нет, его необходимо взять! Не теряя времени и непременно живым. И тех, кто с ним, тоже!.. Поручить это придется Таманцеву.

— А кто же у меня останется? — попытался улыбнуться Алехин.

— Я!.. Другого решения у меня нет. Дадим ему двух человек от Голубова. Возможно, нужна продуманная, тщательно организованная ловушка или засада — действуйте по обстоятельствам. Но займитесь этим сегодня же, немедленно!.. Одновременно,— он перевел взгляд на Таманцева,— сделайте все, чтобы до вечера отыскать этих двух, что были вчера на хуторе, и разобраться с ними.

— Хозяин хутора некто Окулич,— сказал Алехин,— характеризуется положительно. Во время оккупации был связан с партизанами. Ничего компрометирующего на него нет.

— Тем лучше. Поедешь насчет засады — заскочи к нему и поговори...

26. АЛЕХИН

К Окуличу я заехал по дороге, но его не оказалось дома, и поговорить с ним в этот день мне не удалось.

Для организации продуманной, тщательно подготовленной ловушки, для того, чтобы как-то обставить и разрабатывать связи Павловского, у нас просто не было времени. Реальным же было устройство засады в местах вероятного появления Павловского, точнее, в одном из мест — на большее у нас не хватило бы людей.

Таким местом мне прежде всего представился северный край Каменки, где у околицы проживала тетка Павловского, Зоя Басида, единственная его близкая родственница в этом районе. Мысль о ней не оставляла меня все утро в Лиде, о ней более всего я размышлял и приехав на Каменские хутора.

²¹ Термины агентурной разведки. Фланеры — агенты, которые собирают разведывательные сведения (главным образом о передвижении войск и техники), перекочевывая со станции на станцию, нигде при этом подолгу не задерживаясь, чтобы не привлечь к себе внимания. Маршрутники в отличие от фланеров ведут визуальное наблюдение преимущественно в пути, при проезде в поездах и эшелонах.

Наилучшая маска для фланеров и маршрутников во время войны — форма и документы военнослужащих. В начальный период Отечественной войны фланирование по железнодорожным узлам прифронтовой полосы нередко осуществлялось немецкими агентами под видом эвакуированных граждан.

²² Стационарное наблюдение — систематическое визуальное наблюдение в одном пункте.

С участковым милиционером мне повезло. Немолодой и не очень грамотный, он обладал мужицкой сметливостью, памятью и хитрецей. Он партизанил в этих местах, знал здесь многих, причем держался с крестьянами запанибрата, и разговаривали с ним охотнее, да и откровеннее, чем со мной или с любым незнакомым человеком. Сняв пилотку и погоны, я работал под видом сотрудника милиции, впрочем, никому не представлялся.

Поводов для бесед с местными жителями у нас оказалось более чем достаточно. Четыре дня назад недалеко от Каменки обстреляли воинскую автомашину, шофер и сопровождающий были убиты, из кузова растащили около сорока комплектов военного обмундирования. Последнее время в округе участились ночные кражи, преимущественно продуктов, из амбаров и погребов; в двух случаях предварительно были отравлены собаки. Забирали в основном муку, сало, а в одном месте умудрились без шума унести кабана весом пудов на десять — хозяева даже не проснулись. И еще был ряд разных дел: подпольное акушерство, пьяные драки, подделка документов, попытка членовредительства с целью уклонения от мобилизации и тому подобное.

Откровенностью, разумеется, нас не баловали. Все, что удалось мне узнать, складывалось по крупицам, выуженным в разговорах на отвлеченные темы, причем в услышанном отсутствовало единогласие, необходимое для уточнения и перепроверки, — сведения были во многом противоречивы.

Примечательно, что Павловский-старший и его сестра Зоя Ба-сияда характеризовались большинством положительно, о Свириде же отзывались как о человеке недобром, мелочно-корыстном и завистливом.

С ним я встретился и разговаривал один на один. Высмотрел изда-лека на поле, подобрался незаметно и окликнул из кустов.

Вел он себя спокойней и несравненно сдержанней, чем при первом разговоре в орешнике. Он явно замкнулся, сам уже ничего не рассказывал, только отвечал на вопросы односложно и, как я почувствовал, весьма неохотно. Более того, у меня возникло ощущение, что он локти себе кусает — зачем в прошлый раз наговорил мне лишнего. Что же позавчера толкнуло его на это?

Патриотические побуждения в данном случае я исключал. Зависть?.. Корысть?.. Неприязнь?.. Ненависть?.. Чувство мести?..

Само собой напрашивалось довольно правдоподобное психологическое построение. Павловский и Свирид — ровесники, один сильный, преуспевающий (по понятиям горбуна), другой — физически неполноценный и неудачливый. Тут возможны и зависть и неприязнь — они в характере Свирида, но это, так сказать, постоянный, долговременный фактор — причина. А повод, толчок?..

Все это вроде бы прояснилось, когда в разговорах на хуторах я узнал подробнее о Юлии, той самой Юлии, о ком сообщалось в записке, посланной в тюрьму Павловскому-старшему.

Что она батрачка Павловских, я выяснил у участкового еще по дороге. А тут обнаружилось, что она ни больше ни меньше как младшая сестра жены горбуна, Брониславы.

То, что я о ней по частицам узнал, выглядело в целом так.

Антонюк Юлия Алексеевна, 1926 года рождения, белоруска, католического вероисповедания, уроженка деревни Белица Лидского района, образование два класса.

Сирота; с тринадцати лет в услужении у Павловских.

Якобы нещадно эксплуатировалась Павловским-старшим; по другим данным, относился он к ней как к родной, очень хорошо.

«Файная»²³, — это отмечали почти все. В период оккупации одевалась нарочито неряшливо, грязно. Будто бы неделями не умывалась, чтобы избежать приставаний немцев. По другим данным, тайком встречалась с каким-то немцем и от него прижила ребенка — девочке полтора года, зовут Эльза.

Как бы то ни было, во время оккупации имела какой-то аусвайс²⁴, документ, который помог ей избежать отправки на работу в Германию (а может, ее отстоял фольксдойче Павловский-старший?).

В первых числах июля, перед приходом наших войск, якобы уехала с немцами в Германию, во всяком случае, отсутствовала около полтора месяцев. Вернулась два дня назад под вечер, примерно за сутки до моего первого разговора со Свиридом.

Как выяснилось, после отъезда Юлии Свирид забрал все ее вещи к себе в хату, а по возвращении кое-что не захотел отдать. Очевидно, из-за этого и происходил скандал позавчера, когда я зашел к нему в хату. Юлии там не было, но заплаканные женщины — жена Свирида и его старуха мать, — полагаю, уговаривали горбуна вернуть все по принадлежности.

Примечательно, что он, в прошлый раз по собственной инициативе заявивший, что у него в доме есть фотографии Павловского, и сам пообещавший принести их мне, теперь сказал, что не смог найти ни одной. Фотокарточки были необходимы для розыска, и, чувствуя, что на этого человека сильнее всего действует страх, я с волчьим, наверное, выражением лица и откровенной угрозой сказал ему, что он, очевидно, захотел обмануть советскую власть, так вот, у него это не получится. Я заверил его, что все, о чем он мне рассказал, останется между нами, однако если он не будет помогать нам и дальше и не принесет немедленно фотографии Павловского, то пусть пеняет на себя. Он даже не представляет, пригрозил я, что тогда с ним будет.

Такое наглое запугивание, как я и рассчитывал, оказалось весьма действенным. Во всяком случае, спустя минуты он принес и отдал мне две хорошие отчетливые фотографии Павловского. Их следовало переснять и размножить — это без труда сделали бы в отделе контрразведки авиакорпуса, — но прежде надо было показать их Таманцеву.

Я уже послал за ним машину в Лиду на станцию, как мы договаривались, и ждал его с нетерпением. Не только потому, что хотелось поделиться с ним своими соображениями и послушать его, но и потому, что требовалось засветло выбрать место, наиболее подходящее для засады, а решающее слово тут, конечно, было за ним. Относительно места для засады — за ним, что же касается выбора объекта наблюдения — за мной, и тут уж я не имел права ошибиться. Он должен был приехать с минуты на минуту, а я все еще раздумывал...

27. В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

От солнца и духоты разламывалась голова. Упрямо передвигая натруженными, зачугуневшими ногами, Андрей дошел до перекрестка. На противоположном углу в сколоченном из досок домике помещалась парикмахерская Военторга — за день Андрей уже раз пять заглядывал в нее.

Не хотелось переходить на солнечную сторону, и какие-то мгновения он колебался. Затем пересек улицу, поднялся на крыльцо, к порогу и... обнаружил того самого лейтенанта, которого видел вчера на хуторе у опушки Шиловичского леса.

²³ Ф а й н а я — красивая (польск.).

²⁴ А у с в а й с — удостоверение личности, выдававшееся жителям на временно оккупированной немцами территории.

Лейтенант сидел в кресле, и мастер, чернявый узкогрудый старик с большим крючковатым носом, стриг его.

Андрей невольно окинул взглядом улицу — с кем бы посоветоваться?! — хотя знал, что ни Алехина, ни Таманцева поблизости нет. Затем сел на лавочку на крыльце и скосил глаза в раскрытую настежь дверь.

У столиков с зеркалами помещались три обшарпанных деревянных кресла; кроме чернявого старика, работали еще две парикмахерши: толстая, уже в годах, но быстрая, с бесчисленными кудряшками на голове и очень молодая хорошенькая девушка в чистом аккуратном халатике и сапожках. Слева у самого входа была прибита вешалка, далее на расставленных вдоль стены стульях ожидали своей очереди пятеро военнослужащих: худой длиннолицый военврач с погонами капитана медицинской службы (он читал газету); младший лейтенант — летчик, миловидный, пухлощекий, совсем еще мальчик; старшина, тоже из авиации, одетый весьма нарядно, в летнем офицерском обмундировании, с планшеткой на длинном ремне, и два солдата-артиллериста.

Шестой же — сержант-танкист, за кем Андрей занял очередь, — курил возле дверей.

— ...Павлик Федотов из Двадцать пятой, — рассказывал старшина-авиатор молоденькому летчику, — сбил вчера тридцатого фрица... Мужик! — восторженно воскликнул он, подняв вверх большой палец. — Выпьет два литра — и как огурчик!..

— Следующий! — утирая потное лицо платочком и вздыхая, позвала полная парикмахерша; от жары она страдала, очевидно, более всех, но работала проворнее, чем старик или молоденькая.

— Ваша очередь, — сказал военврач старшине.

— Я пас! — ухмыляясь, небрежно сообщил старшина и указал глазами на хорошенькую девушку. — Жду мастера.

Военврач торопливо сложил газету и, сняв очки, уселся в кресло. Бриться он не пожелал и, брезгливо оглядывая не первой свежести простынку и халат толстой парикмахерши, подробно объяснил, как именно его постричь.

Андрей потихоньку рассматривал в зеркале лейтенанта.

Тот с довольно флегматичным видом, как-то расслабленно сидел под белой простынкой в кресле, откинувшись на спинку, положив руки на подлокотники и время от времени полуприкрывая веки; чернявый мастер, не спеша действуя ножницами, подстригал его длинные белокурые волосы.

У лейтенанта было славное простое лицо, большие светлые глаза — как показалось Андрею, в них было что-то задумчиво-усталое.

Андрей припомнил, что в дивизии, где он воевал, в соседнем полку был начхим, удивительно похожий на этого лейтенанта, — бедняга подорвался на mine, его разнесло на части...

В раскрытую дверь из парикмахерской плыл сладковатый запах дешевой парфюмерии; там, в духоте, было еще хуже, чем на улице, и дышалось с трудом. Назойливо жужжали десятки мух, норовя усесться на потные лица.

Старшина из авиации негромко, но оживленно рассказывал юному летчику о воздушных боях. Тот слушал с явным интересом, больше молчал, лишь изредка поддакивая или понимающе улыбаясь. Это был разговор избранных, густо пересыпанный специальными авиационными терминами и сопровождаемый выразительной жестикой старшины: движениями ладоней он весьма наглядно изображал различные маневры воздушного боя.

Судя по разговору, это был человек знающий и бывалый: ему доводилось сбивать «мессершмитты» и «юнкерсы», бомбить Кенигсберг и обстреливать с воздуха немецкие эшелоны. Об известном летчике он говорил так, словно тот был его близким приятелем и общался с ним повседневно; о различных системах самолетов он рассуждал свободно и уверенно, как пилот, самолично испытывавший их летные и боевые качества. Он знал решительно все, и было только непонятно, в какой, собственно, авиации он служит: в истребительной, в штурмовой или бомбардировочной?

Незаметно рассматривая в зеркале лицо лейтенанта, Андрей пытался определить, прислушивается ли он к разговору или нет. Было совершенно очевидно: лейтенант не проявляет интереса ни к тому, что происходит в парикмахерской, ни к тем, кто в ней находится. Выражение лица у него было безразлично-вялое и даже немного сонное — может, оттого, что он тоже был разморен жарой. Временами, поворачивая голову, он разглядывал в зеркале свою прическу, дважды трогал рукой волосы на затылке и что-то говорил мастеру.

Когда лейтенант смотрел в зеркало, Андрей, чтоб не встретиться с ним взглядом, рассматривал плакаты, расклеенные на стенах парикмахерской.

Один из плакатов — «Болтун — находка для шпиона!», — висевший на видном месте, меж зеркал, и, пожалуй, наиболее броский, привлек внимание Андрея. Пожилая работница, приставив палец к губам и гипнотизируя строгим неотступным взглядом, предостерегала: «Не болтай!» Эти два слова большими буквами были выведены внизу плаката, а в верхнем углу было написано:

Будь начеку!
В такие дни
подслушивают стены.
Недалеко от болтовни
и сплетни
до измены.

Взяв гребень с ваткой, чернявый расчесал лейтенанту волосы, сделал еще несколько движений ножницами и, осмотрев свою работу с разных сторон, принес из чуланчика, где горела керосинка, алюминиевый стакан с кипятком, кисточку и так же неторопливо, как и все, что он делал, принялся править бритву на ремне.

В парикмахерскую, запыхавшись, вошел и окинул всех хмурым взглядом пожилой капитан-артиллерист с палочкой в руках: как оказалось, заняв ранее очередь, он куда-то отлучался и, возвратившись как раз вовремя, тут же уселся в среднее кресло к полной парикмахерше.

«И ничего в нем нет подозрительного», — огорченно размышлял Андрей, глядя на лейтенанта.

Рядом словоохотливый старшина не умолкая рассказывал молоденькому авиатору:

— Двадцать седьмую перебросили в Белосток. Вот это город! Правда, центр побит, но женщины! — Старшина восторженно почмокал губами; только теперь Андрей заметил, что тот навеселе. — Это с нашей Дунькой раз, два — и в дамки, — заявил он убежденно. — А польки не-ет! Обхожденье дайте, ласку, подождет. Разные там падам до нужек шановни пани, пшепрашем, пани, цалую рончики²⁵... И еще вагон всякой галантерейности. Не раз вспотеешь. А иначе — напрасные хлопоты. Это тебе не наша Дунька: погладил по шерстке —

²⁵ Падам до нужек шановни пани, пшепрашем, пани, цалую рончики... — Падаю к ножкам прекрасной пани, прошу прощения, пани, целую ручки... (польск.).

и замурлыкала! Не-ет!.. Обхождение дай! Подходец тонкий требуется, с виражами! А так запросто не прошлестись...

Капитан-артиллерист (ему только намылили лицо) обернулся и угрюмо посмотрел на старшину; тот, не заметив, продолжал рассказывать об особенностях обхаживания женщин в Польше, о каком-то Березкине из 6-й истребительной и о случае, который произошел с этим летчиком, когда он, хлебнув «послеполетные» за всю эскадрилью, отправился с аэродрома в Белосток и спяна «пустил пузырь»²⁶.

Старшина совершенно не умел молчать. Оставив Березкина, он заговорил о новых, только что полученных истребителях «ЯК-3». Если о некоторых других самолетах он был весьма невысокого мнения и называл их не иначе как «дубами», «гробами» и даже «дерьмом», то о новых истребителях он отзывался с похвалой и всячески расписывал их достоинства:

— ...Устойчивы, поворотливы, в управлении — как перышко! Но главное — скорость! Не машина — молния! Как-нибудь шестьсот пятьдесят, а это не семечки — абсолютное превосходство! И в маневре бесподобны. Ручку на себя — в небе тает. И вооружение усилено. Скажи мне: есть у немцев такая машина?.. И не снилась!..

«Вот звонарь! — с досадой подумал Андрей. — Ну что его, за язык тянут, что ли?»

— Прыщичек тут у вас, — виновато улыбаясь, сообщил чернявый лейтенанту, неосторожно задев его бритвой около уха и заметив капельку крови.

— ...Из Тринадцатой и Двадцать пятой тоже поехали за новыми машинами. Нагонят этих «ЯКов» или, может «ЛА-девять» получат — и немцам неба не видать. Точно! Это тебе не сорок первый год...

Отстранив брившую его толстую парикмахершу, капитан-артиллерист с мыльной пеной на лице и салфеткой на груди поднялся в этот миг из кресла и шагнул к старшине.

— Встаньте! — потребовал он.

Старшина, не понимая, поднялся, планшетка болталась у голениц его щегольских сапожек.

— Трепач! — вдруг резко сказал, вернее, выкрикнул капитан. — С вашим языком не в авиации служить, а коров пасти!.. Идите отсюда!..

Мастера обернулись на шум; весь красный, старшина еще какое-то время продолжал стоять, затем медленно прошел к выходу и, поймав участливый взгляд смазливой парикмахерши, остановился вполоборота у двери и попытался улыбнуться: улыбка получилась растерянная и неестественная; вся развязность и бойкость сразу слетели с него. Постояв так секунды, он вышел. Младший лейтенант — летчик, с которым он говорил, — покраснел как кумач; все молчали.

— Вы мне йодом помажьте, — негромко промолвил в наступившей тишине старому мастеру лейтенант; он менее других обратил внимание на это небольшое происшествие, он был занят осмотром пореза и заметно тревожился. — А то, знаете...

— Не извольте беспокоиться, — услужливо заметил чернявый. — Сделаем в лучшем виде...

Капитан-артиллерист снова сел в кресло и, подергивая головой и нервно поправляя салфетку у воротника, с возмущением говорил в это время парикмахерше:

— Трепется и трепется. Как баба! Противно слушать!..

— И верно! Мы, женщины, куда как разговорчивы, — вдруг не к месту певучим голосом сказала парикмахерша, игриво и весьма глупо

²⁶ Пустить пузырь — потерять ориентировку, заблудиться.

улыбаясь.— Все от простоты нашей, откровенности!.. И страдаем всегда за это...

— Уж вы откровенны! — мрачно и с раздражением сказал капитан.— Трепачишка чертов! Сопляк!.. — Он никак не мог успокоиться.— Знаю я вашу простоту,— он похлопал себя по шее,— на своей шкуре испытал! — И, проведя ладонью по выбритой щеке, тем же злым, возбужденным тоном спросил: — Вы думаете, он летает?.. Писарюга какой-нибудь! Или на аэродроме самолетам хвосты вертит. А я вгорячах промашку дал: его, разгильдяя, в комендатуру отправить надо было!..

Между тем лейтенанту приложили к лицу горячую салфетку — компресс.

— Я за вами,— поднимаясь, напомнил Андрей сержанту.— Сейчас п-приду...

28. ВОТ И ВТОРОЙ!

Выйдя из парикмахерской, лейтенант, подстриженный и похорошевший, взглянул на часы, закурил и неторопливой походкой направился в сторону станции. Андрей на значительном расстоянии следовал за ним.

Как и большинство его сверстников, лейтенант с откровенным интересом поглядывал на встречных девушек и молодых женщин; остановился у афиши кино, прочитал, попытался заговорить с худенькой блондинкой, впрочем, безуспешно. Пошел дальше, вид у него был довольно беззаботный, однако он не забывал отдавать честь, причем делал это четко, с той легкостью, которая отличает служащих в армии не первый год. У железнодорожного переезда он бросил окурочек, который, как перед этим и спичка, был украдкой подобран Андреем.

Во всем облике лейтенанта, в его фигуре, лице, походке, поведении и обмундировании, не было ничего примечательного или необычного, как говорится, не на чем взгляд остановить; за годы войны Андреем приходилось видеть десятки, если не сотни таких юношей в военной форме.

Вслед за лейтенантом Андрей вышел на пристанционную площадь, где вдоль штaketника стояло несколько автомашин.

— Товарищ полковник,— слышалось совсем рядом,— разрешите...

Андрей обернулся и буквально в двух метрах от себя увидел стоящего навтыяжку возле полуторки Таманцева и рядом с ним двух незнакомых усмехающихся офицеров — капитана и старшего лейтенанта, как догадался Андрей, прикомандированных.

— Виноват,— дурачился Таманцев.— Разрешите обратиться..

— Т-ты еще не уехал? -- не обращая внимания на подначку, удивился Андрей и, жестом подозвав Таманцева, указал взглядом на идущего впереди, метрах в сорока, лейтенанта.

Таманцев посмотрел и сразу сделался серьезным.

— Где ты его достал?

— В п-парикмахерской.

— Молодчик!

Таманцев уже принял решение и, оборотясь, велел двум офицерам:

— Ждите меня!

Он и Андрей последовали за лейтенантом. Тот направился в конец станции, где возле столовой продпункта, очевидно поджидая его, стоял круглолицый капитан.

— Вот и второй,— обрадованно сказал Таманцев и посмотрел на часы.— Без трех минут четыре... Надо полагать, они условились здесь встретиться...



Капитан и лейтенант обедали долго, около часа, по-видимому никуда не торопясь. Тем временем Таманцев и Андрей лежали на траве за низкорослым крапивником метрах в пятидесяти от столовой. В тени места, пригодного для наблюдения, поблизости не было, приходилось снова жариться на солнце.

Таманцев внимательно рассмотрел окурок, затем сравнил две обгорелые спички — брошенную лейтенантом и найденную в лесу на поляне, — они оказались разными.

— Все это фактики... — вздохнул он и, бережно завернув окурок и спички в старое письмо, уложил в плексигласовый портсигар и спрятал в карман.

— Топаешь целый день, — заметил он погодя, — и дела будто не делаешь, а устанешь как собака и проголодаешься. Ты ел чего?

— Нет.

— И я тоже. — Таманцев жадно потянул носом, ему все казалось, что от столовой доносится запах мясного борща. — Сейчас бы чего-нибудь кисленького... — мечтательно произнес он, — вроде жареного поросеночка!.. С хренком! И пивка бы пару бутылочек со льда...

Андрей угодил рукой в крапиву и, растирая ожженное место, осматривал небо.

— Ну и ж-жарынь... Как бы грозы не было.

— Грозой сыт не будешь... А они обедают, — кивая в сторону столовой, не унимался Таманцев. — Сегодня там борщ мясной с помидорками и гуляшник с макаронами. Такой гуляшник — пальчики оближешь!

— А ты откуда з-знаешь?

— А я не знаю, я только так думаю... Да-а, пожрать не мешало бы! Как говорил товарищ Мечников, еда — самое интимное общение человека с окружающей средой. А уж он-то соображал...

Таманцев дважды со стороны кухни подходил к пропускному и заглядывал в уставленный длинными столами большой зал, но зайти внутрь не решился: кормили маршевый эшелон, в столовой, как и вообще на станции, было многолюдно, но офицеров — единицы. И рисковать — вести наблюдение в самом помещении — не стоило, тем более что круглолицый капитан и лейтенант сидели за столом одни.

Когда же, пообедав, они вышли из столовой, закурил только лейтенант; капитан, очевидно, был некурящим.

Медлительной походкой сытно пообедавших людей они направились в расположенный рядом агитпункт, где, сидя у открытого окна, минут пятнадцать читали газеты.

Оставив Андрея наблюдать, Таманцев зашел к своему знакомому, помощнику коменданта станции, который находился неподалеку, в здании блокпоста. Дождавшись, когда наблюдаемые вышли из агитпункта, Таманцев подозвал помощника коменданта к окну и показал ему офицеров. Тот сказал, что лейтенанта он наверняка видит впервые, капитана же вроде встречал на станции, но не ручается, так как, мол, ежедневно проезжают «тысячи офицеров» и всех не упомнишь.

— А зачем они тебе? — поинтересовался он.

— Хотел бы знать, кто они.

— Всего-то?! — хмыкнул помощник коменданта. — Сейчас приглашу их — и все узнаем.

— Нет, нет, это не годится...

29. НА СТАНЦИИ

На путях станции, где находилось семь воинских эшелонов с людьми и техникой, царило обычное для прифронтового железнодорожного узла шумное оживление.

Солдаты и сержанты кучками теснились меж составами, на перроне и окрест, гомонили, бегали с котелками и фляжками, таскали ведра и бачки с варевом, обедали, щелкали семечки, плясали, играли в «жучка», мылись и даже стирали. Пронзительно крича, двигался маневровый паровозик; около вагонов, обстукивая молоточками колеса и хлопая крышками букс, проворно суетились перепачканные потные смазчики; слышалось мощное дыхание и гудки паровозов.

На платформах тесно, одна к другой, стояли прикрытые брезентами самоходные установки, затянутые маскировочными сетями длинноствольные пушки со следами еще заводской смазки, замаскированные ветками полевые кухни, легковые и специальные автомашины. Кое-где над эшелонами, как руки, прикрывающие от удара с воздуха, вытянулись стволы зенитных орудий.

На одной из платформ у тупорылой, угрюмого вида гаубицы возились рослые, мокрые от жары и напряжения артиллеристы. Молодцеватые казаки-гвардейцы с обязательными чубами, в фуражках, где-то на самом затылке лихо заломленных набекрень, и шароварах с красными лампасами прямо в теплушках, откуда несло крепким запахом навоза и лошадиного пота, чистили и обливали водой коней. За их работой из соседнего состава с выражением на лицах высокого достоинства, превосходства и явного пренебрежения молча наблюдали молоденькие морячки в форменках и тельняшках.

Бывалые солдаты с орденами, медалями, гвардейскими значками и нашивками за ранения на побелевших от солнца и стирки гимнастерках, молодые бойцы маршевых рот в новеньком, только со склада обмундировании, танкисты в надетых на голое тело замасленных комбинезонах, пехотные офицеры в полевых, с зелеными звездочками фуражках, морские лейтенанты в щегольских мичманках с золотистыми крабами, летчики в пилотках с голубым кантом и хромовых шлемофонах — кого здесь только не было!

Все это разнородное войско — выдавшие всякие виды гвардейские подразделения, одетые с иголочки маршевые роты и офицерские команды, вся эта новенькая, без царапинки техника — все двигалось к фронту, навстречу тяжелым и для многих последним боям...

Простираясь широкой полосой своих оперативных тылов к северу и юго-западу, фронт, по существу, начинался уже здесь, только пушки еще молчали, а действовали паровозы.

Но мысли о предстоящих боях и о смерти, должно быть, мало кого занимали. Со всех сторон слышались громкий разноголосый говор, веселые, а подчас соленые прибаутки, звуки гармошек и взрывы хохота. О противнике же было положено думать лишь тем, кто дежурил на платформах у зениток и счетверенных пулеметов, да еще летчикам-истребителям, что барражировали в знойном небе высоко над станцией.

Андрей не без волнения ожидал, что круглолицый капитан и лейтенант затеряются в толпе и будут толкаться меж составами, прислушиваясь к разговорам и присматриваясь. Однако этого не произошло.

Покинув агитпункт, они, не подходя к эшелонам, минут десять постояли на перроне, где в многолюдном, счень шумном кругу, распаленные азартными выкриками зрителей, обливаясь потом, состязались в веселом переплясе двое: пожилой, кряжистый, с бочкообразной грудью старшина-артиллерист (несмотря на возраст, вся его тучная

фигура дышала здоровьем и силой) и маленький круглоголовый пехотинец, этакий задорный живчик, крепыш лет восемнадцати, с новеньким орденом Ленина на гимнастерке.

Затесавшись в толпу увлеченных пляской зрителей, Таманцев и Андрей могли теперь вблизи хорошенько рассмотреть наблюдаемых.

У капитана было толстощекое, совершенно круглое, с утиным носом и мелкими щербинками бабье лицо, некрасивое, но очень доброе. За мочкой правого уха темнела родинка величиной с горошину. Большими зеленоватыми глазами он увлеченно следил за плясавшими и улыбался. Над правым карманом его гимнастерки желтела нашивка за ранение, над левым — виднелась планка с ленточками ордена Красной Звезды и двух медалей.

Лейтенант не сводил глаз с плясавшего и от души смеялся, показывая рот, полный ровных белых зубов. В его юношеском, мягкого очерка лице было что-то нежное, девичье, и Таманцеву он вдруг напомнил светловолосую артистку, певшую партию пастушка в единственной слышанной Таманцевым опере.

На обоих офицерах было не новое, но чистое обмундирование, свежие подворотнички, а на ногах — форменные, массового пошива яловые сапоги, отпечатки которых, как еще вчера определил Таманцев, несомненно, не имели сходства со следами, обнаруженными у родника.

Если Андрей разглядывал офицеров главным образом с любопытством, то Таманцев сосредоточенно работал: на всякий случай составлял мысленно и запоминал словесные портреты обоих — занятие сложное, требующее острого глаза, опыта и наблюдательности.

По перрону пробежали два молоденьких лейтенанта — рыжеволосый, коренастый, с забинтованной рукой на перевязи и тонкий, сутуловатый, с пачкой газет под мышкой. Увидав Андрея, стоявшего позади круга зрителей, они бросились к нему.

— Блинов, ты?! Вот это встреча!.. Здорово! — вперебивку закричали они, пожимая Андрею руку и хлопая его по плечу. — Ты где?

— З-здесь... — смущенно промолвил Андрей.

— Смотри!.. Мы-то думали, ты там... — указал рукой на запад рыжеволосый, и оба продолжали: — Говорили, ты после госпиталя в разведку попал... за линию фронта... А ты по тылам кантуешься...

— А вы к-как, р-ребята? — попытался перевести разговор Андрей.

— Два месяца в боях... Видишь, по ордену прибавилось... До Восточной Пруссии дошли... — тараторили лейтенанты. — А ты свои чего не носишь?.. Три благодарности от Верховного...

— Как там, в б-батальоне? Васек К-косолапов, Терпячий, Скоков?

— Васек убит, а Терпячий в госпитале... И комбат убит и замполит... Еще под Минском... Прямое попадание в капз... — перебивая друг друга, восклицали лейтенанты. — Наумов на амбразуру лег — посмертно Героя дали... И ротный твой погиб и Фельдман... А Басову ноги оторвало... И меня тоже хватило. — Рыжеволосый приподнял перебинтованную руку и радостно сообщил: — Гангрена началась, чуть не оттяпали!.. Старого состава человек сорок, остальные из пополнения... Нас под Варшаву перебрасывают... Идем — посмотришь!.. Наш эшелон на втором пути... Скоро отправляемся...

— На втором п-пути... Сейчас, ребята...

— Идем! — Рыжеволосый ухватил Андрея за руку.

— Сейчас, р-ребята... Одну минуту... Сейчас п-приду...

С тоской смотрел Блинов вслед убежавшим офицерам; он чувствовал, как слезы навертываются на глаза.

— Ты что, Андрюша? — подошел к нему Таманцев.

— Ничего, — дрогнувшим голосом сказал Андрей. — Мой п-полк...

— Я понял...

— Под Варшаву едут... В-васек убит... и ротный, и к-комбат...— Андрей отвернул лицо: слеза все же выползла и заскользила по щеке.— А я... ищи и с-собирай окурки... Не хочу! — обиженно произнес Андрей.— П-подозреваемые, проверяемые — сам черт ногу сломит... П-пропади они в-все п-пропадом!

— Милый, да если окурочек нужен для дела, за него полжизни отдать не жалко! — заверил Таманцев, поспешно соображая, как разрешить ситуацию и вмиг настраиваясь «бутафорить»²⁷.

— В п-полку я ч-человеком был... Лучшим взводом к-командовал! А з-здесь иждивенец ваш... и п-пользы от меня...

— Некачественно ты ко мне относишься! — сделал обиженное лицо и раздувая ноздри, заявил Таманцев.— И к Паше тоже!

— Почему некачественно? — запротестовал Блинов.

— Потому!.. Если ты серьезно считаешь, что от нас здесь меньше пользы, чем на передовой, то... извини... Это настолько оскорбительно — нет слов! — С обиженным видом и не без возмущения Таманцев развел руками и, чувствуя, что теперь надо смягчать, примиряюще продолжал: — Ты эти завиральные мысли брось... Какой же ты иждивенец?.. А кто на этих двух наткнулся?.. Кто лейтенанта нашел?.. А след у родника?! Дурашка, да мысленно я тебе аплодирую!

— Т-толку-то что?

— Толк будет! Как говорил товарищ Христос: ищите и обрящите!.. Ты пойми...— Таманцев неожиданно обнял Андрея и быстро доверительно зашептал: — Я обучу тебя стрельбе по-македонски, силовому задержанию... поднаберешься опыта, оперативная хватка появится — да тебе же цены не будет!.. Мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика!.. Волкодава!..²⁸ Да ты любого парша²⁹ голыми руками брать сможешь!..

Пляска оборвалась внезапно. На путях у эшелонов призывно заиграл горн, зазвучала повторяемая громкими голосами команда: «По ваго-нам!.. По ва-го-он-ам!..» Многие оборачивались, высматривая, какой эшелон отправляется; гармошка умолкла.

Маленький пехотинец, бросив плясать, с досадой сплюнул и, переводя дыхание и утирая платком мокрое лицо, вытянулся, став на цыпочки, чтобы разглядеть; ему крикнули из толпы. и, махнув гармонисту рукой, он, одергивая гимнастерку, подошел к старшине-артиллеристу и, энергично пожимая ему руку, ломающимся баском, улыбаясь, но с огорчением громко сказал:

— Ну... бывай! Свидимся — допляшем!..

И вслед за гармонистом пошел из круга.

Зрители неохотно расходились. Круглолицый капитан и лейтенант, словно что-то вдруг вспомнив, заторопились и, покинув перрон, направились в город.

В их поведении не было ничего подозрительного или даже примечательного. Если на станции они не прислушивались к разговорам, не присматривались и не проявляли интереса к воинским эшелонам, то теперь они шли, разговаривая между собой, и ни разу не оглянулись.

Тем не менее Таманцев, как всегда, действовал с большой осторожностью; он следовал за офицерами на предельно дальней дистанции, Андрей шел, отстав от него еще на полсотни метров.

Двигаясь таким образом, они оставили вправо развалины древней

²⁷ Б у т а ф о р и т ь — играть, изображать что-нибудь с какой-либо целью.

²⁸ В о л к о д а в — розыскник, способный брать живьем сильного, хорошо вооруженного и оказывающего активное сопротивление противника.

²⁹ П а р ш — агент-парашютист; более распространено: сильный, способный оказать серьезное сопротивление противнику.

крепости, миновали костел и вышли к восточной окраине города. Здесь, не доходя речушки, на тихой, совсем деревенской улочке офицеры, приблизясь к одному палисаднику, открыли калитку, зайдя, заперли ее и прошли в дом, причем сделали все это привычно: по-видимому, они здесь жили или не раз бывали.

Знаком руки Таманцев подозвал Андрея.

— Слава богу, кажется, причадили,— с облегчением сказал он.— Ближе подходить нельзя. И здесь оставаться тоже.

Сворачивая направо, он поспешно зашарил взглядом и, высмотрев укрытие, подходящее для наблюдения, повел глазами влево:

— Тебе придется обойти... за речку, вон в те кусты. Я объясню капитану, как тебя найти. Давай!..

30. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову, Полякову

По данным НКГБ СССР, на территории Южной Литвы и Западной Белоруссии действует подпольная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне «Делегатура Жонгу», имеющая одной из основных задач ведение оперативной разведки в тылах Красной Армии и на фронтовых коммуникациях. Для передачи сведений «Делегатура» располагает коротковолновыми радиопередатчиками и сложными цифровыми шифрами.

Одним из руководителей этой организации является находящийся ныне на нелегальном положении в районе г. Вильнюса Мариан Квапинский 1906 или 1908 г. р., урож. г. Белосток, в прошлом офицер польской армии, по образованию адвокат, сын владельца крупной нотариальной конторы в Кракове.

Содержание перехваченной 13.08.44 г. шифрограммы радиции с позывными КАО соответствует информации, весьма интересующей лондонский и варшавский центры. Вполне допустима принадлежность разыскиваемого передатчика к «Делегатуре», не исключено, что Мариан Квапинский и есть «нотариус», упоминаемый в тексте перехвата.

Устинов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову

Управлением Контрразведки 1-го Прибалтийского фронта 2 августа с/г арестованы немецкие агенты-парашютисты Антанас Гогелис и Владас Жельнис, окончившие разведывательно-диверсионную школу, дислоцированную в 14 километрах от города Быггоц (Бромберг), в имени Вальден.

Органами контрразведки того же Управления 11 августа захвачена еще одна группа агентов в составе Люкайтиса, Сенкявичюса, Яцунскаса, которые окончили ту же самую школу.

Обеим группам, переброшенным в тылы фронта под видом офицеров Красной Армии с заданием оперативной разведки, было предложено:

а) связаться с действующими бандами литовско-немецких националистов, так называемой ЛЛА, для получения от них шпионской информации;

б) с целью сбора сведений о передвижениях наших войск вести визуальное наблюдение на коммуникациях Прибалтийских и Белорусских фронтов, совершать челночные железнодорожные маршруты, в частности на линиях Даугавпилс — Белосток (через Вильнюс, Гродно) и Вильнюс — Брест (через Лиду и Барановичи или Волковыск).

Согласно показаниям арестованных, в вальденской разведшколе создано специальное отделение, где обучаются лица литовской национальности, в основном скомпрометированные пособничеством оккупантам, как правило, свободно владеющие русским языком.

Сведения, содержащиеся в перехваченной 13.08.44 г. шифрограмме рации с позывными КАО, соответствуют заданиям, полученным группами А. Гогелуса и В. Люкайтиса. Вполне возможно, что разыскиваемый Вами передатчик используется одной из групп агентов, окончивших литовское отделение вальденской разведшколы и перебросенных в тылы фронта.

Ваши соображения по поводу этой версии сообщите.

Управлению Контрразведки 1-го Прибалтийского фронта даны указания немедленно подробно информировать Вас обо всех имеющихся у них материалах по инстербургской разведшколе противника, а также передать Вам в случае необходимости опознавателя из числа арестованных ими агентов.

Кольбанов».

31. ПРИ ЧЕМ ТУТ ЮЛИЯ?

Таманцев с двумя офицерами должен был приехать еще полтора-два часа тому назад. Ожидая их в условленном месте, у мостика через крохотную речушку, Алехин лежал близ обочины мощенной булыжником пустынной дороги на успевшей остыть земле, размышлял о деле и терялся в догадках, почему они так задерживаются.

Еще не стемнело, но от низких сумрачных туч повечерело раньше времени.

Звук мотора полуторки он слышал издали и погода, когда шум приблизился, вышел на дорогу.

Как только машина остановилась, Таманцев и за ним двое прикомандированных выпрыгнули из кузова.

— Капитан Фомченко, — представился плечистый, с головой, обожженной справа от виска до затылка.

— Старший лейтенант Лужнов, — вытянулся перед Алехиным высокий, помоложе.

Как и Таманцев, они были без головных уборов, в плащ-палатках, с автоматами ППШ и вещмешками в руках; только Таманцев дополнительно захватил еще «шмайссер»³⁰.

Обоих прикомандированных Алехин наверняка видел в отделе контрразведки авиакорпуса. Он даже припомнил, что у капитана на одной из медалей вмятина от пули или осколка.

— Развернись и стань сюда, — указывая в кусты на отходящую перпендикулярно неторную дорогу, велел он Хижняку и позвал офицеров: — Идемте.

Широкой травянистой тропой, обжатой с обеих сторон кустарником, они направились к темнеющему вдали лесу — Алехин и Таманцев впереди, Фомченко и Лужнов за ними.

— Что так долго? — справился Алехин у Таманцева.

— Можете проколоть себе дырочку для ордена, — небрежно сообщил Таманцев. — Мы нашли этих — капитана и лейтенанта.

³⁰ Немецкий автомат.

— Кто это? — заинтригованный упоминанием об ордене, поинтересовался Фомченко.

— Подозреваемые, — пояснил Алехин, — точнее даже — проверяемые... Где они?

— Зашли в дом шесть на улице Вызволенья. Судя по всему, они там уже бывали. Блинов наблюдает за ними. По данным комендатуры, фамилия капитана — Николаев, лейтенанта — Сенцов. Прибыли из воинской части тридцать один пятьсот восемнадцать... Цель командировки указана стандартно: выполнение задания командования.

— Блинову там не управиться, — вздохнул Алехин. — Тридцать один пятьсот восемнадцать — это что за часть?

— Второго Белорусского фронта. Я сделал запрос. Подполковника не было, потому и задержался.

— Если они действительно из этой части... другого фронта, что же они лезут у нас по хуторам? Странно... Твои соображения?

— Ничего примечательного. Держатся спокойно, непринужденно... По виду в армии не новички... Их надо понаблюдать, — заключил Таманцев. — Вы же сами говорите — проверяемые. Возможно, этим и ограничиться... К утру будет ответ.

— Ну уж к утру.

— Будет, — заверил Таманцев. — Я сам звонил по вэ-чэ в Управление Второго Белорусского. И передал с литером «Весьма срочно»... За подписью генерала.

— Плачет по тебе гауптвахта, — покачал головой Алехин. — Кончится война, посадить на полгода — вполне по заслугам!

— Уж я бы там отоспался. И ряшку бы наел — во! — Таманцев развел руками. — Есть элементы авантюризма, — со вздохом признал он, — но исключительно для пользы дела.

— Там гроза... — оборачиваясь в сторону Лиды, помолчав, проговорил Алехин.

— Уж это точно!.. Веселенькая ночька вам предстоит...

Таманцев осмотрел темное небо, потом лес впереди — выглядело все вокруг мрачно, диковато — и заметил:

— Прекрасное место для отдыха. В каком отеле для нас приготовлены номера?

Алехин, будто не слыша, молчал.

— Распорядитесь доставить туда багаж, — не унимался Таманцев, — массажистку и педикюрных операторов.

— Ожидают тебя с нетерпением, — принимая тон Таманцева, сказал Алехин.

— Очень мило... А каков приказ Родины?

— Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним, — вполне серьезно сказал Алехин.

— Кто это — Павловский? — спросил Фомченко; он, видно, был любознателен и, во всяком случае, хотел быть в курсе дела; а Лужнов молчал.

— Агент германской разведки, — оборачиваясь, сказал Алехин.

— Милейший парень, — добавил Таманцев. — Девять успешных перебросок и четыре железки от немцев... Особо опасен при задержании. Как-то под настроение ухлопал трех лопухов из комендатуры.

— Понятно, — несколько озадаченно проговорил Фомченко.

— Ну уж — лопухов, — не согласился Алехин. — Офицера и двух патрулей. С ним надо ухо держать востро. Я ознакомлю вас с ориентировкой и фотографиями, — пообещал он.

— Нам сказали... — наконец произнес Лужнов, — здесь полно банд. Правда?

— Говорят, убивают,— Таманцев пожал плечами,— но мы не видели.

Лужнов держал автомат наизготове, время от времени утыкаясь стволом в спину Таманцеву.

— Поставьте на предохранитель,— посоветовал ему Алехин и улынулся.— Вы летчик?

— Летчик,— покраснев, подтвердил Лужнов и сдвинул шишечку.

— Восемьдесят семь боевых вылетов,— сказал за него Фомченко.— Комиссован после ранения. Как и я, грешный...

«Вот так... Восемьдесят семь боевых вылетов, а автомата, возможно, в руках не держал. Летчики... Ладно, скажи спасибо, что этих дали».

Они вышли к всполью и все четверо встали за кустами. На поле, метрах в двухстах от них, виднелся добротный дом с мансардой, левее — две бедноватые хаты, за ними зловеще чернел лес.

— Это дом Павловских,— показал Алехин.

— Он заколочен,— заметил Таманцев.

— Да... Сам хозяин, Павловский-старший, арестован как фольксдойче... сидит в Лиде,— объяснил Алехин Фомченко и Лужнову.— В меньшей хате,— Алехин указал рукой,— проживает Юлия Антонюк.

— А это кто? — нетерпеливо осведомился Таманцев.

— Сирота... Она с детства в услужении у Павловских; то ли батрачка, то ли служанка — не поймешь. Имеет дочку полутора лет.

— От кого? — спросил Таманцев.

— Поговаривают, что от немца, но я думаю иначе... Эта Юлия — родная сестра жены Свирида. Кстати, вон его хата...

— А кто это — Свирид? — вступился Фомченко.

— Приятель капитана,— с иронией заметил Таманцев.— Он и подарил нам Павловского.

— Вот именно... — улынулся Алехин и пояснил Фомченко: — Обездоленный человек, горбун.

— А тетка? — озабоченно спросил Таманцев.— У Казимира тут где-то есть родная тетка.

— Не здесь, а в Каменке... Я отдаю предпочтение Юлии. На две засады у нас просто нет сил.

— Нам-то все равно, где блох кормить — там или тут.— Таманцев сплюнул.— Только просветите. Не дайте помереть душой! При чем тут Юлия? Почему Павловский должен появиться здесь?..

32. АЛЕХИН

Трудно было допустить, что, попав в эти места после многих месяцев отсутствия, Павловский не попытается встретиться с кем-либо из родных или близких ему людей. Но с кем?

Отец, которого он, по словам крестьян, уважал и любил, находился в тюрьме, дом стоял заколоченный, и со стороны издалека было видно, что там никто не живет. Следовало предполагать, что Павловский через кого-нибудь (скорей всего через свою родную тетку Зофию Басида) постарается узнать о судьбе отца.

Как я выяснил, Басида, истовая католичка, без симпатии относилась к немцам, запрещавшим религиозные службы на польском языке и жестоко притеснявшим не только рядовых верующих, но и «наместников божьих» — ксендзов. Фактом было, что она, наполовину немка, не подписала фолькслист, как это сделали ее брат и племянник, хотя в тяжелых условиях оккупации германское гражданство давало немалые блага. Своего единственного брата она любила, с племянником же отношения у нее, как я понял, были не лучшие.

Обдумывая все, что мне удалось узнать о Павловских, Свиридах, о их родственниках, я из двух вариантов — Зофия Басида и Юлия Антонюк — постепенно склонился ко второму.

Дело в том, что у меня еще раньше возникло предположение, что дочка у Юлии Антонюк от Казимира Павловского.

Эта догадка появилась у меня, когда, узнав, кто такая Юлия, я обдумывал текст записки, извлеченной из пирога в отделе госбезопасности. Зачем сидящему в тюрьме отнюдь не сентиментальному пожилому человеку в коротком тайном послании сообщать, что девочка его батрачки здорова?

Мысль эта получила некоторое подтверждение, когда на одной из двух фотографий Павловского, принесенных Свиридом, я не без труда разобрал стертую кем-то надпись: «Самой дорогой от Казика». И ниже: «1943 год».

Кто мог быть для Павловского-младшего «самой дорогой» в доме Свирида? Как попала туда эта карточка?.. Естественным было предположение, что фотография подарена Казимиром Юлии. И что полтора месяца назад после спешного отъезда Юлии карточка вместе с другими ее вещами попала в дом к Свириду.

Кто же и когда стер надпись?.. Возможно, Юлия перед приходом наших войск, а может, и Свирид. Примечательно, что, когда я потребовал принести фото Павловского, он отправился к хате, зашел туда и тут же полез в погреб — несомненно, там и были спрятаны карточки.

Дорого бы я дал, чтобы узнать истину о взаимоотношениях Павловского и Юлии, чтобы знать доподлинно, кто отец девочки.

Кстати, Эльзой, именем в этих местах весьма редким, звали, как мне запомнилось по следственному делу, мать Юзефа Павловского — бабушку Казимира.

Мое предположение об отцовстве Павловского-младшего представлялось вполне вероятным, но не более. Чтобы как-то проверить его, я до приезда Таманцева попытался установить дату рождения девочки.

Она была зарегистрирована у каменского старосты как родившаяся 30 декабря 1942 года. В графе «Отец», естественно, красовался прочерк, свидетельницей при записи значилась Бронислава Свирид.

Эта дата, к сожалению, не подтверждала мою догадку, наоборот. Так случается частенько: фактов нет, одни предположения, доказать или опровергнуть их практически невозможно, а надо тотчас принять решение. И ошибиться нельзя, а посоветоваться — для уверенности — не с кем.

Был у меня, правда, еще небольшой довод против варианта с Зофией Басида: Павловский переброшен, очевидно, в конце июля или в начале августа и за это время повидаться с теткой мог бы уже не раз. Юлия же появилась здесь всего два дня назад.

Я вовсе не тешил себя иллюзией, что Павловского привели сюда только родственные чувства. Тут наверняка был случай невольного сочетания личного с нужным для дела, необходимым.

Шиловичский лесной массив, безусловно, превосходное место и для выхода агентурного передатчика в эфир, и для устройства тайника, где эту рацию можно прятать, и для скрытной приемки грузов с самолета. Павловский же хорошо знал этот район, знал до тропинки лес, все подъезды и подступы; действовать здесь ему, естественно, было легче, удобнее, чем в другой, незнакомой местности. А нам следовало иметь в виду одно немаловажное для его поимки обстоятельство: человек он опытный и появляться здесь может только украдкой, с наступлением сумерек, преимущественно в ночное время.

Таманцев, выслушав мои соображения относительно выбора объекта для наблюдения, задал несколько вопросов, а когда в заключение я поинтересовался его мнением, неопределенно хмыкнул:

— Занятно!..

Это, как я расшифровал, означало: «Ваши предположения я не разделяю и могу камня на камне от них не оставить. Но спорить не буду и слова не скажу, чтобы не размагничивать этих двух — Фомченко и Лужнова...»

Его отношение я определил правильно: прощаясь со мной в кустах близ дома Павловских, он сказал то, что обычно говорил в подобных, сомнительных для него, ситуациях, когда не верил в успех:

— Что ж, наше дело маленькое...

И, словно желая меня успокоить, напоследок добавил:

— Придут — не уйдут.

Мыслями я уже был в Лиде. Павловский, безусловно, тоже «наш хлеб», и постараться взять его — наша прямая обязанность. Однако никаких данных о его причастности к работе разыскиваемого нами передатчика у нас не было, а рация с позывными КАО оставалась основным заданием группы, основной целью наших усилий, и я ни на минуту не забывал об этом.

33. ИХ НАДО ПОНАБЛЮДАТЬ...

Предгрозовая полутьма становилась все более душной и тяжелой. Жители поспешили укрыться по домам. Улица была пустынна и тиха, и весь город словно замер в ожидании.

Светомаскировка соблюдалась тщательно — ни огонька, ни тусклой полоски света. Сумерки сгустились настолько, что, кроме темных силуэтов домов, разглядеть что-либо на расстоянии было уже почти невозможно. Андрей перебрался через мостик, прополз по-пластунски за кустами и залег метрах в двадцати напротив калитки.

Вскоре, после того как он занял это весьма удобное для наблюдения место, из дома кто-то вышел и ходил за штакетником в палисаде; как ни старался Андрей, но рассмотреть, кто это был, не смог.

Потом со стороны дома появился большущий кот; бесшумно ступая, он подошел прямо к кустам, где лежал юноша, и зелеными, злоуще блестящими в темноте глазами с минуту разглядывал незнамого человека, затем быстро вернулся к дому. «Разведаль, сейчас все доложит,— весело подумал Андрей.— Слава богу, что не собака».

Прошумел в листьях свежий ветерок, пронесся и затих. Спустя минуты первые капли дождя, редкие и тяжелые, как горошины, зашлепали по траве, по листьям, застучали по плащ-накидке. Молния огненным зигзагом сверкнула невдалеке, и гроза началась.

Андрей завернулся в плащ-накидку, но она была коротка, и ноги ниже колен скоро промокли.

Гроза разыгрывалась не на шутку.

Раздирая темную громаду неба, молнии на мгновение озаряли окрест, и снова все погружалось во мрак, и гром внушительно встряхивал землю.

Дождь полил сплошной стеной, словно на небе у какого-то колоссального сосуда отвалилось дно и потоки воды низверглись на землю.

Плащ-накидка пропиталась насквозь, затем постепенно намокло все, что было на Андрее: и гимнастерка, и брюки, и пилотка, даже в сапоги непонятно как набралась вода. От дневной жары не осталось и следа, холодная мглистая сырость плотно охватывала тело. Зубы у Андрея выбивали частую дробь, да и весь он дрожал.

«Нужно в любых условиях ничего не упустить и себя не расшифровать», — наставлял самого себя Андрей; на память ему пришел случай с Таманцевым в Смоленске.

Зимой, после освобождения города, за одним из домов было установлено наблюдение: по агентурным данным, в нем находилась явочная квартира германской разведки. Таманцев, придя на смену, определил, что наиболее удобное место для наблюдения — старая, заброшенная уборная посреди двора. Еще до рассвета он залез внутрь, и напарник запер его, заложив дверь доской — так было прежде.

Мороз был около двадцати градусов. Когда же Таманцев попытался греться, переступая с ноги на ногу, то оказалось, что ветхое сооружение от малейшего движения скрипит и шатается — того и гляди развалится. По двору же беспрестанно ходили.

Чтобы не обнаружить себя, Таманцев вынужден был простоять не шевелясь свыше десяти часов. Сведения о явочной квартире не подтвердились, и вспоминал он об этом приключении с улыбкой, хотя кончилось оно для него весьма печально: он так поморозил ноги, что месяца два провалялся в госпитале, где ему чуть было не ампутировали стопу.

Меж тем гроза на какое-то время утихла, чтобы вскоре разразиться с еще большим ожесточением. Злостно нарушая маскировку, молнии блистали одна за другой, и где-то совсем над головой оглушающе гремело и грохотало.

Казалось, разгулу стихии не будет конца. Однако в десятом часу ливень затих так же внезапно, как и начался. Гроза переместилась немного южнее, впрочем, на небе не было ни единой звездочки, и тихий обложной дождик не переставал. Отдаленные молнии полыхали чуть реже, каждый раз выхватывая на мгновение из мрака темные от дождя домики и палисады.

При одной из вспышек Андрей увидел бредущую под дождем фигуру в плащ-накидке, и уже когда снова все погрузилось в темноту, сообразил, что это Алехин — приехал и ищет его.

Надо было как-то дать о себе знать. Условные сигналы для леса Андрей помнил, но как это сделать сейчас, в городе, не представлял. Лишь минут через десять капитан, искавший его в темноте чуть ли не ощупью, приблизился настолько, что Андрей решился и тихонько окликнул его.

— Ну как, они в доме? — прежде всего осведомился Алехин.

— Да-да... — сияясь не стучать зубами, проговорил Андрей. — Никто не выходил.

— Порядок... Тогда порядок, — облегченно сказал Алехин, захватываясь в плащ-накидку, и улегся на мокрую землю рядом с Андреем.

Светящиеся зеленые стрелки показывали без четверти десять. Неужто до утра придется валяться здесь в грязи, дрожа от холода и сырости? — сомнение в необходимости наблюдения за домом ночью одолевало Андрея.

Время тянулось нестерпимо медленно; Андрею показалось, что часы остановились, — он поднес их к уху, услышал ровное тиканье и снова всмотрелся в темноту. «Вот гадство, — невесело подумал он. — Они себе спят спокойненько, а ты — мерзни!»

Алехин недвижимо лежал в метре от него по ту сторону куста. При вспышках молнии был виден профиль его скуластого, прикрытого до самых глаз капюшоном лица.

Наконец Андрею стало невмочь, и дрожащим от холода голосом он нерешительно позвал:

— Т-товарищ к-капитан.

Алехин шевельнулся и шепотом спросил:

— Чего?

— Вы думаете, к-кто-нибудь выйдет?

— Думаю, надо продолжать наблюдение,— сказал капитан, и Андрей пожалел, что задал этот вопрос.

— Но до утра х-хождение з-запрещено,— попытался как-то аргументировать он.

— Ты вчера ходил, тебя кто-нибудь задерживал?.. А в дождь тем более... Ты погрейся,— предложил капитан.— Только без шума! И не подымайся...

Андрей, подумав, перевалился на спину и заелозил на плащ-накидке, быстро и с усилием двигая руками и ногами; но согреться ему не пришлось.

— Тихо! — Алехин схватил его за плечо.

Свет желтой неяркой полосой вырвался от дома и тут же погас. Сквозь реденькую пелену дождя капитан в какой-то миг успел заметить в дверном просвете фигуры двух человек — кто-то вышел из дома.

Алехин сжал Андрею руку. Но напрасно они напряженно вглядывались в темноту: в трех шагах ничего не было видно. Сквозь тихий мерный шум дождя чуть слышались шаги и совсем невнятно — разговор вполголоса: кто-то шел от дома к калитке. Алехин до боли сжимал руку Андрея; шаги приближались.

— Успеете. До поезда почти час,— послышался негромко, но явственно мужской голос.

— Може, на товарнем пояду,— с сильным польским акцентом отвечал другой.

Заскрипела калитка.

— Счастливо доехать.

— Довидзенья!

Спустя мгновения зарница медленным отблеском осветила за штакетником темную фигуру, возвращавшуюся к дому, и вышедшего из калитки. Это был низкий толстый человек в брезентовом плаще и черной фуражке; он шел, ощупывая дорогу палкой, воротник плаща был поднят.

— Иди за ним,— быстро зашептал Алехин в ухо Андрею.— До станции его не трогай. А когда сядет в поезд, нужно проверить у него документы. Сбегай к коменданту и от моего имени попроси проверить... Только весь вагон, а не у него одного, понимаешь?.. В любом случае надо установить его личность! Под благовидным предлогом и без шума. Он, видно, поляк и вроде железнодорожник... Будь осторожен! Иди!

Андрей поднялся и, оставив плащ-накидку Алехину, осторожно двинулся вслед за неизвестным. Он шел вслепую, дрожа от холода; мокрые шаровары и гимнастерка плотно облегли тело, в набухших сапогах хлюпала вода. При каждой вспышке молнии он, поспешно пригибаясь, чуть ли не ложился на землю и видел, что человек в плаще не оборачиваясь идет шагах в пятидесяти впереди.

Андрей слышал, как он, очевидно упав или споткнувшись, крепко выругался по-польски; потом юноше стало казаться, что звук шагов делается все тише, удаляется...

Андрей ускорила шаг и в тот же миг оскользнулся; пытаясь удержаться равновесие, взмахнув руками, дернулся всем телом и полетел в канаву. Он больно ударился правой скулой и бровью; жидкая холодная грязь залепила лицо. Проклиная мысленно эту ночь и ненастье, отплевываясь, он ощупью отыскал лужу, обмыл лицо и утерся рукавом.

Дождь почти перестал, где-то впереди прогудел паровоз, и все. Никаких шагов не было слышно.

Андрей несколько мгновений постоял, вслушиваясь, и в сильном волнении бросился вперед.

На небе в тучах обозначился просвет; теперь можно было различить темные силуэты домиков по обеим сторонам. Вдруг впереди и несколько вправо отчетливо послышались шуршащие шаги. «Свернул!» — сообразил Андрей и, дойдя до угла, пошел вправо, в ту сторону, откуда доносились шаги. Так он двигался минут пять, стараясь ступать не шумно и, чтобы сохранять дистанцию, дважды останавливаясь и вслушиваясь, как хрустит песок под ногами идущего впереди.

Сверкнула молния, и — о ужас! — Андрей увидел впереди статную фигуру в шинели; он бросился догонять.

— Как на с-станцию п-пройти? — крикнул Андрей.

— Прямо, — раздался совсем близко, и что было совершенной неожиданностью, звонкий девичий голос. «Женщина!»

— К-кто вы? — выговорил Андрей и, так как она не ответила, спросил: — Почему х-ходите ночью?

— А вы почему?

— Нужно! Я офицер.

— А я старшина! — Она зажгла фонарик и осветила Андрея; в правой руке у нее он разглядел пистолет.

— Ну и вид же у вас! — ахнула она. — Идите вперед!

— Куда в-перед?

— Я не терплю ночью незнакомых за спиной. Вперед! И быстрее, — сказала она повелительно, — я опаздываю на поезд!..

34. ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ БЛИНОВ

На станции находилось несколько эшелонов и всего один пассажирский состав Минск—Гродно.

Неизвестный мог попытаться уехать и с эшелоном, но Андрей решил сначала осмотреть гродненский поезд: к составу уже подавали паровоз. У кубовой Андрей подставил голову под кран, обмыл гимнастерку, брюки и сапоги и приступил к делу.

Света в вагонах не было. На счастье Андрея, луна выплыла из-за туч и можно было разглядеть не только фигуры людей, но и некоторые лица. Почти все полки были заняты, в общем же пассажиров было немного: спали даже на нижних местах.

«В любом случае установите его личность! В любом случае!» — твердил сам себе Андрей, проходя по вагону и с лихорадочной поспешностью оглядывая пассажиров. Он начал с хвоста, просмотрев одиннадцатый и десятый вагоны, перешел в девятый и... чуть не наткнулся на человека в плаще.

Тот стоял во втором купе вполоборота к проходу; отраженный свет луны освещал его; Андрей не останавливаясь прошел дальше, успев, однако, заметить скрещенные молоточки на черной железнодорожной фуражке, приподнятый воротник плаща и даже разглядел крупное мясистое лицо неизвестного. Палки в руках у него уже не было, и по его позе Андрей понял, что он решил расположиться в этом купе на средней свободной полке.

«Он! — радостно билось сердце Андрея. — Это он! Теперь установить личность! Вагон номер девять». Андрей глянул на часы: до отхода поезда оставалось одиннадцать минут.

Комендант станции помещался в небольшом бараке возле блокпоста на путях. Это был пожилой смуглолицый, с седыми висками и шрамом на щеке капитан — Андрей его уже раза два видел. Теперь он,

склоняясь над массивным письменным столом, при свете лампы-молнии заносил какие-то сведения из блокнота на огромную, вполстола, таблицу. Слева на грязном, неопределенного цвета диване сидя, низко свесив голову и негромко всхрапывая, спал старший лейтенант — судя по красной фуражке, офицер комендатуры.

— Т-товарищ капитан,— приложив руку к пилотке, обратился Андрей,— разрешите...

— Подождите,— недовольно оборвал комендант, у него что-то не ладилось; он в волнении листал блокнот и поерывал на стуле.— Вы можете подождать,— с раздражением не то спросил, не то приказал он.

Андрей некоторое время стоял в нерешимости; одернув прилипшую к телу гимнастерку, потрогал пальцем распухшее подглазье и бровь, затем взглянул на часы: до отхода поезда оставалось пять минут.

— Я не могу ждать! — неожиданно для самого себя громко объявил Андрей.

— Что-о? — удивленно вскинул голову комендант и посмотрел на Андрея.— Что вам надо?

Выложив на стол намокшее удостоверение, Андрей торопливо и сбивчиво изложил суть дела, дважды упомянув фамилию Алехина.

— Только девятый? — переспросил комендант.— Никитин! — позвал он; спавший на диване офицер и не шевельнулся.

— Никитин! — заорал комендант.— Вот черт! Да разбудите же его!

Старший лейтенант тяжело поднял голову и, протирая глаза и щурясь, сонно разглядывал Андрея. Он был низкоросл и молод, на вид лет двадцати трех, не более.

— Никитин,— приказал комендант.— Возьмешь двух патрулей, проверите в гродненском девятом вагоне. Там едет один тип, надо узнать, кто он... Понимаешь?.. Остороженько! Вот лейтенант объяснит. Проверяете с двух концов весь вагон.— Комендант посмотрел на часы.— Сейчас дадут отправление — спешите! В крайнем случае задержишь минут на пять, но не больше!..

— Вы откуда? — выходя за Андреем из кабинета, громко зевая и подтягивая штаны, спросил Никитин.— Из контрразведки... Все в шпионов играете,— понимающе усмехнулся он, окидывая взглядом мокрое обмундирование юноши.— И какого шута вам не спится?! — с чувством подсадовал он.

С двумя сержантами-патрулями они вышли из барака. Мимо по третьему от них пути, набирая скорость, катились вагоны пассажирского поезда.

— Тю-тю! Поехали,— присвистнул Никитин, останавливаясь, и, указывая рукой, будто обрадованно сообщил: — Вот он, гродненский!

— З-за мной! — крикнул Андрей, подбегая к составу. Он на ходу вскоил на подножку и, толчком распахнув дверь, поднялся в тамбур; оттолкнув женщину в платке, которая с перепугу кинулась в вагон, он нащупал в темноте ручку стоп-крана и рванул ее книзу.

Поезд резко затормозил.

В вагоне что-то упало, послышались тревожные возгласы, неистово закричал ребенок. Но Андрей ничего не слышал; спрыгнув на землю, он бежал к девятому вагону.

Пока Никитин объяснялся с подоспевшим начальником поезда, Андрей заглянул в вагон. Железнодорожник сидел в том же купе; теперь он был без плаща и без фуражки. Андрей решил на всякий случай не лезть ему на глаза и, договорившись с Никитиным, начал проверку с другого конца вагона.

Пассажиры в основном были гражданские. Все были разбужены резкой остановкой поезда и судачили по этому поводу; высказывались самые различные предположения. Сержант светил фонарем; Андрей машинально просматривал документы и также машинально задавал положенные в таких случаях стереотипные вопросы: «Откуда едете?.. Куда?.. Кем выдан пропуск?..» и так далее. Мысленно же он находился в другом конце вагона.

Мандата на право проверки никто не требовал. Андрей проверял уже третье купе, когда поезд снова тронулся.

— Лейтенант, — крикнул Никитин, — сходим!

Андрей, поняв, что все уже сделано, поспешил вслед за патрулем покинуть вагон.

* * *

— ...пропуск, броня — все в порядке, — докладывал коменданту Никитин, когда Андрей вошел в кабинет. — Командирован со станции Котельнич, следует в Гродно к месту постоянной службы. С женой и двумя детьми...

— Откуда д-дети? К-какая жена? — перебил Андрей изумленно и растерянно. — Не может быть!

— Тот самый, что вы указали. Во втором купе. Невысокий, толстый. Железнодорожник. Других там не было!

— Он п-поляк?

— Поляк? — Никитин от души расхохотался. — Вятский!.. Его же видно — наш брат, Ванька!

— Перестаньте, — строго остановил комендант. — Вас спрашивают серьезно. Фамилию вы установили?

— А как же?.. Шишков Федор Алексеевич, девяносто шестого года, родом из Зуевки Вятской губернии... Они сели в Минске — проводница подтвердила... А здесь он вылезал за кипятком...

* * *

— Ты упустил его по дороге, — заключил Алехин, выслушав Андрея.

Они снова лежали в холодной мокрой траве, наблюдая за домом. Еще не светало.

— В поезде ты наткнулся на другого... наверно, похожего... — невесело продолжал капитан. — Все остальное было впустую...

35. ВСЕ ЖЕ ПОСТАВИМ ТОЧКУ...

Оставив Блинова наблюдать, Алехин на полutorке — Хижняк с вечера спал в машине на соседней улице — помчал в предрассветной полутьме к аэродрому.

Мокрое обмундирование холодным компрессом липло к телу. За ночь он так продрог, его било как в лихорадке. Сейчас бы пробежаться для согрева, да не было времени.

Город еще не проснулся. За всю дорогу к аэродрому он повстречал лишь четырех одиночных военных — ни одного гражданского — да два грузовика с ночными пропусками на лобовых стеклах.

Поляков, как и у себя в Управлении, в гимнастерке без ремня, с расстегнутым воротником сидел за столом в зашторенном кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса и колдовал над листом бумаги. На приветствие Алехина он, подняв голову, рассеянно ответил: «Здравствуй... Садись...»

— Они в доме, — сообщил Алехин.

— Застыл?

— Если бы не дрожал, то совсем бы замерз,— отшутился Алехин.

— На вот, погрейся.— Поляков подвинул к нему трофейный, с идиллическим баварским пейзажем розоватый термос, известный, наверно, всему Управлению.— И булочку бери...

Алехин налил из термоса в стакан крепкого душистого чая, завариваемого подполковником самолично по какой-то своей особой методе, опустился на стул у приставного столика и, положив в рот кусочек сахара, с удовольствием сделал несколько глотков.

Перед Поляковым лежал лист бумаги с десятью, наверно, строчками, исчерканными, со вставками, исправлениями и двумя вопросительными знаками синим карандашом. Алехин взглянул мельком, подумал, что это, очевидно, текст для одной из точек радиогри, дела столь конфиденциально-секретного, что и смотреть туда больше не стал.

Он знал, что каждая буква в таких документах утверждается Москвой, согласовывается, если содержит дезинформацию, с Генеральным штабом, но продумать и составить текст должен Поляков, вся ответственность на нем, и Алехин пожалел, что пришел не вовремя.

Его восхищало в Полякове умение при любых обстоятельствах сосредоточиться, отключиться от всего в данную минуту второстепенного, а главным сейчас для подполковника были, очевидно, эти исчерканные строчки.

Помедлив, Алехин взял сиротливо лежащую на блюде булочку, маленькую — из офицерской столовой. Он так зазяб и проголодался, что съел бы сейчас десяток таких крохотулек, а то и больше. Подобные по форме пышечки пекли и дома, только не на противне, а в печи, тоже из пшеничной муки, но деревенского, не машинного помола. Те, разумеется, были несравненно вкусней, особенно со сметаной.

Он вспомнил, как весной или осенью, продрогший, возвращался в сумерках с полей в тепло родной избы, и радостный крик дочки, и необыкновенные щи, и горячие блины, и соленые грузди, и квас... Все это казалось теперь призрачным, совершенно нереальным...

— Вчера они опять выходили в эфир,— вдруг спокойно сообщил Поляков.

— Где?! — От неожиданности Алехин поперхнулся куском булки.

— В тридцати—сорока километрах к востоку от Шиловичского леса.— Поляков поднял голову, и Алехин увидел, что он переключился и думает теперь о разыскиваемой рации.— Передача велась с движения, очевидно с автомашины. Любопытно, что ни одного случая угона за последние трое суток не зафиксировано.

— Есть дешифровка? — быстро спросил Алехин.

— Пока нет. Они каждый раз меняют ключ шифра. Ты пей. И наливай еще.

— Спасибо. Во сколько они выходили в эфир?

— Между семнадцатью двадцатью и семнадцатью сорока пятью.

— Николаев и Сенцов в этот час были в городе,— констатировал Алехин,— под нашим наблюдением.

— В данном случае у них железное алиби. Кстати, на них уже есть ответ. Как быстро исполнили, а?... Сообщают сюда, в Лиду, но почему-то на имя генерала... Странно...

«Когда-нибудь он нарвется!» — разумея Таманцева, со злостью подумал Алехин и тут же про себя отметил, что если бы не «элементы авантюризма», ответ был бы не раньше чем еще через сутки.

А Поляков уже достал из папки листок бумаги и прочел:

— «Проверяемые вами капитан Николаев и лейтенант Сенцов действительно проходят службу в воинской части 31518. В настоящее

время командированы в район города Лида с целью децентрализованной заготовки сельхозпродуктов для штабной столовой». Так что их появление на хуторах вполне объяснимо, — заметил Поляков. — «Никакими компрометирующими сведениями на проверяемых вами лиц не располагаем».

— Вот так, выходит, сутки впустую! — огорченно сказал Алехин.

— Я должен сейчас выехать в Гродно, — словно оправдываясь, сообщил Поляков, — ночью, очевидно, вернусь в Управление. Позвони обязательно... Очень жду дешифровку первого и вчерашнего перехватов. Загляни сюда днем, — посоветовал он, — возможно, что-нибудь будет.

— А может, они вовсе не те, за кого себя выдают? Может, в группе четверо и передачу с движения вчера вели двое других?.. Все же поставим точку! Взгляну-ка я на них в упор и пощупаю документы, — предложил Алехин; он смотрел на Полякова, ожидая одобрения, но тот, кажется, снова углубился в свои строчки. — Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в тылах другого фронта — это самодеятельность, причем незаконная. Интересно, что мне-то они скажут о цели командировки?.. Прихвачу кого-нибудь из комендатуры, — упорно продолжал Алехин, — для вида зайдем и в соседние дома...

— Разумно, — подняв голову, согласился Поляков. — Но время лишне не трать!..

36. АЛЕХИН

К хозяйке дома номер шесть по улице Вызволенья, пани Гролинской, я отправился с одним из офицеров городской комендатуры, немолодым, совершенно лысым и весьма толковым капитаном, понимавшим все с полуслова. Он свободно говорил по-польски, очевидно, много раз выполнял подобные роли, и, если бы еще относился ко мне без некоторого подострастия, работать с ним было бы истинным удовольствием.

Чтобы не вызвать подозрения, мы побывали и во всех соседних домах, в десяти или в одиннадцати, хотя, по комендантским учетам, лишь в трех из них размещались военнослужащие. Как и всегда, маскирование — инсценировка общей сплошной проверки — заняло большую часть времени.

Раннее солнце миллионами капелек сверкало на траве, на листьях и на крышах, но еще нисколько не грело. Где-то там, в конце улочки, в мокрых холодных лопухах, за канавой, располагался Блинов. Лежал он хорошо: я раза четыре поглядывал в ту сторону, но определить, в каком месте он находится, так и не смог.

Как и ночью, мыслями я то и дело возвращался к Таманцеву. Мы здесь, по сути, ничем не рисковали, ему же в случае появления хотя бы одного Павловского предстояла ожесточенная схватка. Я не мог не думать о Таманцеве; впрочем, сомнение, правильно ли там выбран объект для засады — не пустышку ли тянем? — и по сей час не оставляло меня.

Пани Гролинская, для своих шестидесяти лет очень моложавая и подтянутая, в этот ранний час занималась уборкой: развесив на штатке палочке половики, как раз принялась их выбивать.

Мы поздоровались, капитан сообщил, что мы из комендатуры «по вопросам расквартирования», и поинтересовался, есть ли у пани на постое военные.

— Так, — приветливо отвечала она.

— А разрешение комендатуры?.. Документ?.. — почти одновременно осведомились мы.

— Проще пана.— Она с улыбкой пригласила нас в дом.

Когда мы подходили к ее палисаду, я заметил позади дома, на соседнем участке, пожилую женщину, возившуюся на огороде и что-то при этом недовольно бормотавшую по-польски. Завидев нас, она выпрямилась и, глядя недобро большими светлыми глазами, забормотала с возмущением еще громче.

Вместе с пани Гролинской мы прошли в комнату, обставленную добротной старинной мебелью. Первое, что бросалось в глаза — уже в кухне,— чистота и аккуратность.

Из лежавшей в ящике комода домовая книга хозяйка достала маленькую бумажку — талон со штампом комендатуры — и протянула ее капитану: «Проще пана»; тот посмотрел и передал мне.

В верхней графе талона было написано: «К-н Николаев, л-нт Сенцов».

— Срок разрешения истек в полночь,— вполголоса напомнил мне капитан.

— А где они? — справился я и посмотрел на дверь в другую комнату.

Я не сомневался, что подлинные или мнимые Николаев и Сенцов слышат и слушают наш разговор — не спят же они в такое прекрасное утро, в восьмом часу.

— Офицеры?.. Уехали.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

— Как — уехали? — Я старался сохранить спокойствие. «Очевидно, в те полтора часа, когда я отсутствовал. Значит, Блинов пошел за ними. Это трудно и рискованно — на безлюдных улицах...» — Когда уехали?

— Ночью...

Невероятно! Мы же лежали буквально в десяти метрах от калитки — тут что-то не так... мы не могли их прозевать.

А пани Гролинская рассказывала, что эти «офицеры» вчера поздно вечером распрощались с ней, она вот и комнату после них уже убрала.

Они перешли на другую квартиру (где однажды в июле уже останавливались), потому что у нее нет подходящего сарая, а им нужен на день сарай для скотины. Мол, эти «офицеры» занимаются заготовкой продуктов для своей части, ездят по округе и закупают в основном овец и свиней, а вчера к ночи должна была прибыть машина, они соберут все из деревень в Лиду, погрузят и увезут. Она не преминула заметить, что никогда не держала никаких животных, кроме породных охотничьих собак — ими увлекался ее покойный муж.

Говоря, что уже убрала за офицерами, она открыла дверь в соседнюю комнатку — две аккуратно заправленные кровати, стол, цветы на окне, порядок и чистота.

Сочинить с ходу эту историю про заготовку овец и свиней (что вполне соответствовало цели командировки подлинных Николаева и Сенцова) она, разумеется, не могла: несомненно, она повторяла то, что слышала от своих постояльцев. Вопрос только в том, правда это или всего-навсего легенда, прикрывающая другую их деятельность.

Я знал немало случаев, когда вражеские агенты действовали в прифронтовой полосе под видом всякого рода интендантов, представителей армейских хозяйственных служб. Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов — отличное прикрытие для передвижения и разведки в оперативных тылах.

Свеж у меня в памяти был и прошлогодний случай. Разыскивая по данным радиоперехвата немецкую разведгруппу, мы заподозрили

трех человек, имевших безукоризненные экипировку и все офицерские документы. Сделали запрос, и нам подтвердили, что такие-то «действительно проходят службу в части» и что они девять дней назад были в командировку сроком на месяц «в указанный вами район».

Хорошо, что мы не удовольствовались этим ответом. Как впоследствии выяснилось, те, кто «проходил службу», были убиты на вторые сутки после отъезда из части. Их трупы спустили под лед, а документы, в частности командировочные предписания, до момента ареста успешно использовались тремя заподозренными нами лицами. (Удостоверения личности, продольственные аттестаты и вещевые книжки на имя убитых они заполнили сами, используя запасные комплекты документов — резервные чистые бланки, полученные от немцев.)

Как и большинство пожилых поляков, пани Гролинская неплохо говорила по-русски, причем отвечала без пауз и обдумывания, держалась с достоинством и приятным кокетством. В светлом фартучке поверх темного строгого платья, не по возрасту гибкая, легкая в движениях, она походила на гимназистку. Лицо у нее было горделивое, тонкое и приятное.

В городском отделе милиции, куда перед комендатурой я заскочил, мне, как иногда случается, повезло. Помощник дежурного по гор-отделу, немолодой лейтенант, обслуживал участок, куда входила улица Вызволения, и вместо кратких установочных данных, на что я мог рассчитывать в столь ранний час, я узнал о хозяйке дома номер шесть, наверно, все, что было о ней известно местным органам.

Гролинская Стефания, 1883 года рождения, уроженка Белостока, из семьи мелкопоместного шляхтича, образование — женская гимназия, по профессии модистка, перед войной владела небольшим пошивочным ателье, сгоревшим в первую неделю военных действий. В период оккупации проживала в Лиде, подрабатывала шитьем женской одежды. Муж был моложе ее на десять или двенадцать лет — эту деталь особо отметил участковый.

В большой комнате, где мы разговаривали, на стене висело несколько фотографий; я успел потихоньку разглядеть изображенные на них лица, выделил и запомнил троих.

На высоком берегу реки, опершись на локоть, лежал благообразный суровый старик; я без труда узнал в нем Пилсудского — хозяйке дома, пожилой польке, он, по всей вероятности, представлялся национальным героем.

На другом снимке над тушей убитого дикого кабана красовался щеголеватый мужчина с усиками и прилизанными волосами, в охотничьем костюме, с ружьем и патронташем; фатоватое, самодовольное лицо — как я предположил, муж пани, Тадеуш Гролинский.

И еще были две фотографии юноши с задумчивым, невеселым лицом — очевидно, сына хозяйки, находившегося якобы в подполье где-то под Варшавой, оккупированной немцами.

То, что пани Гролинская не опасалась держать на стене фотографии Пилсудского, укрепило мое отношение к тому, что она говорила. Во многом я ей верил. Непонятно только, как эти двое, Николаев и Сенцов, прошли мимо нас незамеченными.

Пани Гролинская вызывала уважение и, более того, симпатию. В сознании с трудом укладывалось, что муж этой обаятельной, отменно воспитанной, когда-то, без сомнения, на редкость красивой женщины был рядовой тюремный надзиратель, как поговаривали, малограмотный и глуповатый. Кроме выпивки и охоты, его в жизни якобы ничто не интересовало. Впрочем, погиб пан Тадеуш в сентябре

1939 года в боях с немцами, погиб, чуть ли не бросившись с гранатой под танк, и вспоминали о нем, по словам участкового, как о герое.

— А где вообще вы помещаете офицеров? — поинтересовался я.

— Здесь... Проще пана...

Мы прошли в только что убранную комнатку. Кровати были заправлены чистым, неиспользованным бельем. Половики отсюда висели на штaketнике. В пепельнице на столе — ни окурка, ни пепла, ни соринки. И нигде никаких следов пребывания вчерашних постояльцев.

Тем временем пожилая женщина на смежном участке — она по-прежнему находилась на огороде прямо перед окном этой комнатки, — завидя на улице соседку, принялась с новой энергией возмущенно выкрикивать что-то по-польски. Капитан прислушивался и незаметно подал мне знак. Но я при всем желании не мог понять, о чем там шла речь.

— Пшепрашем паньства, — с улыбкой извинилась Гролинская; она выглянула в окно и сказала: — Нех щен пани юш успокои. Пшез быле глупство денервуве щен пани пшешло годинен³¹. — И, оборотясь к нам, с улыбкой снова извинилась: — Пшепрашем паньства.

— Ну что ж, — оглядев исподволь все в комнате, сказал я, — условия для двух человек хорошие.

— Вполне, — подтвердил капитан, делая для видимости какие-то пометки в служебном блокноте. — А больше двоих сюда и не направляли... Так и записываю: комната светлая, чистая... Сколько здесь метров?

— Двенадцать, — сказала хозяйка.

Женщина на соседнем участке продолжала ругаться, и я демонстративно посмотрел в окно.

— Проще пана, слышите, как она волнуется? — пытаюсь улыбнуться, проговорила Гролинская.

— Что там случилось? — спросил я.

— Ничего... Они же не бандиты, а радянские офицеры! Подумайте, наступили на огород... Ночью темно!

— Повредили грядки... — подсказал капитан.

— Они что, ушли через ее участок?

— Так!.. Там ближе к центру. Почему я виновата?.. Мусить, так надо... Они же военные!..

* * *

В голове у меня вертелось немало вопросов. Мне бы очень хотелось знать и что собой представляют в действительности те, кто значился в комендатуре как Николаев и Сенцов, и, разумеется, где они сейчас, и все подробности их поведения и разговоров в этом доме, и почему они ушли ночью через соседний участок, и кто был тот железнодорожник в плаще, зачем он приходил, и где теперь, и что за отношения между ним и этими двумя офицерами.

И еще очень многое мне бы хотелось узнать, и о многом я бы желал поговорить с пани Гролинской, но сейчас я мог интересоваться лишь определенным кругом вопросов, только тем, что положено знать офицеру комендатуры, проверяющему порядок размещения военнослужащих на частных квартирах.

Мы уже выходили — вслед за капитаном я переступил порог комнаты, размышляя над тем, что услышал и увидел в этом доме, — и тут на кухне у меня от волнения буквально заняло дух: возле кафельной печки, в углу, в плоском ящичке для мусора рядом с совком я увидел смятый листок целлофана, хорошо мне знакомую целлофановую обертку...

³¹ Успокойтесь наконец, пани. Из-за такой мелочи вы волнуетесь целый час.

37. ТАМАНЦЕВ

Первая ночь в засаде была не из приятных и тянулась чертовски медленно.

Мы вымокли до нитки еще вечером, обсушиться было негде, согреться нечем, и до утра мы дрожали в кустах как цуцки.

Когда начало светать, мы перебрались потихоньку в дом Павловских. Добротный, с большой мансардой, он стоял заколоченный в сотне метров от хатки Юлии Антонюк, и с чердака отлично просматривались все подступы к ней — наверняка никто бы не смог пройти незамеченным.

Мы развесили обмундирование сушиться под крышей, Фомченко и Лужнов завернулись в старое тряпье и уснули, я же расположился с биноклем у чердачного окна, также забитого досками.

Хатенка Юлии Антонюк смотрелась отсюда как на ладошке. Лучшее место для наблюдения трудно было придумать. Я решил так: светлую часть суток будем находиться здесь, а с наступлением сумерек перебираться ближе к хатке, располагаясь в кустарнике с двух сторон от нее.

До полудня наблюдал я. Юлия Антонюк возилась около хаты по хозяйству, прибиралась, вытряхивала какие-то облезлые овчины, тяжелой, не по ее силенкам ржавым колуном рубила дрова. Потом прошла с корзиной на огород Павловских и нарыла картошки. Там уже немало повыкапывали то ли Свириды, то ли Зофия Басида, то ли еще кто. И я подумал, что и нам не мешает в сумерках набрать там с ведерко — вопрос только, как ее сварить?

Я отметил, что одета Юлия бедно и лицо у нее нерадостное, но даже издали можно было без труда разглядеть, что она красивая, складенькая и богата женственностью или еще чем-то, как это там называется, из-за чего женщины нравятся мужчинам.

Ее дочка — занятная пацаночка, веселая и очень подвижная — играла возле дверей хатенки, что-то распевала и ежеминутно почесывалась, что, впрочем, ничуть не портило ей настроения. Уж если блохи жрали нас здесь, на чердаке, представляю, как они свирепствовали там: в хатах с земляными полами их обычно полным-полно.

Хозяйство Антонюк из-за отсутствия какой-либо живности, хотя бы кошки или курицы, выглядело не просто бедным, но и запустелым. Я даже поймал себя на чувстве жалости к этой деваче, по дурусти прижившей от кого-то ребенка, — житуха у нее получилась несладкая. Рассмотрев в бинокль лицо девочки, я вполне допускал, что она от немца, а вот с Павловским, как я его представлял по словесному портрету и фотографиям, у нее не было, по-моему, и малейшего сходства.

Метрах в трехстах дальше и немного правее я видел хату Свирида, наблюдал в бинокль и самого горбуна, его мать и жену.

Лицо у него было злое, неприятное, и домашние, как мне показалось, его побаивались. Поутру он что-то мастерил, приколачивал в стоделе — оттуда доносился стук по дереву и по металлу, — потом запряг лошадь, взвалил на телегу плуг и куда-то уехал.

Вскоре после этого его жена с крынкой и каким-то свертком в белой тряпке прошла в хату к Юлии и, пробыв там совсем мало, тут же вернулась к себе. Я заметил, что по дороге к сестре она дважды как-то воровато оглядывалась и что вышла потом от нее, вытирая слезы.

В полдень я растолкал Фомченко и, приказав ему разбудить меня в шестнадцать ноль-ноль, передал наблюдение и улегся на его место.

Нам предстояло сутками, а может, неделями ждать у моря погоды и не зевать. Это как на рыбной ловле: никогда не знаешь, в какой

именно миг клонет. А в данном случае я сомневался: клонет ли вообще?

И еще меня заботило одно существенное обстоятельство.

Никаких доказательств принадлежности Павловского к разыскиваемой нами группе не имелось. Подвернулся он случайно, разумеется, взять его — тоже наш долг, но при этом мы наверняка отвлекаемся от основной цели. А спрашивать за передатчик с позывными КАО, за «Кравцова» и «нотариуса» будут с нас, да еще как — три шкуры спустят!

Я заставлял себя быть объективным, однако...

Почему он должен здесь появиться? Предположений капитана я во многом не разделял. Как и всегда, он преувеличивал фактор человечности. С агентами-парашютистами я имею дело четвертый год, сопротивляются они отчаянно, но всяких там чувств я у них что-то не замечал. Да они из родной матери колбасы наварят, а тут, видите ли, судьба отца, ребенок (еще неизвестно чей!) и — эка невидаль! — женщина. Чихал он на всю эту лирику! Промежду прочим, бабу можно найти и не только на этом хуторе, запросто — это не проблема.

Впрочем, наше дело маленькое. Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай...

38. ПОДПОЛКОВНИК ПОЛЯКОВ

В Гродно у него было несколько дел, и главным среди них — вовсе не случай с угоном «доджа» и убийством водителя, однако начал Поляков именно с него. Отчасти потому, что автобат размещался на окраине, при въезде в город.

О том, что машина найдена, он узнал рано утром перед выездом из Лиды, когда по «ВЧ» позвонил в Управление и ему перечислили все основные происшествия минувших суток в районе передовой и в тылах фронта.

Конечно, можно было все это поручить кому-либо из подчиненных, но уже шестые сутки, с того момента, как в лесу под Столбцами группа Алехина обнаружила отпечатки протектора «доджа», все, что касалось автомобилей этого типа, особенно интересовало Полякова.

Рыжий полноватый майор, чем-то похожий на Бонапарта, — командир батальона и храбрый, подтянутый капитан в кавалерийской кубанке — командир автороты, несколько удивленные неожиданным визитом подполковника из Управления контрразведки фронта, провели его к стоящей отдельно, как бы в ожидании проверки автомашине. Сюда же тотчас подоспели уже вызванные старшина-механик с изуродованным шрамами лицом и старший лейтенант, уполномоченный контрразведки, выбритый, аккуратный, пахнувший одеколоном или духами.

— ..Машина оказалась на ходу, в баках было около тридцати литров бензина, — рассказывал командир роты Полякову.

— Кто и когда ее обнаружил?

— Местные жители... Очевидно, они и сообщили в Лиду... А нам вчера позвонили из комендатуры.

— Кто за ней ездил? — заглядывая под скамейки, прикрепленные к бортам, справился Поляков; разговаривая, он последовательно осматривал машину.

— Вот... старшина.

Поляков повернулся к старшине — тот вытянулся перед ним.

— Вольно... Расскажите, пожалуйста, как и что.

— Это отсюда километров сорок... — напрягаясь, произнес старшина; у него не хватало передних зубов и, очевидно, был поврежден

язык, он говорил шепеляво, с трудом, весь побагровев от волнения.— Там, значит, за деревней... рощица... Ну, нашли ее,— старшина указал на машину,— мальчишки... Я сел — она в исправности. Так и пригнал...

— А шофер убит? — Чтобы старшине было легче, Поляков перевел взгляд на капитана.

— Да,— сказал тот.— Его подобрали на обочине шоссе — машина из другой части. Нам сообщили уже из госпиталя. Я поехал туда, но меня к нему не пустили. Врач сказала, что он без сознания, надежды никакой, а справку они вышлют.

— Какую справку?

— О смерти.

— Справка справкой, а кто же его хоронил? — Поляков поднял в кузове промасленные тряпки и рассматривал их.

— Они сами хоронят.

— И никто из батальона больше туда не ездил? — обводя глазами офицеров, удивился Поляков.

— Нет,— виновато сказал капитан.

— Да-а, помер Максим — и хрен с ним...

— У нас запарка была дикая...— нерешительно вступился майор.— Выполняли срочный приказ командующего.

— Приказы, конечно, надо выполнять...— еще раз оглядывая сиденье машины, раздумчиво сказал Поляков.

Он знал, что со своей невзрачной нестройной внешностью, мягким картавым голосом и злополучным, непреодолимым пошмыгиванием выглядит весьма непредставительно, не имеет ни выправки, ни должного воинского вида. Это его не огорчало, даже наоборот. Не только с младшими офицерами, но и с бойцами, сержантами он держался без панибратства, но как бы на равных, словно они были не в армии, а где-нибудь на гражданке, и люди в разговорах с ним вели себя обычно непринужденно, доверительно.

Однако эти майор и brave капитан явно его боялись, ожидая, видимо, неприятностей. Заслуживал же в этой истории неприятных слов и, более того, взыскания только уполномоченный контрразведки, но он-то как раз был совершенно невозмутим.

— Ни капли крови, никаких следов...— обратился к нему Поляков.— Какие все-таки у Гусева были ранения? Как его убили? Кто?.. Ведь вы должны были если не выяснить это, то хотя бы поинтересоваться. А вы даже в госпиталь не выбрались.

— Я съезжу туда сейчас же,— с готовностью предложил старший лейтенант.

— Это надо было сделать неделю тому назад,— неприязненно сказал Поляков.

Его удручало, что здесь, во фронтовом автомобильном батальоне, где люди не спят ночами, по суткам не вылезают из-за руля, где не только командиры взводов, но и ротные и сам комбат не чураются возиться с машинами (о чем свидетельствовали руки и обмундирование обоих офицеров), ходит чистенький благоухающий наблюдатель, и этот невозмутимый сторонний наблюдатель, к сожалению,— коллега, представитель контрразведки. Причем от него ничуть не требовалось копаться в моторах, но и свое непосредственное дело он толком не знал и ничего не сделал.

На земле метрах в трех от машины Поляков заметил скомканный листок целлофана, подойдя, поднял и, поворачиваясь, спросил:

— А это что?

Все посмотрели, и старшина сказал:

— Это, значит, из кузова... Я выбросил... Мусор.

— Из этой машины?! — живо воскликнул Поляков.

— Да.

Поляков уже развернул листок, осмотрел, потер о ладонь — кожа засалилась — и, обращаясь в основном к старшему лейтенанту, спросил:

— Что это?

— Целлофан? — рассматривая листок, не совсем уверенно сказал старший лейтенант.

— Да... сто шестьдесят миллиметров на сто девяносто два... Что еще вы можете о нем сказать?

Старший лейтенант молча пожал плечами.

— Обычно салом в такой упаковке — стограммовая порция — немцы снабжают своих агентов-парашютистов, — пояснил Поляков.

Обступив подполковника, все с интересом разглядывали листок целлофана.

— Впрочем, иногда сало в такой упаковке попадает и в части германской армии: воздушным и морским десантникам, — добавил Поляков и, пряча находку в свой вместительный авиационный планшет, спросил старшину: — Вы из этой машины еще что-нибудь выбрасывали?

— Никак нет. Ничего.

— Накатайте протектор и сфотографируйте, — поворачиваясь к старшему лейтенанту, приказал Поляков. — Необходимо не менее шести снимков восемнадцать на двадцать четыре.

— У нас нет фотографа, — спокойно и вроде даже с облегчением доложил старший лейтенант.

— Это меня не интересует, — жестким, неожиданным для его добродушно-интеллигентской внешности тоном отрезал Поляков, — организуйте! Снимки должны быть готовы к восемнадцати часам... Второе: возьмите десяток толковых бойцов и вместе со старшиной немедленно отправляйтесь в Заболотье. Осмотрите место, где была обнаружена машина. Подступы и окрестность. Тщательно — каждый кустик, каждую травинку! Поговорите с местными жителями. Может, кто-нибудь видел, как на ней приехали. Может, кто-нибудь разглядел и запомнил этих людей... Вечером доложите мне подробно что и как... И будьте внимательны!..

39. АЛЕХИН

— Пшепрашем, пани, — сказал я Гролинской и, чтобы скрыть волнение, улыбнулся. — Что это?

— Цо? — Она обернулась и посмотрела в угол возле печки, куда я указывал.

— Вот. — Я нагнулся за скомканным листком целлофана, увидел второй, присыпанный мусором, и поднял оба.

— Это... у офицеров. — Она указала в сторону свежееубранной комнатки, где вчера помещались Николаев и Сенцов.

Я уже расправил листки, убедился, что они сальные внутри и соответствуют по размерам. У меня сразу пересохло в горле.

С пани Гролинской приходилось говорить по-другому: предыдущая конспирация исключала разговор по существу дела. Я отпустил капитана и предложил ей пройти в большую комнату, где мы сели у стола.

— Пани, — сказал я, — вы умеете молчать?

— Так. — Она в недоумении глядела то мне в лицо, то на помятый целлофан.

— Я буду с вами откровенен...

— Ежи! — побледнев, воскликнула она.

— Не волнуйтесь, пани, никаких известий о вашем сыне у меня нет.— Чтобы успокоить, я даже взял ее за руку.— Я буду с вами откровенен... Вы меня понимаете? Обещаете хранить в тайне наш разговор?

— Так.

— Мы считаем вас и вашу семью польскими патриотами... Ваш муж погиб как герой, защищая Польшу, и сын борется с оккупантами... Поляки и русские ведут войну с общим смертельным врагом...

Мне хотелось говорить с ней по-человечески, доверительно, а получались какие-то штампованные, официальные фразы. От бессонной ночи и усталости, от нехватки времени и, быть может, от произвольного стремления поскорее добраться до сути выходило как-то не так.

— Варшава,— сказала она.— Как Варшава?

Что я мог ей сказать?.. Я знал, что в Варшаве восстание, что начало его командование АК, но участвуют в нем сотни тысяч поляков. В городе уже третью неделю шли ожесточеннейшие бои: безоружные, по существу, люди противостояли танкам, авиации и артиллерии немцев — тысячи ежедневно гибли.

В последние дни меня не раз спрашивали о Варшаве, в основном поляки; о восстании мне было известно главным образом из скудных газетных сообщений, и сверх того я ничего сказать не мог.

— В Варшаве восстание... На улицах идут бои.

— Там Ежи...— дрожащим голосом произнесла она; в глазах у нее стояли слезы.

Так я и чувствовал!

— Будем надеяться, что он вернется живой и здоровый...

Я сделал паузу и затем продолжал:

— Мы ведем смертельную борьбу с нашим общим врагом, и очень важно, чтобы вы оказали нам содействие... Вы должны быть со мной откровенны... Этим вы поможете не только нам, но и сыну и всем полякам...

— Не разумею.

От волнения она заговорила по-польски, слезы душили ее. Я принес холодной воды, выпив весь стакан, она вытирала платком глаза и пыталась справиться, взять себя в руки.

Она сидела передо мной сникшая, потускневшая, сразу утратившая всю свою молоджавость и кокетливость. Мать, терзаемая тревогой за жизнь и судьбу единственного сына. Польша, мучимая мыслями о гибели соотечественников.

Так случается нередко. Сталкиваешься с чужой жизнью, с чужими страданиями, хочется как-то утешить, подбодрить и — совесть требует — оставить человека в покое. А ты вынужден тут же его потрошить, добывать необходимую тебе информацию. Проклятое занятие — хуже не придумаешь.

Дав ей немного успокоиться, я перешел к делу, объяснил, что меня интересуют эти двое офицеров. Поначалу она испугалась, что в ее доме ночевали какие-то бандиты, и как бы в оправдание опять поспешно достала талон комендатуры, разрешение на постой. Я сказал, что они не бандиты, но заготовливать продукты в этом районе не имеют права, это не положено. И тут она нашла для них определение «шпекулянтсы», и для нее все вроде стало на свои места. Частная торговля, продажа и перепродажа продуктов на освобожденной территории Литвы и Западной Белоруссии были весьма распространены, и версия о какой-либо коммерции выглядела для нее весьма убедительно.

Она охотно отвечала на все мои вопросы о Николаеве и Сенцове и, безусловно, была со мною откровенна.

Имея разрешение на пять суток, они ночевали у нее четыре раза — одну ночь где-то отсутствовали.

Уходили из дома рано, часов в шесть, возвращались с наступлением сумерек, усталые, запыленные. Как она поняла, ездили по деревням на попутных машинах. Чистили сапоги, умывались и, поужинав, сразу ложились спать.

В разговоры с ней не вступали, обращались только по какой-нибудь надобности, и то в основном старший. Так, в первый вечер он интересовался ценами на овец и свиней, на продукты, керосин и немецкое обмундирование, из которого теперь многие, особенно крестьяне, предварительно перекрасив, шили себе одежду. Как ей стало ясно, за несколько дней до этого они побывали на базаре в Барановичах и сравнивали тамошние цены и здешние.

Были вежливы и приветливы, угощали ее сахаром, вареными яйцами, привезенными якобы из деревни; в первый вечер дали ей полбуханки солдатского, как она выразилась — «казенного», хлеба, а вчера — целый стакан соли.

Все три года оккупации эти районы немцы солью не снабжали, она ценилась буквально на вес золота, да и сейчас продавалась на базаре чайными ложечками и стоила очень дорого.

Соль, щедро подаренная ей Николаевым, — я попросил показать — была немецкая, мелкого помола, с крохотными черными вкраплениями — крупинками перца, так он сам ей объяснил.

За месяц после освобождения города у нее на квартире останавливалось более десяти офицеров, и почти все тоже делились с ней какими-нибудь продуктами, но доброта последних постояльцев (полагаю, только теперь, после моих вопросов) ее почему-то настораживала. Хотя ничего подозрительного в их поведении вроде бы и не было.

Вчера они вернулись раньше обычного, перед грозой. Еще до их прихода появился этот железнодорожник, спросил их, не называя фамилии, сел в кухне и ждал.

Он поляк, но она его не знает, полагает, что приезжий, откуда-нибудь со стороны Литвы: он говорил по-польски с мягким вильнюсским акцентом. Как она полагает, он не рядовой железнодорожник, а какой-нибудь поездной «обер-кондуктор» или другой небольшой начальник. Показался ей молчаливым и замкнутым.

Он пробыл с офицерами свыше трех часов, вместе ужинали и распили бутылку бимбера, привезенную, очевидно, этим поляком. О чем они говорили — не знает, не прислушивалась.

Я поинтересовался, с кем еще они общались, кроме железнодорожника. Она сказала, что дня три тому назад вечером встретила их у станции с двумя какими-то офицерами, на внешность которых не обратила внимания, да в полутьме и не разглядела бы, только заметила, что они «млоди». Это определение ничего не говорило: женщине ее возраста и пятидесятилетние мужчины могли показаться молодыми.

Выяснилось, что Николаев и Сенцов однажды уже уходили из дома через соседний участок; они знали, что так ближе к центру города и дорога получше. Вообще-то там вдоль края участка был раньше свободный проход, но неделю назад соседка, поссорясь с Гролинской, закрыла калитку и забила ее досками. Если бы они не наступили в темноте на грядку, то никакого скандала и не было бы. Кстати, их уход не был для нее неожиданным — они заранее предупредили, что вечером перейдут на другую квартиру, где есть сарай и куда прибудет машина.

Разумеется, я спросил и о вещах: с чем эти офицеры появились в доме, что и когда приносилось и уносилось. Впервые они пришли под вечер с двумя плотно набитыми вещмешками; один исчез сразу,

наутро, а второй дня два стоял в их комнате под кроватью (она видела, когда убиралась), что в них было — не представляет.

Затем я справился, в какое время Николаев и Сенцов вернулись в воскресенье, 13 августа.

— В воскресенье...

Она подумала и сказала — после девяти, когда уже стемнело. Она припомнила, что в тот вечер младший — «лейтенант» — еще мыл на кухне... огурцы...

— А вас этими огурцами они не угощали?

— Не.

— А горьких огурцов у них в тот вечер не оказалось? Они не выбрасывали, не помните?

— Не знаю... Не видела.

Все подозрительно лепилось одно к одному. Конечно, всякое бывает, возможны самые невероятные совпадения и стечения обстоятельств. Однако не многовато ли?

7 августа передатчик выходил в эфир из леса юго-восточнее Столбцов в какой-нибудь сотне километров от Барановичей. На той же неделе Николаев и Сенцов, по словам Гролинской, побывали в Барановичах на базаре.

Вещмешок (не исключено, что в нем находилась рация) унесли из дома рано утром 13 августа — в день зафиксированного радиосеанса, часов за двенадцать до него. По возвращении на квартиру Сенцов мыл для ужина огурцы... Огурцы были найдены и на месте выхода передатчика — в тот вечер! — в эфир.

Позавчера Блинов видел Николаева и Сенцова на опушке Шиловичского леса с вещмешком — спустя полтора часа они вышли к шоссе без вещмешка. Это подкрепляло предположение, что в нем находилась рация, скрываемая где-нибудь в лесу.

Объясняя Гролинской свое знание города, Николаев и Сенцов говорили, что в июле уже были здесь, останавливались где-то на другой квартире, куда вчера перед полуночью якобы и ушли. Однако среди военнослужащих, побывавших в Лиде на постое с момента освобождения и до сего дня (по моей просьбе комендант города проверил ночью все учеты как у себя, так и в обоих районах расквартирования), офицеры Николаев Алексей Иванович и Сенцов Василий Петрович регистрировались и значились лишь один раз — 12 августа, в день появления у Гролинской.

Проце просто было связать воедино сведения о движении эшелонов в перехваченной радиограмме и этого «гостя» — железнодорожника, его мягкий вильнюсский акцент и выращиваемые только под Вильнюсом огурцы траку, обнаруженные на месте выхода рации в эфир.

И наконец, целлофановые обертки от сала, предназначенного у немцев для парашютистов и морских десантников.

Без труда выстраивалась цельная, вполне достоверная картина... В группе — четыре человека, и передачу с движения вели вчера двое других. Возможно, те самые, кого Гролинская встретила с Николаевым и Сенцовым в темноте у станции.

Железнодорожник, по всей вероятности, — связник или курьер-маршрутник. Он прибыл, очевидно, из Прибалтики и после контакта с Николаевым и Сенцовым уехал в сторону Гродно, в том направлении, где, судя по тексту перехвата, как раз велось систематическое наблюдение за движением эшелонов.

А уходили они дважды через соседний участок из предосторожности: на всякий случай, чтобы «сбросить хвост», если за ними попытаются следовать.

Все легко и достоверно раскладывалось по полочкам, до того легко, что я заставлял себя не делать до времени выводов и критически относиться даже к самым очевидным фактам и совпадениям.

Имелись и небольшие противоречия, из них лишь одно обстоятельство по-настоящему колебало все правдоподобное и весьма убедительное построение: целлофановые обертки они оставили на виду, в пепельнице, а те, кого мы разыскивали, люди бывалые, весьма осторожные, этого, надо полагать, никогда бы не сделали. Впрочем, и на старуху бывает проруха, чем черт не шутит...

Более всего мне хотелось посоветоваться с Поляковым, но до следующего утра, пока он не вернется в Управление, сделать это было, наверно, невозможно.

Я подробно разъяснил пани Гролинской, что она должна предпринять, если Николаев и Сенцов появятся у нее в доме или, может, встретятся ей на улице. Затем распрощался, пожелав, чтобы Ежи вернулся живым и здоровым, и еще раз попросил сохранить в тайне весь наш разговор. Она обещала.

С Николаевым и Сенцовым — подлинными или мнимыми — требовалось немедленно определиться. Следовало срочно проверить их по словесным портретам, составленным Таманцевым, и по приметам... Срочно!..

* * *

Минут десять спустя мы мчались к аэродрому.

Блинов, когда я сообщил ему, что этих двух офицеров в доме нет, что они ушли ночью через соседний участок, заморгал своими пушистыми ресницами, как ребенок, у которого отобрали игрушку или обманули. Затем, вздохнув, полез в кузов и тотчас уснул. А я трясся в кабине, систематизируя и переписывая с клочков бумаги каракули Таманцева — словесные портреты Николаева и Сенцова.

Из отдела контрразведки авиакорпуса я позвонил по «ВЧ» в Управление. Поляков — он устроил бы все без меня — находился где-то в Гродно, и я продиктовал текст запроса дежурному офицеру.

— Кто подписывает? — спросил он.

Этого я и сам еще не знал. Чтобы не беспокоить генерала, я попросил соединить меня с его заместителем, полковником Ряшенцевым.

Тот выслушал меня и, чуть помедлив, сказал:

— Есть свежее разъяснение, что не следует злоупотреблять литерами «Срочно!» и «Весьма срочно!». Применять их надлежит лишь в экстренных случаях. У вас же оснований для экстренности я не вижу. Обыкновенная проверка. Запрос я подпишу, но только обычный...

Я знал: на обычный запрос ответ может быть через трое или даже четверо суток, что нас никак не устраивало. Мы не могли ждать, и я прямо сказал об этом.

— Ничем не могу вам помочь.— Полковник положил трубку.

Тут я невольно позавидовал арапству Таманцева. Он в случае необходимости мог не моргнув глазом действовать от имени хоть маршала, хоть наркома, нисколько не опасаясь последствий, а потом еще с обидой, если не с возмущением уставиться на тебя: «Ну и что?! Я же не для себя, а для пользы дела!»

Я опять соединился с Управлением; не хотелось, но, как ни крути, приходилось обращаться к генералу.

— Он занят,— сообщил мне дежурный.

— Доложите: по срочному делу,— потребовал я.— Алехин от Полякова.

Прошло, наверно, около минуты, прежде чем в трубке раздался окаящий, грубоватый голос Егорова.

— Что там у вас? — вроде с недовольством спросил он и, хотя я рта не успел открыть, предупредил: — Тише. Не так громко.

Я вспомнил, что у его аппарата сильная мембрана, и сообразил: в кабинете кто-то посторонний и генерал не желает, чтобы слышали, что я скажу. Тем лучше: если там кто-то сидит, не будет вопросов и разговора по существу дела — пока нет результата, они неприятны.

Я начал объяснять, успел произнести каких-нибудь три фразы и тут же услышал, как по другому телефону он приказывает дежурному офицеру: «Поставьте мою подпись под запросом, переданным Аলেখиным. Литер — «Весьма срочно!». Ответ в Лиду. Передайте без промедления!»

Властности в его голосе вполне хватило бы на пятерых генералов. Стальная категоричность и безапелляционность. Особенно впечатляюще прозвучало «без промедления» и «весьма срочно». Указания же насчет этого литера его будто и не касались, он даже не выслушал мои обоснования.

— У вас все? — спросил он меня затем.

— Да.

— Вы хорошо зацепились, надежно?

— Как сказать... — неопределенно проговорил я; у меня защемило под ложечкой: полагаясь на Полякова, он, очевидно, не вникал в обстоятельства дела и считал, что мы ведем разыскиваемых и возьмем их сегодня или завтра, как только выявим их связи, а у нас практически ничего не было.

— Не теряйте время! Лишние вокруг да около не ходите. Вы меня поняли?

— Да, — с трудом вымолвил я.

— Я жду результат! — по своему обыкновению, вместо «до свиданья» сказал он и тотчас отключился.

40. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Егорову

В тексте перехвата по делу «Неман» от 13 августа Вильнюс обозначен как «Вильно».

Матюшин».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Лига, Аলেখину

Сравнительным исследованием фонограмм перехватов по делу «Неман» от 7, 13 и 16 августа установлено наличие в разыскиваемой Вами группе двух квалифицированных радистов. Анализ индивидуальных особенностей передачи и радиопочерков свидетельствует, что один из них (перехваты от 7 и 13 августа) окончил радиоотделение Варшавской разведшколы в местечке Сулеювек, а второй (перехват от 16 августа) обучался в Кенигсбергской школе абвера у старшего инструктора Адольфа Клюге.

Учтите эти обстоятельства при проведении розыска.

Егоров».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Егорову

Управлением контрразведки 2-го Белорусского фронта 11 и 14 августа с. г. захвачены немецкие агенты-парашютисты Пужевич Василь, Каминский Александр, Олешко Андрей и Мацук Иван и Артюшев-

ский Петр, окончившие разведывательно-диверсионную школу в местечке Дальвитц близ Инстербурга.

Обеим группам, в ночь на 1 августа переброшенным в тылы фронта под видом военнослужащих Красной Армии с заданием оперативной разведки, было приказано:

а) связаться с агентурой, оставленной противником, и активно использовать ее в шпионских целях;

б) собирать и передавать шифром по радио сведения о передвижениях и районах сосредоточения наших войск, для чего под маской находящихся в командировке офицеров фланжировать на важнейших железнодорожных и шоссежных коммуникациях Белорусских фронтов, ведя постоянное визуальное наблюдение и прислушиваясь к разговорам на станциях и в местах скопления военнослужащих;

в) добывать советские воинские и гражданские личные документы;

г) захватывать одиночных офицеров и сержантов Красной Армии для их допроса с последующим уничтожением.

Согласно показаниям арестованных агентов-парашютистов, подтверждаемым закордонным источником, в Дальвитцской разведшколе абвера создано специальное отделение, где обучаются настроенные антисоветски лица белорусской национальности, имеющие военный опыт и хорошее физическое развитие.

В апреле — июле сего года на этом отделении прошли интенсивную агентурную подготовку 48 человек, отобранные из новогрудского, барановичского и слонимского батальонов, сформированных немцами при мобилизации в так называемую «белорусскую краевую оборону» в марте месяце сего года. По окончании обучения 27 агентов, наиболее скомпрометированных пособничеством оккупантам, были направлены на закрытый аэродром абвера под Кенигсбергом, где после экипировки в форму военнослужащих Красной Армии и разбивки на группы по 3—4 человека помещались в отдельном бараке в ожидании переброски.

По имеющимся у нас данным, в первых числах августа с. г. среди других через линию фронта должны были быть переброшены группы, возглавляемые бывшим командиром новогрудского батальона БКО Борисом Рагулей и яркими антисоветчиками, националистами Степаном Радыко и Олесем Витушкой.

Одной из этих групп дано указание связаться с находящимся в настоящее время на нелегальном положении в районе города Лига известным белорусским националистом, резидентом германской разведки Сиповичем Николаем 1902 г. р., урож. гор. Пинска (неточно), по профессии адвокатом.

Сведения, содержащиеся в перехвате по делу «Неман» от 13.08.44 г., соответствуют заданиям, полученным агентурой, прошедшей подготовку на специальном белорусском отделении Дальвитцской разведшколы, причем среди переброшенных так же, как и в разыскиваемой Вами группе, имеются радисты, окончившие Варшавскую и Кенигсбергскую школы абвера.

Не исключено, что передатчик с позывными КАО используется одной из этих групп, действующей в тылах Белорусских фронтов. Также не исключено, что Сипович Николай и есть «нотариус», упоминаемый в тексте перехваченной шифрограммы.

Ваши соображения по поводу этой версии сообщите.

Подготавливаемая нами ориентировка с указанием установочных данных, кличек и словесных портретов значительной части лиц, прошедших подготовку на белорусском отделении Дальвитцской разведшколы абвера, будет вам сообщена в течение суток.

Колыбанов».

41. АЛЕХИН

Я возлагал немалые надежды на разговор с Окуличем.

Со слов лейтенанта из отдела госбезопасности я знал, что Окулич в период оккупации был связан с партизанами, прошлой весной во время массовых карательных операций немцев, рискуя жизнью, около месяца укрывал у себя тяжело раненного комиссара бригады Мартынова, чем спас его. Теперь Мартынов работал одним из секретарей обкома партии и, приехав недавно в Лиду специально, навестил Окулича.

— Наш мужик, партизанский,— сказал мне лейтенант.— Тихий он, молчаливый... они все здесь такие...— И, очевидно повторяя чьи-то слова, строго добавил:— И пока мы не очистим область от всей нечисти, они другими и не будут.

Однако я не сомневался, что Окулич расскажет мне все, что ему известно о Николаеве и Сенцове, и охотно передаст позавчерашний разговор с ними.

Блинова я оставил в Лиде, поручив ему поиски в городе: в случае встречи с Николаевым и Сенцовым он должен был задержать их; для этого ему по моей просьбе выделили двух автоматчиков из комендантуры, и я подробно проинструктировал его.

С нетерпением я ждал разговора с Окуличем, полагая, что он многое мне прояснит, и единственно опасаясь, что его, как и вчера, не окажется дома.

Нас трясло и бросало в кабине полуторки; Хижняк, с напряженным лицом держа руль, гнал по булыжному покрытию на предельной, а я поторапливал его, и время от времени он возмущенно бросал:

— Вам-то что!.. Вам на машину плевать!.. Рессоры новые вы достанете?! Машины гробить вы все мастера!..

За Шиловичами мы свернули с шоссе на грунтовую заброшенную дорогу, проехали тихонько кустарником, и я велел остановиться.

Хижняк, вытирая пот, вылез из кабины и начал осматривать машину, но я приказал:

— Потом! Возьми автомат и за мной!

Оставив его в кустах возле хутора, я направился напрямик к хате.

Яростно лаяла и рвалась на цепи собака. В окне показалось женское лицо, и тут же на крыльцо вышел мужчина, как я понял, сам хозяин и, прикрикнув на собаку, настороженно рассматривал меня. На нем были старенькие, но чистые рубаха и штаны, ноги босые, лицо небритое, печальное, прямо иконописное.

— День добрый... Я из воинской части восемнадцать ноль сорок.

Чтобы у него не возникло каких-либо сомнений, я вынул и, раскрыв, показал армейское офицерское удостоверение личности со своей фотографией. Он взглянул мельком и молча, с какой-то удручающей покорностью посмотрел на меня.

— Скажите,— приветливо начал я, утирая платком лицо и лоб, будто перед этим долго шел по жаре,— если не ошибаюсь, вы товарищ Окулич?

— Так...— растерянно произнес он.

— Очень приятно... Я здесь в командировке... У меня к вам небольшой разговор... И хотелось бы умыться и малость передохнуть. Не возражаете?

— Можно.

Немного погодя я сидел у стола в бедной по обстановке, но чистенькой, несмотря на земляной пол, хате.

Направляясь сюда, я, между прочим, подумал, что Окулич предложит мне самогона — у него ведь имелся «аппарат», — и заранее решил не отказываться. Я готов был отпробовать с ним любой гадости в надежде, что, выпив, он разговорится. Однако не то что выпить, он даже сесть не предложил — это сделала, выглянув из-за перегородки, его жена.

Приземистая, рябоватая, она возилась в кухонке возле дверей, потом принесла и поставила на стол крынку с молоком — молча и не налив в стакан — и снова скрылась за дощатой перегородкой.

Я был уверен, что Окулич сам расскажет мне о Николаеве и Сенцове, надо только его разговорить, и сразу доверительно сообщил, что часть моя стоит в Лиде, мы занимаемся охраной тылов фронта, боремся с бандами и дезертирами. Дело это нелегкое, и очень многое зависит от помощи населения.

Окулич сидел на лавке по ту сторону стола, подобрав под себя босые ноги, и молча слушал, и словом не поддерживая разговор. Я сам налил в стакан молока, сделал глоток и, похвалив, непринужденно продолжал:

— Вы, очевидно, нездешний? Откуда родом?

— Из Быхова, — сказал он; у него был негромкий глуховатый голос.

— Могилевский... А здесь давненько?

— Третий год.

— И при немцах здесь жили? — Я обвел взглядом хату.

— Тут.

— А не боязно? — улыбнулся я. — На отшибе-то, у леса?

Окулич неопределенно пожал плечами.

На божнице в переднем углу стояли иконы, католические, хотя Окулич был родом из области, где эта религия среди белорусов не распространена. И что я сразу отметил — ни одной фотографии на стенах, никаких украшений или картинок.

Я рассказал ему о Могилеве, где после освобождения мне пришлось побывать, о разрушениях в городе и перевел разговор на жизнь здесь — в Лиде, и в районе. Он слушал молча, глядел скорбными, как у мученика, глазами, даже на самые простые вопросы отвечал не сразу и односложно, беседа с ним явно не ладилась. Может, он мне не доверял?.. Он не прочел, не рассмотрел толком мое удостоверение личности, может, надо ему представиться еще раз?

— А это что — католические? — глядя на иконы, полюбопытствовал я.

— Няхай...

При этом он сделал вялый жест рукой: мол, не все ли равно?

— В Лиде мне сказали, что вы были связаны с партизанами. Надеюсь, что и нам вы поможете... Прочтите, пожалуйста...

Из кармана гимнастерки я достал и, развернув, положил перед ним на стол другое, подробное удостоверение. Он нерешительно взял и принялся читать.

В документе говорилось, что я являюсь офицером войск по охране тылов фронта, и предлагалось всем органам власти и учреждениям, воинским частям и комендатурам, а также отдельным гражданам оказывать мне всяческое содействие в выполнении порученных заданий. На листке удостоверения имелись моя фотография, две четкие гербовые печати и подписи двух генералов: начальника штаба фронта и начальника войск по охране тыла фронта.

Медленно все прочитав, Окулич возвратил документ и удрученно посмотрел на меня.

— Скажите, пожалуйста,— пряча удостоверение, сказал я.— Вы здесь на этих днях... сегодня, вчера или позавчера, посторонних кого не видели? Гражданских или военных? Никто к вам не заходил?

— Не,— помедлив, сказал Окулич, к моему немалому удивлению.

— Может, встречали здесь кого?

— Не.

— Припомните получше, это очень важно. Может, видели здесь в последние дни,— подчеркнул я,— посторонних, или заходил кто-нибудь?

— Не,— повторил Окулич.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Ошибиться я не мог. Хутор этот был первым по дороге из Шиловичей на Каменку, причем описание Блиновым хаты, надворных строений — все в точности соответствовало тому, что я увидел, подходя сюда. И собака соответствовала, и ее будка, и сам Окулич по внешности соответствовал. Более того, я без труда даже определил место в кустах и дуб, откуда Блинов наблюдал Окулича и тех двоих офицеров.

Однако Окулич утверждал, что в последние дни к нему никто не заходил.

И до встречи он представлялся мне тихим, неразговорчивым, но рисовался иным. Он произвел на меня странное, малоприятное впечатление какой-то своей бессловесной покорностью; я не мог не почувствовать его внутренней напряженности — беспокойства или страха. А собственно, чего ему меня бояться?

И жена его, тихонько возившаяся в кухонке, такая же молчаливая и неулыбчивая, мне тоже не понравилась, возможно, своим недобрим хитроватым лицом и частым настороженным выглядыванием из-за перегородки. Я отчетливо ощущал, что им обоим тягостен мой визит.

Прочем, это еще ни о чем не говорило. И мои антипатии, как и симпатии, никого не интересовали — нужны были факты. А фактом было, что двое подозреваемых нами лиц заходили позавчера к Окуличу, находились у него некоторое время и у Окулича имелись основания скрывать это посещение.

Я с огорчением сознавал, что разговор с ним мне больше ничего не даст. Наступила минута, которая нередко случается в нашей работе: ты располагаешь какими-то, подчас противоречивыми, сведениями о человеке, ты видел его и побеседовал с ним и тебе предстоит что-то для себя решить, сделать определенный вывод.

Католические иконы наверняка стояли на случай возможного прихода аковцев; они могли в любой момент наведаться сюда, и принадлежность хозяев хаты к одной с ними вере должна была, очевидно, как-то расположить, смягчить их. Да и немцы к католикам относились все же лучше, чем к православным.

Отсутствие семейных фотографий наводило на мысли о родственниках Окуличей, об их связях и довоенной жизни. Я еще подумал — получают ли они письма и от кого?

Меня занимал и ряд второстепенных вопросов, но главными сейчас были: что за отношения между Окуличем и Николаевым и Сенцовым, зачем они приходили и почему он скрыл от меня их позавчерашний визит, если они действительно советские офицеры? Почему?.. С какой целью?..

И еще: что было в вещмешке, который видел Блинов, и куда он делся, где его спрятали или оставили, когда спустя час они выходили к шоссе?

Жданный мною как манна небесной разговор с Окуличем ничего не дал и ничего не прояснил, а обстоятельства требовали немедленных решительных действий. Я шагнул к раскрытому окну, сложил ладони рупором и крикнул — позвал Хижняка.

Спустя секунды, выскочив с автоматом в руке из кустов, он бежал к хате. Собака, бешено лая, прыгала и рвалась на привязи.

Я посмотрел на Окулича — он встал и, оцепенев от страха, глядел в окно...

42. ПОДПОЛКОВНИК ПОЛЯКОВ

Он начал в Гродно с «доджа» и заканчивал день «доджем».

Старший лейтенант вернулся из Заболотья вечером. Судя по его усталому виду, по измятому, перепачканному обмундированию, он старался на совесть, однако никаких следов или улик в рощице, где была найдена машина, обнаружить не удалось. Опрос местных жителей тоже ничего не дал — ни появления машины, ни приехавших на ней никто не видел.

Отпечатки протектора угнанного «доджа» сфотографировали с опозданием, и пакет со снимками Поляков получил, когда уже смеркалось. В полутьме он не стал их рассматривать, решив сделать это на продпункте после обеда, который по времени оказывался поздним ужином.

День был насыщенный, и с чувством удовлетворения он отметил, что успел почти все. Снятие копии с медицинского заключения о смерти шофера (чтобы уяснить, чем его убили и как?) можно было поручить и кому-либо из подчиненных.

Под вечер он разговаривал по «ВЧ» с начальником Управления генералом Егоровым — тот просил «по возможности не задерживаться». Егоров вообще не любил, когда начальник розыскного отдела отлучался более чем на сутки, но Поляков сказал, что должен заехать в Лиду и сможет вернуться только завтра, очевидно, к вечеру. Генерал, недовольный, положил трубку.

Рано утром Поляков так торопился, что не мог уделить Алехину и нескольких минут, отчего ощущал себя перед ним словно бы в долгу.

Теперь, когда все самое важное в этой поездке было уже сделано, на первое место в его мыслях выдвинулось дело «Неман».

Вчера сразу же после получения текста дешифровки он запросил через ВОСО³² данные о движении эшелонов в период с 9 по 13 августа по шести железнодорожным узлам в оперативных тылах фронта. Сведения уже подготовили, надо было сесть спокойно и, отстраняясь от всего, проанализировать их. Поляков решил сделать это в Лиде, обсудив все с Алехиным и уделив делу «Неман» часть ночи, а если понадобится, и всю первую половину дня. После разговора с генералом он соединился со своим заместителем и приказал немедленно отправить в Лиду, в отдел контрразведки авиакорпуса, сведения, полученные из ВОСО.

Было ровно девять часов вечера, когда, покончив с делами в Гродно, он приехал на станцию. В продпункте, получив по талону две мокрые алюминиевые миски с лапшой и кашей, сдобренной тушенкой — это называлось «гуляш», — он уселся за длинным пустым столом в зале для рядового и сержантского состава — там было светлее.

Он не ел ничего с утра, но прежде, чем начать, полез в планшет за газетой. Дурную привычку непременно читать за столом он приобрел

³² ВОСО (военные сообщения) — органы тыла, занимающиеся перевозками войск, военной техники и грузов.

рел еще в довоенную журналистскую пору. С годами это стало потребностью: за едой обязательно получать новую информацию и осмысливать ее.

В газете — он мельком просмотрел ее днем — был напечатан большой очерк Кости Струнникова, в прошлом ученика и сослуживца подполковника. Костя пришел со студенческой скамьи, работал у Полякова в отраслевой газете литературным сотрудником, подавал надежды, но не больше. В войну же, став фронтовым корреспондентом, как-то сразу вырос, писал все лучше, и Поляков радовался каждой его публикации.

Доставая из планшета газету, Поляков увидел пакет со снимками, вынул, разложил фотографии рядом с мисками и сразу же полез за контрольной.

Память его не подвела, он не ошибся: отпечатки протектора угнанного «доджа» были идентичны со следами шин, обнаруженными группой Алехина в лесу под Столбцами.

Словно все еще не веря, он некоторое время рассматривал фотографии, затем убрал и, раскрыв газету, принялся за еду, однако сосредоточиться на очерке не мог.

Торопливо съев «гуляш», он поехал в госпиталь.

* * *

В толстой папке с медицинскими заключениями о смерти — к каждому был приложен акт патологоанатома — документов Гусева Николая Кузьмича не оказалось: Поляков по листику просмотрел все дважды.

Госпитальное начальство и писаря с книгой регистрации поступлений находились на станции: там принимали раненых из двух санитарных эшелонов.

Поляков обратился к дежурному врачу.

— Сержант Гусев, шофер?.. Это мой больной, — сказала она и, не скрывая недоумения, заметила: — Какие могут быть документы о смерти, если он жив...

Минуты две спустя они шли по широкому коридору мимо стоящих по обеим сторонам коек с ранеными. Полякову тоже пришлось надеть белый халат, который оказался ему велик, на ходу он подворачивал рукава. Остро пахло эфиром и сулемой — враждебный, проклятый запах, напомнивший ему первый год войны и госпиталя в Москве и в Горьком, где после тяжелого ранения он провалялся около пяти месяцев.

— Его оглушили сильнейшим ударом сзади по голове, — рассказывала женщина-врач, — у него перелом основания черепа и сотрясение мозга. Затем ему нанесли две ножевые раны сзади в область сердца, по счастью, неточно.

Им навстречу на каталке с носилками санитарка, девчушка лет пятнадцати, везла раненого.

— Но сейчас его жизнь вне опасности? — посторонясь, справился Поляков.

— В таких случаях трудно утверждать что-либо определенно. И разговор с ним безусловно нежелателен. Коль это необходимо, я вынуждена разрешить, но вообще-то... Вы его не утомляйте, — вдруг совсем неофициально попросила она, улыбнулась, и Поляков отметил, что она еще молода и хороша собой. — До войны он возил какого-то профессора и сейчас просит об одном: чтобы его обязательно показали профессору... Сюда...

В маленькой, на четверых, палате для тяжелораненых она указала на койку у окна и тотчас ушла. Под одеялом лежал мужчина с ху-

дым измученным лицом, перебинтованной головой и грудью. Безжизненным, отрешенным взглядом он смотрел перед собой.

— Добрый вечер, Николай Кузьмич,— поздоровался подполковник.— Как вы себя чувствуете?

Гусев, словно не понимая, где он и что с ним, молча глядел на Полякова.

— Николай Кузьмич, я спрашиваю, как ваше самочувствие?.. Вы меня слышите?

— Да,— шепотом, не сразу ответил Гусев и осведомился:— Вы профессор?

— Нет, я не профессор. Я офицер контрразведки... Мы должны найти тех, кто напал на вас. Как это все произошло?.. Вы можете рассказать?.. Постарайтесь — это очень важно.

Гусев молчал.

— Давайте по порядку,— присаживаясь на край кровати, сказал Поляков.— Неделю тому назад вы выехали на своей машине из Гродно в Вильнюс... Они что, остановили вас на дороге?

Он смотрел на Гусева, но тот молчал.

— Где вы с ними встретились?

Гусев молчал.

— Николай Кузьмич,— громко и подчеркнуто внятно сказал Поляков.— Как они попали к вам в машину?

— На контрольном пункте,— прошептал Гусев.

— Они сели на контрольном пункте,— с живостью подхватил Поляков.— При выезде из Гродно?

— Да...

— Их было трое? — Поляков показал на пальцах.— Или двое?

— Двое...

43. АЛЕХИН

Прежде всего я потребовал от Окулича предъявить все имеющиеся у него документы.

Став нетвердыми ногами на лавку, он достал с божницы из-за иконы и протянул мне два запыленных паспорта — свой и жены,— выданные в 1940 году Быховским районным отделением милиции.

— А другие документы?! Фотографии?.. Ваша партизанская медаль?

Он посмотрел на меня, как кролик на удава, потом, вяло переставляя ноги, проследовал в сенцы. Там он снял старое деревянное корыто и какие-то доски с темного полусгнившего ящика, до краев наполненного золой, не без усилия сунул в середку руку и вытащил с низа большую жестяную коробку.

В хате я открыл ее и разложил содержимое на столе. В коробке оказались:

медаль «Партизану Отечественной войны» второй степени и удостоверение к ней, полученные Окуличем неделю назад, о чем я знал; немецкие оккупационные марки — пачка, перевязанная тесемкой; десяток довоенных квитанций на сдачу молока, мяса и шерсти; стопка фотографий Окулича, его жены и их родственников, в том числе двух его младших братьев в красноармейской форме; четыре медицинские справки; несколько облигаций государственных займов; тоненькая пачка польских денег, ассигнации по сто злотых каждая;

две почетные грамоты, полученные Окуличем до войны за хорошую работу в Быховском райпромкомбинате.

Под грамотами на дне коробки я увидел знакомый мне листок плотной желтоватой бумаги, так называемый аусвайс, немецкое удостоверение личности, выданное Окуличу в октябре 1942 года начальником лидской городской полиции Бруттом.

— Зачем вы это храните? — указывая на пачку оккупационных марок и аусвайс, строго спросил я. — Думаете, немцы вернуться?

— Не.

— А тогда зачем?.. Я не потерплю от вас и слова неправды! Если соворете мне хоть в мелочи — пеняйте на себя!.. Прежде всего расскажите о тех двух офицерах, что позавчера заходили к вам. Кто они? Откуда вы их знаете?

Он посмотрел на меня с мученической покорностью и начал говорить.

Эти офицеры впервые появились у него позавчера, сказали, что выменивают продукты для своей части. Интересовали их овцы, копченое сало, мука-крупчатка и, в меньшей степени, свиньи. В обмен они предложили керосин, соль и новое немецкое обмундирование.

Окулич маялся с освещением все годы оккупации, пробавлялся различными копилками и потому, поговорив с офицерами, решил запастись керосином. Сегодня рано утром они приехали на машине, сбросили бочонок у stodолы и, взяв его, Окулича, отправились в Шилловичи, где в одном из дворов содержалась вся его животина. Там он вывел им овцу, яловую, постарше, но капитан не согласился и, пристыдив его, взял молоденькую, самую крупную.

В закрытом тентом кузове машины, когда туда грузили ярку, он видел на сене несколько связанных овец и годовалого большого кабана, там же у самой кабины стоял еще десяток точно таких бочонков, какой сбросили ему, а под скамейками вдоль бортов лежало несколько мешков, что в них было, не знает, не разглядывал.

Офицеры торопились и, забрав ярку, сразу уехали. Номер машины он не помнил, просто не обратил внимания.

Я спросил: такого рода обмен эти офицеры произвели только с ним или с кем-нибудь еще? Он помялся и назвал двух соседей-хуторян — Колчицкого и Тарасевича.

Без наводящих вопросов он сам мне сообщил, что Николаев и Сенцов позавчера оставили у него в погребе на холоду плотно набитый вещмешок, в котором был, как они сказали, копченый окорок, очевидно, разрезанный на части. Чтобы ветчину не попортили крысы, они положили вещмешок в пустую кадушку и придавили сверху крышку тяжелым камнем. Все это проделал собственноручно младший из офицеров, он же сегодня утром достал оттуда вещмешок. Окулич и в руках его не держал.

Я спустился в погреб и внимательно осмотрел эту кадушку, но никаких следов нахождения там вещмешка с окороком, как и следовало ожидать, не обнаружил и запаха ветчины при всем старании не уловил. По моей просьбе в погреб спустились кошку; она обошла кадушку, втягивая ноздрями воздух, потом прыгнула внутрь и принялась обнюхивать дно и боковые клепки. И я подумал, что в вещмешке, очевидно, действительно был окорок или что-нибудь съестное.

В углу stodолы лежал немецкий металлический бочонок емкостью в пятьдесят литров. Свинтив пробку, я опустил в отверстие палку, вынув, обнюхал ее и по запаху убедился, что это керосин, причем немецкий синтетический. Возле stodолы на земле виднелись свежие следы протектора «студебеккера», а перед воротцами — вмятина от ребра бочонка на том месте, где его сбросили из кузова.

Рассказ Окулича подтверждался фактами и представлялся мне правдоподобным. Теперь стал понятен и его страх, и почему он попытался скрыть от меня свои отношения с Николаевым и Сенцовым.

Он сознавал незаконность совершенного обмена и не без оснований страшился ответственности. Рассуждал он, наверно, так: овцу увезли, а теперь, если узнают, и керосин отберут, и самого его посадят за участие в расхищении государственного армейского имущества — по законам военного времени это пахло трибуналом. И потому во избежание неприятностей сделку с Николаевым и Сенцовым, по его разумению, безусловно, следовало утаивать.

Он не сообразил, не учел только того обстоятельства, что керосин был трофейный. В последние полтора месяца немцы при отступлении бросали сотни складов и эшелонов с различным военным имуществом и горючим. Все это полагалось приходить, однако на использование некоторого количества трофеев для нужд личного состава частей Действующей армии смотрели сквозь пальцы.

Жизнь на хуторах вынуждала людей всячески приспособляться, и Окулич не представлял собою исключения, просто он был трусливее и осторожнее многих других.

Немцев отогнали за Вислу, но он продолжал хранить оккупационные марки и аусвайс — а вдруг они еще вернуться?.. Было несомненным фактом, что около месяца, рискуя жизнью, он укрывал у себя комиссара бригады, однако делал он это, думается, опять же из инстинкта самосохранения: немцы могли и не пронюхать, а если бы не захотел, не стал укрывать, ему бы не поздоровилось от партизан. И я был убежден, что, как это ни парадоксально, но спас он комиссара в основном из страха, заботясь прежде всего о своей шкуре.

Относительно Окулича для меня все вроде бы прояснилось, и, уходя с ним от хутора к машине, я сказал его жене:

— Он вернется до вечера. Не беспокойтесь и никаких разговоров с соседями. Поняли?

Она утвердительно кивнула головой.

В Шиловичах старик и старуха Божовские подтвердили, что действительно сегодня утром приезжала большая крытая машина и Окулич помог погрузить в нее ярку из числа тех семи его овец, что содержатся у них. Они в деталях повторили то, что он мне говорил, и довольно точно обрисовали внешность Николаева и Сенцова.

Выехав за деревню, я отпустил Окулича, строго предупредив, чтобы о нашем разговоре не сболтнул ни слова. Когда спустя минуту я обернулся, он быстро шел, почти бежал к своей хате.

В невеселом раздумье я возвращался в Лиду. Хижняк, успевший обнаружить в одной из рессор лопнувший лист, тоже был молчалив и мрачен.

В поведении Николаева и Сенцова было немало весьма подозрительного и для нас пока совершенно необъяснимого, не говоря уже о целлофановых обертках для стограммовых порций сала — специальной расфасовке, предназначенной у немцев для десантников и агентов-парашютистов.

Но после разговора с Окуличем, со стариками Божовскими и хуторянином Колчицким (Тарасевича не оказалось дома) у меня появились серьезные сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым.

Я не мог утверждать что-либо определенно, но почувствовал, выражаясь словами Таманцева, — пустышку тянем...

44. ТАМАНЦЕВ

Фомченко разбудил меня, как я приказал, точненько, минута в минуту, и старательно доложил свои наблюдения — ничего существенного.

Исполнительные они оба, особенно Фомченко. Старше меня по званию, а скажешь слово — и бросается, как мальчик, на полусогнутых.

Хорошие они ребята, только ведь это не профессия. А толку от них в случае чего будет на грош — это уж как пить дать! Умения у них нет, да и возраст... После тридцати мышцы теряют быстроту и реакция не та...

Юлия уже на моих глазах трижды ходила к лесу и притаскивала оттуда валежник, очевидно про запас, на зиму. Каждый раз, чтобы не терять ее из виду, я перебирался к другому чердачному окну и наблюдал оттуда. Но у леса она не задерживалась, в чащу ни разу не углублялась, она торопилась назад, к малышке, и цель ее ходок, несомненно, была одна — топливо.

Волокла здоровенные валежины и толстые сучья — еле-еле перела, — их бы надо пилить, а она принялась затем тукать ржавым колуном.

У Свирида наверняка имелся топор с пилой, была у него и лошадь, и дров навалом — две большущие поленницы березового швырка, — и не хворый бы по-родственному подбросить ей хоть воз.

Юлия возилась на виду около хаты, а я тем временем подзаялся с Фомченко и Лужновым.

Все эти оперативники из частей для поимки агентов-парашютистов практически непригодны. Тут нужны розыскники-профессионалы, поймистые, с мертвой хваткой. А эти, объектовые, что они умеют, чем занимаются?.. В авиации — противодиверсионным обеспечением техники и аэродрома, ну и еще предотвращением возможного перелета. И я сразу сказал себе: коль их прислали, ничего не поделаешь, но надейся только на себя.

Однако я хорошо знал, что от такого вот геморройного занятия, от долгого безрезультатного сидения скисают и более опытные и крепкие мужики. А неизвестно, сколько нам еще придется здесь проторчать.

Сколько бы ни пришлось, мы должны — как пружина в капкане — каждое мгновение быть готовы к действию. И потому моя обязанность поддерживать этих двух морально и физически плюс поднатаскать их, сообщить им хоть какие-то азы, и прежде всего применительно к нашему заданию.

Все это я обдумал еще ночью и решил, чтобы не терять время попусту, ежедневно два-три часа заниматься с ними.

Начал я от Адама и Евы: рассказал о своей первой встрече с агентами-парашютистами; я ее помнил так, будто это было не три с лишним года назад, а вчера или даже сегодня.

Вижу как сейчас: шоссе под Оршей — вторая неделя войны. Беженцы, подводы с барахлишком, инвалидами и стариками, обозы с ранеными. Воронки от бомб, трупы на обочинах. Гонят скот, вывозят машины, станки, и бредут, бредут навьюченные даже дети, тащатся из последних сил — только бы уйти от немца. Плач, рев, растерянность, неразбериха, самые невероятные слухи, десанты и диверсанты. А немецкие самолеты ходят по головам, что хотят, то и делают.

В задачи и обязанности нашего погранполка, державшего в тот момент контрольно-пропускной и заградительный режимы на отходах от Орши, только официально — по приказу — входило:

наведение и поддержание в тылах фронта должного порядка; проверка документов, а в случае необходимости — при возникновении подозрений — и личных вещей как у гражданских, так и у военнослужащих независимо от занимаемых должностей и званий; проверка всего проходящего гужевого и автотранспорта;

охрана важнейших объектов и обеспечение бесперебойной работы связи;

задержание и доставка на сборные пункты самовольно уходящих в тыл красноармейцев, командиров; вылавливание и арест дезертиров;

регулирование движения на дорогах и эвакуации; предельная загрузка всего транспорта, двигающегося на восток; очищение в случае необходимости дорог от беженцев;

ну и, разумеется, в первую очередь — поимка и уничтожение немецких шпионов и диверсантов, борьба с вражескими десантами.

Все это входило в наши задачи и обязанности официально, по приказу, а чем мы только тогда не занимались — не перечислишь! — даже роды приходилось принимать.

Так вот под вечер останавливаем на шоссе для проверки «эмку». Рядом с водителем — майор госбезопасности: сиреневая коверкотовая гимнастерочка, на петлицах по ромбу, два ордена, потемнелый нагрудный знак «Почетный чекист». На заднем сиденье — его жена, милостивая блондинка с мальчиком лет трех-четырёх, и еще один, спортивного вида, со значком ворошиловского стрелка и двумя кубарями — сержант госбезопасности. Майор Фомин с женой и ребенком следует в город Москву, в распоряжение НКВД СССР. Кроме личных вещей, в машине два толстенных пакета, опечатанные гербовыми сургучными печатями НКВД Белоруссии, — совершенно секретные документы, что оговорено в предписании. И шофер там указан и сержант — для охраны.

Все чин чином, все продумано и правдоподобно. Документы безупречные; на удостоверении у майора хорошо нам уже знакомая подпись — черной тушью — Наркома внутренних дел Белоруссии, а на удостоверении к нагрудному знаку, выданному еще в 1930 году, личная роспись Менжинского. И у жены, вольнонаемной сотрудницы органов НКВД, и у военного шофера, и у сержанта — тоже абсолютно безупречные документы. Номер у «эмки» минский, паспорт и путевой лист подлинные, соответствующие; на висящем в машине маузер-раскладке серебряная пластинка с гравировкой: «Тов. Фомину (инициалы) от ОГПУ СССР».

Ни единой задоринки — ни в бумагах, ни в экипировке, ни в поведении. Имелись даже сходные признаки в словесных портретах ребенка и родителей — белая кожа, голубые глаза, как и мама, и скуластый, с широким прямым лбом, как отец. Все чин чином плюс отличное знание оперативной обстановки. Майор промежду прочим негромко, доверительно сказал:

— Вы от Бориса Ивановича? От Кондрашина?..

Капитан Кондрашин Борис Иванович третьи сутки исполнял обязанности командира нашего погранполка — даже это они знали.

И все-таки мы их взяли.

Рассказывая Фомченко и Лужнову действительный случай, я для пользы дела по воспитательным соображениям кое-что приукрасил.

Взяли мы в основном трупы, а блондинку, тоже начавшую стрелять, тяжело ранили.

Как оказалось, мальчик был сынишка советского командира, подобранный немцами где-то у границы в первые сутки войны. Его на-таскивали несколько дней, приучали называть «майора» папой, а

блондинку — мамой, и приучили. Но так как он иногда сбивался и говорил ей «тетя» (или ему «дядя», уже не помню), ребенка заставляли молчать, когда его держали за руку. С этой же целью — чтобы в нужные минуты он не говорил — ему засовывали в рот леденцы.

При проверке документов, сжимая маленькую ладошку, «мама» — она оказалась радисткой — от напряжения, видно, сделала ему больно, и он поморщился.

Кстати, потом, обхватив ее, окровавленную, полуживую, обеими руками, он вцепился намертво и дико кричал; в этой страшной для него передраге она наверняка казалась ему самым близким человеком.

Был я тогда молодым и сопливым, хотя два года уже прослужил на границе. И заметил, что она сдавливает мальчику ладошку и он морщится и что рот у него занят леденцом, не я, а лейтенант Хрусталеv, мой начальник заставы, проверявший документы.

Он и подал нам условный знак, а сам, взяв у бойца-пограничника винтовку, не говоря ни слова, с силой ткнул штыком несколько раз в засургученные пакеты — звук был металлический (там оказались ракеты в специальных дюралевых футлярах).

— Что вы делаете?! — возмущенно закричал майор.

Это был сигнал, потому что мгновенно все четверо выхватили пистолеты.

Я страховал с левой стороны машины, стоял у задней дверцы и по расчету «держал» в первую очередь «сержанта» и шофера. Как только они обнажили свои пушки, я без промедления вогнал «сержанту» две пули между глаз, а третью всадил в висок шоферу.

«Майора» заколол Хрусталеv; он же обезвредил и блондинку, успевшую, однако, смертельно ранить бойца-пограничника.

Толковый мужик был Хрусталеv, находчивый, умелый и решительный. Он не только что у майора, но и у комиссара госбезопасности или генерала в случае необходимости проверил бы штыком и любые секретные пакеты и какой угодно багаж.

Толковый он был мужик, а спустя неделю в такой же примерно ситуации, как под Оршей, только ближе к Смоленску, помешкал секунды и заплатил за это жизнью. Тут всегда так, кто кого упредит...

Про трупы я, понятно, и слова не сказал. А лозунг тогда, про-между прочим, везде был, да и команда нам: «Уничтожай немецких шпионов и диверсантов!» Сколько мы их перестреляли... Пока не помнели. А теперь вот попробуй хоть одного взять не живым, да с тебя три шкуры снимут и в личное дело подошьют.

Просвещаая Фомченко и Лужнова, я, чтобы они не отвлекались, одновременно продолжал наблюдать. Я говорил, то и дело поглядывая в окно, а они смотрели мне в рот глазами девять на двенадцать.

Примечательно, что воевали оба, как и я, с первого лета. Фомченко до ранения был штурман эскадрильи, а Лужнов — командир звена. Не знаю, как они летали, судя по наградам, неплохо. Что же касается активного розыска и силового задержания, они не представляли себе азбучных истин, и я уверился, что проку от них будет в случае чего — шиш да кумьши!..

Выждав, пока сумерки сгустились, мы натаскали на чердак сена, польни от блох и устроились с удобствами.

Как только совсем стемнело, я расположил офицеров в кустах за хатой Юлии, метрах в пятидесяти, а сам поместился с другой, фасадной стороны. Предварительно мы оговорили все возможные ситуации и обусловили сигналы взаимодействия; я разъяснил им все дважды, втолковал, как первоклашкам.

— Если он будет один, — прямо сказал я, — то вы мне не понадобится. Если будет один, сидите и не вылезайте...

45. АЛЕХИН И ПОЛЯКОВ

Алехин не слышал шума подъехавшей машины; он проснулся от того, что его трясли за плечо. Открыл глаза и сразу поднялся: возле него, присвечивая фонариком поверх изголовья кровати, стоял подполковник Поляков.

Завесив окно плащ-палаткой, Алехин зажег лампу-молнию и поспешно оделся, взглянув при этом на часы: без пяти минут три — часа два еще вполне можно было бы поспать...

— Ты извини, у вас перекусить чего-нибудь найдется? — спросил Поляков.

Он уже снял пилотку, шинель, положил на стол набитый авиационный планшет и, невысокий, коренастый, потирая маленькие пухловатые руки, расхаживал по комнате.

Алехин достал начатую баночку тушенки, несколько вареных картофелин и хлеб. Пока Поляков ел, он, присев сбоку, рассказывал о том, что сделано за прошедшие сутки, о своих визитах к Гролинской и Окуличу, о поисках в городе и разговоре по «ВЧ» с генералом. Подполковник слушал, изредка задавая вопросы, его некрасивое, с небольшим прямым носом и выпуклым шишковатым лбом лицо ничего не выражало. Лишь когда Алехин сообщил о целлофановых обертках, он оживился и попросил показать. Посмотрел на свет и, потянув носом, произнес:

— Июнь сорок четвертого... И номер партии тот же... Занятно!

Поляков был тем самым человеком, чье мнение и советы в ходе розыска, без сомнения, интересовали Алехина, как и других чистильщиков, более всего. Подполковник обладал редкостным талантом делать правильные выводы из минимума данных. Осмысливая факты, он нередко по какой-нибудь частности приходил к весьма неожиданному умозаключению и, как правило, не ошибался. Поэтому Алехин обстоятельно, до мелочей, изложил ему все, в том числе и свои сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым, и, закончив, обратился в слух.

Тем временем Поляков, доев последнюю картофелину, закурил; потом достал из планшета два конверта — почтовый и побольше размером, — вынул карту и разложил ее на столе.

Наконец он заговорил тихо и, как всегда, неторопливо, но не о том, что ожидал Алехин. Поляков принялся подробно рассказывать о случае угона «доджа» и о сержанте Гусеве. Алехин слушал с напряженным вниманием: имела эта история отношение к «Неману» — такая догадка мелькнула у него, когда была названа марка автомашины, — или не имела, а Поляков наверняка желал знать и его, Алехина, соображения.

— ...На контрольном пункте при выезде из города к нему в машину попросились двое: старший лейтенант и лейтенант. Были они в плащ-накидках; старший лейтенант в возрасте лет сорока, плотного телосложения, с небольшими усами... в фуражке полевого образца. Лейтенант значительно моложе, но внешность его он совершенно не помнит...

— Вещи у них были? — поинтересовался Алехин.

— Да. Как он припоминает, небольшой потертый чемодан и трофейный ранец с бурым верхом... Говорили они чисто, но по произношению не исключено, что старший — украинец. Они уселись в машине за его спиной, и он поехал. За Озерами старший лейтенант попросил остановиться, как он сказал, по малой нужде. Место там безлюдное, лес с обеих сторон вплотную подходит к шоссе. Гусев остановил машину и собирался закурить — они угостили его папиросой, — но был

оглушен ударом по голове и что было дальше — не помнит... Сидел он в этот момент за рулем, а рана от удара над левым ухом.

— Левша...

— Да, удар был нанесен левой или человеком с одинаково развитыми руками, что, впрочем, маловероятно. Очнулся в кустах, услышал — неподалеку проезжают машины, дополз с трудом до шоссе, где и был подобран. По-видимому, они, оглушив, оттащили его в кусты, стрелять не решились, чтобы не привлечь внимания, и, лежащего, дважды ударили ножом в спину. Целили в сердце, но не попали: машина стояла на шоссе, они торопились, и это, очевидно, его спасло... У него взяты красноармейская книжка, проездные документы и деньги. Примечательно, что взяли самодельный портсигар из дюрала, а хорошие наручные часы не тронули. Из диска автомата, находившегося в машине, вынута около сорока патронов...

— Они были в плащ-накидках, откуда же ему известны их звания?

— Он видел погон на гимнастерке старшего лейтенанта: когда тот влезал в машину, плащ-накидка распахнулась. Запомнил, что на погоне было три звездочки, а выше дырочка и примятость, как он полагает, от эмблемы.

— А может, от четвертой звездочки?

— Он полагает, от эмблемы. Причем от артиллерийской. Цвет канта он не заметил, но почему-то убежден, что они — артиллеристы. Это его предположение, чисто интуитивное; на чем оно основано, он так и не смог объяснить. Когда он согласился их взять, старший сказал другому: «Садитесь, лейтенант». В машине они больше молчали, да он и не прислушивался... Уверяет, что они высокого роста, но я думаю, это субъективность восприятия: он сам маленького роста и, по его определению, у меня средний рост... Полагает, что в лицо узнал бы обоих, однако описать их внешность для словесного портрета не смог. Говорит — обыкновенные офицеры!.. Зачем я тебе о них так подробно рассказываю?.. — Поляков вынул из большего пакета две фотографии и положил перед Алехиным. — Это — отпечатки шин угнанного «доджа»... А это — следы машины, обнаруженные вами в лесу под Столбцами...

Рассматривая фотографии, Алехин нащупал рукой лежащую на столе пачку «Беломорканала» и вытянул папиросу.

— Вроде... полная идентичность, — сдерживая волнение, сказал он погодя и закурил.

— Да, совпадают все индивидуальные особенности протектора... например, поперечный разрез на шине правого заднего колеса... Теперь как будто ясно, что неизвестные, пытавшиеся убить Гусева и захватившие «додж», имели разыскиваемую нами рацию... Завладев машиной, они поехали за Столбцы, — Поляков показал на карте, — свернули в лес и вышли в эфир. Это было седьмого августа, в день первой пеленгации. И дата, и час, и место совпадают. Затем, проехав к Заболотью, они загнали машину в лес и замаскировали, быть может, рассчитывая ею при случае еще воспользоваться. Машина найдена в безлюдной чаще — до ближайшего хутора два километра, и обнаружили ее случайно... Я распорядился устроить засаду, хотя мало верю, что они появятся...

Поляков говорил тихо и так неторопливо, будто в сутках было не двадцать четыре, а, по крайней мере, тридцать шесть часов. Излагая розыскные сведения, он, по обыкновению, все время обдумывал и ставил под сомнение каждый сообщаемый факт и свои предположения и требовал таких же размышлений и критического отношения от тех, кто его слушал. Он не любил бездумного поддакивания, его

правилом было, чтобы подчиненные откровенно и независимо высказывали свои соображения и при несогласии спорили с ним, противоречили и опровергали. За три года совместной работы Алехин отлично усвоил эту манеру обсуждения, ценил ее эффективность и знал, что подполковник прежде всего ожидает сейчас от него инакомыслия, возражений, но для этого в данном случае не имелось никаких оснований.

— Захватив машину, они проехали к Столбцам...— рассматривая карту, сказал Алехин,— это около двухсот километров... Для того чтобы выйти в эфир, вовсе не обязательно проделывать такой путь... Затем вернулись на запад, почти в тот же самый район...

— Уловил? — обрадованно оживился Поляков.

— Пытаюсь... Или рация находилась где-то в районе Столбцов, или они там с кем-то связаны... Да, текст двух остальных перехватов сейчас бы весьма пригодился... Рацию, очевидно, потом перевезли и спрятали где-нибудь неподалеку от Шиловичского леса, а может, и в самом лесу...

— Я тоже так думаю! Существенная деталь: из кузова «доджа» исчезла малая саперная лопатка.

— Тайник?..

— Скорее всего! — Поляков улыбался, довольный подтверждением своих мыслей.— Большая саперная лопата на месте, и топорик на месте, и весь инструмент, а малая исчезла. Гусев за день до того получил ее со склада — новенькую! Успел вырезать на черенке свои инициалы Эн и Гэ — Николай Гусев, — чтобы не позаимствовали другие шофера... При осмотре места обнаружения «доджа» лопатку не нашли, хотя именно ее не искали: что она пропала, я узнал позднее. Для подтверждения версии о тайнике, наверно, придется специально осмотреть еще раз всю рощу.

— Роща — это не проблема. А вот найти тайник в таком лесу, как Шиловичский, — задачка! — невесело сказал Алехин.— Не легче, чем отыскать место выхода в эфир.

— Да, тут надо хорошенько подумать, — согласился Поляков.— Добраться до тайника — это уже, считай, полдела. Я сейчас еще не готов, но сегодня же предложу вам что-нибудь конкретное... — пообещал он.— Теперь, Павел Васильевич, насчет Николаева и Сенцова... Твои сомнения я разделяю. Как это ни печально, а папахивает пустышкой! Немало противоречивого... Одно дело действовать под видом заготовителей, другое... Откуда у них, например, десяток бочонков с керосином? Зачем им вся эта живность?.. Сомнительно... Весьма!.. В то же время на все сомнения и противоречия имеется и довольно увесистое «но»...

Из меньшего по размеру почтового конверта Поляков вынул сложенный вдвое листок целлофана и протянул Алехину.

— Это было в кузове «доджа».

Взяв целлофан, Алехин развернул его, потер о тыльную сторону ладони — кожа засалилась, — понюхал и, приблизив к лампе, посмотрел на свет, затем для сравнения поднял рядом одну из оберток, оставленную Николаевым и Сенцовым в доме Гролинской.

— Совпадает все — и фирменный знак, и месяц выпуска, и номер партии, — продолжал Поляков.— Ни Гусев, ни его командиры в автобате сала в такой упаковке никогда не видели, даже не представляют, что это такое. Кстати, перед выездом он вымыл кузов. Так что это, несомненно, оставлено двумя неизвестными, пытавшимися его убить и угнавшими «додж», оставлено теми, кого мы ищем.

— Значит, один из них предположительно — левша, а старший, судя по произношению, возможно, — украинец, — Алехин усмехнул-

ся.— Каждый двадцатый в жизни — левша и каждый шестой военно-служащий — украинец.

— Да, скажем прямо, негусто,— согласился Поляков; он сложил карту и вслед за конвертами с целлофановыми обертками и фотографиями сунул ее в планшет.— Кстати, Гролинская не заметила у Николаева украинского произношения?

— Нет. Я интересовался речью обоих... Она убеждена, что он сибиряк.

— По внешности и по возрасту Николаев и Сенцов в целом схожи с теми, кто нам нужен... В приблизительных общих чертах: один постарше и поплотнее, второй моложе, выше и стройней...

— И у тех двух, которых видел Васюков, тоже есть такое сходство.

— Да, обе пары во многом схожи с теми, кого мы ищем. Есть, конечно, и явные различия, впрочем, в деталях, функциональные... Звания, головные уборы, личные вещи, усы — все это легко видоизменить... Что характерно...— задумчиво сказал Поляков,— обилие общих сведений и версий и скудность конкретного...— Он посмотрел на часы и поднялся.— Ты извини, но спать уже не придется... Идем в отдел, может, там есть что-нибудь новое...

46. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛ ЕГОРОВ

В отделе контрразведки авиакорпуса ни ответа на запрос о Николаеве и Сенцове, ни каких-либо свежих сообщений по делу «Неман», к сожалению, не было.

Шифровальщик, занятый чем-то срочным, даже не подойдя к обитой железом двери, крикнул, что для Алехина и подполковника у него пока ничего нет, и, словно извиняясь за свое невнимание к Полякову, добавил, что, как только освободится, зайдет.

Кипяток на кухне Алехину пообещали нагреть минут через пятнадцать.

Поляков открыл кабинет начальника отдела, зажег свет, снял пилотку и шинель, разложил на столе бумаги из планшета, поставил термос и чайные принадлежности. За годы войны ему приходилось располагаться на время для работы не только в случайных, чужих кабинетах, но и во всяких каморках, землянках и блиндажах, по сравнению с которыми это просторное, чистое, проветренное помещение представлялось чуть ли не дворцом. Особенно ему здесь нравился покрытый плексигласом большущий письменный стол.

Прежде всего он просмотрел собранные Алехиным в папку документы по делу «Неман», с особым вниманием последние, поступившие после его отъезда в Гродно. Прочитав сообщение о белорусском отделении Дальвитцкой разведшколы (он уже слышал о нем от Алехина), Поляков не без иронии улыбнулся:

— Чего-чего, а общих неконкретных версий более чем достаточно.

Потом Алехин пошел за кипятком, а подполковник набрасывал ориентировку о разыскиваемых — двух неизвестных, пытавшихся убить Гусева и угнавших «додж», — когда дверь распахнулась и на пороге появился Егоров, высокий, здоровенный, в матерчатой фуражке с полевой звездочкой и ватной стеганке без погон. Вошедший следом адъютант — румяный кареглазый лейтенант с автоматом на спине, чистенький и подтянутый, — внес небольшой кожаный чемодан.

— Здравия желаю, — поднялся Поляков.

— Живой? — снимая фуражку, проворно принятую адъютантом, сильным окаяющим басом спросил Егоров.

— Как видите,— усмехнулся Поляков.

— Садись... И неплохо устроился,— оглядывая кабинет, заметил Егоров.— А нас по дороге обстреляли... Еле проскочили! — Он сбросил стеганку с разрывами на плече, из которых торчала вата, и остался в гимнастерке с двумя рядами орденских планок и погонами генерал-лейтенанта.— Зашей! — приказал он адъютанту и повернулся к Полякову: — Безопасность родного начальства обеспечить не можете!

— Так ночью спать надо.

— Спать?.. Вот спасибо, что просветил!..— Егоров уселся против Полякова и посмотрел на стол.— Неплохо!.. Выжил хозяина из кабинета, чай гоняешь... До начальства далеко... Как у Христа за пазухой!..

Он шутил, но его широкоскулое, с тонкими твердыми губами и квадратным подбородком с угибом посредине лицо сохраняло при этом властное, суровое выражение.

Поляков слишком хорошо знал генерала, чтобы не почувствовать за его шутовство какого-то напряжения или недовольства и не понять, что все это только присказка, предисловие.

— Вы сюда, в Лиду, проездом?

— Нет, не проездом! Где Алехин?

— Здесь.

— Вы тексты перехватов по «Неману» от седьмого августа и позавчерашний получили?

— Нет.

— Странно! Я, выезжая, приказал немедля передать в Лиду.

— Может, и пытались. У аппарата никого не было. Я здесь всего минут пятнадцать,— пояснил Поляков.

— А шифровальщик на месте?

— Да. Он занят чем-то срочным. Но о перехватах он мне ничего не сказал. Может, как раз их и расшифровывает.

— Что нового? — постукивая пальцами по краю стола, быстро спросил генерал.— С Николаевым и Сенцовым прояснили?

— Не совсем... Еще нет ответа на запрос. У Алехина сомнения относительно этой версии, и я их разделяю.

Лицо Егорова сделалось еще более суровым.

— Здравия желаю,— войдя с чайником в руке, поздоровался Алехин.

Егоров обернулся и тяжелым, сумрачным взглядом посмотрел на него.

— Что так отощал?

— Волка ноги кормят,— усмехаясь, сказал Поляков; он поднялся и взял чайник.

— Плохо они вас кормят, плохо!.. Что делается по Павловскому?

— Устроена засада в месте его наиболее вероятного появления.

— Если не ошибаюсь, там оказалось два таких места.

— Мы выбрали одно, более перспективное,— неторопливо продолжал Поляков, заливая кипятком заварку в маленьком фарфоровом чайничке.— На вторую засаду у нас нет людей.

— Будут! Немедля организуйте! Немедля! — подчеркнул Егоров, барабанив пальцами по краю стола.— Есть еще зацепки?

— Обнаружились весьма интересные обстоятельства. Звонил вам ночью из Гродно, но вас уже не было. Вы помните случай с угоном «доджа» Сто тридцать четвертого моторизованного батальона?

— Это имеет отношение к делу «Неман»? — нетерпеливо спросил Егоров.

— Непосредственное.

Поляков уже наполнил термос кипятком и, завинтив крышку,

принялся кратко излагать суть разговора с Гусевым и свои соображения.

Егоров слушал молча, потирая ладонью прорезанный наискось широким багровым црамом затылок, что он делал обычно в минуты волнения и напряженной работы мысли. Потом, развернув вынутые Поляковым листки целлофана, внимательно осмотрел каждый, сравнил, потрогал пальцами и понюхал.

— Все это существенно,— сказал он затем,— но практически мало что нам дает. Фактов полно, а зацепиться не за что. Даже словесные портреты этого левши и второго составить невозможно.

— К сожалению. Но мы все равно объявим их в розыск.

— Я думаю!.. Ваше предположение о наличии тайника в Шиловичском лесу основательно, однако его надо отыскать!.. Что у вас есть еще?

Поляков рассказал вкратце о действиях группы Алехина за прошедшие сутки, о Гролинской и Окуличе, изложил сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым.

— Что ж, доводы веские!.. — заметил Егоров; он взял папку с документами по делу «Неман» и, просматривая, листал.— Сомнения обоснованные, однако крест на Николаеве и Сенцове ставить пока преждевременно!.. Много подозрительного, неясного... Почему все-таки они ушли ночью, в дождь, через соседний участок?.. Кто этот железнодорожник, которого упустили, не установив его личность? Зачем он приезжал?.. Возможно, как раз он и собирает или доставляет сведения о движении эшелонов?.. Что было в вещмешке, оставленном у Окулича? Копченый окорок?.. Только съестное?.. Это надо доказать!.. Реакция кошки меня не убеждает!.. И наконец, как к ним попало сало в такой упаковке? — Егоров указал на листки целлофана.— Все эти вопросы надо без промедления прояснить!.. И прежде всего необходим ответ на проверку по словесным портретам. Давай сюда шифровальщика! — приказал он адъютанту, зашившему ватник возле дверей; тот поднялся как на пружинах и вышел.

— И работаете вроде, а практически ничего нет. Худо!.. — Егоров захлопнул папку и, достав из кармана, выложил на стол массивный серебряный портсигар.— Хуже некуда! — после небольшой паузы мрачно заключил он.

— Налить вам чаю? — предложил Поляков.

— Спасибо, не хочу!

— Тогда мы — с вашего разрешения.

— Шифровальщик занят,— доложил вернувшийся адъютант.

— Как — занят? — с недоумением переспросил Егоров.— Вы ему сказали, кто вызывает?

— Так точно! Говорит, у него что-то весьма срочное. Даже дверь не открыл. Крикнул: как только закончит — придет.

— Вот, дожили! — Егоров возбужденно поднялся и зашагал по кабинету.— Начальник Управления вызывает шифровальщика, а тот — занят! Дальше ехать некуда!.. Да, практически ничего нет!.. И накладки... У Блинова человек ушел из-под наблюдения... — Он остановился против Алехина.— Николаев и Сенцов ушли через соседний участок, а вы эту возможность не предусмотрели!

— А если бы предусмотрел? — невозмутимо заметил Поляков.— В эту минуту он оставался один и при всем желании не мог бы одновременно находиться с двух сторон дома.

— Капитан Алехин,— раздраженно продолжал Егоров, не обращая внимания на реплику Полякова,— вы работаете по делу одиннадцать суток практически без результата! Чем объясняете?!

— То есть как без результатов?! — запротестовал Поляков.

— Мы делаем все возможное, — глядя на обшарпанные носки своих стоптанных сапог, сказал Алехин; вытянув руки по швам, он стоял перед генералом.

— Я не знаю, что вы делаете, — запальчиво выкрикнул Егоров, — мне нужен результат!.. А пока его нет, все это — мышьяная возня!.. Почему вы небриты? — вдруг спросил он и, не дожидаясь ответа, повернулся к Полякову: — Почему по делу работает только одна группа?

— Вы же знаете — нет людей!

— Двух человек у Голубова, кстати без моего разрешения, — зло заметил генерал, — вы взяли позавчера, а могли бы и раньше. Следовало с первого дня уделять «Неману» больше внимания!

— Двух человек тоже без вашего ведома я давал Алехину и при поисках под Столбцами — одиннадцать дней назад... У меня десятки дел, я не провидец и не всегда могу предсказать, какое из них важнее. Обязан заниматься всеми! Текст первой дешифровки меня насторожил, уже вторые сутки я сколько могу занимаюсь этой рацией. Считаю, делается все что возможно, люди выкладываются без остатка! Извините, но вашего недовольства не понимаю.

— Надеюсь, сейчас поймете!.. Судя по тексту дешифровок, мы имеем дело с весьма квалифицированной и опасной разведгруппой. Они добывают и передают ценнейшую информацию!.. Это не все, — расхаживая по кабинету, продолжал Егоров. — Я уже выезжал к вам, когда позвонил Устинов. Установлено, что почерк одного из радистов КАО идентичен с почерком радиста передатчика с позывными РТО, который фиксировался двадцатого июля в районе Яшун... Таким образом, меняя частоты и позывные... меняя шифр, время и место передачи, они действуют у нас в тылах около месяца... Около месяца в тылах фронта активно действует опаснейшая разведгруппа! Теперь вам понятно?!

Поляков, перестав помешивать ложечкой чай в стакане, молчал.

— Разрешите? — В дверях возникла худая, нескладная фигура молодого черноволосого офицера с голубоватыми листками бумаги в руке. — Товарищ генерал, шифровальщик отдела... — закрыв за собой дверь и близоруко щуря глаза, начал он и осекся, встретив яростный взгляд генерала.

— Почему я должен вас ждать?! — загремел Егоров. — Кто вы такой?! Где тексты перехватов?!

— «Воздух!»... Чрезвычайное сообщение... Передано вам вслед из Управления... — протягивая документы, испуганно говорил лейтенант. — До окончания расшифровки по инструкции не имею права... «Воздух!»³³ на ваше имя...

Нетерпеливым движением выхватив листки, Егоров шагнул под лампу к столу и начал читать, причем лицо его тотчас стало напряженно-сосредоточенным.

— Разрешите идти? — вымолвил шифровальщик.

Егоров не отвечая, вероятно не слыша, расстегнул верхние пуговицы гимнастерки, не отрывая глаз от текста, нашарил на краю стола портсигар, дрожащей рукой открыл его и взял папиросу. В ту же секунду адъютант, стороживший каждое движение генерала, подскочил к нему и щелкнул зажигалкой. Егоров затаился и, потирая ладонью затылок, с напряженным вниманием, словно старался запомнить все наизусть, продолжал читать.

— Разрешите идти? — снова неуверенно спросил шифровальщик.

³³ «В о з д у х!» — литер, означающий: особой важности, вне всякой очереди!

— Идите,— отпустил офицера Поляков, и тот, помедля секунды в нерешительности, споткнувшись о порог, вышел из кабинета.

— Прочтите! — приказал Егоров, передавая верхний листок Полякову, и, кинув на Алехина мгновенный негодующий взгляд, возмущенно воскликнул: — Дождались варягов!

Подполковник взял документ — исписанный мелким аккуратным почерком бланк шифротелеграммы с литером «Воздух!»,— посмотрел и, морща выпуклый лоб, негромко и с таким спокойствием, будто речь шла о чем-то обычном, повседневно, сообщил Алехину:

— Дело взято на контроль Ставкой...

47. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Весьма срочно!

Егорову Из Москвы 18.08.44 г.

В дополнение к №№ и от

Сообщая дешифровку перехватов по делу «Неман» от 7 и 16 августа с. г., предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы рации.

Судя по тексту перехватов и ряду обстоятельств, Вы имеете дело с мобильной квалифицированной группой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах Вашего и соседних фронтов. Розыскиваемые, вероятно, связаны с агентурой, оставленной немцами; очевидно систематическое наблюдение за важнейшими фронтовыми коммуникациями и наличие весьма осведомленного агента, а возможно, и группы в районе Шауля.

Дело «Неман» возьмите под свой личный контроль. Обеспечьте непосредственное участие в розыске еще как минимум трех оперативных групп и самого подполковника Полякова.

Усиьте слежение за эфиром и проверку документов у всех лиц, передвигающихся в тылах фронта, обратив особое внимание на рокадные³⁴ направления.

О ходе розыска и проводимых Вами мероприятиях докладывайте каждые двенадцать часов.

Колыбанов».

«ЗБ № «Неман» Перехват от 7.08.44 г.

„...обнаружить не удалось. 4-я ударная армия скрытно перегруппировывается [на] левый берег Даугавы. [В] районе Биржая введен в бой прибывший из резерва Ставки 19-й танковый корпус. [На] станции Белосток вчера выгружалось маршевое пополнение для частей 49-й армии численностью до 3.000 человек. Следуют походным порядком [в] направлении Ломжи [и] Осовца. Здоровые, бодрые, [в] основном [из] госпиталей, [а] также необстрелянные 1926 года рождения. Кравцов”».

«ЗБ № 1328. «Неман» Перехват от 16.08.44 г.

„От Матильды. Западнее [и] юго-западнее Шауля [на] участках 54-го [и] 11-го стрелковых корпусов глубоко эшелонированная оборона [с] инженерными заграждениями [и] минированием танкоопасных

³⁴ Рокада — железная, шоссе или грунтовая дорога в полосе боевых действий, проходящая параллельно линии фронта.

направлений. [За] последние две недели боевые порядки значительно уплотнены пехотой, танками [в] засадах, тяжелыми минометами [и] артиллерией 76, 122 и 152 (мм). [К] Шауляю непрерывно стягиваются подкрепления всех рогов. Усиление участка происходит [за] счет правого крыла фронта, резервов Ставки, 2-го Прибалтийского [и] 3-го Белорусского фронтов. Перегруппировка [и] сосредоточение строго маскируются. Кравцов».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Воздух!»

Из Москвы

Егорову

18.08.44 г.

Ставлю Вас в известность, что дело «Неман» сегодня, 18 августа, в 2 часа 10 минут взято на контроль Ставкой Верховного Главнокомандования, причем органам контрразведки предложено любыми усилиями в ближайшее время пресечь работу рации и обезвредить как агро группы, так и всю резидентуру.

Примите самые активные меры к розыску и задержанию агентов и захвату передатчика, для чего немедленно привлечите весь оперативный состав органов контрразведки фронта, приданные подразделения, части по охране тылов фронта, личный состав этапно-заградительных и линейных комендатур, а также поддержки, выделяемые по Вашему требованию частями и соединениями Красной Армии.

Организуите самую тщательную проверку документов в районах расположения воинских частей, на станциях, в поездах и на контрольно-пропускных пунктах. Всех подозрительных, независимо от званий и занимаемых должностей, задерживать для выяснения личности.

Директивой начальника Генерального штаба командованию фронта и начальнику войск по охране тыла Действующей армии предложено оказывать Вам всяческое содействие людьми и техникой. Той же директивой командующему 1-й воздушной армией предлагается обеспечивать Вас самолетами связи и транспортными.

Начальникам Управлений контрразведки 1-го и 2-го Белорусских фронтов даны указания немедленно направить в Ваше распоряжение оперативные группы в составе 10—12 человек лучших розыскников. Одновременно Вам переподчиняются с передислокацией в полосу фронта 6-я, 84-я и 55-я радиоразведывательные группы.

Начальнику отдела кадров ГУКР «Смерш» предложено в течение суток любыми усилиями полностью укомплектовать штаты розыскного отдела и шифровального отделения вверенного Вам управления опытными розыскниками и криптографами.

ГУКР считает необходимым обратить Ваше внимание на особую опасность, какую, в силу ряда обстоятельств, представляют разыскиваемые, и обязывает Вас для их поимки максимально, до предела использовать все оперативные, радиотехнические и войсковые возможности.

В соответствии с указанием Ставки надлежит довести до сведения оперативного состава и всех привлекаемых к розыскам, что каждый, кто даст прямой или хотя бы косвенный реальный результат по делу «Неман», будет представлен к правительственной награде.

Для координации всех усилий по розыску и оказания практической помощи специальным самолетом в 6.00 к Вам вылетает генерал-майор Мохов с группой оперативного состава. Обеспечьте подачу ав-

томашин к моменту посадки самолета на Лидском аэродроме и незамедлительное включение всех прибывших в работу по делу.

О ходе розыска, проводимых Вами мероприятиях и всех вновь добытых данных докладывайте каждые три часа.

Кольбанов».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Весьма срочно!

Егорову

Исполнение Вашего запроса о проверке Николаева и Сенцова задерживается в связи с внезапной экстренной переброской в/ч 31518 на 1-й Белорусский фронт в район Варшавы и невозвращением Николаева и Сенцова до сего часа к месту прежней дислокации части, где в комендатуре оставлено распоряжение командования, куда им далее надлежит следовать. Срок их командировки истек вчера, причина неприбытия неизвестна.

Ваш запрос передан по принадлежности начальнику Управления контрразведки «Смерш» 1-го Белорусского фронта с просьбой о немедленном исполнении. Одновременно нами принимаются меры для выяснения ряда интересующих Вас вопросов, в частности проверки Николаева и Сенцова по словесным портретам в случае их прибытия к месту прежней дислокации части. Ответ будет сообщен Вам незамедлительно.

Горбунов».

(Продолжение следует)



ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК

★

Из киргизской поэзии

СУЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ

..*

Моим горам, по-моему, подобен
Тот путь, который называют — ж и з н ь.
Он не всегда приятен и удобен,
Но если уж родился, то держись!

Твой конь не только по вершинам скачет —
Ущелья и потоки на пути.
Но ты живешь на свете. Это значит —
Их надо переплыть и перейти.

Сорвешься вниз — не причитай, не сетуй,
Вставай и с пораженьем не мирись.
Упорство награждается победой.
И ты стремись в таинственную высь.

Время

Сквозь каждого из нас проходит время —
Неудержимый золотой поток.
Тревожно, всякий час уходит время,
И каждый день — исписанный листок.

В архивах памяти я их, бывает,
Перелистать пытаюсь, разглядеть.
О дни бесплодные!
Они зывают.
И я краснею, но куда их деть!

Унылые, печальные листы —
Исписаны едва наполовину,
А кое-где они совсем пусты.
И я склоняю голову повинно.

Нам не дано вернуться к ним опять...
Откуда эта детская беспечность?
Ведь мы способны время расточать,
Как будто впереди по меньшей мере вечность!

Перевел МАРК ВАТАГИН.

ТЕМИРКУЛ УМЕТАЛИЕВ,
народный поэт Киргизии

..*

Джида серебрится! Джида серебрится!
Прихожу я к ней весной, чтобы насладиться
Нежным ароматом. О благоуханье!
Прихожу я к ней весной укрепить дыханье.

Надо мной склонилась ветка серебристая.
Будто девушка она — тонкая и чистая.
Светлым ароматом наполняет утро.
Будь вовек благословен твой садовник мудрый!

Перевел МАРК ВАТАГИН.

ААЛЫ ТОКОМБАЕВ,
народный поэт Киргизии

Мумиё

Это сок самой солнечной горной травы — мумиё.
Драгоценные капли стекают с камней, говорят.
Мумиё обновляет, второе дыханье дает,
Нет на свете лекарства ценней и верней, говорят.

Та трава под луною сияет; кто выпьет ее,
Девять раз по двенадцать лет проживет, говорят.
Кайберен¹, если ранен, спешит отыскать мумиё,
Выше, в скалы инстинкт его мудрый зовет, говсрят.

Зелье пил Улукман-врачеватель, и старость ему
Не встречалась на тысячелетнем пути, говорят.
Сотни лет черепаха живет на земле потому,
Что траву золотую способна найти, говорят.

Мне порою приходит на ум, что поэзия — как мумиё.
В чем секреты? Что слову и запах и цвет придает?
Сокровенное слово, где только тебя не искал!..
Мумиё над обрывом сочится из тяжести скал.

Портрет

Где ты ее нашел, скажи, в каких местах?
Открой мне, кто она, чей это нежный стан?
О, волосы ее текут, плывут, змеясь,
Сверкают, как ручей, волнуясь и струясь,
Волнуясь,
Как ручей, и пробуждая страсть.

¹ Кайберен — общее название диких жвачных животных.

Не видел я ещё таких огромных глаз,
 На мир она глядит как будто в первый раз.
 Открытое лицо ты написал не зря...
 Мне кажется, она восходит, как заря,
 Восходит,
 Льет лучи, сияет, как заря.

А может, на холсте далекая звезда?
 Но если и звезда, то это неспроста.
 Наверно, на нее похожа стала та,
 Которую любил ты в давние года,
 Любил
 И с той поры запомнил навсегда.

Перевел МАРК ВАТАГИН.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Плач о Бюбюсары

Поэма

Памяти народной артистки СССР
 Бюбюсары Бейшеналиевой.

Лебедь наша ушла —
 Сцена покрылась льдом,
 Лебедь умчалась в ночь —
 Схвачено сердце огнем,
 Молнии жгучий луч
 Тронул его и погас.
 Грянула темнота,
 Глухо ударил гром,
 Душу пронзила боль,
 Брызнули слезы из глаз.

Мысли настигла мой,
 Словно лавина с горы...
 Не удержать их пляс,
 Бешеную круговерть...
 Вспыхивавший передо мной
 Образ Бюбюсары
 В свет
 Выводила жизнь
 И вводила смерть.
 Гений ее воскрес,
 В сумрак сошел недуг...
 Так по своим путям
 Две ее жизни пошли.
 И побежал под крылом
 Сцены огромный круг,
 Словно цветущий луг
 Всей необъятной земли.

В ясный безоблачный день,
 В знойный, горячий день
 Было много цветов,

Силившихся цвести.
Не было силы в ногах
Переступить ступень —
Хлынула ливнем слез
Музыка «Кёкёйкести»².

Словно суровый Нарын,
Шел без конца народ,
Сумрачная река
Медленным кругом текла
Там, где лежала в цветах
Лебедь, окончив полет,
Там, где лежала в цветах
Лебедь, сложив крыла.

Крапинки нет на крыле,
Но и дыханья нет...
Где этот вольный взлет
И горделивый взор?
Бегала, словно огонь,
Словно крылатый свет,
С милым киргизским лицом
Над колыханьем озер.

Тело кружилось летя,
Словно лебяжий пух,
Легкое, словно пух,
Нежное, как облака.
Где же пресветлый лик?
Только — бесплотный дух...
Духом
Была сильна,
Телом
Была легка.

Только еще вчера
С нами была она.
Словно влекла за собой
Сотни бесчисленных глаз.
И замирала толпа,
Пляскою пленена
Той,
Что, за руки взяв,
К солнцу
Вела всех нас.

Этот лучистый взгляд
И вдохновенный жест
Нас привязали к себе,
Нам наслаждение несли
И пробуждали пожар
В сердце живых существ.

² «Кёкёйкести» — киргизская народная песня.

Крылья ее могли
Нас оторвать от земли.

Видел ли ты ее,
Падал ли в бездну,
Пылал,
Плавал ли в этих зрачках —
На иссык-кульских волнах?
...Приподнимался зал,
В воздухе повисал,
К солнцу
Весь мир улетал
На белоснежных крылах.

Словно горный поток
Светлая, шла она
И рассыпала вокруг
Солнечные семена...
Но наступила весна,
Празднично-зелена,
Не чернолицая смерть —
Горестная весна.

Тяжко погаснуть весной,
Травами степи дыша,
Даже не перейдя
Молодости хребет...
Сцена оделась льдом,
Оледенела душа.
Ах, обманула весна,
Ей оправданья нет.

В травы весна увела,
Под ноги бросив цветы,
И заманила туда,
Где ни травы, ни пути...
В ясный весенний день
Сцену покинула ты...
Чем же тебя наградить?
...Только цветы принести.

Ясен весенний день.
Смилуйся и прости...
Ведь по ошибке
Его
Крылья тебя унесли.
Вот и заснула ты
С отчей землей в горсти,
Сам я бросил на гроб
Горсть сыпучей земли.

Видишь, дневная звезда
Погребена землей,
Белая лебедь ушла
В белом сиянии дня,

Погребена мечта,
Искра покрылась золой...
Всадница где,
Что в лазурь мчалась быстрее огня?

Перед всею землей
Прославила ты Киргизстан,
Был отеческий край
Светлым лучом осиян...
Словно небесный луч
Строен девичий стан.
Брошена горсть земли,
Лебедь ушла в туман.

Вот — хоровод лебедей...
Девушка наших гор,
Родоначалницей их,
Матерью сцены была.
Сцены киргизской
Круг,
Словно морской простор,
Пересекла кораблем,
Лебедем переплыла.

Стонет, скорбит народ
И лебедей хоровод.
Искра остыла в золе,
Тело осталось в земле...
Образ ее живет,
Встанет из бездны вод,
Снег с оперенья стряхнет.

Лебедь
Продолжит полет,
Свет
Понесет на крыле.

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.

ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ

Ночь на джайлоо

Будто в трубе
Ветер в ущелье гудит.
Свист чабана
Разбивается о скалу.
Юрта крыльями бьет,
Вот-вот улетит,
Вот-вот сорвется
И улетит во мглу.

Ветер
Гребень костра
Рвет на куски.

Ветер глотает,
Ярые языки...
Тянусь к приемнику —
Надо чуть подкрутить.
Ведь песню комуза
Ветру не проглотить!

Перевел МАРК ВАТАГИН.

СУЛАЙМАН МАЙМУЛОВ

Москва

О Москва, воспевал тебя нежно, как сын,
И аварец Расул и балкарец Кайсын.
Словно клятву, хранил твое гордое имя
Седовласый ашуг и суровый акын.

О Москва, будь Москвою во веки веков!
Твоя суть такова, твой обычай таков:
Ты не только отчизна для разных народов —
Ты отечество разноязычных стихов!

Перевел ИГОРЬ ВОЛГИН.



ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК



Из молдавской поэзии

ЕМИЛИАН БУКОВ

Товарищ

«Товарищ» — нет могущественней слова.
Оно летит стремительнее света,
Звучит оно и нежно, и сурово,
Надежнее цемента слово это.
Ты в Кишиневе это слово скажешь —
Его услышат
Во Владивостоке.
Лишь Днестр его проплещет —
И тотчас же
Откликнутся Дунай
И Днепр широкий.
Ему подвластны города и страны.
Для слова этого
Пределов нету:
Его поднимут на себе Саяны —
Кавказ далекий
Примет эстафету.
А если бы произнесли все разом,
Его б слышали и звезды сами.
Оно несет с собою
Мир и разум
И сокращает путь между сердцами.
Ему петлять не нужно
По планете —
Оно насквозь через нее проходит.
Понятно это слово
Всем на свете
И не заботится о переводе.
Моя страна
Богата языками:
Разросшегося дерева цветенье
С окрашенными в разный тон
Ветвями —
Реальности и чуда единенье.
«Товарищ» —
Это сказочное слово
Повсюду ловят
Чуткие антенны.

Оно свершений прочная основа,
 Оно возводит
 Новых строек стены.
 Чудесные его разносят птицы,
 Подобны свежим лепесткам
 Их перья.
 «Товарищ» — слово,
 Что зовет сплотиться,
 Прекрасный знак
 Высокого доверья.

Перевела ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД.

Цветы труда

Памяти Берды Кербабаева.

Труд приложишь — вырастут деревья,
 нефтяные вышки — и миндаль.
 Трубы мир дыханием согреют,
 яблоневый дым застелет даль.

Кудри золотого винограда,
 белый жемчуг хлопка и сады —
 это все достойная награда
 человеку за его труды.

Вся земля покрыта лепестками:
 персик, груши — все цветет кругом.
 Есть другие — твердые, как камень:
 это от станков железный лом.

Лепестки от автогенной сварки,
 огненные брызги от сверла...
 От цветка к цветку с усердьем жарким
 пролетает быстрая пчела.

Да пчела ль? Машина голубая
 поднялась дорогой по холму.
 То поэт наш — друг мой Кербабаев!
 Все цветы земли нужны ему.

Он повсюду ищет капли меда —
 сладость, горечь, неба синева...
 Как пчела, труду он душу отдал,
 жизнь переливает он в слова.
 Все дожди, все огненные брызги,
 персика и яблони цветы —
 все в его стихах лишь капли жизни.
 И, прочтя их, оживаешь ты.

Перевела ТАТЬЯНА СИКОРСКАЯ.

ПЕТРЯ ДАРИЕНКО

Мне это приснилось

Лес тронулся с места, от солнца рябой,
И вдруг в упоенье великом
Вошел ко мне в дом своей тайной судьбой,
Своим очарованным ликом.

Мягутся бессонной листвы волшебства,
Космических кружев охапки,—
Дубы вековые, склонившись сперва,
Снимают зеленые шапки.

Затем всю лесную семью узнаю,
Знакомлюсь с достойною ратью,—
Должно быть, навеки под кровлю мою
Вступают их младшие братья.

О чем я спросонья мечтал на заре,
Метался во сне беспокойно,
Когда приближалась ко мне в серебре
Ветвей несравненная дойна?

Вдруг стены как будто бы чья-то рука
Раздвинула. Снята завеса,
И внятен душе говорок родника
И мятлые шорохи леса.

Сперва посетил меня лес-нелюдим,
Вобрав под блаженный свой полог;
Потом — виноградники следом за ним,
Гора, и вода, и проселок.

Потом в потолке разветвляется ствол
Сквозь тучу — вот задал задачу!
Он бисерный месяц кладет мне на стол
И сорок созвездий впридачу.

И чудится мне (наяву иль во сне?),
Что вновь я счастливый и юный,—
И кличут меня, и приходят ко мне
Все лучшие сказки подлунной.

Цветут надо мною вселенной шатры
Своей животворною глубию,—
И я сновиденья рассветной поры
Вверяю ее дружелюбью.

Витают бессмертной листвы канитель,
И звезды мерцают без гнева,—
И в омуте звезд, будто темная ель,
Поэзии чуткое древо.

Все птицы небесные нынче со мной
 В моей крутоствольной отчизне,—
 Ведь я человек — средоточье земной
 Бессмертной и трепетной жизни.

Неповторимость

Вчера шел дождь, и нынче дождь, и завтра,
 И послезавтра тоже дождь польет,—
 У каждого свое лицо, и ритм, и правда,
 И свой — иной — особенный полет.

Столетия чередуются — и что же? —
 На белом свете так уже заведено:
 Две розы вовсе не бывают схожи —
 Они одно — и все же не одно.

Тысячелетия движутся, упрямы,
 Но у любой весны свой смысл и суть.
 Ребенок — копия отца и мамы?
 Нет, все же он не копия, отнюдь!

Как в тучи проблеск солнца непреложный,
 Я погружаюсь в думы бытия,
 В садах моей поэзии тревожной
 Решения доискиваюсь я.

Вот две звезды. Они почти что схожи,
 И схожи два скворца иль журавля,—
 Но дважды породждать одно и то же
 Не хочет многодумная земля.

Любовь — ее страдания и муки
 Неповторимы. Как огонь и тень.
 Каких атлантов яростные руки
 Сумеют воссоздать вчерашний день?

И двух вполне тождественных растений
 Не сыщешь, обыскав лесную глушь.
 Есть розность двух надежд. И двух рождений.
 И тождество двух ненавистей — чушь!

Любой неповторимо музыкален
 Восход в венце из солнечных лучей,
 И человек любой, любой ручей
 Во всем — неповторимо уникален.

Любая мысль, любой травы побег
 Не могут повториться в мире этом.
 О чем же ты мечтаешь, человек?
 Что думаешь, одетый звездным светом?

ПЕТРЯ КРУЧЕНЮК**Смотрю на вас**

Смотрю на вас, друзья в пути тяжелом,
вы, грудью защищавшие страну,
росли в боях вы вместе с комсомолом,
не раз у смерти были вы в плену.

На ваших лицах не зажили шрамы,
на лбу морщины, утомленный вид!
Но, как и прежде, вы горды, упрямы,
и много мыслей разум ваш таит.

Смотрю на вас — и думать мне отрадно,
что не прервется дружбы нашей нить.
Не по зубам мы вражьей своре жадной,
и ни одной нас буре не сломить!

Как прежде, дышат вольно наши груди.
Не оттого ли сила в нас живет,
что все мы любим путь, который труден?
И алый стяг. И синий небосвод.

Много бродил я по свету

Когда, в дорогу сына отправляя,
меня к воротам провожала мать,
навстречу вышла мне звезда живая —
иначе как ту девушку назвать?

Она сказала: «В путь идешь далече?
Зовет тебя в дорогу луч зари?
Вынь хлеб горячий из домашней печи,
с собою материнский хлеб бери!»

А у отца возьми широкий пояс.
И как устанут ноги — сядь под ель,
и пусть тоску на сердце успокоит
певучая молдавская свирель!»

С тех пор я много побродил по свету,
жил и в горах и в селах много лет,
и понял я: вкуснее хлеба нету,
чем дорогой мне материнский хлеб.

Бредешь, бредешь до звезд тропкою козьей,
и кажется — дороге нет конца.
Зажжешь костер — и даже на морозе
согреет пояс — памятка отца.

Так я бродил, вздыхая, одиноко,
на белом свете побывал везде
и всюду думал о звезде далекой,
о ненаглядной девушке-звезде.

На зов мой горы отвечали гулом,
в густых лесах я слушал птичью трель.
Но в дом родной живым меня вернула
певучая молдавская свирель!

Перевела ТАТЬЯНА СИКОРСКАЯ.

НИНА ЖОСУ

Родина

Когда говорю — Родина,
глаза ослепляет мне солнце,
большое, как правда сама.

Когда говорю — Родина,
май в лицо мне дышит теплыню,
даже если вокруг зима.

Когда говорю — Родина,
в глазах людей вижу ясное небо,
даже если вокруг полутьма.

Холод

Хиросима ходит босая
по берегу океана.
— Хиросима, вот тебе обуви!
— Надень ее
на эти черные ветви.

Хиросима ходит нагая
по берегу океана.
— Хиросима, возьми одежду,
холод — пронзительный, острый...
— Надень ее
на эти пни.

— Натяни, Хиросима, перчатки,
иначе не сможешь ласкать
руками
 головку ребенка.
— Согрей ими
землю.

Перевел КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ.

ЛИВИУ ДЕЛЯНУ**Песня моей республики**

Как заполнилась — ярко, до слез! —
Углубленнее стала и краше
Песня та, что я некогда нес
В дар желанной республике нашей.

Я не мог — да, не мог! — утерпеть
(Кровью сердца перо согревая),
Чтоб у самых истоков не петь
Возрождение нашего края.

Как я счастлив его узнавать
В цвете зрелости, в пурпурной ткани!
Здесь едва ли не каждую пядь
Целовали мои молдаване!

Как заполнилась — ярко, до слез! —
Углубленнее стала и краше
Песня та, что я некогда нес
В дар желанной республике нашей!

Осень

Кисть — как будто факел — подняла
Осень и рукой своей могучей
Навела на полотно села
Колорит — душистый, спелый, жгучий.

Все оттенки красного горят
На земле и на холме высоком,
Даже в краме — там, где виноград
Пурпуровым истекает соком.

Спелых гроздьев светится янтарь
В кущах ржаво-огненного цвета,
Все как в сказке, что сложили встарь,
Где краса Молдавии воспета...

А в садах, где тронута листва,
Словно бы зарею бледно-алой
Персики смеются и айва,
Солнцем налитые небывало.

Только поле не обожжено
Этой кистью жарко-вдохновенной;
Точно в золотом снегу оно —
В кипени стогов и копен сена.

И когда в Молдавию плывут
Сумерки, разворачивая крылья,
Юные колхозники поют
Песни счастья, песни изобилья.

Перевела ЮЛИЯ НЕЙМАН.

АНАТОЛ ЧОКАНУ**Днем одним моложе**

Нас охраняет белый океан,
Слоистый лед вонзает в берег жало,
На низкий горизонт упал туман,
Чуть шевелит он бахромой линиялой.

Какой была ты, гордая земля,
Когда мечтой пришла к первопроходцам,
Когда звала, бессмертные суля,
С бессмертными стихиями бороться?

Я тщусь глазами Беринга смотреть
На сонный горизонт, туманов пряжу,
В которой прячется земная твердь,
Которую увижу и облажу.

Холодный край огнями осиян —
Короны радуг на рогах оленьих.
Ты преклонись пред ними, океан,
Тебе они дарят свое горенье.

Устроив на краю земли привал,
Мы ледников касались головою,
И образ родины в нас выростал.
Мы шелестенье слышали живое

Ее широких крыльев. И восход
Не затухал. Мы были днем моложе
Тех, кто остался у родных широт,—
И неба жар нас пронимал до дрожи.

Берингов пролив, 72.

Перевела ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД.

ЛИВИУ ДАМИАН**Вечная засада**

Родная, ты все подметаешь,
трясешь, вытираешь — не впрок,
пыль снова повсюду встречаешь,
она свой найдет уголок

в подушке и на одеяле...
Родная, ну что ж, говори,
не нас ли обоих призвали
стирать все пылинки с зари,

с таинственных обликов мира,
с могил, откровений и грез...
Опять пропылилась квартира,
обидно, родная, до слез.

Придется, родная, как прежде,
не зная покоя и сна;
пыль стряхивать с горя, с надежды,
с грядущего полдня, с окна —

тополиным дрожащим веником,
древним дубовым веником,
цикория тонкого веником,
горького лавра веником.

Перевела ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА.

АНАТОЛ КОДРУ

Дома

В который раз, не помню счетом,
Улиткою на косогоре
Несет свой дом, облившись потом,
О боже! — прадед мой Глигоре

С прабабушкой Иляной вместе —
Кариатидой кровной чести.
(Ее мой оклик сотрясает,
Но опрокинуть — не дерзает.)

Уж мох пробился на стропилах...
Но все идут они, шагают:
И прежних чад держать не в силах,
А новых на спину сажают...

А те на их плечах возводят
Еще дома и тащат тоже —
Аж глиной спины их исходят,
И так болят они, о боже!

Но прадед глазом не сморгнет,
Прабабка ноши с плеч не сложит.
С трудом, но оба держат род,
Пока земля держать их может.

Перевела НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА.



ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

★

СЧИТАННЫЕ ДНИ*

Роман

Высшая отметка

1

Днем Нестерова разыскал Димыч, шофер, который возил ребят из комсомольского штаба. Был он бесхитростная душа и потому, радостно поздоровавшись, тут же виновато вздохнул и нагнул голову:

— Выручай, Валь. Права у меня отобрали... из-за этого дела.

Наверное, Нестеров посмотрел на него с удивлением, потому что Димыч заторопился:

— Да не я, нет, я трезвый... Шеф мой, в воскресенье ездил. И друг его с двумя девчатами. Длинный такой, ну, вежливый, из заводууправления...

— Кульков, что ли?

— Я-то сам виноват, что доверил, да он пристал, как цыган: дай да дай. Я, говорит, раньше водил, когда в горкоме работал. Тут как раз «ЗИЛ» навстречу, а он на скорости. Я крутанул, да поздно. Хорошо еще, сами целые... может, поговоришь с Павликом?

— А тебя ко мне... не шеф? Не сам товарищ Зубанов?

— Что ж я тебе, не друг? — обиделся Димыч. — Но он в курсе, конечно. Ага, говорит, попроси. Я ему: может, вместе?

— А он?

— Да как-то замялся. Сходи, грит, пока один...

Валька про себя усмехнулся: ясно, почему это Зубанов замялся. На днях они с Кульковым собрались пропустить после работы по маленькой, пригласили и Нестерова. Ему с ними не хотелось, да тут ведь дело какое: отказался — уже вроде бы и не свой парень, уже штрейкбрехер.

Но пересилить себя до конца Валька не смог.

Зубанов собирался нарисовать армянскую загадку, из нагрудного кармана пиджака вынул ручку, и вслед за ней приподнялся вверх острый кончик лаврового листика.

— Слушай, — сказал Валька, глядя на этот листок. — У тебя самоанализ бывает?

— А у меня с ним разговор короткий, старик, — улыбнулся Зубанов. — В шею — и все дела.

— И он у тебя такой послушный мальчик?

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

— Он у него уже дедушка,— сказал Кульков, откусывая от пирожка с печенкой.— Это у тебя он еще в детском возрасте.

— Нет, в самом деле. Ну вот, предположим, с вечера ты... сверх меры. А утром на экстренном заседании штаба какого-нибудь парнишкУ, который и выпил-то первый раз в жизни, ты его из комсомола. Тебе не бывает при этом...— Валька задумался, подбирая слова помягче.

— Видишь ли.— Зубанов слегка потряхнул перед собою ладонями и поставил руки на стол. Кургузый его пиджачок приподнялся на плечах, обтрепанные края рукавов придвинулись к локтям. Решив повторить комсомольскую свою молодость, он как будто вернулся к тем своим брюкам да курткам, в которых бегал на воскресники несколько лет назад, но теперь все они были ему безнадежно малы, длинные его мослы торчали из одежды, как у переростка, и то ли поэтому, а то ли еще почему Зубанов был иногда похож на грешного, все познавшего второгодника, который теперь изо всех сил старался изображать из себя пай-мальчика.— Видишь ли,— повторил он, тоже как будто все больше задумываясь.— Вопрос, конечно... и я думал не один раз. Но вот что выходит: хорошо, я пока не достиг какого-то идеала, это так. Значит ли это, что я не должен требовать с других? Это что же тогда завтра начнется, сам посуди. Друг перед другом будем бить себя в грудь, а дело будет стоять? И по-моему, сегодня я до предела должен быть требовательным к другим, чтобы завтра не дать спуску и себе.

Снова вытянул руки и повел плечами, как будто стараясь высвободиться из тесного своего пиджака.

— А наоборот ты не согласен? — спросил Валька.— Может быть, лучше себе сегодня, а другим завтра?

Зубанов мог бы, пожалуй, рассмеяться, и все стало бы на свои места, пожалуй, так, но вместо этого он слегка нагнулся над столом, приблизился к Нестерову.

— Это что, не пойму?

В общем, верно — не поняли они друг друга, потому-то он теперь и замылся, Зубанов, как пить дать.

— Эх, и как это я ему — баранку? — все сокрушался Димыч.

— Паше я позвоню,— сказал Валька.— А там... смотри, Димыч, в последний раз!

Вернувшись в редакцию, он тут же позвонил Паше Бересневу, и тот пообещал помочь Димычу, хорошенько его помурывжив, чтобы тот почувствовал.

— А как с Зубановым? — спросил Валька.

— И ты, Брут.— Слышно было, как на том конце провода Береснев вздохнул нарочно тяжело.— Тут без тебя уже столько доброхотов звонило. Неудобно, видишь, говорят. Такое время как раз — на носу первый металл, а мы тут комсомольского бога разоблачать начнем. Не поймут!

— Ну так вот, ты не угадал,— рассмеялся Валька.— У меня как раз противоположная просьба: не мог бы ты пока... почувствительней? И еще. Ты в разговоре... невзначай... назови меня своим другом, а?..

На следующий день Зубанов позвонил Вальке в редакцию:

— Ты у себя? Сейчас я к тебе на минутку...

А здесь, в редакции, Нестеров не дал Зубанову и рта раскрыть.

— Вот хорошо, что ты пришел, я к тебе все с той же просьбой, помнишь, насчет сада для пацаненка одной мамы-одиночки из Западной автобазы, Ефимцева ее фамилия, я тебя уже давно прошу, помнишь? — Валька пододвинул к нему телефон, снял трубку, протянул.— Ты попробуй: а вдруг да...

— С этими садами! — вздохнул Зубанов, начиная набирать номер. — Что хочешь, то и делай, полный зарез. Вручаем вчера малярше одну путевку на ВДНХ, а она: спасибо, мне ребенка...

В трубке щелкнуло.

— А Вероники Андреевны нет у себя? — спросил Зубанов негромко, но лицо у него стало хищное. — Пригласите, я подожду. Скажите, брат.

Неизвестно, кому больше повезло — Вальке, или Маришке, или Зубанову; по обрывкам разговора было ясно, что с садиком, кажется, выгорит.

Положив трубку, Зубанов посмотрел на Вальку, и у него был вид человека, исполнившего свой долг. Но он тут же заботливо нахмурился, словно припоминая:

— Что-то я еще тебе...

На другой день Нестеров сидел перед Бересневым. Тот откинулся в жестком кресле, руку поставил на подлокотник, захватил ладонью крепкий подбородок. Слегка улыбаясь, смотрел на Вальку, сидел, слушал, покачивая головой. Потом вздохнул:

— А знаешь, что тебя греет? Я скажу. Этого, мол, прохиндея, Зубанова, все равно выручат, не я, так другие... но я заодно сделаю свою маленькую политику...

— Наказываешь? — спросил Валька, явно расстраиваясь.

Береснев снова подпер ладонью крепкий подбородок.

— Любопытная, понимаешь, штука. Оба мы Зубанова... по крайней мере, не уважаем. И оба постараемся выручить. Более того. Я вот убежден: позвони-ка ты сейчас Нюшину, который пока ничего не знает, скажи, что... одного его друга самое время гнать той самой метлой, и он тоже этим не воспользуется. Почему? Понимаешь, странное это джентльменство. Странная доброта...

— Лежачего не бьют? Или: со всяким может случиться?

— У нас это знаешь во что уже превратилось? Не бьют всякого, кто опаскудится. То ли жалость в нас говорит. То ли еще что. Не привыкаем ли к компромиссам, а? Все больше и больше? А те, прохиндеито, к безнаказанности? К тому, что всегда найдутся заступники? Или слюнтяи, или...

— Заступник — это тоже не так плохо.

Пашка потер глаза.

— Это смотря когда.

Сел в кресло прямо, тряхнул головой, пошевелил плечами — словно и раз и другой приподнимая на них еще новенькие капитанские погоны, — и Валька только теперь заметил, какое у Пашки усталое, как будто посеревшее лицо.

— Дежурил сегодня?

— Да у меня и без дежурства... — прищурился Пашка. — Ты Марине уже сказал? Нет еще? Дать тебе «газик»?

Поздно вечером, покуривая перед сном, Валька опять припомнил, как зашел в медницкую: «А ну-ка, Мариша, оставь на часок-другой свою трудовую вахту, садись со мной в «газик». Садик номер четыре. Спросишь заведующую...» Марина поглядела на измазанные копотью руки, стащила с головы косынку, лихорадочно вытерла их и комок шелка бросила на верстак, а сама быстро пошла к Вальке, чуть приподнялась перед ним на цыпочках, притянула к себе, чтобы поцеловать: «Валя, ой, родненький, да какое же тебе спасибо!..»

Само собой получилось, что он давно уже стал штатным заступником: к нему шли в редакцию, ловили его на стройке, и дома у него дверь почти не закрывалась — не один, так другой. И ему приходилось вступать и в производственные дела, и заниматься бытом, и вообще

чем только не приходилось заниматься. У самого семейная жизнь не получалась, а скольких он тут уже помирил, скольких от поспешного шага поостерег...

Сначала — стоило только горько поплакаться ему в жилетку — Валька брался за любое дело и, взявшись, не любил отступать. Только потом уже начал понимать, что, бывает, его доверием пользуются... Пожалуй, в то время он и вспомнил случай, который произошел лет десять назад.

...В тот год Валька приехал на каникулы после первого курса. Отец как раз сидел дома, опять прибалывал, ему снова пришлось надеть темные очки — те самые, в которых он, смертельно испугав Вальку, после госпиталя пришел домой в сорок четвертом. Он снова почти не видел и по двору опять ходил с палочкой, но к нему все равно шли и шли, и он выслушивал всех в палисаднике, там в тени от большого куста сирени так и стояли одна против другой две табуретки.

Однажды к ним пришла мать Валькиного одноклассника Филиппа Панчука, но Валька увидел ее со спины и мешать не стал, пошел к колонке за водой. Он уже возвращался с двумя ведрами на коромысле, и мать Филиппа встретила его у калитки, заплакала в голос.

— А я тебя жду, Валечка!.. Папа не хочет нам пособлять, может, ты его как попросишь?

Вальке неловко было стоять перед ней плачущей, он поспешил уйти, пообещав, что с отцом обязательно поговорит, и вечером, когда они сидели за столом, он шутливо сказал:

— Па, тебе в письменной форме просьбу подать? Или можно устно? Филька Панчук все-таки мой товарищ...

Отец приподнял лицо в черных очках и замер, будто к чему-то прислушиваясь. Потом осторожно отодвинул тарелку, встал из-за стола и, вытягивая одну руку, шагнул к двери.

— Да ты бы сначала подумал, сыночка,— горько выговаривала Вальке мама, когда младшие брат и сестра уже вышли из-за стола.— Они шестой дом строят да продают, спекулянты, каких свет не видал — это ж надо совести совсем не иметь, чтоб их защищать! Да если бы папа всякую пройду защищал, да разве бы мы так жили?..

И сегодня Валька снова припомнил, как над тарелкой с пустою, без мяса, окрошкой отец его поднимает бледное лицо в темных очках с поржавевшею, еще с войны, металлической оправой.

И почему он, Валька, с самого начала решил, что Зубанова обязательно выручат, обязательно подадут ему руку — не сам он, так другие? А что, если бы вместо этого он пришел к Банникову: «Георг Мироныч, мы с вами, слава богу, не первый год... Разве такой парень нужен для комсомольского штаба?»

Ведь это твоя стройка, Нестеров, твоя с палаток, и ты тут хозяин и ответчик, разве тебе все равно, кто будет вести этих ребят чуть моложе тебя, этих комсомолят, каждый из которых где-то далеко бросил дом, и налаженный быт, и папу с мамой и приехал сюда с открытой душой... разве тебе все равно? Единственное оправдание, что это ради доброго дела... И правда, сколько можно Маришкиному пацаненку рядом с матерью торчать в медницкой? Сколько можно трястись в кабинке где-либо на шлаковом? Нет, здесь все верно, потому что ребяташки на стройке — это особая статья, тут у кого сердце не заболит.

А твой Мишка, как он там? Через месяц ему уже шесть, на следующий год пойдет в школу. Большой человек. Сестра пишет, баловаться стал, никого не слушает, кроме деда, но дед, обычно строгий, с Мишкой как ни с кем мягок, во всем потакает, никогда не шлепнет, не закричит. В общем, необходима Мишке крепкая мужская рука. Они, в

девятом классе, небось очень любят такие слова, сестра так и пишет: крепкая мужская рука.

И тут Вальке очень странным показался ход его мыслей... Естественно было бы, если, делая что-то для Маришкиного мальчика, он постоянно помнил бы о своем, а он нет, он не помнил, ему и в голову не приходило, это вот сейчас уже, лежа в постели и покуривая, мысленно он добрался наконец и до своего Мишки.

Валька заворочался так, что застонали пружины, потом приподнялся на руке, бросил подушку на плечи и прижал ее спиной к стене, сел, потянулся за папиросами, которые лежали на табуретке около тахты. Снова закурил и уставился в темноту.

Ну что ж, наверное, рано или поздно все это предстояло ему открыть.

Пока он тут делает вид, что вместе со всеми строит, видите ли, гигантский завод, пока работает для будущих поколений, собственный его сын, тот самый новый гражданин, ради которого все и делается, он вырастет шалопаем. А Валька что — ему тут, понимаете ли, неплохо. У него всего одна проблема и есть: кого он все-таки выберет, Дашеньку или Катю? Только это его и волнует...

Он встал, поискал на кухне железную коробочку для чая, там еще было на одну хорошую заварку, и поставил на плиту чайник, воткнул штепсель в розетку. Вернулся в комнату и остановился напротив раскрытого в ночь окна.

У него был самый верх в пятиэтажном доме, в котором жили почти все «старики», а перед этим пятиэтажным расположилось несколько домов в два этажа, первые, которые построили в поселке, и окна их кое-где еще светились красноватым домашним светом, а за ними поодаль горбились темные сейчас корпуса бани, котельной, прачечной да кое-где крапленые огоньками склады ОРСа, а чуть сбоку от них тянулась вверх труба хлебозавода с еле видимым светло-синим над нею дымком — он стоит там, хлебозавод, где был палаточный городок, самое начало стройки... Дальше темень сгущалась, но и пятна света становились как будто ярче, теперь они были рассыпаны густо, это и ночью не замирала промбаза, а там, еще дальше за нею, контуры самого завода можно было угадать лишь по слабому свечению, которое то держалось ровно, а то колыхалось тихой неслышной зарницей.

Ну вот, вот твое оправдание, сказал себе Валька, ради этих сполохов да еще тех, которые скоро к ним прибавятся, ради них ты здесь и торчишь...

Но поймет ли это когда-нибудь маленький Мишка Нестеров?.. Да и должен ли понимать?

В дверь осторожно постучали, совсем тихо, и Валька застыл: Дашенька! Это она никогда не позвонит, а только постучит еле слышно, словно тут же готова уйти, если на робкий на этот стук сразу не отзовешься.

Валька включил свет. Тут же подумал: зачем? Так же тихо отойти от двери... или Дашенька в таком случае решит, что у него кто-то есть? Ну что ж, тоже к лучшему. Не пришлось бы долго ей потом объяснять.

Услыхал за дверью по-детски глубокий вздох.

Торопясь, он щелкнул замком.

Дашенька смотрела на него радостно, но глаза были заплаканы.

— Можно к тебе?

— Н-ну проходи...

— Я уже спать легла, а потом болит сердце: вот кажется мне, что ты тут один, и грустный, и тебе почему-то очень плохо.

— М-мистика,— проворчал Валька, стараясь на нее не глядеть.

А она подошла к нему, взяла руку.

— Нет, Валя, ну при чем тут... Ведь ты знаешь, что это... ты ведь знаешь?

Она шагнула к выключателю, погасила свет. И уже в темноте прижалась к нему, положила на плечо подбородок.

— Валя? — спросила тихонько. — Может, я в последнее время делала что не так? Я глупая была.

Валька не оборачиваясь плечом слегка отстранил ее от себя, и ему показалось, она вздрогнула.

— А я хотела сегодня... Если ты хочешь, останусь у тебя. Насовсем.

Он схватил ее за руку, быстро пошел через комнату, налетел в темноте на стул, отшвырнул его, шагнул в дверь.

Когда они уже бежали по лестнице, он увидел, что на ногах у него шлепанцы, один тут же соскочил, и он сбросил второй и кинулся вниз еще стремительней. Сзади, всхлипывая, бежала Даша.

Он хлопнул дверью в подъезде и потащил Дашу через недотоптанный газон, напрямик, потом через улицу, около общежития не было никого, еще бы, куда за полночь, но он пошел почему-то еще быстрее, около двери Даша заплакала, и он обернулся, обнял ее так, что сам тут же испугался и разжал руки, привлек лицо ее и поцеловал уже осторожно. Повернул к двери и подтолкнул...

2

Нестеров зашел в бригаду монтажников к Толе Долженкину узнать, как там дела. Еще издали увидел, что ребята плотным кружком сбились около пушки, как будто о чем-то совещались, и задние тянулись на цыпочках, а кто-то лепился на пушке сверху, заглядывая вниз. И Нестеров сам попробовал заглянуть в центр кружка. Там стоял щупленький седой старикашка, усатый, с приподнятыми на лоб очками. Рукава новенькой спецовки из хэбэ были по локоть закатаны, ладони блестели от масла. Старикашка копался в каком-то хитром агрегате на боку пушки, что-то негромко щелкнуло, и он вытащил тускло блестящую стальную деталь.

— Вот она, голуба, теперь видали?

Ребята загудели.

— А теперь так. — Старикашка склонился над агрегатом, и там опять что-то щелкнуло. — Ясно?

И снова загудел коротко и глухо и один и другой — будто про себя что-то прикидывая.

Старик попросил ключ, и мимо Вальки, чуть не сбив его с ног, кинулись к инструменту сразу двое и так же быстро пошли обратно. Потом кружок распался, все разошлись как по команде, и каждый занялся каким-то делом, каждый работал не торопясь, но и не отвлекаясь, только дедок все еще стоял на старом месте, и лишь очки у него теперь были опущены. Выставив одно плечо вперед, он смотрел на пушку немножко исподлобья, и вид у него был задиристый, словно он собирался броситься сейчас к этой тяжелой пушке, толкнуть ее руками или плечом.

Теперь Валька увидел, что роба, мешком сидевшая на сухоньком старичке, была ему явно велика — синяя куртка болталась, как на вешалке, а туфли нельзя было разглядеть, они прятались под широчеными штанинами. Дедок, все еще продолжая смотреть на пушку, прижал к поясу локти и слегка дернулся, но попробовал подтянуть штаны, и Вальке стало смешно: точно так же поправлял брюки старый его учитель математики, руки которого почти всегда были по локоть испачканы мелом.

Дедок пошел от одного монтажника к другому, наблюдая за работой, а Валька так пока и отирался около пушки один.

Где-то на углу литейного двора часто бил отбойный молоток, дробным стуком наполнял гулкую пустоту между бетонной площадкой и высокой металлической крышей. О крышу бухали и отлетали вниз удары, тяжелые и глухие. Неподалеку тонко, как разозленный шмель, гудел трансформатор, потрескивала сварка, из серой полутьмы, лишь слегка разбавленной здесь дневным светом, выхватывая то металлические площадки с ажуром заградительных решеток, то черное переплетение труб. За крутым изгибом стального бока домны часто шаркали метлы.

За этими шумами стояла всеобщая работа, которая не прекращалась здесь ни ночью, ни днем, и Нестерову показалось, что только один он здесь не работал, а прохлаждался, и ему, как всегда в таких случаях, стало неловко.

Он двинулся обратно, и уже под пузатым кольцом воздухоудвки его догнал Толя Долженкин.

— Замотались, ей-богу, ты извини. С дедком нашим, видать, не соскучишься.

— Что за дедок-то?

— Ты забеги потом, — попросил Толя. — А то он не любит, когда мы тут ля-ля. Забеги, я тебе расскажу...

Валька зашел сюда снова только на следующее утро. Под гулкой крышей литейного двора опять было шумно. Монтажники Толи Долженкина уже работали.

Он поднялся по ступенькам и сразу за маленькой конторкой пульта управления увидел вчерашнего дедка. Тот спал на робах, брошенных на доски, и под головой у него был свернутый серый пиджак. Худые бока старика двигались почти незаметно. На синих штанах сзади хорошо виднелся еще не стершийся складской номер — «четыре-надцать».

Подойдя к Долженкину, Валька кивнул:

— Так кто у тебя выступает под этим номером?

— О, это у нас игрок будь здоров, — засмеялся тот. — Боевой дед. Представляешь, возмись тут вчера, опять не клеится, хоть убей, вдруг откуда ни возмись этот дедок. Как с неба, веришь? Что, говорит, сынки? Вижу, не выходит? Пиджак с себя снимает, рукава засучивает и пошел...

Их с Толиком уже обступили.

— Лихой дед нам попался.

— Что ты, шарит с закрытыми глазами.

— Откуда взялся-то? — спросил Валька.

— Из Липецка приехал. Сам здешний, а последнее время там, говорит, работал и на пенсию там ушел.

— Доменный механик, как раз по нашему делу.

— А тут у него два сына. Вот он и приехал, чтоб внуков забрать, там сад у него хороший.

— Ага, чего, говорит, только нету в этом саду...

— В дверь ткнулся, а дома никого. Он тогда чемодан у соседей оставил, а сам на стройку. Вроде сына поискать и посмотреть, говорит, заодно, что тут такое творится. На домну зашел поглядеть, тут и...

— А сын где у него?

— Да где-то тут. Или замначальника доменного...

— Да не, начальник смены...

— Не на доменном он, ты не понял.

— А фамилия?

— Да мы и не спросили. Никифорович, и все.

— Не до фамилии тут, как пошел нас гонять!

— Всю ночь не спали.

— Так он своих-то, выходит, еще и не видал?

— Ну! Как застрял тут. Бедовый дед!

— Мы ему сюда и пирожки и кефир.

Толя Долженкин сбавил голос:

— А настырный! Конструкция, говорит, новая, он и сам сначала, видать, маленько запутался. Мы говорим, может, батя, до завтра отложим? Он как крикнет: ленивого, говорит, хрен замучишь!

Валька снова глянул туда, где спал дедок, и его переполнило радостное ощущение, что ему опять повезло. Любопытный, должно быть, старик. Старая школа... Ленивого, видишь, хрен замучишь.

Встать вот тут около него, присесть рядом, ждать, пока он проснется... А так и надо было!

Но в редакции его должна ждать Катя, обещал отвезти ее на шлаковый, и он сказал Долженкину:

— Если ты мне друг, Толя, не выпускай деда до тех пор, пока не приду. Я мигом!

Вернулся он и в самом деле довольно быстро, час прошел, не больше. Взяв по ступенькам литейного двора, глянул туда, за конторку пульта управления,— никого. Подошел к пушке и увидел висевшую на длинном рычаге просторную синюю куртку и брюки с номером «четырнадцать».

Толя Долженкин виновато развел руками.

— И куда он, елкин дед? Пойдемте, говорим, Никифорович, перекусим? Спасибо, говорит, сынки! Вы мне бутылочку кефира.

— Еще и руп дал.

— Ага, руп.

— И что? — торопил Валька.— А тут никто не остался?

— Да никого, кроме... Приходим, а тут спец висит, а самого...

— Может, родня его нашла?

— Тут еще оставалось кое-что,— кивнул Толя на затвор пушки.—

Глядим, сделано.

Вальке не хватило слов, чтобы достойно обругать себя. Посидел, перекурил, снова начал ребят расспрашивать.

— А фамилия? Может, он как случайно проговорился?

— Никифорович, да и все.

Толя Долженкин вспомнил:

— Часы у него интересные, полвека им, говорит, швейцарские. Сталегорский комбинат строили, в двадцать девятом это или когда? Авария у них какая-то случилась, а он тогда токарил, принесли ему какую-то деталь выточить, срочно. И бельгийца рядом поставили, инженер. Вот он, говорит, как стал... ни тому спать не дал, ни себе. Когда деталь готова, бельгийцу протянул, а тот смотрел, смотрел, а потом часы снял и ему: это, говорит, тебе, дед...

— Ну да — дед! Он тогда молодой!

— Ну да — молодой... Это, говорит, тебе, Никифорович, на память!

Так и ушел тогда Валька с домны несолоно хлебавши. Но дедок этот все не выходил у него из головы, нет-нет да и вспоминал его, невольно всплывало, как стоял он, выставив плечо, как исподлобья смотрел на пушку... И однажды утром Валька сел и написал строчек сто пятьдесят: все как было. Чувствовал, получилось вроде неплохо, дедок колючий вышел, с характером... Да только ребята в редакции прочитали и стали Нестерова потихоньку подначивать: эго, мол, здорово он придумал, насчет дедка. Надо же, как живой! В самом деле — живой? Как же тогда, любопытно узнать, его фамилия?

3

В дверь просунулась шерстяная шапочка сварщика, и под нею появились озорные глаза и широкая улыбка на смуглом лице.

— Товарища Нестерова можно?

И еще с порога знакомый монтажник протянул записку. На вырванном из блокнота крошечном листке без единой запятой было написано: «Старик одна нога здесь другая к Любастину не пожалеешь Толик». Комсорг из Стальмонтажа писал, Милявский...

Народу в это время на домне кишмя, и Валька то «привет» говорил, то приподнимал ладонь помахать кому-то, а то с кем-нибудь на минутку останавливался, тряс руку, и все улыбались, все ему тоже что-то говорили, и Валька тоже улыбался и тоже что-то говорил, настроение у него снова стало хорошее, опять откуда-то прилетел вольный ветер.

Тут домна, черная железная витая громадина, которая заставила вертеться вокруг себя столько народу; тут грохот, лязг, тут крышки столов кулаком ломают на оперативках, вывешивают грозные «молнии», в тепляках ночуют прорабы, половина Совмина сидит на стройке, во все концы России несутся звонки, и аккордные наряды пошли, будто тебе Крайний Север, и две «скорые» стоят у здравпункта — не дай бог что,— и вся страна в самом деле ждет: вот-вот они там, вот-вот...

Нестерова окликнули будто очень издалека:

— Вальуха-а-а!.. Стари-ик!

Он задрал подбородок. Из-за стального края резервуара, на самой верхушке водонапорной башни выглядывали несколько монтажников, и Вальке видны были только головы.

— Давай сюда-а!

Честно говоря, Нестеров предпочел, чтобы этот, который кричит, сам бы к нему подошел.

Он скользнул глазами по скобам на стальных стенках и вспомнил заголовок из последнего номера: «Любастины — на высоте 50...»

— Исторический момент, стари-ик! — опять закричал сверху Милявский.

Оттуда глядела на Вальку уже вся бригада...

Ну, где наша не пропадала!

Он не смотрел вниз, да и на скобы, в общем-то, не смотрел, а сосредоточился только на том, чтобы прочно уцепиться за каждую, чтобы твердо и точно поставить ногу. Усилий на это уходило, конечно, больше, чем надо бы, ноги у Вальки подрагивали, и ладони разжимались теперь не очень охотно. На самом верху его хотел поддержать бригадир Любастин, был к нему ближе всех, но Валька не взял руки, чего там, тут-то уж как-нибудь...

Через толстую стальную стенку перенес одну ногу, другую, и в глазах у него зарябило от яркого блеска. В громадной, диаметром около десятка метров стальной чаше водонапорной башни тяжело плескалась под солнцем вода.

Вальке показалось — вот-вот сорвется и плюхнет вниз: цепляться краями башмаков за тонкую полоску арматуры, приваренной к стальной стенке, после такого подъема было трудно, ноги у него дрожали и подламывались.

— Н-ну, братцы, — сказал он, — кто как, а Я...

— Ты сюда давай, — сказал Любастин, со скрежетом пододвигая поближе к нему довольно широкую деревянную полку, укрепленную на сварной лесенке, зацепленной загнутыми концами за стальной край резервуара.

Валька перебрался сюда и только тут расслабился.

— Ну, курорт у вас...

И негромкий его голос гулко ударился о стальные стенки, шлепнулся на воду.

Любастин словно подкинул вверх массивный свой подбородок:

— А ты думал!

Внутри чаши было человек двенадцать, считай, все. Лепились к стенке кто на чем, один тоже на лесенке, другой на куске троса, провисшем от ушка до ушка,— поглядели, как Валька лезет, и по-обезьяньи ловко стали перебираться на какие-то хитрые подмостки, тросом прицепленные к перекинутому поперек стальному брусу.

Любастин беззаботно покуривал рядом:

— Ну как, ругаешься на меня? Купил. Не сердись! Мои ребята комсорга как-то прикупили будь здоров, он тебе не рассказывал?

— Нет еще,— кивнул Милявский.— Не успел.

— Как это ты не успел? — удивился Любастин.

— Они ударники-то ударники, а взносы, понял, хоть с милицией отбирай,— заговорил Толя и ногтем большого пальца швырнул сигарету через плечо, за край башни.— Я когда пришел к ним, ну, думаю, посмотрим. Получка, а я в конторе стою под дверью. Токо он, ридненький, расписался, еще и бумажки в руках шелестят, а я его цоп! Давай-ка, браток, за четыре месяца! Давай за полгода! А эти друзья, любастинцы, не выходят и не выходят. Заглянул в бухгалтерию, а их там, понял, и след простыл. Где, спрашиваю. А они в се — в окно со второго этажа. Давно, говорю? Токо что. Я в дверь. Может, думаю, догоню? Куда там! Подбегаю, а они уже сидят на самой верхотуре ви-ин той штуки.— Толька взял кепку за козырек, от солнца надвигая ее пониже, показал на трубу для установки граншлака, которая и отсюда, с отметки «пятьдесят», казалась высокой.— Увидели меня и кричат: эй, комсорг, на тебе взносы! Я сначала не понял, кричу: кидай вниз! А они: ветер разнесет, давай сюда, чтобы из рук в руки!..

Любастин снова дернул крутым подбородком:

— Тут он и подумал...

— От тут-то я и подумал,— охотно согласился Толька.— Ну куда? Я-то крановщик, высоты не боюсь, да самый большой кран сколько? Ну, пятьдесят. Да и там лезешь все-таки внутри, по бокам заградительные решетки, а тут?

Валька снова глянул на трубу для установки граншлака.

Она казалась совсем тонкой, еле заметными штришками на ней начерчены были скобы, и только наверху, откуда еще не убраны металлические леса, виднелся совсем крохотный пяточок, на котором должны были потом стоять фильтры.

Толька все набивал себе цену:

— Сто десять метров, ну куда? А потом плюнул, чего ж, думаю, раз пришел сюда, ридненький, комсомольским богом, привыкай и туда летать. Ведомость в руках была, я ее за пазуху и пошел... Зато теперь... приносят вчера, как министру. Конверт такой голубой, где они его токо достали. А там взносы за месяц и список, с кого сколько — нате, пожалуйста.

Любастин снова уточнил:

— А он еще спускался вниз, я им сказал: ну, хлопцы, спытали человека и хватит. Если у меня в бригаде теперь опять задолжники...

На крупную и плоскую ладонь положил указательный палец, заскорюзлый и длинный, постучал резко, и звук получился такой, будто деревяшкой о деревяшку похлопали.

А Валька ожил, уже огляделся, через край вниз посмотрел на стройку. И в самом деле муравейник. Среди извивов черных кон-

струкций люди, легковые машины всяких цветов, желтые бочки из-под кваса, белые куртки орсовских девчат, стоявших возле своих лотков с пирожками да кефиром. И шум почти весь внизу, и радио на столбах бубнит — как будто в каком ущелье. Водонапорная башня ниже, чем верхушка домны, само собой, а все равно — интересно. И ощущение другое. Там ты сидишь как бы на самой маковке пирамиды, столько под тобой всего нагоржено, отвесно вниз глянуть нельзя, только если вдаль посмотреть — панорама. А тут край, и под ним совсем ничего, и в этом ощущение как будто полета над стройкой.

— Так мы чего тебя звали? — сказал Милявский. — Исторический момент, в самом деле. Фотоаппарат не взял? Тут, видишь, всемирно известная бригада Василия Любастина решила провести испытание резервуара водонапорной башни по новому методу...

Хлопцы на мостках начали раздеваться, и под брезентовыми штанами были у них надеты разноцветные плапочки, то японские какие-нибудь с белым пояском, а то с рыбкой на боку, с кармашком на «молнии», — все сегодня понадевали, и Валька рассмеялся и закачал головой от зависти: торжественный момент у них, видишь, черти. И Милявский тоже был в плапочках, уже разделся, стоял, скрестив руки на груди, ладонями растирая плечи.

Потом, когда резервуар водонапорной башни закроют наглухо, странно, конечно, будет услышать: «А знаешь, я в ней купался, между прочим. Высоковато, конечно, но поплавали от души».

А может быть, тут другое? Уверенность в крепкой своей работе? Или радость оттого, что дело наконец позади?

И Вальке нравилась эта веселая бесшабашность, с которой они теперь сбрасывали свою амуницию — развешивали на краю стенки гремящие свои пояса, поверх них определяли штаны да куртки, ставили ботинки.

Все были белые почти до синевы, не успели загореть. Хлопали друг друга по спине, поживались под острым ветерком. День выдался солнечный, но довольно свежий, небо висело голубое и глубокое, даль отсюда просматривалась отлично, и в той стороне, где город, поднимались над сопками бурые, закоптившие полнеба думы, а в противоположной стороне, там, где зеленела тайга, чистота была почти первозданная... И здесь, на стройке, тоже было пока еще чисто, местами зелено, и облака пара над тушильной башней у коксовой разворачивались и летели вверх, словно июньские облака.

— А говорят, плавательного бассейна у нас нету.

— Токо полезет не каждый.

— И со страху можно не в ту сторону прыгнуть.

И опять: га-га-га!

— Ну, ты первый давай, бугор!

Валька посмотрел на Любастина: в амуниции своей всегда как роль, и тут красавец — высокий, широкоплечий, пожалуй, чуть-чуть мосластый, но все равно фигура у мужичка! А Любастин будто почувствовал, что им любят, вытянулся на носках еще, распрямляясь.

— Ну, осподи бласлави!

Мелькнул красивой дугой, в воду вошел почти неслышно, она только слегка чмокнула, сомкнувшись.

А потом остальные бросились вниз один за другим. Выныривали, потряхивая губами, и вода забурилась, гогот заплескался гулко, как эхо понесся от стенки к стенке.

И плавали и выныривали, выскакивая из воды повыше, и гогот опять носился над чашей водонапорной башни. Как где-нибудь тебе на Кубани. На Волге. На крошечной речке Завидюйке...

Только Милявский вылез первым. Встал, прилепившись к стенке:

— А ты чего, Валь?

— Давай сюда! — мотал головой все еще плавающий внизу Любастин. — Это тебе крестины будут. В монтажники!

Валька понял, что не искупается он — и радость у ребят будет неполной.

— А пояс лишний найдется? Застегну, а вы меня на веревку.

— Не дадим потонуть! Давай!

Пришлось Нестерову обнародовать длиннющие, почти до колен трусы — как нарочно, старые сегодня надел. Хоть бы предупредили, черти.

Он шлепнулся животом, вода обожгла, ох и холоднющая, как Любастин терпел до сих пор?

На жидком деревянном мостике толкались, выкручивая мокрые свои пожитки, задевали друг друга, как в тесном предбаннике.

— Что-то стало холодать, а?

— Да вообще не мешало бы..

— Думали, комсорг позаботится, а он, видишь..

— Допустил близорукость.

— Им бы только для запаха, — подмигивал Нестерову Милявский, — а заводные они и так.

Потом все разом примолкли и посерьезнели, бывает такая минута, и один сидел, свесив с подмостей ноги и пристально глядя на воду, другой руки сцепил на коленках, задумчиво смотрел ввысь, третий покуривал и как будто потихоньку к самому себе прислушивался, и кто-то на кого-то облокотился, надвинув на глаза кепку и словно уснув, а кто-то подпер другого плечом, и все молчали, притихли, объединенные сейчас не только этим деревянным мостом, который висел над водой, не только тишиною сверху и стальными стенками по бокам, но и еще каким-то очень древним чувством товарищества, которое знает и беду, и веселье, и самому себе знает цену, и для Вальки это была благодатная минута почти физически ощутимой причастности к тому общему, что прочно связывало их друг с другом здесь, на Авдеевской площадке, и для него сейчас не существовало ни нерешенных проблем, ни тягостного одиночества, все казалось понятным, ясным, одновременно радостным и чуть грустным..

На второй год жизни здесь, когда жена его уже уехала, но они еще не разошлись, Вальке приходилось тянуться изо всех сил, чтобы послать денег и ей в Москву и послать Мишке в станицу, потому что отец уже второй год тяжело болел, почти не работал, и старикам приходилось туго. Валька тогда еле сводил концы с концами, пришлось влезть в долги, но, удивительное дело, когда он поднимался вечером на сопку и садился, глядя на зажигающий первые огни поселок, на синий туман, который уже тихо напознал на дома из ближайшего перелеска, тогда он чувствовал себя необыкновенно богатым и чувствовал сильным и уверенным в себе человеком, попробуй-ка сбей такого с ног; и придавало сил, если с высоты сопки посмотреть на оживающий завод, на первые клубы дымка и пара над ним, на голубоватые отсветы сварки... Здешняя жизнь рождала удивительное чувство родства и всеобщего братства, и Вальку можно было обидеть, чего-то лишиться или в чем-то обмануть, его можно было не понять, но нельзя у него было отобрать этого чувства.

Привыкший над самим собою подтрунивать, он думал иногда, что это волшебный дар молодости — утешаться вещами довольно призрачными, но был твердо убежден, что эти призраки его молодости защищать и хранить будут его всегда, стоит только мысленно к ним обратиться.

Валька и Любастин сидели рядом, и тот сказал непривычно мягко:

— Ты, Валь, когда к Евгению Андреевичу пойдешь, ты вот что... Расскажи ему — ничего, мол, идут у них дела, контора пишет. Но за тобой... скучают, видно, мол.— И добавил, словно перед Валькой оправдываясь: — У нас с ним так получилось, что красивые слова друг с другом не привыкли, все больше по падежам, а теперь, видишь...

А Нестеров решил было, что его и в самом деле пригласили, так сказать, «для истории». Так вот нет, ничего подобного. Пригласил его Любастин сюда затем, чтобы обо всем этом Валька рассказал бы потом начальнику участка Женьке Миронову, когда в очередной раз пойдет его в больницу проведать.

А Любастин все смотрел на него дружелюбно. Сложный он, наверное, человек. Перепелось в нем, как в каждом, всякого, поди разберись, что настоящее?

Несколько лет назад окончил Любастин институт, работал мастером, прорабом, дошел уже до начальника участка и вдруг бросил все, подался в монтажники. Переехал сюда, на Авдеевскую, где дело тогда только начиналось. А тут сказал, что в итээрвцах ходил раньше лишь потому, что на безрыбье и рак рыба, что образования у него никакого. Диплом скрыл. Вездесущие кадровики все-таки дознались. Любастину предложили участок, но он отказался наотрез, а его недавно приняли в партию, и пошло громкое дело. Валька был на парткоме, когда разбирали персональное дело Любастина. Держался Любастин с достоинством, отвечать не торопился, обдумывал, что сказать. Все объяснял так: да, окончил институт, стал инженером, а потом понял, что ошибся, что призвание его не руководить, а руками работать. Переходить никуда не хочет, да и зачем: разве не к этому у нас дело идет, чтобы каждому рядовому рабочему — диплом? Укоряя его, говорили о дезертирстве, о том, что большие деньги на его обучение государством затрачены. Любастин только обещал коротко: он-де со временем отдаст. Тут нечего было возразить. В лучшие бригадиры вышел он уже прочно.

Вынесли ему выговор без занесения да и махнули рукой.

А после парткома Миронов затащил Любастина и Вальку к себе. Было поздно, они сели на кухне. Баба Дора разлила по тонким стаканам свою особую, на травах да с наговором, себе налила четвертой, они выпили, и разговор, как водится, вернулся опять к тому же, и тут Любастин сказал:

— Я вам сказочку одну, братцы... Закончил человек один институт, молодой парень, сто двадцать рублей в зубы каждый месяц — и будь здоров. А рядом Ванька живет, ни разу не грамотный, три класса на двоих с меньшим братом. Упирается себе потихоньку, покряхтывает, выколачивает в месяц четыре сотняги. Вот жена и стала инженера пилить: сосед-то, мол, видишь? А ты что? Тот думал-думал да и закопал свой диплом, а место забыл. Пошел чертоломить в ту же шарашкину контору, что и тот Ванька. Месяц несет четыре сотни, второй несет. Жена рада! А потом вздумалось ему рацпредложение внести, не утерпел, дурак. Заметили его. О, говорят, у вас голова работает, товарищ, вам бы еще и образованьице. На цугундер его и потащили в восьмой класс, в вечернюю школу. Сел, сидит с дремотой борется, а что делать? Вот один раз задремал совсем, а его к доске. Видит, уравнение, а он забылся во сне да как пошел шпарить интегралы... А сзади ему кричат: что ж ты предел не тот взял? Оказывается, там все такие же, как он, гаврики сидели.

Женька долго смеялся, говорил, что в техникуме у них что-то не видать таких прытких. Он был тогда на предпоследнем курсе.

И потом Любастин помогал Женьке дипломный проект чертить и всегда помогал советом, когда Женька обращался, и так они и жили:

только что вышедший из слесарей начальник участка и с инженерным дипломом бригадир..

...От Любастина Валька возвращался притихший, сначала сам не знал почему, а потом у него опять мелькнуло: да ведь все дело в том, что все это собираешься ты покидать — и стройку и ребят,— ничего этого больше не будет, ни неожиданных этих, похожих на требование приглашений прибыть немедленно, ни странных этих разговоров, ни ощущения товарищества — ничего этого больше не будет, вот в чем было дело.

Так-то оно так, да только уезжать Вальке отсюда самое, пожалуй, время. Он и собирался пробыть здесь только до первого металла. Жизнь здешнюю знает до тонкостей и в маленький этот кусочек земли, в Авдеевскую площадку, взгляделся пристальнее кого другого, побывавшего здесь наскоком. Знакома ему здесь всякая маленькая подробность. Но верно и то, что все это почти единственное, что он хорошо знает. А поездить по другим стройкам он пока не поездил, а оторваться от своей Авдеевской да посмотреть на нее со стороны возможности у него не было, и мыслить масштабно он и в самом деле не может, а ты почитай-ка статью какого-нибудь оставшегося в Москве однокурсника: такими понятиями, брат ты мой, оперирует, что диву даешься, а идеи у него — глубина да значительность, и забота его — государственная. А для тебя домна, отметка «восемьдесят пять» — высшая твоя отметка. А ты только и того что знаешь, чем Петька дышит, да чем Ванька, да где про них правда, а где приукраска... Да и то не много ли на себя берешь — знаешь ли?

Он снова шагал теперь мимо домны по бетонке и неожиданно для себя свернул, прошел под черными трубами воздухопроводов, потом, по привычке немного нагибаясь, нырнул под тяжелые конуса пылеуловителей.

Давно вечерело, и народу вокруг было поменьше.

Солнце, низко висевшее с той стороны домны, разбилось о стальную ее громадину, расплющилось, и яркие лучи его брызнули по сторонам и пронзили все, что можно было пронзить, прошли горячим светом решетки и переплетения труб и как будто застряли в темных конструкциях, за которыми уже прятались вечерние тени.

Рядом с Валькой остановился горбоносый монтажник с пачкой электродов под мышкой, сказал весело:

— О-он, видал?

И кивнул вбок.

За двумя парами рельсов на маленькой монтажной площадке рядом с доменным цехом стояла под краном бортовая машина, на которой суетились несколько девчат в белых куртках. Высокий парень в выцветших брезентовых штанах и в тельняшке что-то цеплял к стропам, за бортом машины не было видно что. Потом цепи на таях слегка дернулись и поползли вверх, над кузовом приподнялся и поплыл, набирая высоту, широкий алюминиевый бак.

— Ты понял — нашим! — сказал горбоносый, покосившись на Вальку не то чтобы с гордостью, но даже с некоторым презрением.

Но Валька пока ничего не понял.

— Хэх ты, тайга глухая! — Горбоносый откровенно смерил Вальку с головы до ног насмешливым взглядом. — Ты че, токо из деревни?

Валька почувствовал, как у него вдруг поглупело лицо, невольно захотелось угодить горбоносому: тот прямо-таки раздувался от гордости.

— Ты тут чуток потолкаешься, мало-мал оботресся, небось услышишь: бригада Подчасова, сварщики. Вот и я в ней, меня — Посевин Иван. А до работы мы злые как черти. Пока, говорим, колошник не

покончим, не слезем. Так парторг наш, Терентьев — может, слышал? — насчет горяченького побеспокоился. От сосиски и привезли...

Опять смерил Вальку долгим взглядом и пошел, неторопливо насвистывая.

А Нестеров улыбался и глядел вверх. Стрела описала круг, и широкий орсовский бак, слегка покачиваясь, уменьшался на глазах и скрылся потом где-то за переплетением металлических труб. Принимали сосиски с той стороны.

Он все задира голову, когда его тронули за рукав. Валька обернулся. Перед ним снова стоял горбоносый.

— Вообще-то ты вот что... Ты не переживай, если что. Народ-то тут мировой, это точно. Я тоже сперва вроде тебя... когда месяц назад приехал. А теперь! — И голос его снова зазвучал хвастливо: — Сосиски-то небось не кому-нибудь, а монтажникам!

И пошел опять, пробуя насвистывать, а Валька все глядел ему вслед, мелко тряся от смеха — ишь ты, «сосиська».

Ему вдруг защемило душу: увидишь ли все это, так сказать, сверху? Из-за крупных масштабов не пропадет ли из виду этот горбоносый, всего месяц назад приехавший сюда из какой-нибудь маленькой таежной деревушки? В бригаде у Славки Подчасова он пока, ясно, на побегушках, а хочется ему и уважения к самому себе и причастности к громкой славе монтажников... из-за крупных масштабов не исчезнет ли эта громадная столовая кастрюля с горячими сосисками, которые организовал добрый и беспокойный дядька — парторг Терентьев?

«Ах ты,— думал он, снова глядя вверх,— чудо-юдо, металлическая ты бабенка, стальная гром-баба, вон как мы тебя обхаживаем, ах, если бы только могла все это понять! Должна понять... понимаешь, потому что невозможно остаться простой железкой, если тебя коснулось столько горячих жизней, если через тебя прошло столько и простых и таких запутанных судеб, если вокруг тебя было столько осознанной человеческой работы. Понимаешь, ты — это еще и памятник всем моим друзьям, памятник при жизни, символ того, на что они способны, и когда я стою перед тобой готовый поклониться, я кланяюсь, уж ты не обижайся, не столько несколькими тысячами тонн металла, но тому, что в тебе нас объединило, ведь в тебе то, чего каждый из нас никогда бы не смог сделать один и что мы сотворили все вместе! Знаешь,— сказал он, вздохнув,— если я уеду, я обязательно увезу тебя с собой, вот как, увезу непременно, и это ничего, что в вагоне ты не поместишься, у каждого из нас есть еще особый транспорт — это сердце. В него может вместиться все, что ты любишь, и ты можешь увезти это куда угодно... ты слышишь? Я говорю, это странно, что ты, черная и железная, вся в потеках кузбасс-лака, вся в рубцах от сварки, во вмятинах от кувалды, можешь поместиться в крошечном по сравнению с тобой человеческом сердце!»

Очень яркая, сказал потом себе Валька, опуская подбородок, очень содержательная речь! А как хорошо это.— насчет железной бабенки? Тебе, парень, со своими двумя никак не разобраться... а может быть, действительно так и остановишься на этой третьей?

Он по привычке слегка сторбился, но тут же, вскинувшись, глянул вверх уже другими, словно враз потрезвевшими глазами... Что-то мелькнуло у него, когда провожал взглядом этот орсовский бак, пронеслось почти незаметно, а теперь снова шевельнулось в памяти... Костры в морозной дымке, которые день до вечера жгли не потому, что холодно, а потому что нечего делать; в прокуренных теплячках смену напролет — домино; и то, как бригадами в полном составе приходили в партком стройки, в постройком, как толпились в тесной комнате редакции — требовали дать фронт, обеспечить материалами;

и как цепочкой тянулись в город пешком парни с вещмешками, чемоданами, потому что ~~шэ~~эферы автобусов, в основном «старички», не хотели брать дезертиров... Один из «солдатских» бригадиров на днях горько припомнил: «Эх, мне бы теперь моих мальчиков... или нам тогда такую бы, как сейчас, работенку!» Нынче все гремит и грохочет, все до предела напряжено, гул около домны не затихает ни на единый миг — наконец-то пришло, вот оно! Знакомый сварщик протянул вчера Вальке стальную «закладушку», и он сперва не понял, думал, опять жалоба на местный ремонтно-механический, придирчиво повертел в руках: ну и что, мол? А тот радостно прокричал, подмигнув: «Теплая еще, чуешь?» То оборудование годами лежало под снегом, а нынче заводская поковка, которая переходит из рук в руки, не успевает остыть от горячей работы.

Дождь в середине лета

Чудно сияло в этот день солнце...

Небо высокое было, совсем бездонное. Такому сверкать бы где-нибудь над умытой утреннею росой бескрайней тайгой, над белыми шапками одиноких гольцов... Оно будто приподнялось нынче над солнцем, не сдерживая больше горячей его ярости, и солнце пекло теперь беспощадно. Маревом млея внизу раскаленный дух щедро пропитанной бензином земли, и густая духота замешивала запахи металла, гретой резины, солоноватого пота.

На дочиста вытопанной полянке, покрытой сочными пятнами солидола, рядом стояли скамейки, которые привезли сюда из красного уголка, и те, кто сидел на них, еле держались, только повыпускали да порастегивали рубахи, зато братва, разместившаяся на окружающих скамейки «зилках», заголилась насколько можно — белели бока, рядом с копчеными полукружьями пониже горла неестественно бледнели плечи и синеватыми казались морщенные ступни.

Мостились на капотах, на крышах кабин, и разноцветными пятнами пестрели раскинутые рядом рубашки, жарились на солнце майки, просыхала тяжелая обувь.

Потому-то, наверное, странно было смотреть на тех, кто сидел за столом, покрытым скатертью красного бархата, — там и застегнутый на все пуговицы директор автобазы Колесников, и как будто совсем придушенный большим узлом галстука на шее худющий председатель рабочкома Бураков, и Паша Береснев в форме, и члены товарищеского суда, одетые в рабочее, но подтянутые и подчеркнута строгие.

Иван видел, как озабоченно хмурится Кругляков, как Гриша Щедрухин тщательно укладывает на выпуклом лбу жиденький свой чубчик, как, наклоняясь друг к другу, переговариваются остальные. Те, кого должны судить, ютились на коротенькой скамейке, наискосок поставленной между рядами и столом с красной скатертью. Один высокий и узкоплечий — Петр Манаков, второй Санька Прожогин — очень маленький, тщедушный, с длинным носом на крошечном лице. Сидел он сторбившись, опустив между колен обе ладони, зато Манаков тянул вверх голову и поворачивался туда-сюда медленно и спокойно, как будто кого-то отыскивал глазами.

Вытянул длинную руку к столу, с хрипотцой выкрикнул:

— Ну, давай, что ль, начинай, председатель, я тут!

Колесников пододвинул к Грише какие-то бумажки, и тот встал, приподнял их перед собой, а потом положил на место и еще раз пригладил жиденький чуб.

Ивану показалось, что Паша Береснев искал кого-то глазами и остановился взглядом на нем, на Браткове. И Иван опустил голову и почувствовал себя беспокойно... Ему захотелось поглядеть на Пакина, но он пересилил себя. Поднял голову и посмотрел на Береснева. Тот читал теперь какие-то бумаги, рукою тер шрам на лбу...

Гриша опять вздохнул, поглядел на коротенькую скамеечку, где сидели оба подсудимых.

— Тут не придумаешь, как и сказать. Короче, так. Пошел он на рыбалку, Прожогин. Ну, удочки взял, все такое. Вернулся утром — и к жене с допросом. У тебя, говорит, кто-то был.

Береснев снова что-то подсказал.

— Да, нанеся телесные повреждения...

— Это тот, что ль? — скучным голосом спросил Иван сидевшего рядом Егора Юртаева и нарочно вздохнул.

— Ну, — живо обернулся Юртай. — Первый парень на деревне...

Худющий Прожогин стоял, разинув рот. Лицо у него было бледное, только длинющий, странно раздутый на середине нос краснел, как зрелый помидор.

В гараже про него рассказывали: наденет с вечера латаные штаны, возьмет удочки. И прямым ходом — к зазнобе. А утром приходит — и к жене: опять небось, такая-сякая, дома не ночевала? Только я за порог, как ты — следом.

Гриша Щедрухин все морщился:

— Может, объяснишь нам тут, Прожогин?

Тот лишь тоскливо глядел куда-то в сторону.

— Слушаем тебя...

Сидевший рядом с ним Манаков хрипло выкрикнул:

— Че, неправильно? Пусть не ходит куда не надо, законно!

— Тебя мы еще слушаем, Манаков. А пока попросим пострадавшую. — Гриша опять поднес бумаги поближе к глазам. — Евдокию Степановну Прожогину — жену.

Она постояла, сложив руки около груди и низко опустив голову, потом сказала еле слышно:

— Сама не пойму, за что мне такое наказание.

Ивана словно легонько толкнул кто, незаметно пришедший о себе напомнить, он зашевелился на кабинке, вздохнул.

— Говорю ему: Саня! Ну дорогой ты мой! Ну, не веришь мне, не ходи тогда, брось ты, ну ее к шутам, эту твою рыбу. Да еще ловил бы, а то хоть бы раз. Ну хоть бы раз, хоть поганенькую какую принес!

— Он ее там съедает!

— Нет, он только на порог — и опять с кулаками. Где была, признавайся!..

— Значь, любит!

— Тихо, товарищи!

Женщина повела головой туда, откуда раздались голоса.

— Хорошо, что детей у нас нету, смотреть на безобразие некому. А соседи? Другие люди?

Маленького Прожогина передернуло. Задрал крошечную головку, выкрикнул неожиданно тонко:

— Сказали, вот... они-то... люди твои!

У Ивана комок поднялся к горлу, мешал дышать. Подумал напрямик: что ж сам с собой в прятки играешь, что сам себе не признаешь, если мужик? Чем ты лучше этого Прожогина?

— Вот, товарищи судьи, это и весь у него разговор, — слегка развела руками жена Прожогина. — Последний раз пришел, сперва вроде смиренный, а потом с работы вернулся, уже выпивши, кто-то вроде уже сказал ему, что видели меня — от кого-то выходила...

Рядом с Иваном зашевелился Юртай:

— Разыграли его. На днях в диспетчерской. Сам трепануть не любит. Вчера, говорит, захожу к одной... А тут его и давай... Вот-вот. Ты, мол, с чужой, а у самого жена — на сторону.

Иван глянул вверх, чтобы отвлечься, задержался на этот раз глазами подольше.

Небо синело все такое же чистое и высокое, но вдали, там, где обычно курятся на горизонте желтые да серые дымы старого комбината, на краю котловины, как будто замыкавшей Сталегорск, лежала плоская багровая туча, и низ ее был глухого черного цвета, а на невысоких горбах сверкал серебряный отсвет...

Иван подтолкнул Юртай:

— Смотри.

Юртай шикнул на него и руку попридержал.

Жена Прожогина зачем-то сняла платок и разом как будто помолодела. Она стояла влоботорота к ним, и черные ее волосы тугим пучком были собраны на затылке, и густой этот цвет как будто подчеркивал и белизну красиво изогнутой шеи и маленького, как будто тэченого уха с аккуратной сережкой, чистой слезой блеснувшей на солнце. И фигура у нее была очень ладная, тонкая в талии и стройная.

Она до сих пор как будто прятала глаза и теперь слегка обернулась, посмотрела на тех, кто сидел на скамейках, и Браткову стало видно ее лицо, почти все иссиня-желтое.

— Вот я отрекаюсь от доверия, что вы меня тут выбрали,— медленно говорил Гриша,— потому что умных слов, какие, может, тут надо, у меня нету... сволочь ты!

Прожогина передернуло, он смотрел на Гришу, открыв рот еще шире.

Внизу на скамейках загудели.

Из-за стола встал Паша Береснев, поднял руку:

— Товарищи! Тихо прошу сидеть.— И повернулся к Щедрухи-ну.— А тебе, Гриша, не надо так... Ты судья. Нельзя накалять.

А женщина снова заговорила жалостно:

— Хоть бы одну рыбку когда. Не ходи, в самом деле!

Ивана снова обожгло, опять ему стало душно. Подумалось вдруг: спрыгнуть с кабинки вниз, уронить перед всеми голову — виноват, люди! Жену свою любимую подозрением замучил!

— Хоть бы дождик скорее,— сказал Юртай,— а то... Ну даст так даст — погляди!

Иван посмотрел на край неба. Сколько там прошло — одна минута? Две? Три? А туча придвинулась куда ближе, но от края котловины, скрывавшей город, все еще не оторвалась, все еще лежала на нем, все цеплялась за него грозовым брюхом, тяжелым и черным.

— По-моему, она в сторону чуток...

— Н-ну, даст! — Юртай передернул голыми плечами, будто на него уже брызнуло.

...Ливень начался, когда Иван разворачивался на самом гребне отвала. Сперва где-то позади полыхнула молния, и на миг кабина стала как будто выше, крыша ее неслышно поднялась и тут же стремительно кинулась вниз, а потом вверху загрохотало, с шипением и при-свистом и раз, и другой, и третий ударило, все набирая силу, и тут же дождь хлестнул дробно, словно в машину с хорошего размаху густо сыпанули горохом.

По лобовому стеклу линуло сплошняком, куда там дворнику — казалось, он только покачивал на себе тугую водяную пленку.

Иван сразу притормозил, подумал и приглушил мотор — такой

дождик, видать, надолго. Попробовал туда и сюда глянуть вбок, но стекла здесь тоже были залиты наглухо, и тогда он приоткрыл дверцу.

Ливень колотился о гравий, разбивался вдрызг, так что внизу мелкой водяной пылью стелилась сизая пелена. Песка уже не было наверху, камни казались отмытыми.

В дверку остро потянуло снеговым холодом, Иван захлопнул ее, но кабина уже успела выстудиться, он поежился и полез рукой за сиденье, где всегда лежала старая его кожаная куртка. Надел, поднял воротник, сунул руки в карманы брюк.

От наступившей серой полутьмы, от почти непрерывного грохота казалось, что ливень идет уже очень давно...

Ивана все не оставляли мысли, пришедшие там, во время суда, и теперь он вернулся к ним снова. Раньше у него не было такой привычки об одном и том же думать подолгу, все казалось простым и понятным, это теперь он все как будто искал чего-то и в себе и в людях — и находил, и эта словно бы только что открытая им способность размышлять и радовала его и пугала...

Почему все-таки раньше не очень любил посидеть тихо да умом пораскинуть? Неужели только тогда это и приходит, когда клонет тебя тот самый петух? Или дело в том, что только теперь открыл в себе столько глухого и темного, о чем раньше даже подозревать ему не приходилось?

А теперь есть ему о чем думать.

На днях с Кругляковым взялись одни друг другу доказывать реями, ребята от них, как от чумных, шарахались в сторону, и он, Иван, уже выигрывал прочно, а тут парнишку подобрал на обочине, уже раза три проехал мимо этого парнишки туда-сюда, а тот все брел и брел, как черепашонок, и все тянул руку. Он посадил, а тот заплаканный был, парнишка-шорец, у него собачник, оказалось, кобелька поймал этой своєю сеткою, и вот он с утра теперь добирался из деревни до поселка и никак не мог перейти через дорогу, потому что машины с ревом шли одна за одной, и тер узенькие черные глаза, весь в пыли, размазывал грязь, а Ивана уже поджимал Кругляк, посадить мальчишку надо было за две секунды, почти вышвырнуть его, чтобы не дать Кругляку дороги, и он уже собрался было, а потом тихонько рассмеялся и проскочил поворот, погнал прямо, а Кругляк притормозил, вылез на подножку, глядя вслед, не понимал ничего и никогда не поймет, куркуль, а он отдал ходку, да бог с ней, когда у парнишки, понимаешь, дружок его, может быть, единственный, в такой беде!.. И они поехали в поселок и разыскали собачника, Иван спорить с ним не захотел, кинул трешку, хорошо, была, и ехали обратно втроем, малец кобелька держал на коленках, тот рожицу ему, пока подъехали к деревушке, начисто вылизал, как будто тебе умыл, а пацаненок так весь и светился — что ходки, что гонор, мелочи все, а этому — пусть будет на добрую память!..

Целый день после того Иван все думал о себе: вон он какой добрый! Но потом стукнуло: а что ж Настю мучаешь, если душа у тебя такая красивая?

Он ли, казалось, не знал Настю! А если так, должен бы понять, что баюльства она допустить не могла, и уж если что и правда случилось, выходит, это не вина ее, а только, может быть, горькая их беда... Что ж ты? Будь и тут мужиком!

Молния ударила где-то совсем рядом. Ивану показалось, что «зилек» его крыльями затряс от мощного раската...

Невольно захотелось коротать дождь где-нибудь в деревянном теплячке внизу, только не тут, среди металла, на этой залитой потоками верхотуре.

Прекратился дождь на глазах. Иван увидел, как он еще стучал в край бокового стекла, когда тугая пленка на лобовом дрогнула и разом опала. Понял, что ливень уходит так же мгновенно, как и пришел, и тут же невольно открыл дверцу, стал на подножку, оборачиваясь вслед,— вышел его проводить.

Дождь быстро отступал тугой стеной, и сначала неясно проступил серо-голубой контур экскаватора, потом выплыл он весь, ослепительно синий, с мокрыми боками и словно потяжелевшей черной стрелой. За ним неясно появился и четко подался навстречу тоже ослепительно синий, приземистый тепловоз с намокшими, песочного цвета ковшами для шлака. Волоча за собою дождь, багровая туча уходила к сопкам.

Где-то рядом перестало журчать. Теперь тяжело зашлепала капель. Изо всех щелей стекала под машину вода.

Иван глянул вниз. Откосы дамбы почернели и казались осевшими. Совсем было поникшие от жары, присыпанные седой пылью травы у подножия насыпи теперь весело зеленели, но почти сплошь были повалены, как хлеба после хорошей грозы, и растрепанные стояли за ними кустарники, а дальше в легкой, как будто все еще не оторвавшейся от земли дымке вставал завод, синеватые конструкции из металла и потемневшие от дождя железобетонные коробки, все крошечные издалека, почти игрушечные, рассыпанные кучками, и почти над всеми этими островками из бетона, кирпича да железа курились дымки, поднимался пар. Только домна оставалась все еще неживой, и даже подрагивающие пятна электросварки, то маленькие, похожие издалека на солнечных зайчиков, а то большие, казались холодными.

Левее домны, там, где копали сейчас котлован под прокатные, Иван увидел неровную полосу пыли. Видать, дождь прошел неширокою полосой.

Иван обернулся на крик. От экскаватора махал ему Афанасий Старков.

Иван подумал, не подъехать ли, потом спрыгнул, на ходу захлопывая дверцу, пошел пешком. Ровная до ливня широкая полоса наверху гребня вся истыкана была плоскими и широкими ямками, по краям уходили вниз неглубокие борозды.

— Видал? — издали еще закричал Афанасий. — Видал, что наддало? Еще бы полчаса, и хорош.

— Дож-жичек что надо...

— А я знал. Ты молодой еще, видишь. А я тут уже годы, да и осколок. Лучше любого барометра... Нет, ты глянь, глянь!

В том месте, куда показывал Афанасий, начало откоса было смыто почти начисто, по краю тянулась пологая, словно выбранная ножом вмятина.

— А там, ты погляди! — Афанасий тащил его дальше. — Ей-бо, придется мне на своей черепахе обратно топать.

Они шли по участку гребня, где хозяйничали теперь «желдорстроевцы». Слева и справа лежали мокрые шпалы. Ям да рытвин по бокам было здесь еще больше.

— Подкинул он мужикам работенки, — сказал Иван.

— Чего мужикам, — живо откликнулся Афанасий. — Я вижу, придется и мне обратно... Ты мне муфту не поможешь? Там подержать надо.

— Чего ж не подержать.

Иван подошел к краю. Здесь крутой бок откоса был размыт и изрезан сеткой только что сбежавших ручьев.

— Так это что? Один-два таких дождичка, в самом деле?

— Потом-то не страшно, осядет, куда он денется. Лишь бы сейчас обошлось.

Прошли мимо шпалы, шлагбаумом положенной поперек пути в самом начале, мимо замершего тепловоза с четырьмя громадными ковшами на стальных тележках.

— Чего он тут торчит? А может, машиниста нету?..

— Да разговаривают вроде.— Афанасий прислушался.— Радио кричит.

— Значит, там.

За последним ковшом грунт здорово просел, и один рельс висел, держа на себе шпалу.

— Это он обратно и не проскочит.

Они постояли, оглядываясь, потом пошли дальше.

— Э-эй, эй ты! — крикнул Афанасий, останавливаясь напротив кабины тепловоза. И стукнул носком ботинка по стальному колесу.— Конечно, если его гром не разбудил...

— Пошли, поддержи...

Иван видел, как там, где остался его «зиллок», развернулся и пошел вниз Юртай, и навстречу ему тоже полз кто-то свой, или Гриша, или Витуха Ковзин.

Он все еще ломиком отжимал от кожуха муфту, когда убежавший в кабину Афанасий крикнул:

— Ваня, глянь!

— Чего ты, я держу...

— Да брось к черту, давай сюда!

Иван стал в дверях экскаватора чуть позади Старкова, повис на руке, выглядывая. Ему казалось, это внутри так темно, а потом, оказывается, кругом. Только далеко за домной склоны сопки все еще были освещены косым солнцем.

— Ты вверх глянь!

Теперь он задрал голову. Над самым началом отвала, там, где кружили и копошились новенькие «зилки», опять висела черная, с синеватыми тенями по бокам громадная туча.

— Ты смотри, одна за другой!

— Это та же,— сказал Афанасий.— Вернулась. Котловина же, что ты хочешь.

Рядом с Ивановым остановил свой «зиллок» Гриша Щедрухин. Бежал теперь к ним, то и дело оглядываясь на догонявшую его стенку дождика. Забрался на первую ступеньку, откинулся на руках, тяжело дыша.

— Ух ты, кто-то в этой железяке живет? Пустите, мужики.

— Если с поллитрой.

И в это время словно куда-то в крышу ударила молния, раскатился, усиливаясь, дрожащий грохот, и Гришу, который на секунду замер, догнал дождь.

Иван втащил его за руку, и Афанасий тут же задвинул дверь. Гриша стоял, поеживаясь.

— Ну, дурной! Ты смотри,— и повернулся спиной к Ивану.— Неужели промок?

Афанасий начал закуривать.

— Размоет ее к черту, я вам говорю.

— А помнишь, мы зимой тут, в твоей железяке, костер жгли? — спросил Гриша, стаскивая пиджак.— Ты еще меня салом поджаренным угощал.

— Тогда дрова были.

— Сейчас нету?

— Да кто ж его... летом-то.

— Какой черт лето, как цыган замерз.

Гриша стоял голый по пояс, пробовал выжать рубаху.

И опять грохнуло так, будто по крыше с размаху саданули кувалдой.

— Поубивает еще к черту в этой твоей железяке,— поживаясь, тоскливо сказал Гриша.

— Кто-то скребется, что ли?

Афанасий откатил дверь.

Внутри ввалился до нитки промокший Пакин. Только успел стряхнуть кепку да обхватить плечи руками, а на железном полу под ним уже натекла большая лужа.

— Сидел бы в сухом, так нет, к опчеству тянет. Гляжу, Гришка бежит, госконтроль, дай, думаю... а там у тебя?

Вытянул шею и вздрогнул, увидев стоявшего за перегородкой Ивана.

— Ваня там Братков,— сказал Афанасий.

— Холодюка какая,— повел плечами Пакин и громко икнул, снова передернув плечами.

— Скажи, молнии боишься,— поддразнил Гриша.

А Ивану тоже стало холодно, озноб пошел по спине. Застегнул куртку у самого горла и руку уже протянул было к Афанасию за папирсой.

— А чего тебе зовут госконтролем, Гришк? — спросил Афанасий.

— Да шоферу же весь раскардаш видать,— встрял Пакин.— По всей стройке ездит, кто лучше его?..

Мощный, в несколько взрывов опять раскатился гром.

— В самом деле Курская дуга,— качнул головой Афанасий.

— А ты был?

— Танкист, ну... я потом жинке говорю, когда на Авдеевскую рехили поехать. Мне надо, говорю, завод построить. Metallургический. А то я вон сколь стали государству задолжал, девять танков подо мной сгорело.

— А сам ничего?

— Да как ничего? Под Курском вот и заделали. На, говорят, тебе, Афоня, барометр. На долгую и прочную память. Еще вчера этот дождик чуял.

— У меня тоже ноги ломило,— опять подстроился Пакин.

Гриша уже оделся.

— У тебя от другого ломота,— сказал, снова поживаясь.

И Пакин опять зашелся мелким, будто стыдливым смешком.

Афанасий глянул на Ивана.

— Долбак-то этот увел, интересно, свой бронепоезд?

— Спит небось.

— А вот, ей-богу, обратно он потом не проедет,— Афанасий покачал головой,— точно я тебе говорю.

— Такой дождь тут был году в сорок седьмом,— стал Пакин припоминать.— Я тогда на старом комбинате работал, тоже за баранкой. Ну да. Так ты веришь, такой дождь, что один выпивший на бережку лежал, а вода каменный забор на комбинате повалила да как валом хлынула, так и смыло его, так и унесло.

— Хорошо, если не теперь поедет, а постоять останется,— снова глянул Афанасий на Ивана.— А то еще и вниз, чего доброго, загудит.

Они помолчали.

А у Ивана мелькнуло и раз и другой: вот и есть чем тебе подзаякаться. Вот и есть. И вроде не хотел, а вырвалось:

— Может, сходить?

— Оно и тебя жалко,— прищурился Афанасий,— вымокнешь. Может, Пакин? Все равно уж насквозь.

— Пойду,— сказал Иван.

— Сиди, куда подался! — закричал Гриша.— Пропasti искать.

Иван уже дергал дверь.

— Фу ты, ей-богу!— Афанасий чувствовал себя виноватым.— Из-за одного дурака, как говорится. Ты погодь, погодь, у меня там кусок брезента есть. Завернешься.. сейчас я! — Нырнул за барабан и протянул замызганный и промасленный насквозь кусок брезента.

Иван представил, как у Пакина на глазах заворачивается он в эту дерюжку, и только пониже натянул кепку.

— Ну, пошел.

Афанасий хлопнул его по плечу.

Ливень туго ударил Ивана в спину, хлестнул по лицу. Пока он секунду держался за поручни, свисая, успело натечь ему в рукава. Он только побежал, а в ботинках уже густо зачавкало.

Сверкнула молния, грохнуло, и по кожаной куртке словно ударило дробью, толкнуло в спину. Сердце у него невольно подпрыгнуло. Наклонил голову и снова рванулся вперед.

Тепловоз все так же стоял на путях. Иван опять задрал руки, влезая по ступенькам наверх, и снова тут же потекло в рукава. Дверца открылась легко, и он шагнул внутрь.

Машинист, совсем еще, видно, мальчишка, сидел, уронив голову и сложив руки так, будто у него болел живот, спал. Громко кричало радио.

Иван поискал глазами приемник, но не нашел. Схватил парня за плечо:

— Эй ты, друг!

Тот затряс светловолосой, с длинными патлами головой.

— Щас я, Петя, щас.

— Кой тебе Петя, ну вставай!

Теперь парнишка вскочил, спросонья ткнулся лицом в мокрую Иванову куртку и сразу пришел в себя.

— Дождь там, что ли? А ты сюда чего?

— Ливень такой, что пути уже сикось-накось. Давай отсюда поскорей!

Парнишка отодвинул Ивана и ловко юркнул в дверь. Громче слышался тугой шум ливня, снова польхнуло, ударило. Хрипом и треском отозвался приемник. Иван опять поискал глазами: да где он тут? Потом нагнулся, прислонился плечом к синей металлической перегородке, стал расшнуровывать ботинок.

Парнишка вернулся такой мокрый, будто только что вынырнул из воды.

— Посмотри, как там обвалилось!

— Ты уматывай, пока можно!

— Да нельзя уже! Раньше не мог?

Иван рассердился.

— Я тебе... раньше!

А тот уже сидел на своем месте и плакал взахлеб. Шмыгал носом, давился, и лицо у него было до того жалкое и растерянное, что у Ивана и злость прошла. Придавил ему плечо:

— Ты сиди тут! Сиди, слышишь? Сейчас я мужиков... Придумаем что-нибудь. Да перестань киснуть, перестань! И так воды хватает.

Вышел на площадку снаружи и дверь прикрыл поплотней. Хотел было сначала побежать налево за тепловоз, чтобы посмотреть на яму,

о которой толковал парнишка, но потом только рукою махнул и помчался к экскаватору.

А тут было сухо и, кажется, даже тепло. Гриша, видно, рассказывал что-то уж больно интересное, потому что на Ивана посмотрели не сразу.

— Ну, чего там?

— Размыло уже! Идти надо. Салага там спал.

— Ты ба ему по шее,— посоветовал Гриша.— Ну, куда идти?

— Может, подождем чуток? — предложил Пакин и виновато передернул плечами.— Тут и это... воспаление.

Афанасий уже пристраивал у себя над головой промасленный свой брезент. Гриша зачем-то стал подтягивать сапоги.

— Вот ты бы, Вань, посидел,— предложил Афанасий.— А то хоть выжди.

Наклоняясь, Иван спешил первым. Скрип гравия под ногами бежавших за ним следом едва проступал сквозь сплошной шум дождя.

Афанасий, обгоняя Ивана, заторопился вдоль состава с ковшами и за последним встал, глядя под ноги. Иван хотел пробежать дальше и увидел впереди целый овраг, тоже остановился на краю, и гравий пополз у него под ногами. Он попятился, успел отскочить, а там, где он только что стоял, пошла трещина, все шире и шире, и глухо рухнул вниз порядочный клин... То самое место, где под рельсом была тогда небольшая промоина. Теперь под шпалами треугольником виднелся проем никак не меньше метра, а сбоку он становился глубже, на дне его уже бежала вода, спешила вниз, мыла себе русло в мягком, не успевшем окрепнуть да затвердеть отвале.

— Не подходи! Тут сейчас так и поплывет, ну ее...

Афанасий ругался.

— Теперь чего! — кричал Гриша.— Пускай вперед прогонит чуть, да и все. Что ты сделаешь?

— Там грунт жиже, сам знаешь.

— А если еще будет лить да лить?

Иван тоже подался головой под кусок брезента, который Афанасий держал на вытянутых руках. По брезенту колотил дождь.

— А может, заложим? Там шпалы есть!

— А удержит?

— Да если чухаться...

— Вон уже что под задним ковшом, а потом от груза просядет, и пошел... будет тут!

Теперь Гриша завернул такое, что Иван только головой покачал.

— Давай за шпалами,— командовал Афанасий.— А я машиниста...

Иван с тяжелой шпалой на плече спешил обратно, когда навстречу один за другим промчались Афанасий, пацан-машинист, Пакин.

Шпалы как будто напитались водой, отяжелели. Руки мокрые, выпрямиться нельзя, потому что садит по лицу, словно сечет тонким лозняком: вж-жих, вж-жих! Идешь, горбишься, а под раскисшими ботинками разъезжается гравий. Сбросил следующую и пошел обратно не разгибаясь — думал, не разгибается оттого, что дождь, а оно — спину уже успел натрудить, уже прихватило мышцы.

Пакин с этим пацаненком таскали вдвоем, потом и Афанасий с Гришей спаровались — он бы, Иван, тоже, наверное, не стал один, да ему не с кем.

Уже штук восемь лежали рядом с последним ковшом.

— Давай спустимся с тобою, Вань! — крикнул Афанасий.

— Не топчитесь особо! — кричал Гриша.

Пакин горбился рядом, и мальчишка лепился с другой стороны. Будто куры под стеночкой. Потом выскочили, стали шпалы им подавать одну за другой. Они с Афанасием мостили, положили три поперек, чтобы задержать гравий, потом две накрест.

Гриша гнулся на краю ямы:

— Афонь! Надо мне-то внизу, а тебе тут. Закидает землей, так ты нас потом хоть откопаешь на своем дураке.

Гравий съезжал, сыпался, шурша, но останавливался пока, подпертый шпалами. А дождь все хлестал, все молотил о камни, и брызги синеватым туманом висели внизу.

Они с Афанасием перекрикивались коротко:

— Заводи!

— Поднапри, ну!

Последние шпалы они плотно подсунули под рельс.

— Ну вот, хоть на танке теперь.

Подсочил Гриша и протянул Афанасию руку. Крикнул Пакину:

— Ваньку вытаци!

Тот хотел было рвануться вверх сам и тут же понял, что выскочить-то он выскочит, само собой, да только гравий под ним поползет...

А Пакин, пригибаясь, тянул руку, с нее текло и текло у него по лицу, он глотнул, губами пошевелил молча.

— Давай, что ль?

Глаза у него были и правда виноватые. Иван сам схватился за мокрый рукав его пиджака и легко выскочил.

Промокший мальчишка-машинист, покачиваясь, бегал по рельсу, под который они только что подложили шпалы, бил каблук. Афанасий подозвал его и подтолкнул к тепловозу, крикнул:

— С ходу на полную железку!

— А отвечать — дядя?

Старков потянулся рукой, будто хотел дать по шее. Иван только и расслышал:

— ...с тобой!

Увидел, как Афанасий встал на площадке рядом с кабиной теплового и сложил ладони рупором, что-то прокричал. Не слышно, что. Помахал рукой — отойдите, мол.

А Иван стоял нахмурившись. За беготней, за суетой здесь он не успел подумать. Только сейчас дошло: шлаковые-то, выходит, размыты! Делали-делали, гнали-гнали! Выскочили с ними на столько дней раньше, последнее время уже и торопиться перестали... Первая очередь готова, за пути волноваться нечего, главное — как там, на домне? А теперь что выходит? Вдруг да придется переделывать — вон какие провалы уже видны по бокам!

Он посмотрел в ту сторону, где должна была бы виднеться домна. Там опять, наверное, нет дождя. Только пасмурно слегка. Холодными огоньками там вспыхивает небось электросварка. Торопятся ребяташки. Как же: даешь домну через неделю! И никто там не знает, что шлаковые ползут, разваливаются на глазах...

Пронзительно крикнул тепловоз; Ивану показалось, что он слышит скрип примаемого тяжелым составом гравия.

Афанасий что-то кричал, наклонившись к дверце кабины, размахивал рукой. Наверное, требовал скорости. Но тепловоз шел не торопясь. Первый ковш миновал участок рельса, под которым чернели шпалы, второй прошел над ним, третий...

Они слегка покачивались на этом месте — каждый словно спотыкался обо что-то невидимое. Мимо уже тянулся тепловоз. Афанасий стоял, держась за поручни, заглядывал под колеса.

Опять блеснула молния. Над головой ударило. Но шлаковоз уже исчезал за частой сеткой дождя...

НЕСТЕРОВ. Все пробую разобраться, что там такое происходит с хлопцами из бригады Круглякова...

Несколько лет назад, когда с техникой на стройке был, прямо сказать, зарез, их сагитировали начать такое движение — за право получить новые машины. Для этого надо было и хорошенько поработать и сберечь старые. Ребята взялись горячо, работали и правда на совесть, но вот когда на домне начался разворот, на шлаковый целевым назначением пришли триста новеньких самосвалов. Тут в автотресте и подумали: отдай новую технику «старикам», где потом найдешь охотников сесть на те, которые освободятся, потрепанные машины?

И решили срочно создать еще одну автобазу, объявили набор, пообещали зарботки. Тут налетели со всей области. И любители зашибить деньги на горячем деле, и всякая неопытная братва, за которую не очень-то держались на старом месте. Машина и те и эти не жалели, чего их жалеть, и вот вышло: на глазах у ребят гробили теперь технику, с которой еще не успела сойти заводская смазка, а по стройке все еще висели громкие плакаты, в которых говорилось, что комбригада Юрия Круглякова решила беречь старые свои «зилки» и дала слово...

Недавно с Ваней Братковым после смены заехали на мойку — с каким трудом ее пробивали как раз в то время, когда ребята соревновались! И раньше тут почти всегда очередь, а нынче — ни души, ни одного тебе самосвала. В громадной луже подергивался и хрипел от напора шланг — Ивану пришлось снимать башмаки, чтобы до него добраться.

Я покачал головой, вроде посочувствовал, а он горько так говорит: — А кому оно теперь?

На совещании в парткоме подсел я к Колесникову, завел разговор, а он мне: «Ты мужик свой, ты правильно поймешь, Валентин Степаныч. Некогда нам было церемониться. Это теперь мы шлаковые, считай, вырвали, а тогда?.. Только ты правильно пойми...»

И думай теперь, как тут быть?..

Приезжему газетчику, тому что. Посмотрел да уехал. Хоть и напутал где — он теперь далеко. А тут все на глазах. И нынче выйдет газета с твоей статьей, а завтра увидишь того, о ком написал. «Герои рядом» — никуда тут не деться!

Под этой нашей рубрикой напечатали мы недавно очерк об одном молодом монтажнике, а вскоре я встречаю его с женой на улице. Стоим, разговариваем с ним, а она держит его под руку, так и льнет, а на меня все поглядывает, будто ей отчего-то очень смешно, но сдерживается. Потом уже стали прощаться, и она улучила момент, улыбнулась.

— Ну,— говорит,— у кого герои рядом, а у меня так и совсем под боком!

И громко рассмеялась наконец и прижалась к нему еще тесней...

Рабочая столовая

На подносе еще ничего не было, но Катя все равно не стала двигать его, плавно перенесла с места на место, зато стоявший вслед за ней Рукавишников привычно подтолкнул свою посудину, и она с шумом проехала по металлическим планкам.

— Что будем брать?

Это была гордость промплощадки, новая столовая на тысячу мест, и хоть кормили здесь пока не ахти как и директор ее уже успел стать

чуть ли не личным его, Нестерова, врагом, Вальке нравилось обедать здесь, ему тут все было по душе — и это великое многолюдье, и мерный говор над ним, перебиваемый звоном посуды, постукиванием, чирканьем алюминиевых ножек о каменный пол, и хлопотливые крики поварих из-за белых мармитов, и по два вторых на подносах у бетонщиков, и пот на скулах, нарочитая строгость молоденьких девчат за столом, степенность женщин, вольные позы монтажников, отдыхающих тут, на земле, и смех то в одном углу, то в другом, и отовсюду дружеские кивки, и поднятые издали в приветствии руки.

В партийном штабе Нестеров слышал, как начальник монтажников Сергей Дранишников просил отдать ему этот зал для вечера после пуска домны. «Куда тебе столько? — укорил Банников. — У тебя ведь поменьше тысячи». Дранишников поднял указательный палец: «А с женами?»

А теперь сроки опять могут отодвинуться — на этот раз из-за шлаковых...

Сразу после того летнего ливня, когда размыло шлаковые, Банников сказал: «Главное — надо нам сейчас как-то переломить на строение людей на шлаковом».

...В то утро Банников за все шесть лет, что они знали друг друга, впервые накричал на Вальку, и, пожалуй, за дело. Нестеров только сейчас стал понимать, что в разговорах с Банниковым да и с управляющим Карцевым о положении на шлаковом отделялся то мрачными шуточками да нытьем, а то не очень остроумными шпильками. И когда они приехали на отвал и Нестеров заныл снова, Банников отчитал его по всем правилам, но потом ему, пожалуй, стало неудобно, что досаду свою сорвал на Вальке, и когда они уже шагали по дамбе в неплотной, но длинной толпе начальства всех рангов, он слегка притстал, дожидаясь Вальку, ворчливо сказал:

— Пойдем, слушай, вперед, поближе к Залугину. Наверно, тебе это интересно, все-таки член правительства...

И Валька пристроился рядом с Банниковым, который снова прибавил шагу.

Дамба горбилась, темнели осыпи по бокам, и кое-где с шорохом еще срывался и громко шуршал, уходя вниз, тяжелый от влаги гравий. Скатыв по обе стороны густо изрезаны, словно за одну ночь покрылись гигантскими морщинами. Каждый камешек, каждый булыжник был отмыт до чистоты морской гальки. То вздыбленные, а то провисшие шпалы ярко чернели, под ними зияли ямы и трещины...

Все шли, почти не останавливаясь, шли молча, внизу, на несколько сот метров растянувшись вдоль насыпи, замерли самосвалы, которые как всегда вышли на линию, и было похоже, что эта громадная, адски ревущая цепь, которая днями и ночами крутилась прежде на шлаковых, теперь лопнула, не выдержав напряжения, со звоном распрямилась и вытянулась наконец свободно.

Сверху было видно: в некоторых кабинах спят, подняв стекло и привалившись к дверцам, другие кабины были открыты и сквозили пустотой, как будто их проветривают после тяжелой пыли, солевого пота да горького бензинового духа, и ребята лепились на крышах, загорали, подставив раннему солнцу спины, до сих пор еще белые, хотя лето пошло уже потихоньку на убыль; кое-где кучками стояли около машин, посматривали, задирая головы, на отвал, покуривали.

На другой стороне дороги растянулись плоские сверху «Волги», и сегодня их было не меньше, чем самосвалов, и среди разноцветных крыш попадалось все больше черных: на шлаковый съехалось скопом все руководство — и сталегорское, и областное, и москвичи.

Валька, спешивший по неровному краю насыпи, все поглядывал на Залугина, который, заложив руки за спину и слегка сторбившись, шел первым, в распахнутом габардиновом плаще и без шляпы.

Впереди на краю отвала стояла толпа ребят, этих, из кругляковской бригады... То подбоченясь, а то сложив руки на груди, почти все курили и морщились от дыма, хмуро поглядывая на идущих навстречу.

— Вы ба хоть кучкой не ходили! — крикнул стоявший впереди остальных Гриша Щедрухин. — А то остальное завалите!

Неизвестно отчего Валька почувствовал себя очень виноватым. Как будто это вовсе не дождь был всему причиной, а он, Нестеров, не смог уберечь всего, с таким трудом этими людьми сделанного...

Валька уже снимал с подноса тарелки с гуляшом, когда увидел только что вышедших из-за ширмы директора столовой, а с ним Кулькова и еще одного инженера из техотдела. Толстый, в белом халате директор, держа руку Кулькова в своей, все продолжал что-то говорить, и Кульков как всегда кивал, поклеивал длинным своим и тонким носом, нагибался поглубже, кланяясь, и пузатый портфель, который был у него в другой руке, при этом слегка опускался и поднимался, полы длинного пиджака тряслись и отходили назад.

Нестеров вчера целый день искал Кулькова, именно у него хотел поточнее узнать, как решили выходить из положения на шлаковом...

Любопытная тут получилась история.

Тогда, на гребне отвала, когда они шли с Банниковым, начальник участка Матеха постучал каблуком сапога и зло спросил: «Может, с нас достаточно этой рации?»

И Нестеров с внезапной обостренностью понял, что с рационализацией Кулькова все обстояло не так просто.

Вечером Валька нашел Матеху.

— Не объяснишь, Николай Богданыч? Что, рация Кулькова все-таки — штука сомнительная? Из-за нее дамба поплыла?

— Да нет, тут все будь здоров, — усмехнулся Матеха. — Со стороны, так сказать, технической...

— А какая в этом деле еще сторона?

Тот закурил и долго молчал, глядя куда-то. Потом вздохнул.

— Предположим, ты башковитый мужик и времени у тебя достаточно. И твой друг проектировщик дает тебе работенку — обосновать дамбу. Ты обосновываешь по всем правилам, а потом прибавляешь еще и то, что можно будет безболезненно впоследствии откинуть, — это уже, так сказать, второй этап. Это уже и будет потом рационализация. Запроектировал шлаковый, потом для прочности присобачил ему банкету с двух сторон. А в процессе этой самой рационализации их можно безболезненно выкинуть. Что и было сделано...

Валька хотел предупредить:

— Слушай, Николай Богданыч...

Тот швырнул через плечо окурок:

— Знаешь, я сам не люблю лишних разговоров. И не против заработков, которые... Но, понимаешь, есть какой-то предел, за которым уже...

После этого разговора Валька занялся рацией Кулькова вплотную и кое-что раскопал. Становилось похоже, Матеха прав...

А Кульков клюнул еще раз, оглянулся и увидел Вальку. Он остановился и поклонился издали, потом снова глянул на Нестерова, чуть подмигнул ему, и тот встал, подошел к Кулькову.

— Как со шлаковым? — спросил Нестеров. — Что там решили большие белые люди?

Кульков еще не успел ответить, тот, второй, сказал с акцентом: — Принято предложение Юрия Павловича делать банкеты. Это есть сейчас, конечно, самое разумное.

Валька приподнял ладони параллельно полу, повел одну к другой:

— Это так — сдавить его с боков?

— Да, сжать, чтобы дальше не расплывался, — подтвердил Кульков не очень охотно, снова начиная поклевывать, и светлые его волосы рассыпались и косо вздрагивали на морщинистом лбу. — А сверху, разумеется, подсыпать.

Вид у него был усталый, и то, что выпивши, сразу было заметно, потому, наверно, и ниже обычного поклевывал, и галстук на рубашке сбился, и сама рубашка не то чтобы...

Валька видел все это очень ясно, так, словно ему это непременно надо было запомнить.

— Вы можете поздравить Юрия Павловича, принято именно его предложение, хотя были другие. Много других.

Валька слегка дотронулся до руки Кулькова.

— Ты, конечно, извини... но как теперь твоя рация?

Тот длинно повел головою вверх:

— Вон ты о чем!

Кульков приблизился к Вальке, задел портфелем колено.

— А тебя заставляют, интересно? Или сам? — Нагловатые глаза его пытливо ощупывали Нестерова. — Имею в виду, бельишко ворошить? Грязное.

— Значит, все-таки грязное? — выпрямился Валька.

Тот прикрыл глаза и на миг опустил голову, а когда поднял ее, на лице у него была горькая обида:

— И знаешь, что интересно? Что прежде всего это волнует всех тех, с кем когда-то, что называется, и хлеб и соль... Ты только припомни: или ты не сидел за моим столом? А когда кому-то показалось, что Кульков споткнулся... Да только это не так. Понимаешь? Не-е так! И ты разберись, в самом деле. Разберись. Нужна будет моя помощь — приходи. Мы с тобой еще не все пропили, что я тогда за рацию получил, у меня еще есть. Посидим, друг на друга посмотрим...

— А тебе не кажется, что за такие вещи...

Кульков не дал договорить:

— Приходи!

Повернулся и быстро пошел к выходу, и другой, что был с ним, бросил следом, потянулся из-за спины у Кулькова, открыл дверь.

Вальке показалось, что в громадном зале непривычно тихо, что все, кто был рядом, стояли и внимательно слушали, а теперь, когда он оглянулся наконец, каждый сделал вид, что занят своими разговорами, своими делами...

Нестеров вернулся к столику, сел на свое место и невольно сгорбился.

Катя первая угадала, что с ним что-то не так, — он понял это по голосу:

— У тебя все остыло, Валька!

А ему опять стало тревожно — как всегда в эти последние дни, когда он начинал размышлять, как ему казалось, о самом главном.

...Дней пять или семь назад Валька шел по литейному двору и увидел инженера по технике безопасности Емельянова, увидел первым и тут же поспешил накинуть на голову желтую минстроевскую каску. Емельянов как-то придрался, что Валька без каски, а тот хотел сначала шутками отделаться, да не вышло, Емельянов шуток не понимал... И Валька потом даже запереживал: вообще-то верно, они бездельники, эти «тебешники», это так, но сейчас приспела для них пора

горячая, забот как никогда, а ты еще и за газетчиками гоняйся. То их тут три-четыре вертелась, а теперь целый полк — и в самом деле Емельянова пожалеешь.

И теперь Валька скоренько надел каску, чтобы сделать человеку приятное, пошел навстречу, и вдруг ему что-то вцепилось в спину, и здесь и тут как будто колючей веткой с размаху ударили, и по каске негромко заскребло, а вокруг него пронеслись к земле малиновые брызги электросварки.

Валька нырнул вбок, под широченное кольцо воздуходувки, встал, неловко поеживаясь, а Емельянов еще издали тянул руку, кричал радостно:

— Что я вам говорил, ага! Ну, что я вам говорил?

Валька зачем-то снял каску и посмотрел на нее, но на ней не было ничего, потом дал Емельянову туда-сюда повертеть себя, показал спину.

— Да, рубашечка ваша того... Придется новую покупать. Не больно было?

— Да нет. вроде.

— Все-таки материал толстый да майка. Даже на ней вон прогары кое-где. А что, если бы на голову, а? Валентин Степанович? И от вашего шикарного чуба — пшик!

В общем, радости Емельянову доставил он в тот день больше чем достаточно.

Потом Нестеров представил, как он появится в редакции, как, ни слова не говоря, сядет за свой стол и тут кто-нибудь, кто придет около тебя постоять да похлопать по плечу, удивленно скажет:

— Что это у тебя с рубахой, старик?

Валька скучным голосом ответит:

— Да так, мелочи...

Они играли в эту игру, чего там, и принести в редакцию оцарапанный палец или хорошую шишку на голове было почетно, остальные смотрели на тебя с завистью, а ты на них — слегка свысока: и мы, мол, понимаешь, — те самые медные трубы!

Ну так вот, ты, дорогой, выходишь из этой игры, сказал себе тогда Валька, сегодня ты пас, и завтра, и потом, и далее всегда...

И он поехал в поселок. Сменить рубаху.

Переодевшись, глянул на часы, прикидывая, не придется ли ждать автобуса слишком долго, вышел из-за кирпичного дома напротив детского сада и вдруг увидел громадную толпу здесь, около первого подъезда, и бортовую машину со сварным памятником в кузове, и увидел множество самосвалов, штук сто или больше, которые квадратом стояли внутри квартала с интервалом не больше одного-двух метров — один за другим, один за другим. На подножке у каждого — водитель, все они как будто чего-то ждали, и Валька, уже все понявший, вздрогнул и невольно остановился...

Толпа у подъезда слегка колыхнулась, отступая. Над нею, над медленно выплывающим из дверей гробом раскатились медные звуки оркестра, тяжело и глухо, как будто поставив точку, ухнул барабан, и тут же хрипло и прерывисто засигналили все самосвалы сразу, разноголосо задудели наперебой, зашлись в одном сплошном вопле.

«Парня, что на переезде разбился, — пронеслось у Вальки. — Шофера...»

А самосвалы сипло голосили, и в их придавленном металлическом крике, который как будто был не властен прорваться целиком, слышалось что-то нечеловечески жуткое — будто они оплакивали не только погибшего, но и разбитую машину.

Вальку пробрало острым холодком, он на мгновение перестал дышать, замер, почему-то приоткрыв рот и невольно вытянувшись.

Толпа, все отодвигаясь, приблизилась к Вальке вплотную, он хотел отступить, но за ним уже стояли подошедшие после него, и он шагнул немного вбок, становясь на поребрик рядом с забором детского сада, и очутился теперь в первом ряду, и мимо уже понесли венки и слегка наклоненные к земле знамена, потом поплыл мимо него, слегка покачиваясь на плечах, обитый кумачом, с цветами по краю гроб.

Автобаза шла. Все свои.

Он опустил голову, думая, что на стройке у них это особенно печально. Хоронят здесь почти всегда молодых.

От тех, кто шел сразу вслед за гробом, отделился человек. Валька узнал знакомого своего рыжего шофера. Тот тронул его за руку, прерывающимся голосом сказал:

— Молодец, что пришел. Видишь от... Кольку хороним!

У Вальки кольнуло где-то около плеча, он снова невольно вытянулся.

А этот повернулся боком, двинулся молча, и Валька не мог не шагнуть вслед, они пошли рядом, и рыжий достал платок, высморкался и, справившись с собой, сказал голосом поглубей:

— Он бы проскочил! А тут эта баба с коляской навстречу — есть голова на плечах?

Сквозь сжатые губы Валька коротко мыкнул, повел головой.

Они уже пристроились с краю к идущим вслед за гробом, и Валька увидел впереди молодую женщину: ее вели под руки, она спрятала лицо в ладонях и плечи ее тряслись, а рядом и чуть позади них шли люди, тоже знакомые Вальке, всех он знал по именам или хотя бы в лицо, и ему подумалось, что знает он, должен знать... з н а л парня, с которым это стряслось, конечно, з н а л, он твердил это себе, но почему-то не мог поднять головы, чтобы внимательно посмотреть вслед плывущему впереди гробу.

Они уже вышли на бетонку. Оркестр стих, и в наступившей тишине внятно послышался топот многочисленных ног, шлепанье шин по асфальту, подпирающее сзади пофыркивание тех самосвалов, которые, слегка поддавая газу, один за другим вытягивались из квартала, вываливали теперь на бетонку.

— А я, гадство, виноват, — негромко и жалостно сказал рыжий. — Ты ж его знаешь, Кольку. Одну машину соберет чин чинарем, токо поедит чуть — уже отбирают, раз характером мягкий, дают другую, разбитую, — он же спец, каких поискать! Сделает ее, а ездит, опять дядя. А тут только он девяносто второго «зилка» собрал, радый! А меня, ей-богу, как будто кто за язык. Говорю ему с утра в гараже: «Коль, а Коль, а завгар сказал, и эту машину отберет!» А он же доверчивый, веришь! Чуть не заплакал. А я теперь думаю: да может, я ему настроение спортил? Нервничал он, потому и паровоза этого не заметил.

И отгоняя эту страшную для себя мысль, заторопился:

— Да нет, нет. Кабы не женщина с пацаненком, не коляска эта — от дура, а не мать!

Сбоку от них прошли вперед несколько человек, у гроба, поднимая руки, стали меняться, и рыжий взял Вальку за локоть.

— Понесем маленько... проводим!

Валька пошел, опустил голову, стал рыжему в затылок.

Край гроба нетяжело закачался у него на плече.

Сбоку от бетонки стоял народ, как всегда притихли, смотрели вслед, а Вальке казалось, что смотрят и на него тоже и спрашивают себя: а он-то почему гроб несет? По какому такому праву?

У него появилось ощущение, что все это происходит не с ним, что сам-то он только видит все это со стороны — и кумачовый гроб с полевыми цветами, и тех, кто его несет, и эту идущую за ними девчонку из «теплоизоляции» — уже вдову...

Теперь, после стычки с Кульковым, Валька припомнил это уже в который раз за последние дни и опять сидел, притихнув.

Листки из тетради в клеточку

Абазур на высокой ножке бросал на стол размытый по краям полукруг мягкого света, за границей которого мерно жужжал в полутьме холодильник.

Стоявшие около пепельницы маленькие, в оправе из желтого металла часы показывали полночь. А на чистом листе расшитой и повернутой боком тетрадки в клеточку крупно было написано с краю только одно слово: «Товарищи!..»

То ли потому, что Банников никак не мог унять странного волнения, мысль его торопилась, он невольно забегал вперед и уже пытался представить себе весь ход этого необычного совещания и лица тех, кто будет на нем присутствовать, и многие из всего этого дела последствия для стройки и для завода и — чего там скрывать — для себя... поэтому или почему еще, дальше дело пока не шло.

Банников любил писать на расшитых тетрадях в клеточку.

Пятнадцать лет назад, когда он был парторгом на строительстве Шалымского рудника, к ним в поселок с комиссией из министерства приехал Залугин, работавший тогда в обкоме заведующим отделом строительства.

Дела в то время на Шалыме шли из рук вон плохо, но долго разбираться, что тут и почему, москвичи не стали. Управляющего трестом Карцева обвинили в распылении средств, титул на будущий год пригрозили предельно сократить, деньги срезать. Дипломатию разводить Карцев не любил никогда, а тут дело и вообще дошло до скандала. Пока слушал разносившего его председателя комиссии, молодежавого, с оттопыренными ушами и пронзительным взглядом товарища, все больше краснел и надувался, как будто его в самом деле насосом накачивали, а когда тот спросил наконец, что он, управляющий, может сказать в свое оправдание, Карцев по столешнице постучал костяшками пальцев, а потом ткнул в свой лоб и молча вышел из кабинета.

Догнать его Банникову не удалось. Когда выскочил на трестовское крыльцо, «газик» управляющего уже набирал скорость.

Пришлось осудить Карцева заочно, осудили, но Банников, извинившийся за бестактное поведение старика, попробовал было тут же объяснить, чем оно вызвано. Да только кто же после всего этого станет тебя слушать — куда там! Комиссия ушла, пригрозив докладной на имя министра, а Залугин, оставшийся якобы для серьезного разговора с Банниковым, сказал:

— Слушай, Георгий Мироныч... Этот партизан и себе напортил и тебе помешал. Да вы-то ладно, перетерпите, не о вас речь. О стройке. Мне показалось, ты тут пытался толковать что-то дельное. Давай вот что. Садись-ка ты сегодня за стол да выложи-ка все это на бумагу. Чтобы завтра твою грамоту с соображениями я в обком увез. Покажу там, поговорим, а дальше — видно... Надо выручать Шалым. Руда нужна. Точка.

Дома Банников попробовал найти чистую бумагу, но под рукою, как назло, ничего не оказалось, это сейчас он стал бумажная душа, а тогда нет, и он попросил у старшего, у Сережки, тетрадку — тот ходил

во второй класс,— расшил ее и положил боком — так ему показалось удобней.

Он просидел всю ночь, бумаги ему не хватило, и на рассвете он шарил на полке у изголовья самодельного Сережкиного топчана, искал еще тетрадку.

Утром отдал записку Залугину. Черновика у него не осталось, но текст он помнил хорошо, потому что писал о наболевшем, сотню раз передуманном. И в постановлении бюро обкома по Шалыму он узнал потом строчки из своей докладной и, ему так казалось, увидел их и в пришедшем почти спустя полгода постановлении Совмина...

Суеверным Банников не был, но с тех пор считал, что это счастливая примета — листки в клеточку, на них писалось ему особенно хорошо, над ними особенно хорошо думалось, и он, усмехаясь над собой, иногда не брал их нарочно, словно бы не позволял себе злоупотреблять, оставляя для дел самых важных, когда они должны были выручить непременно.

Нынче как раз наступал именно такой момент, и привычка должна была бы помочь, тем более что написать выступление предложил ему снова Залугин.

Странно, и правда, что через столько лет — опять он...

Тогда, после первого эшелона шалымской руды, Залугин, ставший в обкоме вторым, предложил ему должность зама в строительном отделе, а через два года Банникова утвердили заведующим. Здесь он проработал тоже около двух лет. Но тут судьба уже приготовила ему впереди крутой поворот...

Залугин был первым, когда они решили вытащить на бюро этого старого партизана, Карцева, который воевал тогда уже на Авдеевской, строил промбазу. Банников это бюро готовил: две недели прожил тогда на стройке, вникал да присматривался, и Карцев, которого он сразу предупредил, зачем приехал, ничего не скрывал, но не сделал и малейшей попытки обговорить дело заранее, более того — такую попытку со стороны Банникова грубо отверг. В те дни он посматривал на Банникова искоса, будто все решал про себя, все взвешивал: что же за фрукт стал теперь Банников, поработав в обкоме?

А он это хорошо понимал и на бюро потом старался и быть предельно объективным и щадить самолюбие Карцева, но дело снова обернулось так, что тот вспылал и опять с три короба наговорил и Банникову, делавшему доклад, и выступавшим после него членам бюро. Залугин попробовал его приструнить, но старик разошелся, как в лучшие свои времена.

— Напугать вздумали, ишь ты! — гремело в просторном кабинете. — Да я по шпалам уйду и на каждой станции буду поклоны бить до земли, если вы тут меня от стройки от этой освободите! — А потом обернулся к Банникову, сказал с обидной усмешкой: — А ты что ж, Георгий Миронов! Давай! Да-ва-а-ай! Тут-то оно полегше, конечно, в мягком обкомовском-то кресле! Тут грыжу не зарабатываешь. А ты бы сейчас там... та-а-ам!.. попробовал, на стройке!

И снова посмотрел на Банникова с обидной усмешкой.

А ему то ли живое дело, до которого на Авдеевской дотронулся, стукнуло в сердце, то ли еще что случилось, только он встал вдруг и, сдерживая себя, спокойно проговорил:

— И попробовал бы! Если товарищи члены бюро не против...

Залугин посмотрел на него, прищурившись.

— Это мы в рабочем порядке, я думаю.

Потом они разговаривали одни, и Залугин сказал:

— Подумай-ка еще. А я тебе только скажу, что стройка эта для

нас важнейшей будет на долгие годы. Всей областью на нее станем работать. И понять, как она там живет да чем дышит... Наладить дело. На первых же порах создать добрый партийный костяк, на который потом после тебя не один еще секретарь будет опираться. Такой человек для нас... понимаешь сам...— Встал с кресла, пошел по кабинету, остановился и закончил, слегка обернувшись:— Нужен будет области такой человек, который бы все там знал как свои пять.— И энергично выбросил пальцы.— Нужен такой человек. Точка.

И поехал Банников на Авдеевскую площадку.

На стройке тогда все жили ожиданием большого разворота, и ему сразу пришлось по душе чуть тревожная и счастливая атмосфера, в которой к этому развороту готовились, он сразу почувствовал себя на месте. Ссоры на бюро они с Карцевым не вспоминали, как будто ее не было, и поняли друг друга довольно быстро, как будто только и того что вернулись к старому, на добрый десяток лет назад.

И опять была работа на пределе возможного, но засыпал всегда с чистой совестью и с надеждой, а другой раз и среди бела дня ловил себя на том, что беспричинно радуется, задумывался слегка и тут же находил причину: да это опять доволен, что решился поехать сюда, эх, как все-таки хорошо, что на бюро тогда он не промолчал!..

Провожая его, Залугин бросил шутовскую фразу о том, что паруса, мол, у Банникова надежные, что ветер дует попутный. Шутка, она шутка и есть, но в эти дни Банников и правда как будто физически это ощущал: и тугой ветер и крепкие паруса.

Потом все неожиданно изменилось.

Госплан принял решение о временной консервации строительства. И почти в это же время заместителем министра черной металлургии уехал в Москву Залугин.

Стройку залихорадило как никогда, ей нужна была оперативная и гибкая помощь обкома, но там не спешили. Лубников, новый секретарь, был в прошлом угольщик, знал и любил горняцкое дело и на него поставил — на Авдеевской об этом сперва услышали, а потом и испытывали на своей, как говорится, шкуре.

Область взяла обязательства, какие горнякам до этого еще и не снились, и не мудрено, конечно, что уже в первом полугодии стало ясно: перестарались. Но отступать новый секретарь, видно, не привык. На большом Кунгурском разрезе спешно открыли новый участок, и туда прямым ходом отправились со стройки восемь экскаваторов, пятнадцать бульдозеров, больше ста самосвалов... Стройку ободрали как липку.

Месяца два или три спустя в обкоме готовили расширенный пленум по текучести кадров, и Банникову позвонил бывший его заместитель, Никонов, который заведовал теперь отделом строительства: «Готовься, Георгий Мироныч, выступить. Черного смотри не переложи, сам понимаешь, но так... в общем, готовься серьезно!»

Его и просить не надо было, а тут — на тебе. И рассказать о своих бедах готовился он основательно. Где как не у них пошла в тот год текучка прямо отчаянная. Ни хорошего жилья, ни объектов культуры построить еще не успели, тут только на заработки и надежда, а откуда им взяться, работкам, если стройку в последнее время буквально растаскивали!

Слово ему дали среди самых первых ораторов, и он начал горячо, сам увлекся. По бумажке выступать не любил, брал с собой, потому что теперь так полагалось, и сейчас ни разу в нее и не глянул, смотрел в зал.

Он сразу нашел глазами своих, со стройки, и хоть сидели они далеко, в глубине, ему отчетливо было видно, как они вытянулись, при-

тихнув первыми, а потом и весь зал постепенно замер, но Банников, издали лова во взглядах и сочувствие своим словам и поддержку, все продолжал глядеть на авдеевцев, как будто о трудностях их и бедах рассказывал им самим.

И ничего сперва не понял, увидев перед собой на трибуне коротенькую записку, только когда посмотрел вслед уходящей качающейся походкой обкомовской стенографистке, до него дошло: она положила. Рукою Никонова было торопливо написано: «Ты что, не получил телефонограммы? Где положительное выступление? Закругляйся!»

Тут Банникова впервые выручила бумажка. Все еще продолжая молча смотреть на записку, он достал из кармана текст выступления, нашел место, на котором примерно остановился.

И невольно поникшим голосом, уже ни на кого не глядя, упрямо дочитал до конца.

В перерыве его позвали к Лубникову. Тот стоял в окружении нескольких обкомовских работников, смотрел на Банникова, словно что-то припоминая.

— Слушай, Георгий Мироныч, — сказал дружески. — Совсем, ей-богу, запомятовал... Как у тебя на стройке — клуб?

Банников охотно откликнулся:

— «Комсомолец»?

— Вот! — обрадовался тот. — Название такое подходящее. — И заговорил еще дружелюбней: — Я тебе, знаешь, что скажу? С такими речами ты там, пожалуй, и выступи. Перед своими... Договорились? — И уже совсем другим тоном закончил: — А здесь... наведем порядок... сами.

Тогда в моде были реплики, подобные этой.

И странная для Банникова началась полоса. Нельзя сказать, чтобы его совсем игнорировали, нет — его держали в черном теле. В обкоме относились к нему с вниманием, которое иногда казалось ему подчеркнутым. Можно подумать, что было так: когда отошел Банников тогда в перерыве, Лубников сказал стоявшим рядом и слышавшим разговор: надеюсь, это не повлияет на ваши деловые отношения с Банниковым... что-нибудь такое. И он не мог посетовать на то, что кто-нибудь сковывает его инициативу здесь, на стройке. Не мог пожаловаться, что труд его остается без награды. Шесть лет работает он на Авдеевской, и у него орден Трудового Красного Знамени — за ТЭЦ, орден Ленина — за ввод в строй комплекса первой коксовой. С ним было другое: его как будто нарочно не приглашали на какие-нибудь значительные мероприятия, где ему полагалось быть, и делалось это подчеркнуто: Банникова, мол, нечего отрывать — пусть работает. Не выбрали и на партийный съезд, хотя перед областной конференцией ему, как нарочно, намекнули: решается, мол, быть ли среди делегатов и ему, Банникову, или поедет Кадышев, бывший его заместитель.

У того дела в последние годы пошли просто на удивление. Тогда, когда Банников только что приехал на Авдеевскую, им обоим стало ясно, что не сработаются, и Кадышев сам попросился на старый комбинат. Был там сперва на профсоюзках, а через год перешел в заводской партком — тоже замом.

Над ним иногда посмеивались: в поезде, когда едущие на областной актив хозяйственники да партийные работники доставали из портфелей коньячок, Кадышев открывал книжку об ораторском искусстве, сидел над нею с карандашом.

Но говорить он и верно стал лучше, и все, о чем говорил, казалось значительным — и собственные достижения, и поддержка со стороны обкома, и личная, так сказать, помощь первого секретаря...

Всего через полтора года Кадышев стал в парткоме главным, а еще через два уже работал первым секретарем Сталегорского горкома.

Как тут ни верти, а сколько зависит от одного человека! Станет такой все на свой аршин мерить — и тебе уже труднее дышать. У Кадышева почти не сходили теперь с языка слова о расширении демократии, о широком участии масс... Для Сталегорска это обернулось сплошными совещаниями, на которых с утра до вечера просиживали и партийные работники, и все хозяйственники, и активисты с производства.

Банников не вытерпел, попытался однажды выступить на пленуме горкома, но еще и договорить не успел, как с тоскою понял, что нет, не так, как хотелось бы, истолкует это Кадышев, что подумает он единственное: речь эта продиктована его, Банникова, обидой...

Как-то однажды директор старого комбината, с которым у них были хорошие отношения еще со времен Шалыма, давшего Сталегорску руду, предложил Банникову пойти к нему в замы. О том, что придется оставить стройку, Банников думал с болью, да уж в очень сложном положении он действительно оказался. Народу у него в семье за последние годы куда прибавилось. Эта самая так называемая «погоня за девочкой» окончилась для них с Анфисой полным провалом: родился четвертый сын, Вовка. Он был у них диатезник и, может быть, оттого переболел всеми, какие есть на белом свете, болезнями. Теща теперь тоже все чаще прибаливала, и Анфисе приходилось сидеть дома... А хлопцы уже вытянулись, да пошли не в него — один к одному гвардейцы, — только ведь одно дело купить сыну ботинки тридцать шестого размера, а другое — сорок третьего. Старший, Сережка, давно уже вымахал выше отца, разбитые его туфли Банникову были велики, он донашивал на стройке теперь обувь, которая огнем горела на ногах у второго по счету — у Бориса.

Может, он тогда смалодушничал? Пошел к Кадышеву с заявлением.

Кадышев попытался его отговаривать, но делал это явно для формы. В конце концов сказал, что на себя ответственность не берет, посоветуется с первым.

Через два или три дня Банников сидел у себя в кабинете, когда настойчиво раздались длинные звонки. Он взял трубку и узнал голос секретарши из обкома. «Товарищ Банников? — спросила она как всегда приветливо. — Здравствуйте, Георгий Миронович!.. С вами будет Михаил Игнатьич». Обычные слова эти отдались у Банникова в душе неожиданной тревогой. Прикрыв трубку ладонью, он глубоко вздохнул раз и два, только потом спокойно сказал: «Я слушаю». «Слушаешь? — пожалуй, чуть-чуть насмешливо переспросил Лубников, который, видно, уже ожидал его на линии. — Ну-ну... Я тебе и дальше это рекомендую. Слушать. Старших, я имею в виду».

И положил трубку.

Он все сидел, раздумывая, телефон зазвонил снова. Директор комбината из Сталегорска не без тревоги спросил: «Что там у тебя стряслось, Георгий?» Он сперва не понял: «На стройке?» «У тебя лично?.. Мне сейчас первый звонил — ты Банникова собираешься на работу брать. А вот мне, говорит, интересно: беспартийного его ты бы взял?..»

И тут Банникову стало ясно, что со стройки ни за что его «живьем» не отпустят.

И ему стало досадно: что ж это, в самом деле? Разве он для Лубникова работает? Или для Кадышева работает с таким напряжением дни и ночи? Работает потому, что так понимает свой долг перед страной, перед Сибирью, перед этой стройкой наконец, которой так не везло и к которой он уже успел прикипеть душой.

Иногда потом он ловил себя на мысли: ты, брат, схитрил тогда, после звонка первого. Просто тебе не хотелось уходить со стройки.

Банников нужен был Авдеевской площадке. Она была необходима ему. Все другое не имело значения.

Но дни, когда он начинал сомневаться в себе, случались у него теперь чаще, и те, кто хорошо знал его, наверное, замечали это и тогда старались как-то его поддержать и не то чтобы утешить — чем-то обрадовать.

Карцев, который последнее время все посматривал на него, словно желая сообщить что-то важное, недавно сказал:

— Слушай, Георгий Миронов!.. Дай-ка я открою тебе одну маленькую тайну. Помнишь это бюро, на котором ты меня раздраконил?

Еще бы не помнить!

— А что я тебе тогда сказал, тоже помнишь?

— Припоминаю... примерно.

Это было поздно вечером, когда они вместе возвращались со стройки в машине Карцева. Карцев тронул за плечо шофера:

— Останови-ка. И постой тут. А я, понимаешь, провожу до дому партийное руководство.

Вылезли из «газика» и медленно перешли через бетонку, не торопясь зашагали по пустынной в этот час улице. Накрапывал дождь, было прохладно, и Карцев поднял воротник старого плаща, поглубже натянул кепку, и круглое его лицо с побитым красноватыми прожилками большим носом нарочно приобрело вид добродушно-жуликоватый.

— Покаяться тебе хочу, — сказал рокочущим своим баском и взял Банникова под руку. — А то помру, неровен час... что-то плохо я себя... видно, скоро...

— Да ну, типун тебе, понимаешь, Николай Трифонович!

— Ни разу в жизни человека я намеренно не оскорблял, — рокотал Карцев неторопливо. — А перед тем бюро... тогда я постоял-таки перед зеркалом впервые в жизни. Тогда наизусть заучил, что тебе сказать, — боялся сбиться.

Банников щурился:

— Это почему?

— А чтобы ты и впрямь с аркана с моего не сорвался! Когда ты перед тем бюро ошивался у меня на стройке... припомнил я Шалым. Как работали. Бывало, и за волосы друг друга таскали, а в общем, ну... дополняли один другого. Это я так, мягко... чтоб не говорить, как ты меня, бывало, хихвостила да взнуздывал. А тут такие дела пошли на Авдеевке! Только дай себе волю. Нет, думаю. Не потяну один. Надо мне его сюда, Банникова. — И закашлял все-таки, видно, смутившись. — Своего... друга.

— Ну тебя, Николай Трифонович, ей-богу... все это ты только сейчас...

— Потом-то я себя виноватым чувствовал, — перебил его Карцев. — Может, ты бы уже деятель был какой обкомовский, может, еще выше. Как знать. А только хорошо, что ты пришел сюда, чувствуешь? Ты много тут сделал... ты это знай, Гоша, и пусть тебе это будет как награда... Ты тут черта своротил... это правда...

Карцев впервые назвал его не по имени-отчеству, и звучало это у него чуть-чуть странно, словно это непривычное для них обоих имя он опробовал на слух, потому и повторил его и раз и другой.

И оттого, что он, закоренелый матершинник да грубиян, попортивший Банникову столько крови, был сейчас тих и даже как будто нежен, оттого, что старался его утешить не только на сегодня, нет, а на

долгие, если суждено им быть, годы впереди, — на душе у Банникова стало удивительно легко, будто сбросил он не один десяток лет.

Сам Карцев переживал тогда пору трудных раздумий.

Не он ли прежде кричал, убеждая остальных, что главное — это «сесть» на объект, а там видно будет, не он ли всегда старался выхватить объем, пусть тыл оставался при этом необеспеченным, не он ли в дружеском кругу говаривал, что недоделки — штука, в общем, почти обязательная, никуда ты от них не денешься?

А на днях признался: «Вот, Георгий Миронов, — стало до меня доходить: пожалуй, лучше половину дела оставить на верном пути, чем все дело — когда ты его, прости меня, через пень колоду».

Потом на стройку приехал Залугин...

...За окном послышался разговор, внизу на скамейке у подъезда громко забубнили двое, и было ясно, что голоса у них нетрезвые.

Банников поискал ногами под столом тапочки, надел один за другим, тихонько, чтобы не скрипнуть, отодвинул стул. У подоконника приподнялся на цыпочки и выдернул вверх шпингалет, растворил рамы.

На почерневшем стекле забился большой белый мотылек, ударился ему в плечо, прошмыгнул в кухню. Ночь была ясная и прохладная, над черными горбами сопок подрагивали зеленоватые звезды.

Он лег животом на подоконник. Внизу один за другим мигнули огоньки от папирос.

— А передо мной Кругляк только что получал. Шпильки полусей, — уныло бубнил охрипший басок. — А я-то не знаю, что ль. Видал, заводские, сталь настоящая. Говорю ей: дай и мне, чего ты, надоело уже. завтра срежет — опять к тебе?

— А-а, даст она! Я у нее эту хреновинку попросил, что на карбюраторе, дак она...

— Ну, ладно. Этот фраер на шлаковом работает, ему надо хорошие шпильки. А я что, грю, на своем — за грибами? Так вишь — приказ!

Банников вздохнул: «Бедная ты, Авдеевская площадка! Им спать давно бы, нет, сидят тут, под чужими окнами... может, выйти? Ребята. сказать, вы тут очень интересно рассуждаете об устройстве автомобиля, но постоянно называете деталь, которой в моторе, как мне кажется, нет...»

Длинно. И не поймут. У них там свои проблемы.

Опять, значит, Круглякова снабжают запчастями за счет остальных. Доберется он до автобазы с этою их показушной бригадой, вот только развяжется с большими делами и — доберется!

— За шлаковый ты брось, — послышалось внизу, и там опять, разгораясь, ярко замигали огоньки. — Как вспомнишь. Мантулили, мантулили. Упирались, упирались.

— То за одну ходку сверх нормы — руп. А теперь за две, вишь, тройка сразу. Еще и на пирожок хватит...

Шлаковый сейчас у всех на уме. С ним действительно не повезло, ничего не скажешь. Этот ливень. Случайность нелепая. Еще неделя-другая, гравий бы уплотнился, дамба набрала прочности — потом хоть камни с неба... Или была в этом закономерность, как и во многом другом, где они оплошали?

Со шлаковыми они, конечно, здорово опростоволосились. При всех. Принародно.

Банникову об аварии на дамбе первым позвонил Нестеров. Ему, видишь, передали телефонистки. Привилегия. Банникову почему-то еще не доложили, а Нестеров уже знает. Или так и надо? Никуда не денешься, пресса...

Дело было ранним утром, и Банников не стал дожидаться своей машины, попросил Карцева, чтобы тот заскочил за ним. И пока стояли с Нестеровым, ожидали, этот все донимал его: ну, вот, домна уже на выходе, а путей теперь нет. Придется шоферам в ноги: выручай, братцы! Вот тут-то ребятам и станет обидно. Потому что до этого всем было, грубо говоря, на них наплевать.

Банников только помалкивал и там, на краю бетонки, и в машине, когда сидели позади Карцева. Потом вслед за стариком по крутой тропинке они торопились наверх, и Карцев на минуту остановился: отдышаться. Им неудобно было перегонять, стояли, смотрели наверх, и Банников уже видел, что стало со шлаковым, глаза бы не смотрели, а Нестеров сказал:

— Вон! Всего один поганый буфет — во-он там, внизу, это порядок?

И тут Банников вспыхнул:

— Погоди мне! Ну, погоди, критик несчастный! Ты больше собою любовался на этом шлаковом! Ах, они бедные, как им трудно, и Валя Нестеров все понимает, а остальные, видишь, нет! Потому что руководители такие-сякие, им бы металл пошел вовремя, а на остальное наплевать. Нет, скажешь? А ты пришел: Георгий Мироныч, душа из тебя вон, не уйду из партийного штаба до тех пор, пока на шлаковые со мной не поедешь! Вот докладная, товарищ Банников, принимай меры, иначе я с тобой здороваться перестану и перестану тебя, понимаешь, за коммуниста считать, не то что за партийную власть. Не-е-ет, он ходил тут, ворчал, все только обиженного корчил! Не государственный ты человек, вот ты кто! Будем бюро по недостаткам на домне проводить, я тебя тоже приглашу и поставлю на голосование: вкатить тебе выговор за непринципиальное поведение. Так.

Нестеров притих, смотрел на него с любопытством. Сколько вместе работали, а еще не слышал небось, как Банников-то кричит...

Нет-нет, сказал он теперь, мальчишка пытался по мере сил, да в том-то и дело, что пока — только мальчишка. Щенок. Поздно они нынче взрослеют, и нету хватки. Они, видишь, все больше по всемирной истории, они теорию цикличности исповедуют, и ты им подавай космические трагедии да гибель цивилизаций, а вот навести порядок у себя под ногами... и все-таки мальчишка-то ни при чем, это сам ты все упустил. Радовался, что хоть там все более или менее хорошо, не надо отвлекаться, и у тебя руки не дошли, у тебя времени не хватило, настойчивости, упрямства...

Но почему со шлакового никто не подъехал к парткому на запыленной машине, почему не стукнул кулаком по столу... те же ребята из комбригады хороши, в самом деле, нечего сказать. Один, значит, сорвал лозунг, которого, он считает, бригада недостойна, и где-то совсем притих после этого, спрятался, нету его... Другой нет чтобы прийти, сесть напротив, сказать: Георгий Мироныч, так и так-то.

Ну, этот молодой бородач ладно — до него Банников тоже потом еще доберется. Но почему Иван-то Братков не пришел? С этим, слава богу, он познакомился в свой самый первый день тут, на стройке.

Или Братков не пришел к нему примерно по той же причине, по которой сам он, Банников, не появлялся в Москве у Залугина?

Когда он узнал, что на Авдеевскую приезжает Залугин, сперва, словно мальчишка, обрадовался, но тут же оборвал в себе эту радость: да, когда-то они действительно работали бок о бок, и, кажется, хорошо понимали друг друга, и были не то чтобы близкими друзьями, но, во всяком случае, были товарищами... Да только ой как много воды утекло с тех пор. И нынче у Залугина свои заботы, и они не чета банниковским, так надо полагать...

И тут же он пытался самому себе возражать: нет, брат! У всех у нас одна забота, и ты это прекрасно знаешь, просто случается, что кое с кем ты это понимаешь по-разному.

А в общем, разочарований у Банникова было за последнее время достаточно, и готовить себе еще одно не хотел. Уж пусть лучше окажется потом, что он ошибался... В прошлом году Кадышева избрали в Верховный Совет республики. Вернувшись из Москвы после первой сессии, обо всем, что видел, рассказывал он взахлеб, но когда заговорил с Банниковым о Залугине, в голосе у него пропала патетика.

— Как люди, слушай, меняются. Видел я в Москве нашего Сергея Никитича. Думал, о ком-нибудь расспросит. Кому-либо привет передаст. Ну что ты! Ни о ком и не вспомнил. Понятно: у него теперь другие заботы, он теперь птица бо-ольшого, скажу я тебе, полета!

Банников вспомнил теперь об этих словах и решил, что при встрече с Залугиным ему лучше всего держаться официальной.

Когда они встретились на комплексе, это ему, кажется, удалось в полной мере — держаться официально, и он нисколько не пожалел, потому что Залугин только сухо кивнул ему.

Но когда после рапорта они оказались рядом с Залугиным, тот деловым тоном, только тише обычного, спросил:

— У тебя как шофер — ничего?

И Банников ответил без всяких тебе эмоций, может быть, чуть поспешней, чем следовало:

— Первый класс...

Залугин еле заметно подмигнул:

— Ершишек-то поймать на уху нам поможет?

И Банников ответил в тон:

— Большой специалист, по-моему...

— Надеюсь, обойдемся и без твоего ОРСа, а? Немножко у меня есть, чтобы старое вспомнить, а больше... У меня теперь тоже, брат.— И Залугин положил руку на печень.— Ты только захвати все эти специи для ухи, картошечки не забудь... Охота на траве у костра поваляться. И поговорить. Сегодня в восемь вечера у тебя в парткоме — идет?

Теперь в быстрой его улыбке появилось что-то новое, и Банников сперва никак не мог понять, что именно, а потом догадался: усы!..

Вроде бы они шли Залугину, только уж больно непривычным стало у него лицо, появилось в нем что-то такое... то ли усталая усмешка, а то ли запоздалое молодечество...

Странно действительно изменили лицо Залугина эти его усы... Высокий, с мощными надбровьями лоб, внимательные глаза под кустистыми бровями, большой прямой нос, несколько, пожалуй, тяжеловатая челюсть — все, казалось, говорит о твердом и спокойном характере. И вдруг эти почти мальчишеские, хоть и с проседью, усы!

Саня, шофер, не оплошал — Банников, признаться, даже не ожидал от него такой прыти. А впрочем, что ты хочешь — рыбак. Банников сначала не задумывался, почему это он ходит то в кепке, а то в старой, совсем заношенной солдатской фуражке, но однажды увидел: за клеенчатой подкладкой фуражки спрятаны у Сани десятки крючков самого разного калибра. После этого, когда видел Саню в фуражке, спрашивал, уже не сомневаясь: «Что, опять с ночевой?..»

Нынче тот организовал и пару крошечных, но удобных палаток, и спальные мешки, и у него нашлись не только топор и пила, но и кося-литовка с маленькой, чтобы входила в багажник, ручкой.

Была середина лета, темнело поздно, и до одиннадцати они успели и забросить закидушки, и поставить палатки, и запастись дров, и приготовить все для ухи.

Снасти проверяли уже по-темному, и Банников, понимавший в этом деле, видно, поменьше и шофера своего и Залугина, подсвечивал им фонариком, а они побрякивали, довольные, неторопливо переговаривались, снимая с крючка окуньков да ельчишек. Попался им и хороший налим, уха должна была состояться что надо, и они теперь лежали у костерка на охалке свежескошенной травы, и в похолодавшем над рекою воздухе, дразня ноздри, уже погуливал не очень сытный, зато горячий запах распаренной рыбы...

Они находились в мальчишеском предвкушении этого ни с чем не сравнимого удовольствия — холостяцкой ухи на свежем воздухе, и, сделав последние приготовления, потирали руки, оставив разливать уху Сане. Настроение у всех троих было приподнятое, атмосфера установилась дружеская, и Банников не смог скрыть улыбки, когда поглядывал на Залугина, пощипывающего свои молодцеватые усы.

— Знаю, о чем ты! — перехватив его взгляд, сказал Залугин. — Как, мол, это ему в голову пришло: менять вдруг облик после пятидесяти... Ну, давай, чтобы ты не мучился. Слушай. Поехали мы со средним сыном в Гурзуф. А дороги там, сам небось знаешь. Что-то там впереди произошло, наш водитель затормозил резко, я и врубился лицом в стекло. И все ничего, представляешь, а верхнюю губу вот тут порезал. Да глубоко. Бриться нельзя, пока не зажило, я и давай усы отпускать — а что делать? Потом все прошло, можно бы их и сбрить, а сын пристал: давай в Москву твои усы повезем, дома покажем. И — повезли. А потом не успел я еще и в себя прийти с дороги, а у подъезда — машина. А по лестнице поднимается один наш товарищ. Есть у меня приказ доставить тебя в Совмин живого или мертвого — там, говорит, на совещании спор зашел по твоему предложению... А совещание, надо тебе сказать, ответственное. Я прошу: дай ты мне хоть побриться, дай в порядок себя привести. Где там! В машину затолкал почти силой — исполнительный, черт! — Залугин, поведя головой из стороны в сторону, засмеялся, и Банников тоже невольно усмехнулся. — И надо тебе сказать... что выпали мне на совещании очень даже крепко. По первое число. Хотя я, как потом выяснилось, и был прав. Но это потом. А тогда? Тогда передо мной, брат ты мой, кроме всего прочего, такой вопрос встал: как же, понимаешь, с моими усами? Если бы похвалили, оно бы понятно: сбрил — и кому какое дело. А тут? Покритиковали, скажут, так сразу и усы куда делись. — Залугин глянул на Саню, который перестал разливать уху. — Вы вот теперь посмеиваетесь, а мне тогда было не до смеха...

Они по наперстку выпили за «старые времена», и оба долго потом смотрели, как, мучительно морщась, цедит коньяк Саня. Тот хотел было что-то сказать, но потом только рукою махнул и передернул плечами.

Потом они сосредоточенно дули на ложки, и молчание лишь иногда прерывалось то радостным восклицанием насчет ухи, то красноречивым вздохом, относившимся ко всему сразу: и к сонному плеску реки над невысоким обрывом, и к чуткой тишине, настороженно замершей за темными очертаниями кустарников.

Залугин переломил тонкую веточку и концами ее зажал малиновый уголек, который откатил от костра, поднес его к концу сигареты и долго, с наслаждением причмокивая, закуривал, потом отодвинулся от костра и вытянулся на траве, положив голову на автомобильное сиденье. Неподвижное лицо его казалось сосредоточенным, но потом скулы стали мягче, и он глянул на Банникова.

— Я сейчас, знаешь, о чем? Почему это, думаю, об усах ему рассказал, а до этого никому никогда... И понял. Я ведь давно тут не был, в наших местах. А сейчас будто вину какую почувствовал... И такое

ощущение, будто должен что-то о себе рассказать, что-то объяснить... и вовсе не об усах... понимаешь, что хочешь?

Банников кивнул. Ему подумалось, что это, наверно, здорово — знать, что где-то далеко от тебя есть такое место, куда ты можешь вернуться, словно к себе домой, и где тебя встретят и старые друзья и знакомые улицы.

От реки наполнил туман, стлался над землей синеватыми прядями. Казалось, он окончательно заглушил все звуки вокруг, и даже хлюпанье в омутке под обрывом отдалилось настолько, что уже нельзя было сказать с уверенностью: или слышал его на самом деле, или это в тебе самом продолжает жить вызванный тихим плеском ритм.

Стало прохладней, резче сделались запахи, и все вместе они напомнили Банникову о чем-то отдаленном и смутном, что было когда-то очень давно, а может быть, чего и не было вовсе... Или когда-то они уже лежали вот так с Залугиным около маленького костерка, от которого тоже потягивало горьковатым сырым дымком и гретой землей?.. Или было это в короткие часы отдыха еще там, на Шалыме, — и глухая тишина вокруг, и крупные звезды над черной кромкой тайги, и внезапное осознание своей счастливой и тревожной причастности к этому огромному миру, над которым опрокинулась сейчас синяя бездонная ночь? Или все это — еще от тех костров детства, которые продолжают согревать тебя и тогда, когда тебе уже под пятьдесят?

— А я знаю, пожалуй, — негромко начал Залугин, не поворачивая головы, — почему это нам нравится возвращаться в те места, в которых мы были молодыми. Тут нам снова кажется, будто все еще впереди... или ты еще до этих мыслей не дожил? Помоложе все-таки...

И словно стряхивая оцепенение, приподнялся, сел, повернувшись к Банникову.

— А что, если бы предложили: вот ты, Банников, на стройке с самого начала, считай. Все видел. А теперь тебе придется на следующей начинать. Что бы ты взял с собою на эту новую стройку?

А у него еще не прошло счастливое настроение, с которым он прислушивался к тишине вокруг, потому, наверно, вопрос Залугина воспринял он несколько лирически.

— Людей этих взял бы. наших, с Авдеевской...

Залугин помолчал.

— А не взял бы равнодушного отношения к ним. Которое мы себе иногда позволяем — и в большом и в малом.

Залугин пересел к костру, морщился от дымка сигареты, тянул к огню растопыренные пальцы.

— Поселка бы этого не взял. Потребовал бы, чтобы спроектировали новый. Такой, в котором умные люди учли бы нашу специфику — мы ведь молодежная стройка и город наш должен быть молодежный. А то иной раз тычут тебе в лицо нормами — имеется, дескать, почти все, что положено в расчете на тысячу горожан... а какая оза, эта наша тысяча? Кого в ней больше? У нас эта тысяча такая, что завтра, глядишь, вместо нее уже — полторы. Видели, сколько у нас будущих мамаш по улицам ходит?

— Угу, — прогудел Залугин.

— Первое место по эрэсэфэсэр, — не без гордости сказал Саня. — Куда ни глянь — там идет, пузо у нее выше носа, и там идет, и там...

А Банников все никак не мог остановиться — разговор пошел о наиболее:

— Когда-то мы против палаток поднялись. Это какое, считай, достижение, что начинают теперь с коробок. Да время уже не то. Нынче не пора ли против коробок этих всем миром? Потому что от того, в каком городе будет жить человек, зависит много. Понравится ему

тут — и останется он у нас, квалифицированный рабочий, никуда от нас не побежит. Тогда и воевать мы станем наконец уменьем, а не числом.

— Что значит живое дело — у тебя и первая мысль о людях. Мне, сухарю чиновному, признаться, даже неловко сделалось. Потому что я тебя о другом хотел, а ты меня вот на какой путь. Понимаю. Важнее всего другого... Ну да уж все придется в комплексе решать, если дело коснется, а что, если поближе к экономике все-таки?

— К чугунку? — прищурился Банников. — К стали?

— Тоже, скажу тебе, немаловажная для нас штука.

— Умный и дальновидный генплан, — сказал Банников. — Рассчитанный на много лет вперед. На двадцать, на тридцать. На все пятьдесят. И твердое материально-техническое подтверждение. Чтобы не получалось так, как у нас тут было. План то и дело меняется, все перекраивается на ходу, как у той Акули, которая «не оттуль» шьет и тут же пороть собирается. А то иначе: на плане вроде бы и умно, да попробуй-ка сделай! Этого союзная промышленность еще не освоила, другого сами не можем довести до ума. Какой-нибудь один узел в срок тебе не поставят — и пошла свистопляска, и пошла! Формовочный цех на заводе стройматериалов мы еще при вас пускали, по моему...

— Ну как же, — обрадовался Залугин. — Первенец-то на промышленной базе?

— Вот-вот! А вибростолы, которые должны были там по проекту стоять, промышленность наша только через три года освоила. А последний пример: установка для гранулирования шлака на доменной. Так ведь и не пришла. Торопились. Трубы ставили — освоили новую технологию монтажа, побили все рекорды. Лучшая бригада монтажников! А пускать будем без установки. Вот вам только два примера — первый, можно сказать, и последний...

Залугин, вздохнув, качнул головой:

— А в итоге...

— Завод еще не успел родиться, а уже морально устарел. Так выходит. Потому что планы наши — из будущего, материально-техническое обеспечение их — из настоящего. Со всеми, так сказать, вытекающими отсюда... А в результате получаем нечто из прошлого... А сколько писали! Самый современный. Самый совершенный...

— Много писали.

— А надо бы об этом не только в начале стройки писать, но и до конца ее об этом помнить, — горячился Банников. — Чтобы это было как заповедь. А в конце бы оглянуться, и все взвесить, и хорошенько сравнить — вот и будет наука впредь.

Залугин убрал от огня руки, положил их ладонями на колени и голову слегка наклонил, глядя на Банникова с улыбкой.

— Дело в том, что такую возможность... сравнить... мы, пожалуй, тебе предоставим.

— Статью написать? — с сомнением спросил Банников, подумавший, что Залугин предложил ему именно это.

А тот перестал улыбаться.

— Мы ведь недаром о заводе на Авдеевской говорим: первенец. Потому что за ним мы второй строить начнем. Потом — третий. Потому и опыт ваш и ваши ошибки — все это необходимо учесть до каждой самой мелкой подробности. — Залугин помолчал, словно что-то прикидывая. — Тут мы, правда, рядили и так и этак... Одни говорят: сразу после пуска не время, мол, для такого мероприятия. У людей, что там ни говори, праздник, а мы их начнем тут корить... И все же как посмотреть. Праздник он праздником и останется, событие не

только для области, но и для страны очень большое. Да ведь важно и то, чтобы за речами и гостями кое-что не забылось. А потому так. Строители да монтажники, весь коллектив, который сейчас на домне сидит, — пусть-ка они и действительно почувствуют, что дело сделали просто великое. Тут, я думаю, тебя не надо уговаривать...

— Да уж такой список мероприятий составили, чтобы на всю жизнь запомнилось, все-таки первая на стройке домна, что там ни говори!

— А руководителей мы потом соберем — и всех здешних, и проектировщиков, и экономистов, и работников министерств и ведомств. — Залугин снова слегка улыбнулся. — Я думаю, восприимчивость сейчас у них несколько обострена — впереди и премии и... Тут-то мы и напомним, что сделано далеко не все, что должно бы. Что хватит работать с середины на половинку. Что планы, которые мы намечаем и утверждаем, за которые народ голосует, выполнять надо в полном объеме, а не как бог на душу положит. Что такой план — закон. Закон-он! Точка.

Банникову показалось, что сам он давно вынашивал похожую мысль, он сразу уловил всю значительность намеченного дела, и ему уже представлялось, как это все может выйти, как скажется позже на судьбе стройки...

— Думай, — говорил Залугин. — Навязывать ничего тебе не хочу, сам не маленький, тебя вон только затронь... Может быть, это самая важная точка зрения — человека, который все на своей шкуре. А перехлестнуть не бойся. Поправить будет кому. Подсказать тоже. Хлопцы из академгородка уже работают?

— Давненько... то-то и копают.

— Пусть-ка и они живым делом займутся. И наши специалисты тут уже давно... копают, как ты говоришь. А потом... Ну, расширенная, скажем, научно-техническая комиссия, выводы которой станут той самой заповедью, о которой ты тут тоскуешь. Афишировать мы пока это дело не будем, чтобы строителям твоим настроение не портить...

...Внизу на скамейке снова послышалась приглушенная ругань и какая-то возня, потом недовольный голос громко переспросил:

— Ну, че ты? Че? Слышь-ка?!

Банников вздохнул и ногою поискал под столом тапочки. Один нашел сразу, а другой уполз куда-то далеко в угол.

На лестнице было темно, «ухажеры» опять ловыворачивали все лампочки, и он спускался медленно, нащупывая каждую ступеньку. Уже внизу, набирая строгости, кашлянул и открыл дверь.

Один из парней сидел, запрокинув чубатую голову на спинку скамейки, негромко похрапывал. Другой спал, ткнувшись головой ему в плечо, и лицо его обмякло и слегка перекосилось.

Банников протянул было ладонь, потом на миг замер. Пожал плечами и рукою махнул: что ж теперь? Пусть поспят. Кто же это из них уснул уже за те полминуты, пока он спускался?

НЕСТЕРОВ: Шли мы с Ваней Братковым по поселку, а навстречу нам невысокий парень, смуглый и узкоглазый.

Ваня поздоровался, и тот сначала не понял, что это с ним, обернулся назад, поискал глазами кого другого, а потом, когда убедился, что позади никого нету, радостно закивал уже нам вслед.

Ваня повеселел:

— Казах, наверно?

— Я думал, якут.

Он охотно согласился:

— Может, и якут.

— А ты его не знаешь?

Тот качнула головой:

— Нет!

— А чего ж здороваешься?

Ваня поддернул висевшую на одном плече облезлую кожаную куртку.

— Я его вчера около отдела кадров. С рюкзаком еще был. Наверно, только приехал. Ты знаешь, и по лицу видать — испуганный такой. Может, первый раз из дому... А сейчас я поздоровался, он небось подумает: глянь, а тут ничего ребята!

И подтолкнул меня плечом.

Средняя Терсь

Окно было распахнуто, но он все равно потянулся, в разные стороны толкнул настывшие за ночь стекла...

Отошел и встал напротив, уже поднимая руки, но отсюда видны были и крыши двухэтажных домов, крайних в поселке, и пустырь, на котором валялись битые железобетонные плиты, и он отступил еще немного в глубь комнаты.

Влажный от росы подоконник серой линией подчеркнул две ближних сопки, и одна из них, что пониже, была еще темно-зеленой, а на верхней гребешок пихтача уже размыло огненное сияние, над золотым краем которого тонко голубело высокое небо.

Он долго глядел на эти сопки, ощущая согласие с тем настроением тихой ясности и спокойствия, с которыми вступало в свои права раннее утро...

После долгих сомнений он все наконец решил.

И даже зарядку перед раскрытым настезь окном делал сегодня с такою сосредоточенностью, словно все эти повороты туловища влево и вправо были чем-то до крайности важным. И когда умывался и когда расхаживал потом по комнате, растирая полотенцем спину, движения его были четкими, он и ступал твердо, и за столом, когда уселся позавтракать, держался как никогда прямо и жевал с особой неторопливою тщательностью.

Вот так он и будет жить впредь.

Несколько дней назад Валька написал в станицу письмо. Позвал к себе младшую сестру Таню, просил ее привезти Мишку — пусть оба посмотрят и Сибирь и стройку. Обещал после пуска домны, когда он мало-мальски освободится, свозить их в горы на рыбалку, в тайгу на пасеку. Отца с матерью уговаривал отпустить их, доказывал, что сестра уже девчонка совсем взрослая и серьезная, положиться на нее можно, что за Мишку тоже волноваться не стоит — в поезде ему будет интересно, и в новой обстановке баловаться он не станет.

А позавчера получил ответ. Буквы в торопливом письме сестренки прыгали от радости: мама и папа согласны. Мишка, писала она, тут же стащил в кучу на середину комнаты все свои, какие только мог найти, вещи, и дедушка по этому поводу долго смеялся, а бабушка расстроилась и потихоньку поплакала...

Валька тут же отправил деньги им на дорогу и теперь со дня на день ждал от отца телеграмму с датой выезда и номером вагона.

О Дашеньке он приказал себе больше не думать. А Катя что ж — он теперь посмотрит, как она встретит Мишку, сумеет ли найти с ним общий язык, но дело и не в этом. Главное — пусть мальчишка побудет с отцом здесь, в Сибири, пусть запомнит хоть что-нибудь из здешней жизни, которая была бы и его жизнью, сложись все чуточку иначе...

Решение насчет приезда сынишки представлялось ему сейчас неким стержнем, вокруг которого должны держаться все остальные хлопоты и заботы, несмотря ни на что — ни на эти сумасшедшие дни и ночи на домне, до пуска которой теперь и правда остались уже совсем считанные дни, ни на все остальное.

А вчера рано утром Вальке позвонил Банников. Сказал, что Екатерина Васильевна Ковалева высказывала желание посмотреть тайгу, и вот пожалуйста, подвернулась оказия — с автобазы должна пойти на Среднюю Терсь машина, повезти моторную лодку для пионерского лагеря... Может быть, он, Нестеров, предложит Екатерине Васильевне такую прогулку?

Он предложил, и Катя согласилась с радостью, которую не хотела скрывать.

В лагере на Средней Терси жила эта бедовая пацанва, которой занимался теперь и поселковый Совет и вся стройка. Для них там нашли полезное дело — заготавливать черенки к лопатам. Пообещали мальчишкам: если поработают хорошо, получат через месяц моторную лодку — и те старались во всю: оттуда, со Средней Терси, на стройку приходили теперь легенды.

И то, что в этом сплошном круговороте событий о пацанве не забыли, что честно заработанную свою лодку они все-таки увидят, трогало Вальку, хорошо понимавшего, чего это сейчас парткому стоит, все казалось ему необычайно важным и как будто подчеркивало правоту собственных его решений насчет приезда Мишки и остальных своих дел.

На автобазе для поездки на Терсь выделили трехосный «ЗИЛ», вчера его подремонтировали и погрузили на него дюралевую «казанку», а сегодня утром хорошо знающий те места Ваня Братков, которого специально сняли со шлакового, должен заправиться и заехать за Валькой...

Ваня, когда подъехал, подниматься к нему не стал, только пошипел, и Валька тут же бросился вниз, сел в кабине рядом с ним, может быть, как никогда близко и еще чуть придвинулся — словно искал защиты. Братков ничего не сказал, только посидел, держа руку на шарике рычага скоростей. Это была хорошо знакомая им обоим торжественная минута, с которой они с Ваней всегда начинали свои поездки в тайгу, и они сидели молча, как будто и успокаивая себя и настраиваясь на другую волну.

Иван негромко спросил:

— Куда?

— В гостиницу. Заедем за одной... моей знакомой. Я тебе вчера говорил.

— Тоже правильно.

И хоть Валька ничего такого особенного, конечно, не стал ему вчера объяснять, это прозвучало сейчас как одобрение всех Валькиных решений, и он почувствовал благодарность к Ивану — за то, что тот очень твердо сказал: «Тоже правильно».

В гостинице было тихо, вся эта приезжая братия еще досматривала последние сны.

Он остановился перед дверью Катиного номера, негромко стукнул, но дверь бесшумно отошла и раскрылась так быстро, что он не успел ее задержать, прежде чем увидел Катю.

Она стояла посреди комнаты с круглым, на длинной ручке зеркалом, смотрела уже на Вальку, но взгляд был еще тот, каким она глядела на себя, и в нем сквозила не то робость, не то растерянность.

Она приподняла подбородок, и лицо ее снова стало властным:

— Как ты меня находишь?

И он увидел ее как бы заново: голова туго схвачена низко надвинутой на лоб и почти прикрывающей щеки и подбородок темной козынкой, желтая фуфайка и бежевые брюки, такие же немисливо узкие, какие носят здесь, на Авдеевке, все рабочие девчата и женщины, что помоложе. Обута Катя в новенькие кеды.

— Где ты... эту амуницию?

— Мир не без добрых людей.— Катя подхватила со стула зеленую минстроевскую курточку с желтой эмблемой на рукаве:— Я готова.

Валька поднял кожаную сумку, на которую она словно между прочим повела взглядом.

— Да, слушай,— сказал он,— у тебя не осталось ли чего-нибудь такого... в яркой обертке... московского? Конфет или... Я, правда, захватил кое-что, да ведь сама понимаешь...

— Там дети?

— Да. Ванин пацаненок. Шофера, что повезет нас. И, наверно, еще.

— Ты хочешь, чтобы я там понравилась? — Катя посмотрела на него слегка насмешливо.

— Я только за дугу, а ты уже... Просто хотел тебя предупредить...

Она открыла дверцу шкафа, и Валька, невольно проследивший за ее движением, увидел стоявший на нижней полке довольно вместительный ящик из плотного картона. Поверх каких-то коробок и цветных пачек в ящике лежал поблескивающий никелем красивый игрушечный пистолет.

Д-да, сказал он себе, действительно: ты только за дугу, а она уже на телеге... Выходит, Катя заранее знала, что ты решишь привезти сюда Мишку? И сам ты еще не успел подумать, чем обрадовать тут мальчонку, а она об этом уже давно позаботилась. Плохо это или хорошо?

Иван, которому сегодня еще предстояло вволю насидеться, расхаживал около машины. Валька познакомил их, по глазам Кати и по тону, каким она заговорила, понял, что Братков ей понравился, и про себя отметил, что это хорошо: ему хотелось, чтобы ничто не омрачало их поездку в тайгу.

Ваня взял у нее сумку и, поднимая ее так высоко, словно внизу была вода, забрался в кузов, стал определять ее внутри лодки между орсовскими кулями с крупой и разноцветными спальными мешками.

— У нас такие запасы! — весело сказал сверху.— Грех поминать, но если обломаемся где — не пропадем.

Валька сел посредине, чтобы Катя у окошка могла и подышать и полюбоваться, когда начнутся места покрасивей. Машина тронулась. Он заговорил сперва с Иваном, потом обратился к Кате, желая вовлечь их в общий разговор, и понял, что делает это напрасно — Браткову было сейчас явно не до этого.

Они уже переехали через железную дорогу в центре поселка, выбрались на бетонку. А тут творилось что-то невообразимое: на Авдеевке наступил утренний час пик.

Почти сплошным потоком катили по бетонке служебные автобусы и легковые «газики». Справа, приткнувшись к бровке, замерли «коробочки», около которых толпился народ, а по другую сторону тянулась сплошная стенка ожидающих электричку, и с обеих сторон мчались люди — кто на поезд, а кто на машину, на середине бетонки смешивались, замирали, пропуская идущие навстречу друг другу колонны автомобилей, когда колонны приостанавливались, люди снова устремлялись через бетонку — пожилые и молодежь, в выцветших брезентухах и в белых платьях, отцы с малышами на руках, мамы с колясками...

Чтобы не отвлекать Ивана, Валька отвернулся, посмотрел на Катю.

Она замерла, откинувшись на спинку сиденья и опустив руки на брезентовую курточку, которая лежала у нее на коленях; вид у Кати был бы независимый, если бы не низкий вырез фуфайки, который сильно открывал шею, незащищенную и беспомощную, и что-то столь же противоречивое было сейчас в Катином лице, по-монашески — треугольником — затянутом темной косынкой... Он снова подумал: и верно, они похожи. Неужели с этого и началось у него с Дашей?

Катя достала сигареты. Валька зажег спичку, протянул ей ладони лодочкой. Она подержала его руки в своих.

Он опять глянул на нее искоса и увидел, что она поправляет косынку каким-то странным движением тонких и длинных пальцев. Края косынки на виске она коснулась и раз, и два, и три и лишь потом оторвала руку.

Она была проницательна, она часто угадывала, что у него на душе. Ему показалось, теперь угадал он: Катя мучается — она поняла, что он заметил этот игрушечный пистолет...

Он сейчас увидел в ней то бабье, то вдовье, что с грустью замечал всегда в здешних совсем еще молодых «одиночках». Это была то ли усталость, то ли особая какая горечь, которая посреди самого необязательного разговора, в каком-нибудь самом неожиданном месте могла вдруг проступить и в плавном жесте и в горделивой улыбке...

Они миновали промбазу, мчались по окружной, и часть машин ушла теперь в сторону, а те, что шли тут, растянулись длинной цепочкой.

Впереди вырастали корпуса и конструкции, выше и выше становились трубы с дымками.

— Вышли на оперативный простор, — сказал Иван, поглядывая на них уже беззаботно.

Встречные машины взрывали тугой воздух за окном кабины: вж-жах!.. вж-жах!

— А вы похожи на нашу девчонку, со стройки! — сказал громко Ваня, пригибаясь к баранке и поглядывая на Катю.

Она засмеялась:

— Я подумаю, не остаться ли?

— Это уже разговор! — одобрил Валька.

Но в лихости, с какой прокричал, было, наверное, что-то подозрительное — Катя слегка подвинула курточку, накрыв ею Валькину ладонь, и легонько сжала ее своими длинными пальцами. Словно ободряла его и хотела ему помочь.

— Зачем тебя посадили у окна? — нарочно строго спросил Валька.

С окружной дороги Иван свернул на едва заметный проселок, тут же нырнувший в заросли ивняка, они начали петлять среди пней и ободранных деревьев, забираясь куда-то вверх и вверх, когда совсем рядом было отличное шоссе, которое бежало за Мокроусовские карьеры и еще дальше... Валька вытянул шею, вглядываясь в просветы между деревьями, увидел вдалеке синеватую зубчатку леса и невольно заерзал, вглядываясь, а Иван посмотрел на него так, словно готовил ему подарок, но тут же улыбка исчезла с его лица, он заработал руками, то и дело перехватывая баранку.

Машина накренилась, натужно воя, и пошла боком круто вверх, потом резко качнулась и остановилась на вершине пригорка. Мотор стих.

Внизу лежала подернутая голубовато-серой дымкой зеленая котловина. Выпуклые горбы сопки за ней казались на солнце светло-зелеными, даже слегка с желтизной. Небо висело над тайгой чистое, толь-

ко на самом горизонте над неровною кромкой гор стлы поодаль друг от друга два крошечных белых облачка.

— Гольцы,— негромко сказал Иван.

Валька не поверил:

— Отсюда?

— А ты думал?

Катя посмотрела на Вальку со снисхождением:

— Не понимаю, кому показывают тайгу — мне или Нестерову?

— Смотри, куда мы.— Он упер пальцы в лобовое стекло.— Во-он, видишь, где смыкается котловина?

— Осиновое,— подтвердил Ваня.

Катя сдернула косынку, тряхнула соломенными волосами.

— Оттуда еще километров сорок...

— Вольная воля! — вздохнул Валька.

И повеселел.

До Осинового, как и полагалось по здешней дороге, они добрались за три часа, никому заезжать не стали — ни в ларек на высоком берегу рядом со складами, ни в магазин в центре.

Машина съехала с пригорка, пошла по воде, и бурун перед ней все рос и рос, пока не превратился в громадный, но чистый, как слеза, вал, который неудержимо катился впереди, потом туго ударил в противоположный высокий берег, пошел обратно... Казалось, еще мгновение — и он захлестнет машину, но Иван взял круто вправо, подставляя под волну бок, и «ЗИЛ» легко выскочил на некрутой въезд.

— Верхняя Терсь.— Валька зачем-то потер руки.

— Ага,— кивнул Иван,— начинаются мишкины владения...

Здесь, на правом берегу, он тоже свернул с обычной дороги, пошел по какой-то еле заметной среди густой травы колее.

— Ты хочешь из этого «ЗИЛа» выжать все сто!

— Ну! — охотно откликнулся Братков.— Иначе зачем нам его давали?

По краям тянулся теперь старый, с зелеными бородами мха пихтач, дорога петляла так часто, что неба над нею впереди не было видно. Иван то притормаживал перед проломленными, столетней давности мостками, то включал передок и подавал газу, вырываясь из глухого болота.

— Сетешки сегодня кинем? — кричал Ваня.— Налима погоняем?

Теперь Валька, как истый сибиряк, одним словом подтверждал:

— Ну!

Сквозь шум их мотора прорвался мощный рев дизеля, и Ваня завертел баранку, принимая вправо, а из-за пихт на повороте дороги, разбрызгивая грязь, вылетел гусеничный вездеход, на секунду замер, выставив черные от болотной жижи траки, круто развернулся на одном месте, бросился навстречу «ЗИЛу», будто с явным намерением их таранить.

Катя торопливо положила руку на Валькино колено.

— Геологи! — заорал Валька, пытаясь перекрыть грохот.— Лихие ребята!

— С Каныма! — подтвердил Ваня, когда вездеход проскочил мимо.

А «ЗИЛ», натужно взывая, шел и шел, и в кабине прогоркло пахло металлическим гревом, а от обочины еле ощутимо тянуло и прохладной чистотою хвои и тонкой прелью. Из-под колес поднимался серый холодный дух растревоженной, размятой лесной мари...

Валька словно обогнал машину и далеко впереди шел теперь по тому следу, который остался после вездехода геологов. Пробирался низинами, переваливал через разломы, переходил студеные реки. До

Каныма вроде и рукой подать, а ты доберись попробуй! А дальше и совсем безлюдные места, простор почти до Хакасии. Удивительная это страна — Сибирь!

Ему припомнилось то ощущение, которое бывало иной раз сразу после приезда из отпуска. Поезд шел с Кубани четверо суток, шел и шел через Приазовье, мимо донских степей — к Сальским, потом долго тянулись просторы Поволжья, зеленые долины Башкирии, а за ними вставал седой Урал, и все это была лишь меньшая часть пути — дальше начиналось бескрайнее приволье западносибирских степей, голубоглазое и белоногое царство равнинных озер да березовых колков... Мчался и мчался поезд через всю страну, и ты уже настолько привыкал к движению, что оно начинало казаться бесконечным. И утром на пятый день, уже дома, просыпался с внезапной мыслью, что сошел с поезда, а он еще идет и идет, транссибирская магистраль тянется и тянется еще далеко-далеко, долго-долго — и ты вспоминал об этом еще и завтра и послезавтра...

По забытому зимнику, где отваживались проходить только на тягачах, вышли они к деревне Глинке, вышли не снизу, а с другой стороны — с бугра.

Слив был теперь слева, там река стремительно уносила за поворот белую пену, а справа открывалось просторное плесо, вскипавшее из глубины тугими разводами, которые плавно расходились над громадным, хорошо видимым через толщину воды каменным плитняком. А еще выше вода голубела, серебрился на солнце широкий пережат, а над свинцовой полоской воды смыкалась чащоба — казалось, тут и берет начало эта вторая река — Средняя Терсь.

Дальше они пошли рекою — две еле заметных серых ложбинки, накатанных колесами редких грузовиков, вели сначала посуху, среди мыгтого галечника, потом уходили в воду, и через весь пережат над ними тянулись две ровных волнистых гривки.

Сопки, только что теснившие Терсь, расступились так широко, будто хотели посмотреть, что получится, если этой своенравной речонке дать полную свободу. Плесо, которое лежало перед ними поблескивающей на солнце холодноватой гладью, казалось бесконечным.

Машина вошла в воду плавно, почти торжественно, катила совсем медленно, так что большой бурун, который тугим накатом шел впереди, не успевал уйти далеко, а только сбивался вправо, вниз по течению.

На середине Иван заглушил мотор. Стало тихо. Только глухо шумела, обтекая машину, родниковой чистоты вода.

Теперь и Валька увидал неподалеку серебристые всплески. Их становилось все больше и больше — казалось, кто-то выбрасывал из воды новенькую монетку, и она сверкала на солнце, и тут же шлепалась обратно, и круги от нее еще долго подрагивали на темной поверхности.

С видом человека, который на этой реке может сотворить и не такое чудо, Иван сидел за баранкой, не двигался, только слегка наклонил голову, искоса глядя в воду рядом с кабиной. Катя открыла дверцу и вылезла на подножку. Валька тоже не выдержал. Подвинулся на край сиденья и, вытянув шею, долго смотрел на то, как еле заметно мелькают под водою черные спинки рыб.

— Как играет...

— Ельчишка плавится,— сказал Иван.

На другом берегу он свернул со старой колеи, и по пологому скату «ЗИЛ» тяжело пополз вверх. Выбрался из русла реки на материк, подминая под себя буйный травостой, медленно пошел по неширокой поляне.

Вздрагивали и, трепеща, падали впереди большие зонтики медвежьей дудки, хлестали по крыльям широкие листья сочной чемерицы, осыпала белые лепестки душица, покачивались рядом, тихонько скребли по металлу колючки татарника, заглядывали с обеих сторон в кабину желтые цветки девясила... Запахло пыльцою, медом, свежим соком размятых трав, и в душной от горячего металла кабине с прогорклым бензиновым духом смешался сладковатый дурман тайги.

Машина стала около громадного осокоря, и Иван кивнул им:

— Слегка размяться.

Они вылезли, расправляя плечи и потягиваясь, остановились около дерева, и каждый невольно задрал голову. Мощный ствол старого осокоря уходил вверх пирамидой, снизу доверху на нем не было ни сучка, и только там, где он уже заметно сужался, единым шатром раскинулась исполинская крона. На земле было тихо, но густая листва вверху еле слышно трепетала, подрагивала, то здесь, то там тонкими пучками ее пронзали острые иглы света. Высоко над кроною стлыла пронзительная синь, и невольно казалось, что осокорь этот, хоть и питают его теплые соки земли, все-таки не ее житель, но больше — неба.

На корявом стволе ровною полосой тянулась вверх узкая, но глубокая ложбинка и там уходила на другую сторону ствола.

— Молния! — Ваня вздохнул. — Так и отчихнула кору снизу доверху, как стамеской кто выбрал. Щепки были на несколько метров...

— При тебе, что ли?

— Тут батин покос был. Сначала как до кости, прямо рана, а потом смолою взялось — и ничего.

— Мальчики! А трава-то какая! — Катя стояла, растянув на плечах косынку, и глаза у нее были прищурены от солнца. — А цветов — боже!

— Разве это цветы? Вы бы в горах...

Катя пошла от цветка к цветку, каждый осторожно захватывая рукой и приподнимаясь к нему на цыпочках, и иногда ей удавалось дотянуться, но другие стебли были выше ее, и тогда она пригибала цветок.

Иван поманил Вальку и, продираясь сквозь траву, пошел в сторону от машины. За ним оставалась целая просека, и Валька молча шагал по ней, тоже раздвигая руками стебли, которые выпрямлялись вслед за Иваном.

Тот, на ходу открывая складной нож, зашагал в сторону, нагнувшись, и над головою у него вздрогнула и косо упала гроздь синих колокольчиков.

— Держи. Кате букет.

Валька рассмеялся, принимая двухметровый, в палец толщиной стебель. Осторожно положил его поперек левой руки, а Иван снова наклонился, и опять резко трягнули своими шляпками синие колокольчики.

— Держи! Еще держи.

И они положили себе на плечи пучок стеблей. Валька шел первым, а за ним, придерживая верхушки, пристроился Ваня.

— Примите, Катерина Васильевна, от чистого сердца.

Она обернулась и всплеснула руками:

— Ой, мальчики! — На кончике носа у нее была желтая пыльца. — Что ж я с ними буду делать? Колокольчики мои, цветики степные...

— Таежные.

Они поставили букет перед Катей, и она, задрвав подбородок, завороченно глядела вверх, на синие шляпки...

— А как мы его повезем?

Валька встал на колесо, перемахнул через борт. Разровнял спальные мешки на «дюральке». Катя приподняла свой букет.

— Слушай,— сверху спросил Валька.— Я никак не пойму — ты что, постриглась?

Она тряхнула волосами:

— Прозрел!

Они с Иваном уже сидели в машине. Катя тоже взялась за дверцу, занесла было ногу, но повернулась и снова пошла по поляне.

Теперь она не нюхала, а только слегка касалась цветов раскрытыми пальцами — словно с каждым прощалась.

Валька смотрел на желтую ее фуфайку, на соломенные волосы, и на душе у него было и радостно и печально...

— Пусти меня в серединку, Нестеров,— попросила Катя, и он вылез на подножку, правой взялся за дверцу, а левой обнял Катю, помогая протиснуться рядом с собой, и она тут же положила горячую ладонь ему на руку, успела мягко придержать его на какой-то миг дольше и повернулась к Ивану:

— А почему, вы говорите, в поселке одни кержаки и...?

— И батя, что ли? — охотно откликнулся Иван.— Не-ет, он не кержак, какой там! Просто так получилось. Тут леспромхозовский участок закрыли, и все двинулись кто куда. Избы разобрали да вниз сплывили. Кто на Верхнюю Терсь потом ушел, кто прижился в Осиновой. А тут одни кержаки остались. Да еще отец. Думал он, думал, ну — куда? Уже на пенсии. И мы сюда приезжать привыкли. Выросли тут...

— А не скучно?

— Летом-то весело, по реке лодки — одна за другой, от рыбаков отбою нет. И на машинах, как мы, проскакивают. А зимой, конечно, похуже — то сделают зимник, а то никому не надо. Да потихоньку привыкли...

Они съехали вниз, машина снова пошла по воде.

Валька то смотрел на крутой бурун у переднего колеса, а то искоса поглядывал на Катю, и что-то и в ее облике и в манере говорить представлялось ему сейчас и будто необычным и в то же время так хорошо знакомым... Сколько прошло с тех пор, как она приехала на стройку? А кажется, она здесь уже очень и очень давно.

Припомнил Катин рассказ о том, как напутствовал ее их разъездной корреспондент — перед этим он был тут, на Авдеевской, — и Валька опять представил себе и насмешливо прищуренные глаза и услышал иронически-печальный говорок: «Должен вам, Катенька, сказать, что все эти молодежные стройки — прелюбопытное, по-моему, изобретение. Предположим, вы не можете решить своих проблем в большом городе. И надоел, предположим, не только он вам, но и вы ему... И вот вам предоставляется возможность поехать на одну из таких строек, где вы якобы можете начать ту самую мифическую «новую жизнь». И едут. Эшелонами. А дальше у всякого на свой манер: один хлебнет, и после того старое его... существование... на пяти столичных метрах покажется ему потерянным раем. Другие угешатся иллюзией, что они эту жизнь нашли. Третьи вдруг возьмутся за ум... Так или иначе — это фильтр. И там найдете столько судеб на переломе...» Потом почему-то припомнилось, как встретили Катю в бригаде у Толи Долженкина. Перед этим ребята грозное свое оружие довели наконец до ума настолько, что огнеупорная глина выстреливала из него и действительно почти как из пушки. Вальке очень уж хотелось сделать им что-либо приятное, и он пришел, в самых торжественных тонах поздравил их с «большой производственной победой» и каждому вручил пачку «Честерфилда». Дурачились они, дурачились, а тут появились Катя и со-

проводивший ее Дранишников, и тот стал расхваливать своих хлопцев, а ей захотелось закурить, полезла в сумочку, и тут к ней, конечно, бросился каждый из этих несчастных пижонов, и каждый, конечно, протянул пачку импортных сигарет — и мы, мол, не лыком шиты!

Будь кто другой на месте Кати, Валька, наверное, почувствовал бы себя круглым идиотом, но она молодец, все правильно поняла и уловила, что должна удивиться, и удивилась, это был спектакль, как она улыбалась и радовалась — каждый из ребят так и остался, пожалуй, в твердой уверенности, что сигарету она взяла как раз у него и прикурила потом именно от его огонька. Катя это умеет...

Несколько дней пропадала в общежитии у каменщиц, там и ночевала. Пошла вместе с девчонками на танцы, и все веселились, а одна стояла у стеночки, и Катя спросила: а ты, мол? «Понимаешь, Нестеров, оказывается, она сама строила клуб, этот ваш «Комсомолец». И заметила, какой кусок стенки клала — она тогда еще только училась. Станет, говорит, мне отчего-нибудь теперь грустно, а я положу на свою стенку ладони, спиной прижмусь... Понимаешь ты, Нестеров, — об этом можно целый фильм!»

Так уж сразу и фильм...

Правда, Катю можно понять — это он, Валька, не привык здесь топиться, и никого ему не надо специально расспрашивать и в душу не надо влезать, все идет само по себе, а у нее времени в обрез, глаза разбегаются...

Отсюда, наверно, и эти ее «открытия», которые все казались Вальке слишком поспешными... Вчера сказала ему: «Должна тебе, Нестеров, признаться, очень долго подозревала, что это твое увлечение Авдеевской площадкой — некая игра в Гришу Добросклонова... Ты, конечно, можешь смеяться. Смейся. Но как-то на днях мне стало не очень весело, и вдруг до меня дошло: а почему бы и нет? Почему не должно быть в душе того святого, что всегда отличало русских заступников? Ответственность за свой народ... ответственность перед ним? Может быть, мы не высоких слов боимся — страшимся самой высокой обязанности?»

Он и в самом деле стал было пошучивать, но Катя насмешливого его тона не приняла, она продолжала упорно размышлять о своем: «Видишь ли, мне сейчас не стыдно сказать, что я тебе завидую, Нестеров. Авдеевка — это страна твоей молодости. Не очень устроенная, конечно. Но зато бескорыстная и свободная... У каждого должна быть такая страна, куда всегда потом можно вернуться, когда тебе станет отчего-либо плохо или заболит душа...»

А он-то всегда считал, что Катя приехала сюда из-за него... Только ли? Наверное, ей не так-то легко и просто живется в Москве, как ему тут временами казалось.

О том, что он только сейчас понял, Вальке захотелось сказать Кате немедленно, он посмотрел на нее и раз и другой, но, поймав ее взгляд, лишь одними глазами улыбнулся — словно в чем подбодрил...

Они шли через последний перед Монашкой пережат. На той стороне высоко поднималась крутая, с тремя горбами сопка. Пихтач, широкой дугой опоясывая ее острыми углами, сбегал с пригорков, и между ними виднелись залысины, переходившие вниз в безлесный, покрытый буйными травами взлобок. На равнине стояли далеко друг от друга разбросанные избы — одна ютилась в осиннике за излучиной, другая пряталась в негустом кедраче повыше, угол третьей выглядывал поодаль из-за березника.

И выше всех по течению, у самой кромки воды, на юру чернели под зеленым бугром постройки Братковых — огороженный частоко-

лом двор с омшаником, одна выше другой стайки, баня на обрыве, летняя кухня, изба с еле заметным издалека скворечником на шесте.

В воде, слегка вытасченная носом на берег, чернела лодка, и Ваня уверенно сказал:

— Одна только лодка. Батя на покосе.

Потом около избы что-то сверкнуло на солнце, и он, усмехнувшись, кивнул:

— Ма-а-ть!.. Смотрит, что за машина...

Валька представил себе Марью Евстафьевну: стоит сейчас на крыльце с большим полевым биноклем в руках, который Савелий Кириллыч, отец Вани, привез с войны. Сосредоточенно смотрит и сама с собой рассуждает, медленно шевелит губами: «Ваня ли, чо ли? Так у его машина не така...»

Потом все-таки разглядит, что Иван, и тогда начнутся другие вопросы: с кем едет?

Братковы были тут, на Средней Терси, старожилками и хоть остались теперь как будто в стороне, все равно находились в курсе всех происходивших кругом по тайге событий, и Валька всегда удивлялся умению стариков по одной какой-нибудь мелкой детали безошибочно догадываться о событиях здешней жизни. Глянет Марья Евстафьевна в бинокль на машину, которая продирается через тальники на другой стороне, и удивится: «Егорша-то Уханов вернулся. Видать, хорошо работал, вот и отпустили до срока». Старый Братков вскинется: «Почем знаешь?» «В кузове Петро Шмырев сидит, а морда у его шибко побита, видно, в Осинову жаловаться держит...» И Савелий Кириллыч глубокомысленно согласится: «Однако вернулся Егорша».

Или сам старик, поглядев на бычок от самокрутки, раздавленный на берегу кем из сплавщиков, определит: «Авдотью-то, видать, здорово скрутило, магазин до сих пор на замке!»

Валька заранее представлял, как Марья Евстафьевна будет исподволь разглядывать Катю, как возьмет у нее конфеты, поднимет их над головами сбежавшихся внуков, попробует сначала сама, откусит половинку и только потом даст сперва самому младшему и как будто удивится, глядя на радостную мордашку: «Ишь, сукин кот, понимал бы ишо!..»

И представлял, как они потом, когда отвезут в лагерь лодку, будут вечером сидеть за большим столом, попивать медовушку, закусывать малосольными огурцами с медом и пить холоднющее, только что вынутое из ключа под большою скалой молоко. И как они будут неторопливо беседовать... И о чем. И как с Ваней да с его стариком поедут потом, уже темной ночью, ставить сети...

От дома отделилась ватажка малышей и кинулась навстречу машине.

— Узнали,— сказал Ваня.— Первый Гошка бежит...

И все было так, как предполагал Валька, и все — несколько иначе, и поздно ночью, сидя в лодке, которая мчала их к дому после того, как они забросили сети, он вспомнил невольно подслушанный разговор...

Он вошел в сени, чтобы взять из рюкзака новую пачку, и замер. Из комнаты доносился озабоченный голос Марьи Евстафьевны: «Ты-ко его, Степаныча, не знаешь? Никаку другу сюда не возил. И там, Иван сказывал, гулят, но не шибко. Значит, никак жениться нонче собирают. И спрашивать не стану, постелю имя — двум вместе, он в стайке любит, на свежем воздухе...»

И Ванин отец добродушно согласился: «Как знашь!»

Ночь была темная, без луны, и справа нависли над стремниной реки черные, в зарослях пихтача скалы, и слева полого тянулся каме-

нистый берег, и только вдалеке возвышалась над ним неровная стенка леса, над которой помигивала одна-единственная яркая звезда...

Волны сильнее ударили в днище, глухой клетот мотора на секунду вырвался из воды и как будто целиком повис в воздухе.

И тотчас маленький Гошка, который в отцовском ватнике лежал в самом носу лодки и смотрел вперед, резко повернул голову, закричал сдавленным голосом:

— Папк, смотри слева!

Валька и старик Братков бок о бок сидели на скамейке спиной к мотору, и дед громко похвалил:

— Молодец! Смотри еще пуще!

Ваня, который был на моторе, знал эту реку как свои пять пальцев, вести тут лодку мог бы, наверно, и с закрытыми глазами, но Гошку тем не менее посадили на нос со строгим наказом предупреждать отца, когда увидит впереди какой камень: «Пусть к реке привыкает... Пусть учится».

Вот и вырастет из маленького Гошки крепкий, ко всему готовый таежник...

Днем, когда они уж отвезли лодку в лагерь и вернулись в Монашку, Ваня подозвал Гошку:

— Мне на тот берег надо. Переплывишь? Или забоишься?..

— Чего тебе на том берегу? — вскинулась Марья Евстафьевна. — Другим разом переплывисся. Сейчас за стол.

Но старик вмешался:

— Не мешай, бабушка! Плавь, Гошка, отца — потом лодку пригодишь, мне, однако, некогда!

И Гошка сел с веслом на корму, Иван оттолкнул лодку, прыгнул, и она ходко пошла наискосок, выбираясь на стрежень.

На той стороне они о чем-то поговорили, и Иван остался на берегу, пристроился в кустах, чтобы Гошке его не было видно. И мальчишка поплыл обратно один.

Не успел он вытереть о штаны мокрые руки, не успел съесть пирожок, который с похвалой за трудную работу дала ему бабка, как Ваня вышел из-за кустов на той стороне, приложил ко рту ладони:

— Эге-ге-ге-э!..

Гошка бросил на стол недоеденный пирожок и кинулся к берегу.

На этот раз он греб стоя, ходкая лодка под ним туда-сюда неуклюже вертелась, и один раз, когда на середине мальчишка вдруг пошатнулся, Валька уже шагнул было к берегу...

А Ваня не шевельнулся на той стороне: так и стоял, сложив на груди руки, держал в зубах не то веточку, не то травинку.

А что в свои годы умеет маленький Мишка Нестеров? Вот привезет его Валька сюда на одну недельку. Поживут они тут в палатке, половят рыбу, поплавают, в тайгу с ружьем сходят... А потом? Снова уедет парнишка в станицу, к бабушке? А Валька останется здесь, на Авдеевской?

Не-ет, хватит, пора ему, Вальке, на что-то решиться, только на что? Чего уж там. Третья металлургическая база — это, конечно, важно, да надо ведь, действительно, и о собственном пацаненке подумать!

За спиною у них Ваня выключил мотор, и лодка ткнулась о берег. Скрипнула под нею галька на берегу.

Ваня уже снял мотор, положил на гальку. Вдвоем с Валькой они вытащили нос лодки подалее на сушу, и Валька привязал цепь от нее к старому автомобильному ободу. Хотел было взять мотор, но Ваня уже успел подхватить его. Нестерову достались два полупустых бензиновых бачка да мокрый шест. Он шел от реки последним, и перед ним дед за пустой рукав телогрейки ташил совсем раскисшего Гошку.

Они скрылись в избе. Валька медленно пошел к стайке, где наверху, на сеновале, его ждала Катя. Положил руку на деревянный, еще не остывший от дневного тепла угол, остановился...

Над черною кромкой леса на том берегу уже приподнялась медная горбушка луны, залила ближние сопки желтым призрачным светом. Небо очистилось. Крупней стали голубоватые звезды.

Прислушиваясь к тишине, он невольно прислушивался и к себе самому... Плечи у него были тяжелыми, и ноги еще не отошли после долгого сидения в лодке и слегка подрагивали. От рубахи его пахло и бензином, и рыбой, и мокрым, подгнившим деревом, и как будто бы пахло чистой, со снегов на гольцах водой.

Он повернулся от лестницы и пошел на берег, сел на большой плоский камень и закурил. Опять смотрел на темную реку и на одинокую звезду над краем черного леса и ни о чем не думал, а только припоминал иногда, что его ждет Катя, старая его любовь...

НЕСТЕРОВ. Итак, пересмотрел я свое отношение к технике безопасности и был вознагражден за то полной мерой...

Приходит позавчера в редакцию Емельянов, с таинственным видом протягивает мне тоненькие «корочки» стального цвета.

На одной стороне красная буква «Д», жирным гротеском. На другой, в графе «фио» от руки вписана моя фамилия. Место для фотокарточки крест-накрест перечеркнуто.

— Спасибо,— говорю.— Это куда?

А он негромко, но с ноткой торжественности:

— Допуск на опрессовку домны.

Помолчал, как будто давая мне время прочувствовать глубокий смысл сказанного, и еще тише добавил:

— Дает также право входа в доменный цех во время задувки и первого выпуска...

Тут уж я и действительно растрогался. Бросился пожимать ему руку, а он для строгости кашлянул и, оглянувшись на раскрытую дверь, сказал почти шепотом:

— Потом я выдам еще четыре-пять. Корреспондентам центральных газет. Но это потом. А на опрессовку... одному вам! Иду на нарушение инструкции.

Кто его знает, может быть, весь этот спектакль с пропуском он до мелочей продумал заранее... Но остаток дня я себя чувствовал так, будто мне вручили подарок, о котором я и не мечтал.

Ночью с домны ушли последние монтажники. Площадку вокруг нее огородили канатом с частыми красными флажками. У лестниц на литейный двор и в газовую будку стали вохровцы с винтовками образца одна тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого...

Утром вдоль канатов расхаживали дежурные с повязками на рукаве, а около единственного прохода к домне в окружении управленческих инженеров по тэбэ стоял сам Емельянов.

Паровозоудовка уже работала, дышала шумно, это подчеркивало глухое безмолвие на домне.

Я невольно заторопился, прошел мимо Емельянова, обернулся и увидел: на бетонке почти у самых канатов остановилась черная «Волга». Из нее вылез Виталий Ньюшин. С расторопностью, которой я от него не ожидал, бросился к передней дверце, распахнул ее, и тут... Тут я увидел, как с переднего сиденья выбирается наружу этот мой пропавший дедок, Никифорович!

Я бросился назад с прытью, которой позавидовал бы любой спринтер.

Спрашиваю Виталия:

— Ты откуда его привез?

— Как откуда? Из дома.

— Из дома! А ты знаешь, где у него дом? У него дом в Липецке!

— Верно, — говорит Виталий. — В Липецке. Но тут-то он у меня живет...

— Почему это у тебя?

— Да прошлый раз он у братана жил, а теперь я говорю: хватит, поживи-ка, бать, и у младшего...

И до меня дошло...

А у Витальки лицо такое, будто хватил кислото:

— Настырный, ты знаешь, дед, ох и настырный! Совсем запил. И сейчас всю дорогу: что, говорит, цех для тебя дерьмом пахнет? В отдельном кабинете с красной дорожкой лучше живется? До конференции, говорю, батя. Слово даю. А он: а когда конференция? Через год? Через год, говорит, так привыкнешь, что эту персональную машину у тебя из-под задницы краном не вырвешь!..

— Так он, выходит, Владимир Никифорович? И фамилия — Нюшин?

Дедок уже прошел мимо Емельянова, топал теперь по лестнице вверх, к газовой будке, а я поднимался вслед за ним, покусывал губы, чтобы не рассмеяться, и только сам себе иногда подмигивал: вот он, мой Никифорович, никакой не миф, а живой дед, да еще с характером — будь здоров!

Вошел вслед за ним в газовую будку... Нет, это надо было видеть! Строила-то дому молодежь. Редко где пожилого человека заметишь. А тут одни старики. Замшелые усачи в вышитых украинских рубашках, сгорбленные, с тяжелыми клюками в сморщенных руках. И аккуратные, ладненькие дедки в коротеньких шевиотовых пиджачках и в старомодных очках с металлической оправой. И до сих пор еще меднолицые здоровяки в застиранных синих курточках, высокие и мосластые.

Старые доменщики со всего города, беляя гвардия Сталегорска.

Никифорович мой начал обходить всех, со всеми здороваться, и деды зашевелились, загудели погромче:

— Здорово, Никифорович!

— О! О!.. Приехал?

— Глик-о, Олодя приехал, Нюшин...

— Держишься еще, Олодя?

— Да ты не жми так, не жми!

И тут в дверях газовой появился Степаков. Громко поздоровался, и ему еще не успели ответить, как Никифорович встал напротив него руки в боки.

— Семе-ен? — спрашивает громко. — А ты че-ой-то сюда? Ты ж, по-моему, в доменном-то деле — как свинья в апельсинах?

Я так и замер с открытым ртом: ничего себе, пироги!

Степаков сник, ворочал что-то непонятное. А Никифорович опять — на всю будку:

— А вообще-то, слышь, Семен, хорошо, что пришел, — я и хотел тебя повидать... Знаешь зачем?

Отступил, выставил одно плечо вперед, посмотрел на Степакова из-под очков:

— Как-то от старшего сына посылку получил, а там газетка. Что-то было завернуто. Читайте и глазам не верю. В тридцатом, когда насосные затопило, помнишь? Как будто ты нырял в ледяную воду с ключом в руках. Было дело? Ох-ха-ха! А я-то до сих пор думал, что нырял Митя Сероштан. И простудился Митя, ты помнишь? А где его тюфяк в бараке лежал? В углу, помнишь? А твой где? А твой у самой

печки. А помнишь, что ты сказал, когда я попросил тебя с Митей Сероштаном местами поменяться? Память у тебя, наверно, плохая стала? А я не забыл...

Деда стоят, все насупились, едят Степакова глазами, а тот сам на себя не похож — такой жалкий у него вид. Может, оттого, что никак не ожидал увидеть тут Никифоровича? Рот приоткрыл и стоит.

Я как будто впервые заметил эту его курточку, из каждого кармана которой, раздутого от бумаг, торчат три-четыре авторучки. И как будто впервые увидел, что медаль-то у него только одна, а все остальное — разнокалиберные значки, и совсем маленькие и очень большие, как бляха у трамвайного контролера.

А Никифорович все смотрит на него в упор:

— Я и сам не забыл, и тебе могу напомнить. Ты небось думаешь, что если до седых волос дожил, то можно брехню рассказывать?.. А так ли? То еще не заслуга твоя перед советской властью, что ты дожил, а другие не дожили... хотя бы Сероштан Митя...

Степаков наконец закрыл рот, пожевал губами.

— И-их ты, Володя!.. А не зря ты? Хорошо еще, что молодежи тут, понимаешь, нету... Да ты знаешь, что я на этой стройке — инфаркт?..

А Никифорович уже отошел от него. Постоял к Степакову спиной, словно собирался заговорить с дедком напротив, потом, видно, не выдержал, обернулся:

— Это ты-то? Да брось ты, Семен! Если и был инфаркт, то не от стройки. От других дел. А то я тебя не знаю! Да ленивому ты хоть что — хрен ты его замучишь!

Степакова я больше в тот день на домне не видел.

С «пэвээс» уже подали воздух. Сначала пол-атмосферы, потом — ноль семьдесят пять, потом — одна целая...

Несколько лет назад на старом комбинате во время опрессовки новой домны взорвались кауперы. Считают, что после просушки печи в «легких» у нее образовался гремучий газ. Потому-то на нашей домне все делалось с такими предосторожностями и не спешили поднимать давление в стальных кожухах и в трубах воздухопроводов. Потому-то и по телефону говорили с «пэвээс» не очень заковыристо — магнитофон записывал все команды.

Полторы атмосферы.

На домне непривычно пусто, все углы стали особенно гулками, кругом напряженная и тревожная тишина.

Две атмосферы...

В газовую пришли четыре бригады монтажников. В руках у каждого из ребят ведро с мыльной водой и кисть из рогожки. По железным лестницам рассыпались вниз и вверх, пошли вокруг кожуха. Макали кисти в мыльную пену, мазали швы. Прислушивались и приглядывались.

Иногда на том месте, где осталась пена, начинал медленно расти пузырь, становился больше и больше, покачивался и лопался безмолвно, и тогда на его месте мелом ставили крест или обводили кружком пожирнее — чтобы заметней.

А вслед за ребятами шли спецы из приемной комиссии и шли эти старики.

Зачем-то пробовали швы заскорюзлыми своими пальцами, и, будто доктора по грудной клетке, твердыми подушечками выстукивали по металлу, и, приставив к хрящеватым ушам ладони трубочкой, чутко прислушивались, и внимательно приглядывались, наклоняясь к сваренной стали так близко, что временами казалось: заодно они к ней и принохиваются.

Лица у дедов были строгие и в то же время торжественные, и когда кто-либо из них степенно оборачивался, к нему уже спешил монтажник с ведром...

Старики тыкали в черные швы жесткими пальцами, неторопливо шли дальше, и куда только они не забирались, где только не пролезали — сколько я тут прежде ни вертелся, а даже представления не имел о многочисленных этих закоулках, куда они теперь заглядывали...

Тишина стояла глухая, но теперь мне всюду чудилось сипение, все казалось, что-нибудь у нас да не так, а расспрашивать было неудобно — нельзя приставать к людям, когда у них такие лица.

Только Никифорович вел себя странно. Морщины его расплывались в какой-то беззаботной улыбке. Потом старик вроде спохватывался и строжал лицом и неторопливой походкой шел дальше, но стоило ему вплотную подойти к черному телу кожуха и положить ладонь на холодный металл, как черты лица его снова теряли жесткость.

О чем он думал? Что чувствовал? Может быть, во всей этой стальной машине старик ощущал одному ему понятную жизнь? Или это было ощущение жизни в самом себе — жизни и нынешней и минувшей?..

Монтажники ушли. Все остальные вернулись в газовую будку. Сидели и стояли в задумчивости, изредка обмениваясь неторопливым словом, кивали одобрительно, но вместе с тем сдержанно, а потом один твердо сказал «хорошо, порядок», и другой, и третий...

Председатель государственной комиссии предложил:

— Так и запишем.

Я понял, что экзамен сдан.

Вышел из газовой будки и увидел: вокруг домны собралась масса народу. Шпалерами стояли за канатами парни в брезентухах и девчата в платочках, кое-кто пристроился перед ними на земле, а позади где одного, а где и двух-трех рядов, сидели на кабинках самосвалов, лепились в кузовах бортовых и на крышах «коробочек»...

Все происходило внутри, снаружи ничего не было видно, но здесь терпеливо стояли несколько часов и самоотверженно ждали...

Благословенны эти минуты — когда к тебе приходит уверенность, что ты не напрасно ешь хлеб в рабочей столовке на промплощадке, что затем-то ты и нужен стройке, чтобы побывать там, где не можем мы быть все вместе.

Чтобы все увидеть и обо всем рассказать. Так, как это увидел сам.

Огонь

1

Работал Иван до полуночи, а после смены решил заскочить на домну: говорили, что вот-вот наконец чугуn. Только что прошел дождь, и на территории цеха было и непривычно чисто и непривычно безлюдно; черные переплетения металла высвечивались не вспышками сварки, их ровно озарял свет только что поставленных электрических фонарей. От этого невеликого, в общем, дела повеяло почему-то приготовлением к празднику, ему показалось, что сама домна, эта сужающаяся кверху машина, до сих пор еще опутанная гирляндами переносок, похожа на громадную елку, какую перед каждым Новым годом сооружают в центре поселка.

Внизу было пусто и тихо, но где-то вверху слышалось гулкое дыхание паровозодувки и равномерные вздохи домны. Это была

работа, какой стройка до сих пор еще не знала, и все вокруг теперь слушало ее, робко притихнув...

И Иван постоял, наклонив голову к плечу, и тоже послушал.

У металлических ступенек на литейный двор он еще издали увидел вохровца, но все равно подошел. Внутри двора послышался железный грохот, и он переждал, пока перестанет греметь:

— Что, батя, сегодня чугуи?

— Скорый какой... сказали, послезавтра.

— И ты опять тут дежуришь? Может, пропустишь?.. В случае чего... по старой дружбе?

— И че нашли интересу? — Вохровец протяжно вздохнул. — Цельный день седня ходют и ходют — как будто конская ярмарка...

Иван увидал, как из-за синего тепловоза с ковшами вышел парень, издали похожий на Сережку Листопадава. Отряхнул брюки на коленях, потом похлопал ладонью о ладонь.

— И этот тут лазит и лазит. — В тоне вохровца послышалась угроза. — Эй ты! Смотри мне, а то пужану!

Парень вытянул руки навстречу Ивану:

— К-кого я вижу!

— Сережка? — удивился Иван. — Ну, ты даешь! А я гляжу, вроде на нашего Листопада... а где ж твоя борода?

Сережка приподнял палец:

— Семнадцатый!

— Что семнадцатый?

— Насчет б-бороды... Ты д-домой? Подкинешь?

Они пошли к машине.

— А я тут учения проводил. — Сережка все еще оттирал приставшую к ладоням ржавчину. — А то потом там плавка, а ты, как не родной, будешь вокруг шарашиться...

— Да вот и я потому.

— Толика Милявского сейчас встретил. Комсорга из Стальмон-тажа. Знаешь, что говорит? Попросим, говорит, своих ребят и всех, кто захочет, пожалуйста — через верх, по скобам. Так что имей в виду...

Когда уселись в кабине, Братков, отпуская тормоз, спросил:

— Так ты что — вернулся домой?

— Домой нет, — погрустнел Сережка и провел по щекам. — А это... Я однажды в школу пришел небритый. Просто не успел. А директор — знаешь его? Из вечерней? Он, правда, недавно. Так он мне целую лекцию. О том, что борода — признак душевного уродства... А я до этого и не собирался, а тут — стоп, думаю. Ну, и... Три года мы с ним войну вели. Не на жизнь, а на смерть. А вчера... портрет повесили. — Он усмехнулся. — Среди отличников. С бородой.

Впереди стоял небольшой фанерный щит, дорога за ним была перекопана, но Иван не стал сворачивать на объездную, а проехал чуть вдоль траншеи и съехал в болото, за которым виднелась будто распавшаяся, с блюдами лужиц грунтовка. Дальше дорога запетляла, и фары одного за другим выхватывали из сырой темени тепляки со слепыми сейчас окнами, потом мокрые бетонные блоки на фундаментах конверторного цеха, около которых лежали на земле горы стальных конструкций.

Иван повел совсем медленно, но Сережка все равно спросил:

— Спешешь?

— Да вроде бы нет... а что?

Тот пожал плечами, словно в чем перед Иваном был виноват:

— Да так... домой еще рано.

Иван глянул на него повнимательней и впервые заметил, какая

тонкая у мальчишки шея, раньше ее закрывала пышная борода. А может быть, и вообще к мальчишке никогда особенно не присматривался? А ему, наверно, не так легко «пахать» рядом со взрослыми мужиками... И не так просто каждый раз возвращаться в общежитие, зная, что где-то совсем рядом твой дом, где ждет тебя мать. Иван постарался припомнить, почему Сережка ушел из дому — ведь наверняка рассказывал он об этом в бригаде... Или, может быть, никто его толком так и не расспросил?

— Слушай... а ты чего... не поделил-то?

— С отчимом? — Сережка на минуту задумался. — Да к-как тебе... много всего. Сразу и не расскажешь. А последний раз... Приходит вечером после занятий, он какой-то кружок ведет у себя. Сидим за столом, а он матери рассказывает. Ишь, говорит, молодежь — шустряки какие пошли. Веду занятие, а один встает и вопрос такой — с подковырочкой. А п-почему у нас это не так? Ладно, думаю. Зубы сжал, но ответил. В конце занятий тот опять: а почему у нас то не так? Я ему: остальные товарищи спешат, им это неинтересно, а ты останься, я тебе одному объясню. Остался. Я, говорит, дверь поплотней закрыл и ему: что, милоч, — это поговорка у него такая, милоч, — что, милоч, хочешь, чтобы я начальнику нашему сообщил, как ты себя ведешь на политзанятиях? Пусть-ка он у тебя разок-другой срежет премию... Ну, и завелись мы тут.

— Надо тебе!

— В-вань?

— Не связывайся, если такая сволочь...

— Другой раз думаю: наверно, это пройдет. П-пройдет, а? И я тоже буду: не надо, не связывайся. А пока... оно от меня вроде не зависит. Как так и надо.

— Без своих-то. Тоже не мед!

— Что ты, Вань! — Сережка вспыхнул. — Я как только чуть на ноги... Сразу мать с братишкой заберу. Братишка у меня... Я хожу к нему в садик. Пусть привыкает. П-пусть знает, что есть у него старший б-брат.

Пытаясь не сползти в кювет, Иван улучил момент, кивнул Сережке участливо:

— Это ты молодец.

А Сережка, немного помолчав, спросил:

— Слушай, Вань... ты никогда не задумывался? Кем ты был раньше?

— В армии, что ль?

Сережка беззвучно рассмеялся и потряс головой:

— Не-ет! Ну, сто лет назад... может, двести?

— А-а... Не знаю, золотишником, наверно. Ну, ямщиком, может.

— Почему — ямщиком?

— У нас дома колокольцы есть. Не один, не два. Несколько наборов — штук двадцать. Они раньше по номерам были: голоса, подголоски. И потом — бубенцы. Шаркунчики. Мне батька рассказывал.

Они помолчали. И хоть это было трудно, потому что в кабине стоял привычный шум и плавали в ней иногда только выдуваемые холодным сквозняком запахи, Иван постарался представить зимний путь по реке... Крутые, а где козырьками сугробы, по обе стороны на берегах — пихты в снегу, кедры в куржаке. Под ними заячий наброд, а впереди — тихое закатное солнце. И колокольчик: дилинь-дилинь-дилинь!..

— Вот скажи мне, — придвинулся и без того близко сидевший Сережка. — Что такое бессмертие души?

— Ты думал, ты и давай...

— Я раньше — как? Материализм — идеализм. Все понятно и все просто. Пока живешь — есть ты. Помер — нету. А потом... Умирает человек, а после него все равно что-то остается. Кроме вещей, я имею в виду. Кроме, так сказать, всего материального. Остается то, что он кому-то когда-то сказал. Что-то посоветовал. От чего-то, может, отговорил. Какое-то доброе дело сделал. И его помнят, передают дальше то, что он сказал, чему научил, что он понял раньше других.

— Ты по сколько спал в эти дни? Пока сдавал?

— Часов по пять... четыре иногда.

— Ну во-от! — Глаза у Ивана стали нарочно озабоченные. — В отпуск тебе надо. Отдохнуть.

— Нет, правда. Кем ты был. А кем станешь? Ты только представь: кем был — от тебя уже не зависит, а вот кем ты в будущем... через одно поколение, через два. Через сто лет. Через двести. Какие перед каждым открываются возможности: надо только осознать — и тогда живи себе хоть тысячу лет.

— Мне бы твои заботы, Серег...

— А п-почему не подумать? А то кто-нибудь потом станет: о чем эта ш-шоферня в своих кабинках? Неужели только — привезут п-пиво в ларек или не привезут?

Пятна света заскользили по кирпичной стене с черными проемами окон, потом снова, когда Иван вывернул баранку, упали на обочину, выхватили из темноты стоящего посреди дороги человека. Одной рукой он прикрыл глаза, другую тянул вверх, а позади него накренился на правый бок в кювете самосвал с открытой передней дверцей, и прежде еще, чем разглядел водителя, Иван увидал на заднем борту заляпанный грязью номер Пакина.

Сбросил газ, и Пакин кинулся к кабине, рванул дверцу:

— Слышь-ка, друг! Выручи — засел я...

Узнал Ивана, и голос его сник.

Иван не убрал руки с рычага:

— А трос?..

— Нету, понимаешь, какое дело...

— Чем же я тебя?

— Сейчас я, слышь-ка... Небось где-нибудь тут.. стройка!

Он кинулся по дороге, и Иван, заглушивший мотор, сперва убрал свет, а потом зажег снова. Сгорбившись и приподнимая штанины, Пакин быстро шел по самой середке, где было более или менее сухо, вертел головой по сторонам.

— Будет он тебе на дороге!

— Пойдем поищем? — предложил Листопадов.

— Сам найдет...

Пакин уже шел обратно. Взявшись обеими руками за дверцу, стал на подножку.

— Нету, слышь-ка... от дела! За Юркой за Кругляком подался, а тут посередке рельсу бросили. — Пакин хотел, видно, улыбнуться, но улыбка не вышла, только дрогнула небритая щека да скривились губы. — Объехать хотел, а меня поташшило...

— Так ты давно? — спросил, нагибаясь, Листопадов.

— О, Серега! — обрадовался Пакин. — А я думаю, кто там... Да часов с десяти!

— И до сих пор не мог троса достать?..

— Да оно и отойти, — оправдывался Пакин. — Гадюку повесь — украдут, не то что...

Листопадов хлопнул дверцей, пошел, огибая передок, и по тому, как он придерживался рукой за капот, как слегка пригибался при каждом шаге, Иван понял, что он разулся.

— Отойди-ка!

Пакин поспешно спрыгнул с подножки. Иван тоже вылез.

— Может, я выверну, а ты подпихнешь?

— А ремонт за чей счет?

— Это да...

— Я около бытовок поищу! — уже издали крикнул Сережка.

Глаза у Пакина бегали. Не спуская взгляда с Ивана, еще отступил спиной, только потом повернулся.

— А я тут... попробую! — хрипло выкрикнул он уже из темноты.

Иван вышел на свет и замер, глядя на грязь под ногами. Смотрел так сосредоточенно, будто хотел что-то вспомнить и не мог.

За воротник и раз и другой брызнуло. В размытом свете фар сеяла над дорогой мелкая изморось. Он стал на подножку, вытащил из-за сиденья кожаную куртку.

Медленно пошел к самосвалу в кювете, глянул мельком и снова повернул к своему «зилку».

Пакин торопливо вышел из-за заднего борта — будто никуда и не уходил, а все стоял за машиной, ждал.

— Ты это... Вань. — Он снова пробовал улыбнуться. — Я ба и не просил, да меньшенькая моду взяла: пока не приду домой, не уснет, хоть ты ее, веришь...

— Трос — я за тебя?

— Да не, ты хуть ба обождал...

Щека у Пакина снова дрогнула.

— Я тебе что хочу, Вань. — И открыл рот, будто собирался зевнуть. — Я тебе давно хочу. Все неправда!.. Это я свою бабу застал... жить потом не мог... а надо — у нас четверо!

Рядом забелела рубашка Листопада, дернулась, когда он не очень ловко прыгнул через канаву. Прихрамывая, подошел к кабине, положил руку на крыло.

— Не п-повезло! Ногу, черт...

— Сильно? — шагнул к нему Иван.

— Д-да, вроде — з-закон вредности!

А Пакин словно не замечал Сережку:

— Ты меня, Вань, конечно, виноватишь... А я сам себя одно время не помнил. Все они, думаю... И твоя!

Иван цепко взял Листопада за локоть, повел мимо передка, подтолкнул к подножке, рывком открыл дверцу:

— Садись давай.

— А Леха?

— Говорю, садись!

Самосвал трясло по гравийному горбу дороги, потом передние колеса врезались в болото. Там Иван развернулся и выбрался наконец на бетонку.

Сережка сказал:

— И д-дорога-то рядом...

Машина неслась пустынной в этот поздний час бетонкой. Иван все давил и давил на газ, пока носок ботинка не коснулся железного пола. В кабине стало свежо. Сережка сидел, обхватив плечи руками и съжившись.

Иван правой рукою стащил у себя со спины куртку:

— На!

— А ты?

— Я босиком не лазил.

Гудел за кабиной воздух, желтое пятно света подпрыгивало на мокрой дороге.

— Нарушили мы с тобой ш-шоферскóй закон,— спокойно сказал Листопадов, застегивая под горлом верхнюю пуговицу.

— Много ты знаешь...

— Я од-дно з-знаю. X-хоть харю набей, а вытаци!

— Я буду искать ему трос?

— Я знаю од-дно...

— Заткнись!

Баранка вырывалась у него из рук, и он вдавил плечи в спинку сиденья, удерживая.

Впереди на дороге мелькнула узкая и темная полоска, и он отпустил газ.

Под колеса кинулся лежавший поперек бетонки длинный обрывок троса.

Невольно он приподнял подошву с педали газа еще и еще... «Зилок» покатился совсем медленно.

Потом стал.

Они посидели молча. Дождь вовсю барабанил по крыше.

Иван посмотрел в зеркальце сбоку и, перехватывая баранку, повернул влево. Дал газ, и самосвал медленным полукругом пошел поперек бетонки.

Голос у Сережки был радостный:

— Я в-выскочу!

Иван ничего не сказал, только повернулся к Листопаду в полутьме кабины. Поставил на ручной и открыл дверцу.

2

Федя съехал с бетонки, медленно протащил «зилок» впритирку со стальной опорой, сразу за ней вильнул и затормозил под самую эстакадой.

Иван сидел посредине и вылез последним. Дверцей хлопнул не сильнее обычного, но Листопадов тут же обернулся и приложил к губам палец: «Чш-ш!»

Пацан, он пацан и есть, и Братков только качнул головой, улыбнувшись, но, замечая нарочно осторожную Сережкину походку, глядя на его слегка сгорбленную спину, сам против воли почувствовал прилив полузабытого мальчишеского страха, в котором неизвестно чего было больше — то ли тревоги, то ли шального какого счастья.

Ночь низко висела над землей, кутала мраком сооружения, которые и днем казались причудливыми. Теперь гроздь ярких огней, пробивавшие темноту, придавали всему вокруг ощущение таинственности. За крутыми боками гигантских стальных кожухов настороженно жались тени, прятались в переплетениях труб, внутри металлических конструкций, и холодный электрический свет как будто подчеркивал тишину и безлюдье...

Они уже переходили через железнодорожные пути, которые в несколько рядов тянулись перед домной, когда неподалеку коротко и сильно ударил тепловозный гудок. Резкий его вскрик как всегда отозвался неясным беспокойством, и захотелось прибавить шагу, поскорее перескочить через рельсы, но тревога так же внезапно ушла, и теперь, когда опять стало тихо, слух у Ивана как будто сделался тоньше, теперь он различил вокруг десятки самых разных звуков — и глухой гуд, и сипенье, и шорохи, и легкое постукивание, и скрежет...

Рядом раздался негромкий свист. Милявский и еще монтажник, лицо тоже было знакомое, покуривали около какой-то хитрой лест-

ницы, которая свисала неизвестно откуда, метра полтора не доставая до земли.

— Ну так нервных нету? — нарочно строго спросил Милявский.

— Запасные штаны имеются?

— Ты к-короче!

— А я ведь тебя предупреждал: чтобы у каждого — справка. Допущен к работе на высоте...

— Ну ладно,— сказал второй,— а то Листопадов нам в институте не будет давать списывать.

Иван услышал, как позади недалеко от их самосвала притормозила машина, по звуку понял, что легковой «газик». Кто-то вышел из него, и «газик» тут же стал разворачиваться, полоснул светом по тихим и черным конструкциям внизу, потом на секунду выхватил из темноты знакомую фигуру в милицмейской форме.

— Павлик! — негромко позвал Иван. И обернулся к ребятам: — Пошли!

Тот же вохровец, с которым Братков пытался договориться накануне, тоскливо сказал Бересневу:

— Там ить яблоку уже негде упасть.

— Бэзобразие! — нарочно строго укорил Пашка, одного за другим подталкивая к железной лестнице на литейный двор. — Куда только смотрит охрана?..

— Так вот же! — И вохровец отвернулся и приподнял голову в старой фуражке, обиженно глядя куда-то вверх.

— Ударнички! — топя по лестнице рядом с Иваном, вполголоса ворчал Милявский. — Еще людей приглашают! Надо будет или приварить эти скобы хорошенько, или совсем срезать... Хорошо, что милиция на стройке своя!

Внизу, на литейном дворе, возились горновые в новеньких черных куртках, а справа, на галерее, сплошной стенкой толпились вдоль поручней люди, много людей.

Как их только всех эта галерея, бедная, держит! Дежурят здесь уже не один час, а кто тянется через плечо другого, этим еще не надоело, и все стараются определиться поудобней — высокий парень около пульта за большим прозрачным щитом строго оглядывает всех:

— Ну вот, никакого порядка, вы хоть нам проход к рабочему месту не загораживайте — товарищи, товарищи, это не цирк!

Э, парень, да разве в том дело, ты, видать, на Авдеевке новенький, а люди по семь, по восемь лет этого ждали — дождаться не могли, а теперь наконец-то, теперь — вот оно, и все старики припли поглядеть, куда ты без них, не видишь — тут все свои?

Ивана увидал Валька Нестеров:

— Давай к нашему шалашу.

— Да нас вон — армия...

— Потеснимся... а то как же без гражданина капитана?

Поддел плечом кого-то стоявшего рядом, тот подналег тоже, и там дальше отклонился от поручней и сверкнул на них золотыми зубами секретарь горкома комсомола Ньюшин, потом обернулся этот Валькин друг, корреспондент «Известий», из-за его плеча кивнула Браткову Катя.

— Бурмашина у ребят закапризничала, — сказал Валька.

Внизу лежал четко освещенный и чисто выметенный, посыпанный свежим песком пяточок, на краю которого около бурмашины сгрудились горновые, и новые их суконные куртки особенно ярко чернели на рыжем поле, голубели выцветшие блузы сменных инженеров, а вокруг светлого пяточка висел синеватый полусумрак,

который дальше заметно густел, постепенно превращаясь в упругую, углами литейного двора сжатую темноту.

Снова гулко ударил тепловозный гудок.

Горновые подняли на плечи один из длинных металлических стержней, которые лежали в сторонке, выстроились напротив летки. Все были в широкополых войлочных шляпах, все одинаково клонили головы к плечу, на котором лежал стержень, и тела их в едином ритме то медленно отшатывались назад, а то стремительно нагибались вперед.

— Пробуют пикой! — подсказал Кате Ньюшин.

Валька на секунду повернул голову:

— Смотрите-ка, а он еще не забыл...

Ритм внизу стал другим, замедлился, а на рыжем песке возле летки появилось несколько алых крапинок.

В летке видно стало пролом, сквозь него жарко краснело, и оттуда, как будто угли из гигантского костра, с треском вылетали раскаленные добела куски кокса, они были уже покрупнее, и горновые, казалось, еще ниже наклонили головы, шляпами своими, как щитами, закрывая и плечи и грудь, а под ногами у них и вокруг на рыжем песке атели яркие осколки, они лежали и дальше, где над площадкой начал сгущаться полусумрак, и там они еле заметно мерцали и помигивали...

Потом из летки брызнул один сплошной сноп, и куски швырнуло далеко, от них то и дело отрывались и плавно падали вниз крупные голубые искры, медленные и торжественные, точно снег перед Новым годом.

А горновые не уходили от летки, все еще орудовали пикой, конец которой давно уже добела раскалился. Их то и дело осыпало искрами, они тлели на куртках, медленно уменьшаясь, как будто таяли. Ивану показалось, что он видит еле заметные струйки дыма и слышит едва различимый издалека запах паленой шерсти.

Раз за разом ударили из летки несколько взрывов, и каждый из них был сильнее предыдущего. Под сводами литейного двора стоял гуд, глухой и грозный. Люди наконец отступили вбок, защищая глаза широкими рукавицами, и по лицам проносились быстрые отсветы. Яркий сноп, бьющий из летки, все увеличивался, набирал силу, красные гроздя раскаленного кокса наперегонки летели один за другим, и траектория их становилась все круче, теперь это была одна мощная дуга, над которой, оставляя за собой рваные ошметки голубого пламени, проносились куски побольше, с треском разбивались о каменный пол литейки, и над сплюснутыми комками взвивались на миг синие языки огня.

Глухой шум все усиливался, и невольно начинало казаться, что это непрерывно нарастающее буйство огня не может продолжаться долго и мирно закончиться, и вот-вот должно произойти что-то грозное, неподвластное никому из этих людей, которые стояли внизу у самой летки...

— Работа у м-мужиков!

— А ты думал!

Огненная дуга вдруг исчезла, только дымилась на литейном дворе угасающие комки кокса. На дне рыжей канавы у самой летки появилась небольшая лужица металла, он был белый, как парное молоко, и густой, и только что-то еще невидимое сообщало ему медленно плывущий поверх розоватый отблеск.

Все на галерее снова зашевелились.

А лужица начала медленно прибывать, вот уже прорвала пленку собственной своей поверхности и слабым толчком стронулась еще на

несколько сантиметров, потом прибыла и растекалась еще раз, она будто пульсировала, все еще почти незаметно, и казалось удивительным, что грозный гул не разнес в щепы все вокруг, ничего не разрушил, что все вылилось в эту робко пульсирующую и как будто живую лужицу, такую крошечную рядом с родившей ее черною стальной машиной.

Катился и останавливался, споткнувшись, поток раскаленного металла, замирал, как будто раздумывая, течь ли дальше. По обе стороны медленно двигались горновые, подправляли русло лопатами, еще раз подсыпая его песочком, выравнивали ложе, выбрасывая какой-нибудь невидимый издали мельчайший комочек, и было похоже, что они манят за собою чугуи, уговаривают его литься... Он уже растекся по канаве, лизнул желоб острым язычком, медленно покотился, наконец двинулся дальше и опять застыл — уже на краю желоба. Опять копил силы, а потом все разбухающий пузырь впереди потока лопнул, вниз брызнула тоненькая струйка, и первые капли рассыпались искрами, тут же погасли, не долетев до ковша, и наконец туда сорвался сплошной ручеек....

— А я ведь когда-то в институт поступал,— негромко сказал Павлик Береснев.— В металлургический.

Ивану стало жаль его, и он не то чтобы почувствовал личную свою вину — к нему опять вернулась эта понятная им щемящая боль о том, что живут они тут, на Авдеевской, не всегда так, как хотелось бы, что не все у них тут красиво да праведно, и приходится видеть и слышать всякое, и терять вдруг добро в душе, и искать его потом долгими ночами.

Ивану припомнился Пакин, опять представилось, какая у него, должно быть, горькая и тоскливая дома жизнь, и как ему было тяжело и гадко после того, что увидел он собственными глазами. И вольно или невольно тяжелую свою ношу захотел переложить на чужие плечи, а потом мучился и стало, видать, совсем неумоготу.

Он ведь, если разобраться, мужик незлой, простота безотказная, сам всегда последним с тобой поделится и всегда выручит, другое дело, что покричать любит где надо и не надо...

Ивану захотелось, чтобы и Пакин стоял бы тут сейчас с ними рядом, глядел бы на этот прозрачный дымок, который подрагивает над раскаленным ручейком чугуна, и чтобы ему тоже кто-либо, как Павлику, положил руку на плечо и тоже сказал: да, а ведь тут и твое, Леха Пакин,— а как же ты думал — есть!

Может быть, Алексею жилось бы тогда хоть чуть легче.

Рядом стало посвободнее. Иван заметил, что Нестеров куда-то исчез, поискал его глазами здесь, на галерее, а нашел вдруг посреди литейного двора. Валька стоял напротив горнового, в руках у того была эта длинная «ложка», которой он брал пробу, они о чем-то говорили, нагнулись над каким-то бачком, горновой что-то из него вытаскивал.

— Живут же люди,— с завистью в голосе сказал Павлик.

И только тут Братков догадался, в чем дело.

Потом они по очереди покачивали на ладони эти еще теплые слитки — они были продолговатые, с неровными краями, и буквы на них кое-где не очень удались, но все же хорошо можно было разобрать: «Первый чугуи. Авдеевка».

— Там лучше есть,— сиял Валька.— Красивей этих. Но обер-мастер говорит, что первыми отлил эти два...

И он туда-сюда водил глазами и обе руки держал наготове.

— По-моему, один — для горкома комсомола? — сказал Нюшин.

— По общему списку. В рабочем порядке, так сказать. Этот я Женьке Миронову обещал.

— А что, если к нему заехать? Прямо отсюда?

В кружок протолкался Милявский, поднял ладонь:

— Тихо, хлопцы! А может, лучше возьмем его и — куда-нибудь.

Посидеть бы... утречком, а? Время теперь есть.

— Поступило предложение? — спросил Валька.

Иван поглядел на Листопада:

— Тут один говорил, что с него причитается...

— Я г-готов.

— Давай, Милявский, ты ответственный.

Сзади поднажали, Иван попробовал подвинуться вбок.

В кружок протолкался корреспондент радио, маленький, с хитроватым лицом пьющего мужичонки. Поддернул на плече ремень от сумки с магнитофоном и, близко поднося ко рту головку микрофона, заговорил так душевно, как будто каждый тут ему был закадычный друг:

— Да, большое дело сделала молодежь Авдеевской площадки. Митинг состоится только утром, но уже сейчас в цехе слышатся возгласы приветствия, люди целуются, поздравляют друг друга с большой победой. Мы подошли к группе ветеранов стройки, тем, кто начинал тут с первого колышка...

Еще раз пробежал взглядом по лицам и протянул микрофон к Феде. Тот, отстраняясь, вытянулся, но тут же, когда корреспондент слегка опустил руку, покорно повел головою вслед за шариком, как будто был теперь привязан к нему чем-то невидимым.

— Наверно, вам есть что вспомнить! — сам наклоняясь ближе к микрофону, погромче сказал корреспондент.

Федя зачем-то приподнял руки ладонями вверх, заморгал часто-часто.

— После смены, — сказал он еле слышно.

Иван хотел было по привычке выручить:

— Он сегодня во вторую. На шлаковом. Там отработал, а потом сюда...

Но помогать, оказывается, было не надо.

— Да! — задушевно сказал корреспондент. — Самочувствие у ветеранов — как после трудной и радостной смены, которую они с честью отстояли здесь, на Авдеевской площадке на десять дней раньше срока сдав первую доменную печь, самую большую теперь в стране по объему и самую совершенную по технологии...

Корреспондент глянул на Ивана, и Братков подумал — спросит о чем-либо теперь его, но тот тряхнул головой, рассыпав по затылку реденький чубчик, и лицо его разом преобразилось и стало строгим, в размеренном тоне послышалась торжественность:

— Жили вдалеке от дома... Мерзли в палатках. Но шли холодному ветру наперекор и не пугались работы, когда ее было невпроворот, сбрасывали на снег телогрейки, и дымились на крутых плечах промокшие от горького пота рубахи... И ошибались они, и отчаивались, любили и теряли друзей, и радовались даже малой радости, которой непременно обрадуешься, если перед этим хлебнул тут всякого, и, закусив губы, смотрели вслед уезжающим, и — ждали... А теперь стоит этот завод, общее их детище, и сегодня уже сводки о том, сколько на Авдеевской выплавлено чугуна, впервые лягут на министерские столы и войдут в государственные отчеты, и этот поток раскаленного металла, который сейчас течет себе вниз, станет еще одной маленькой жилкой, без которой чуточку слабее была бы Россия...

Голос корреспондента, все набравший значительности, оборвался, но вокруг по-прежнему молчали, никто не знал, все ли он сказал или будет говорить еще что, и Иван тоже стоял притихший, было в этих последних словах что-то такое, что задело его за живое.

Корреспондент сунул микрофон в замшевый чехол.

— Дайте слова списать,— негромко попросил Нестеров.

— А это из вашей многотиражки.

— Во-он что.

Браткову сперва показалось, что Валька должен обрадоваться, однако тот почему-то поскущел. Сунул в каждый карман по слитку, они оттянули пиджак с обеих сторон, и плечи у Вальки сделались уже, голова слегка опустилась набок, весь он стал как-то нескладней, и сам словно понял это, насмешливо подмигнул Ивану и отвернулся, снова облокотившись на поручни.

— Может быть, положишь в сумку?— мягко спросила Катя.— Давай, она у меня..

— Ничего, спасибо.

— Зато у тебя есть все это.— Катя плавно повела головой, и от яркого зарева, которое подрагивало над ковшом с расплавленным металлом, на щеке у нее шевельнулись алые отблески, соломенные ее волосы сделались розоватыми.— И этого никто не отберет... Пони-маешь? И ты все-таки будешь сидеть за столом в своем кабинете, дома...

— И на мне будет кофейный пиджак с вишневым воротником и с витыми застежками,— в тон ей сказал Валька.

— Успокойся,— мягко сказала Катя.— Не будет.

— Пиджака?

— И пиджака тоже. И ничего из того, о чем ты сейчас подумал...

Говорили они негромко, но Ивану очень хорошо было слышно, и оттого, что сразу не догадался хоть чуть отодвинуться, почувствовал себя неловко, да только кто ж знал.

Что-то у них не получалось, никак не могли они договориться, и он подумал об этом еще там, на Монашке, когда отец его заговорил с Валькой: «Ты, Степаныч, просил избенку тебе присмотреть, так вот нашел я. Будешь покупать или, однако, повременишь?» И Валька вздохнул и махнул рукой: «А ведь, пожалуй, буду. Буду, Савелий Кириллыч. Точно». А может быть, Валька шутил? Потому что тут же спросил: «Значит, банька в порядке, а конюшенки рядом нету?» «Уже ли коней заведешь?» «Да есть у меня один»,— усмехнулся Валька. Отец прищурился: «А какой же масти?» «Белой». «Может, игренька или соловая?» И Валька повторил: «Белая. Редкой породы».

А позавчера ночью Иван возвращался со смены проселком и еще издали заметил на дороге парочку. Сразу показалось — узнал и уже не удивился, когда на секунду увидал повернутые к свету лица — Нестер и эта курносенькая, а то работает теперь у отделочников мастером. Оба веселые были и ничуть не таились — поди разберись...

Глядя вниз, Иван снова налег на поручни.

Чугун катил упругим валом, тащил раскаленные гуды, покачивал на себе синеватую окалину, широкая струя его спадала вниз с тяжелым клекотом, искры летели теперь не вниз, а, вырываясь из ковша, постреливали вверх. Тянул голубоватый на ярком свету дымок, полусумрак то подрагивал, а то отшатывался разом, неслышно разбивались о высокую крышу алые сполохи, наполняли углы, и тени стремительно проносились по стенам и в противоположном конце падали за тяжелыми стальными конструкциями. Цех наполнился сытыми звуками, кругом глухо чмокало, клекотало, шелестело, похлестывало, с шипением лопалось и захлебывалось, пахло гретым песком и горелой краской, и горновые, готовясь перепустить поток в другой рукав канавы, торопились, лица их лоснились от пота и уже почернели, из кабины мостового крана что-то орал им сверху крановщик, и казалось, так было всегда и теперь уже ни на чем не осталось следа новизны.

Народу на галерее стало заметно меньше, уже расходились. Иван подумал: уйдет он сейчас отсюда — и все, что видел сегодня, чего столько ждал, тут же отодвинется в прошлое; ему вдруг показалось, что ничего он тут не успел — ни как следует разглядеть, ни хорошенько запомнить...

Может быть, в это время надо подумать о чем-то значительном? Что-то важное из того, что было до этого, припомнить?

Но ничего такого особенного память не хотела ему подсказывать, опять только удивление мелькнуло: и правда, как же так — пройдет и не повторится никогда...

Из высокого и узкого металлического проема у него за спиной тонко подувал ветер, приносил вдруг прохладу, но здесь, внутри литейного двора, становилось все жарче, и Братков стащил пиджак, положил на поручни и снова налег грудью, всматриваясь во все как бы заново и собираясь глядеть еще долго, как можно дольше.

— На теплом месте ребята устроились, а, Ваня?

Валька придвинулся к нему, задел его сперва этим оттягивавшим ему карман чугуном слитком, потом слегка коснулся плечом, и глуховатый его голос опять был добрым и чуть насмешливым, отвечать было не надо, и Братков только улыбнулся и молча кивнул.

Песок внизу курился, исходил дымом, прорывались через дым языки пламени, сквозь огонь и чад сновали люди, жесткие их лица огсвечивали каленым гревом, и двор литейки был похож на поле сражения...



ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК

★

Из таджикской поэзии

МИРСАИД МИРШАКАР

У Мавзолея

Стрелки курантов,
сомкнитесь туже:
станьте одной
золотой чертой!

Ночь.
Голубые хоромы стужи.
Площадь,
и вьюга на площади той.

Ветер
гудит все резче и злее,
хлопья
с заречной несет стороны.

Глаз не смыкают
у Мавзолея
два молодых солдата страны.

Холод
этой морозной ночи
их не заставит
покинуть пост,
ибо они —
всей планеты очи,
юность
под сенью кремлевских звезд.

Стужа
влагает свои сказанья
инеем
в сонм ледяных ветвей,
но часовые
как изваянья
гордо стоят,
не сдаваясь ей.

Для человечества,
для вселенной
должность высокая
этих двоих —
им мое сердце
и лучший стих!

Два воина
оберегают Ленина,
Ленин оберегает их!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ

Женщина

Если б женщина не горела —
мы остались бы без огня,
словно вина в чанах незрелые,
поднесенные свету дня.

Если б женщина не дарила
продолженье — и вечный путь,
как бы в мире тропу торило
наше имя — и наша суть?

Если б сызмала мы не знали
женской ласки, добра, тепла,
как любовь бы сроднилась с нами —
как бы жизнь без нее текла?

Если б женщина не вносила
нежность в грубый закон игры,
как казнилась бы наша сила,
натываясь на все углы!

Если б женщина не пылала,
был бы выстужен наш очаг
и заря, что пылает ало,
не светилась у нас в очах...

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

МУМИН КАНОАТ

Память

Дяде Анвару.

Пришло письмо к нам — черное письмо,
хоть на бумаге, что белее инея,
и линию надежды и любви
перечеркнула фронтовая линия.
Оборвалась тропа в твой грозный мир
с окопами, боями опаленными.

Как слезы стали струи родника,
 вкус губ твоих познавшие солеными.
 Я был так мал, когда письмо читал,
 с ним не мирилось сердце оробелое,
 и было это черное письмо
 от светлых слез сестер моих — как белое.
 Ни черного начала, ни конца:
 в сознание детском — светлых букв слияние,
 а в них улыбка светлая отца
 и материнской седины сияние...
 Я белым видел черное письмо,
 я верил в чудо, на судьбу не сетуя,
 и не считался с правдою его,
 поскольку детство верит только в светлое.
 Три черных ночи длились без конца,
 и тут гонец — счастливых долгих лет ему! —
 на третье утро весть в наш дом принес,
 что жив ты вопреки письму нелепому.
 Твой конь заржал, ворота, как Дарваз,
 перед тобою настезь, и надолго я
 запомнил, как столкнулись тьма и свет,
 все доброе и самое недоброе.
 У притоки плечи ты пригнул
 (хотя б коснуться тщетно мы хотим ее!) —
 для счастья, что принес ты на плечах,
 был низковат вход и в гнездо родимое.
 Так в жизни сказка первая сбылась,
 и радостью великою повеяло,
 и навсегда тогда моя душа
 в возможность невозможного поверила.
 Над левой бровью молодой луной
 был шрам от раны у тебя, мне помнится,
 а на груди — высокая звезда...
 И гордостью и болью сердце полнится!
 О, вечный мой герой, моя судьба,
 как прежде, сын беды твоей и славы я.
 Что ни посею, всходы строк моих —
 солдатских ран знамения кровавые.

Перевела РИММА КАЗАКОВА

БОКИ РАХИМ-ЗАДЕ

У нас в Таджикистане

Я шел тропюю полевой и упирался головой
 В метанья тучи грозовой на грозовом экране.
 И этим всем гордился я, мои собратья и друзья,
 Видать, не зря родился я
 В моем Таджикистане.

Люблю Аму- и Сырдарью, и облака горам дарю,
 И со степями говорю, несу им сердца дани;
 В крае ущелий и долин мой край, где яхонт и рубин,
 Да, есть и яхонт и рубин
 У нас в Таджикистане!

Мой древен край, как древен мир; древнее Греций и Пальмир,
И расстелил над ним Памир заоблачные ткани:
Он крыша мира, крыша крыш; Памир, ты мне запеть велишь,
А славно мне поется лишь
В моем Таджикистане.

Тобой душа моя горда, мой край, где горная гряда,
Где низвергается вода, точка гранит в скитаньях!
Источник изобилья ты и отрицанье нищеты;
Есть щедрой милости черты
В моем Таджикистане.

Там, у вершин, где туч свинец, снег — как корона, как венец,
Внизу ж отрадою сердец — густых садов блистанье:
В живом цветении весной, а летом зелен лист резной;
Ах, осень щедрости земной
У нас в Таджикистане!

Здесь нежат свой сочнееший груз лимон и груша «дилафруз»,
Здесь абрикос хорош на вкус; не грех прильнуть устами
К хурме... Здесь сливы — просто клад; здесь ласков яблок аромат,
И всякий гость нам друг и брат
У нас в Таджикистане!

Ленинабад хорош, велик; Ленинабадом горд таджик —
Роскошный утренний цветник, златых лучей блистанье!
Здесь разноцветные ковры, атласа пестрые пиры,
Здесь люди ласково-добры
В моем Таджикистане!

От Вахша свет берет разбег, от Вахша силу шлет Нурек:
Тьму побеждает человек, светлынь — как ранней ранью!
Мы гоним тьму, рассвет поем, кругом светло, светло, как днем,
О, сколько яркости в моем,
В твоём Таджикистане!

А хлопок с тонким волокном! Ведь он в любом краю земном
Известен — входят в каждый дом лирические ткани!
Идут на Запад и Восток; любовь — есть нить, а мощь — уток,
И всякий труд в зачет и впрок
У нас в Таджикистане.

Волшебной щедростью могуч край быстрых рек и горных круч:
Как золотой играет луч на чудном Зеравшане!
Мой добрый край, мой горный край, живи, расти и расцветай,
День, водопадами блистай
В моем Таджикистане!

Столицей стал в твоей судьбе уютный город Душанбе,
И мне несет он и тебе свершенье всех желаний!
Здесь отражает облака искристая Варзоб-река,
Здесь Душанбинка не узка
В моем Таджикистане!

Я заглянуть порою рад в «Рохат» иль, скажем, в «Фарогат»,
Мне мил твой пряный аромат в садах рассветной рани.
Мы любим наш просторный дом, не первый век живем мы в нем,

Все дышит миром и теплом
У нас в Таджикистане.

Мой край родимый, если ты — живое око высоты,
То гор гранитные черты — твои крутые веки!
Твоих ресниц, твоих бровей я опьяненный соловей —
Пою о радости твоей,
Я твой поэт навеки!

Твой воздух — синее стекло, твое грядущее светло,
А наше время принесло тебе свой светоч знаний.
С тобой Москва. Моя Москва — всем переменам голова:
Вот жизни новая глава
У нас в Таджикистане!

Я твой поэт, я твой шоир, и славлю я твой свет и мир,
И твой Варзоб, и твой Памир — вершин крутые грани...
Так будь же счастлив, отчий кров, достойный песенных даров,—
Я вечно молод и здоров
В моем Таджикистане!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

МАВДЖУДА ХАКИМОВА

Отец

Посвящается комсомольцам сороковых годов.

Когда к сидящим подойдет отец,
И стар и млад — с почтеньем все встают.
С улыбкой, как обычай наш велит,
Чай в пиале тотчас же подают.

Во имя счастья нашего отец
Немало перенес. И потому
Я вижу: вся планета, вся земля
Сердечно улыбается ему.

Когда-то был он сверстником моим.
Мальчишку в школу провожала мать.
Листал тетради, книжки изучал —
Хотел он все узнать и все понять.

Он бегал, он резвился без конца,
Летал орленком и носился вскачь.
Нет горестей еще, сомнений нет,
И самый лучший друг — футбольный мяч.

Ласкало солнце родины его —
На солнце щедрой родина была.
Он получил с рожденья добрый дар —
Прикосновенье этого тепла.

Но вдруг померк родимый небосвод,
Такой веселый, голубой всегда.
И потемнели у людей глаза.
Нежданно в отчий край пришла беда.

Почти что всех своих мужчин послал
Наш город небольшой на фронт в те дни.
Исполнили святой сыновний долг,
Встав на защиту родины, они.

Отцу тогда шестнадцать было лет.
Остался самым старшим в доме он.
Опорой и кормильцем дома был,
Заботой и трудом обременен.

Он клятву комсомольскую сдержал,
Чтоб счастьем лица и сады цвели.
Немало слез он пролил, чтобы мы
С улыбкой по земле шагаты могли.

Отцы, отцы! Как вами мы горды!
Прекрасней вашей доли не найти.
Из всех дорог недаром для себя
Мы выбрали отцовские пути.

Перевела РИММА КАЗАКОВА.

Солдат

Из брестской тетради

Он молод и здоров — так отчего же
Тревог в его душе не сосчитать?
Тоска по матери,
Тоска по сыну гложет,
Тоска по милой —
Каменная кладь.

Война несла разруху и разлуку,
Любовь к Отчизне из дому звала.
И меч карающий
Ему вложила в руку
Отчизна-мать и в битву повела.

И наделила исполинской силой,
Казалось, он броней любви одет,
В атаке пуля с ног его не сбила,
Хотя по телу прочертила след.

Все ж отыскал его снаряд фашистский,
Взорвавшись рядом, руку оторвал.
Услышал он дыханье смерти близкой,
Когда колени вдруг прошил металл.

Но и тогда не встал он на колени
На алой, кровью залитой земле.
Огонь пылал над миром, пахло тленьем,
Европа задышалась в дымной мгле.

Солдат упал и потерял сознание,
И сразу лес грохочущий затих.

Томило слух одно воспоминанье —
Напев ручья в горах его родных.

Сама природа будто захотела
Зеленую постель ему постлать —
И тополь на распластанное тело
Решился с ветром два листка послать...

И перед смертью он росой студеной
Чуть губы пересохшие смочил.
И под березой юной и зеленой
Он вечным сном, священным сном почил...

Когда брожу по роще белорусской —
Пускай промчалось три десятка лет,—
В былинке каждой у тропинки узкой
Солдата этого я вижу след.

Перевела ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД.

АМИНДЖАН ШУКУХИ

Лестница четверостиший

* * *

Старайся, о душа, стать чистой, как зеркало,
Чтоб завтра зацвело все, что вчера мерцало,
Чтобы друзьям помочь, им облегчить подъем,
Стань лестницей, веди к высотам перевала.

* * *

Карабкаясь до звезд, спеши, не зная лени,
Но каждую ступень запомни тем не мене,
Ведь, может быть, идти по лестнице назад
Придется и тебе, все сосчитав ступени.

* * *

У счастья и беды вся наша жизнь во власти,
Но утром хороши цветы различной масти,
И для того, кто жив и полон свежих сил,
Все в меру хороши и горести и сласти.

* * *

Будь гостем, но свой дом не позабудь,
И днем и ночью продолжай свой путь.
Пусть кто-то пред тобой закроет двери,
Другой захочет двери распахнуть.

* * *

Нет у меня стальной руки Фархада¹,
Чтобы нагорья сдвинулась громада,

¹ Фархад — легендарный богатырь.

Но чтобы ваши обводнить поля,
Есть сердце, что бурливей водопада.

* * *

Я о походке легких ног затосковал,
О том, как ты плела венки, затосковал,
О том, как розовым кустом
Клонилась, глядя на поток, затосковал.

* * *

С тобою душа да не будет пуста никогда,
И славить тебя не устанут уста никогда,
А зелень живая в саду несказанной любви
И осенью даже не будет желта никогда.

* * *

Как ветер пришла налегке и ушла,
Была ты водою в реке и ушла,
Следа не оставила, не обернулась,
Горела, как жемчуг в руке, и ушла.

* * *

Когда умылась утром ты у родника,
Зажегся светом чистоты лик родника,
Скатилась на землю капель с лица,
И сразу поднялись цветы близ родника.

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.



ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК

★

Из туркменской поэзии

БЕРДЫНАЗАР ХУДАЙНАЗАРОВ

Колодезных дел мастера

О людях Большого канала,
О том, как их подвиг суров,
Все речи... Как будто не знала
Пустыня иных мастеров!

Мы, шлюзы гигантские строя,
О вас у простого копра
Сказать забываем порою,
Колодезных дел мастера.

А если подумать: дорога
Всегда начиналась с тропы;
Босыми когда-то с порога
Вы в мир направляли стопы.

Никто не слышал о канале,
И не родились трактора,
Когда вы свой путь начинали,
Колодезных дел мастера!

Лишь жаворонков перелетных
Звенел над землей голосок,
Когда из глубин ее плотных
Бадья выносила песок.

В безлюдье, в просторах угрюмых,
Где рыли колодцы вы, там
Не Жизнь ли сама в Каракумах
Рождалась и шла по пятам...

В потомках ваш род не прервется.
И нам поклониться пора
Вам, скромные первопроходцы,
Колодезных дел мастера!

Перевел ЮРИЙ ГОРДИЕНКО.

КЕРИМ КУРБАННЕПЕСОВ

Чувство локтя

Ты впервые в Москве... Останавливаешь старика
На Садовом, где катят машины лавиной танковой:
«Мне к Вахтангу, отец» «Верно, прибыл ты издалека!
Здесь, сынок». И ведет неторопко к Театру Вахтангова.

Вот и вход! И тогда только ты замечаешь протез,
На который старик опирается тяжело и хромо.
Хочешь что-то сказать ему. Но проводник твой исчез,
Завернул, опираясь на палочку, за угол дома.

...Ты идешь сквозь вечерний Тбилиси. Гуляющих — тьма!
Обращаешься к девушке встречной с невольной заминкой
(Рост ее и осанка свести тебя могут с ума!):
«Подскажи-ка, сестренка, добраться мне как до Мтацминды?»

Стан изящен и тонок, возьмешь и проденешь в кольцо.
Что кольцо! Он пройдет сквозь ушко самой малой иголки!
«На четвертый автобус вам». Как симпатично лицо!
«Вот на эту машину!» — и взгляд с поволокою, долгий.

Улыбнулась, кивнула, пошла, возвышаясь вдали,
Словно древко точеное знамени или штандарта.
Чем-то очень растроганный, житель туркменской земли,
В уходящем автобусе машешь ей вслед благодарно.

...Ты идешь по Дамаску — сирийской столице салам! —
Блеск витрин и прозрачные регулировщиков будки...
Где тут книжная лавка? Воззрясь на сиянье реклам,
С превеликим трудом разбираешь арабские буквы.

Крик торговцев съестным и машин проноссящихся лак...
Потерялся совсем ты в толпе говорливой и тесной.
Но усталой походкой навстречу степенный феллах
В развалюхах-сандалиях, в белой чалме затрапезной.

Объясняешь невнятно: мол, где тут словесности храм,
То есть книжный ларек? И, поняв — полквартила от силы! —
Проведет... Не успеешь сказать, поклонившись: «Шукран!» —
Он замашет руками: «Тебе, чужестранец, спасибо!»

...Минут годы в своей обыденности и суете,
Но однажды предстанут тобою забытые лица,
Те знакомцы случайные, первые встречные те,
И лицо твое как бы в ответ теплотой озарится.

И тогда пожалеешь, припомнив щетинку усов
Старика москвича, взгляд грузинки, улыбку феллаха,
Что не знаешь имен их, не ведаешь их адресов,
И утешит лишь то, что живут они людям на благо!

НУРИ БАЙРАМОВ**Когда мы были мальчишками**

Прекрасного детства годы
Вам нынче, сынок, даны.
Вы спортом, игрой в походы
И музыкой увлечены.

Науки, склонясь над крышками
Парт, обнимают вас...
Когда мы были мальчишками,
Молчали дутар и саз.

Когда мы были мальчишками,
Школьный молчал звонок.
Пришлось нам расстаться с книжками —
Гремела война, сынок.

Мы делали то, что надо:
На варево в том году
Мы рвали пучки шпината,
Татарскую лебеду.

Не чай со сдобными пышками —
Урезанный нам войной,
Когда мы были мальчишками
Снился кусок ржаной.

Мы жили тогда надеждою —
Наступит конец войны! —
Обувью и одеждою,
Досутом обделены.

Но, скромные, не речистые,
Трудясь в холода и зной,
Когда мы были мальчишками,
Гордились своей страной.

ИЗ КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН МОЕЙ МАТЕРИ**Алла-ай!**

Спи, сынок мой, ночь тепла,
Я спою тебе — алла!
Глазки черные закрой,
Не шуми ночной порой!

Спи, сынок мой, баю-бай,
Спи, ягненок, алла-ай!

Я сотку тебе ковер,
Подберу сама узор,
Чтобы спал ты во дворе
На узорчатом ковре.

Спи, ягненок, баю-бай,
Спи, козленок, алла-ай!

Словно маковый цветок,
Я нашла тебя, сынок!
Мне не надо ярких роз,
Лишь бы мой цветочек рос!

Спи, козленок, баю-бай.
Спи, орленок, алла-ай!

Спи, сынок мой, ночь темна,
Светят звезды и луна.
Самый яркий огонек
Ты у матери, сынок!

Спи, орленок, баю-бай,
Верблюжонок, алла-ай!

Сын пойдет в отца-орла,
Сын возьмется за дела!
Руки сына — два крыла,
Руки сына — два весла.

Спи, орленок, баю-бай,
Спи, ягненок, алла-ай!

Перевел ЮРИЙ ГОРДИЕНКО.

АТА АТАДЖАНОВ

* * *

Гор высоту
Вершина лишь одна
Определяет —
Та, что ближе к звездам.
А глубь морей —
Одна лишь глубина,
Когда всего длиннее путь до дна.
Известно это школьникам и взрослым.

Стараясь человека оценить,
Не исходи из мудрой середины —
Не мелкие пороки в нем увидь,
А главные вершины и глубины.

Кто ищет зло,
Тот сам погряз во зле.
Кто ищет грязь,
Тот сам с душой нечистой.
А благородный
Даже и в золе
Находит уголек с живою искрой!

Размышления

1

Верблюда можно, как овцу, подвесить,
 Родник таланта можно запрудить.
 Коль о здоровье спросят сразу десять —
 Ты схватишься за сердце, может быть...

И все же — верблюд останется верблюдом.
 Здоровому — ничто пустой навет.
 Родник таланта
 В пику всем запрудам,
 Коль есть в нем сила,
 Вырвется на свет!

2

Не предлагай ослице меда скушать,
 Пред лодырем не ставь душистый плод,
 Пред ветреным не трать любезных слов.
 Тем, кто колючку с розой может спутать,
 В знак уваженья не дари цветов!

3

Вам приходилось?..
 Нет, не стану спрашивать,
 Мы с вами все на выдумку хитры —
 Себя приукрашать
 Да прихорашивать
 И недостатки прятать до поры.

Казаться лучше —
 Разве дело сложное?
 Тебя не сразу поняли — так что ж!
 Но есть одно на свете, невозможное:
 Солгать себе
 И верить в эту ложь!

*Перевел ОЛЕГ ДМИТРИЕВ.***ТОУШАН ЭСЕНОВА****Три пальмы плодовых**

Три пальмы плодовых,
 Три дерева щедрых и рослых,
 У моря стоите вы,
 Словно красавицы сестры.

На пользу пошел вам, наверное,
 Климат абхазский,
 Стволы ваши стройные
 Не охватить опояской!

Казалось, обнявшись,
Сплетя свои листья, как руки,
Вы, пальмы, шептали порой
О какой-то разлуке.

Мне чудятся тени
И шорохи в чаще древесной...
И я ваш рассказ наконец
Поняла бессловесный:

«Когда ты о родине пишешь,
Тебе докучая,
Мы, пальмы, смеемся и плачем,
Листвою качая.

Мы здесь родились,
Но кавказские наполовину.
И надвое рвется, как сердце,
Стволов сердцевина.

Мы здесь выростали,
Мы северной, здешней закалки,
Но помним об Африке,
Бабки у нас — африканки.

Забуть мы не можем,
Что за морем, в Африке знойной,
В обугленных джунглях
Идут партизанские войны,

Что травы саванны
Чужою пятою измяты,
Что кору с деревьев
Заморские рвут автоматы.

К нам ветер доносит
Сестер наших дальних и братьев
То крики победы,
То шелест мольбы и проклятья.

Хотя под пятою
Наемников в сетчатых касках
Пылает земля, словно в пекле,
В лесах африканских,

К нам все еще с ветром
Доносится грохот орудий
Оттуда, где падают хижины,
Пальмы и люди.

Душою мы с ними...
Горим не сгорая в напалме,
Бьем с ними в тамтамы победы...
Мы тоже ведь пальмы!

Не высохли корни,
Листва наша не очерствела,

Чтоб стать безучастными
К их справедливому делу!

Мы шлем в их леса,
Удивляясь их подвигам ратным,
Свои пожелания добрые
С ветром обратным».

Перевел ЮРИЙ ГОРДИЕНКО.

ЯГМУР ПИРКУЛИЕВ

* * *

Снова лето, жалей не жалей,
как кочевье, снимается с места,
и трепещет труба журавлей
над остывшей землею туркменской.
Так далеко они от земли,
в синеве этой вечной равнины,
словно близкой погони зимы
опасается клин журавлиный.
Но труба отзвучала... Пора!
Нежной плотью мечту облекая,
белизною хлопковой поля
породниться спешат с облаками.
Скоро озеро, очи смежив,
серой пленкой подернется с лету.
Урожайную ношу сложив,
Погрузятся просторы в дремоту.
И, последнюю ноту вписав
в эту рукопись песни осенней,
красный куст увенчает пейзаж
увядания горьким весельем...

Но сквозь эту предзимнюю грусть,
сквозь невольное это унынье
и теперь различить я берусь
очертанья и краски иные.
Щедрой осенью запасены —
медом солнца, неистовым цветом
сохраняются в сотах зимы
все богатства туркменского лета.
Возвращается юность с высот
к старикам, повидавшим немало,
чуть отведают сладкий кусок
зимовавшего вахармана¹.
В темном доме светлеют углы,
зимних тягот мельчает обуза;
это чашею Гёроглы
на столе — половина арбуза.
Ты и сам на мгновение замри
перед даром далекого сада:
перед зернами летней зари
в запечатанном чуде граната...

¹ Вахарман — сорт дыни.

И, наследник сокровищ земных,
ты, как прежде, и ныне, и ныне
за холодным экраном зимы
угадаешь картины иные.
И горящих тюльпанов волна
с горных склонов покатится в поле;
как олень золоторогий, луна
зябкой ночью пойдет к водопою.
И, от пара земного дрожа,
встанет синь над мятежным простором.
И, смилив этот дух мятежа,
солнце косы уронит в озера.
И в скворечни из дальней земли
постояльцы вернуться неожиданно.
И весну понесут журавли
в сладко-горестном крике гортанном.

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.



ГОЛОСА БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК

★

Из узбекской поэзии

МИРТЕМИР

Свеча

Подсвечник старый, тонкая свеча,
нагар на ней... Она горела,
когда в глухой ночи перо летело
над рукописью новой Ильича.

Метался маленький язык огня —
от черных окон дуло... И, казалось,
к нему дыханье бури прикасалось,
бушующей за стеклами окна.

А рукопись заполняла стол,
и мысль росла, по всей земле кочуя:
поля России, земли Мирзачуля,
встающий Юг,
разбуженный Восток...

Сгорала в собственном огне свеча,
но огонек не отступал пред ветром:
и этот свет
горел над целым светом,
грядущее навечно осветя.

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

АСКАД МУХТАР

..*

Здесь даже время замедляет бег,
Здесь спят сыны, отдав до капли силы...
В цветах лежат открытые для всех
Европы безымянные могилы...

И люди к ним идут из года в год —
Их всех одна беда объединила...
Не знает вас по имени народ,
Европы безымянные могилы...

И даже материнская любовь
Сынов в бою от пуль не защитила...
Но матери все ждут своих сынов —
И живы безымянные могилы..

И сына потеряв навеки, мать
Свою беду с народом разделила,—
Вам никогда чужими не бывать,
Европы безымянные могилы!..

И на рассвете, выстроившись в ряд,
Присягу здесь солдаты приносили,
Чтоб никогда не слышали набат
Европы безымянные могилы...

И каждую весною вновь плывут
В тюльпанах к стороне далекой, милой
И матерей, как журавли, зовут
Европы безымянные могилы...

Перевел ВАЛЕРИЙ КРАСНОПОЛЬСКИЙ.

ЗУЛЬФИЯ

Будущее

Будущее! Ты перед глазами моими.
Спешу вперед, обгоняя мечты,
Навстречу тебе... И все уловимей
Твои громоздящиеся хребты.
Все ощутимее, все родней
Гордые выси грядущих дней.

Завтра! Кто в прошлом тебя не звал!
Радуясь дням счастливым заранее,
Бегу, взбираясь на перевал,
Не сбрасывая чарыги¹ желанья.
Завтра! Чудеснейшая из стран!
Тайна для нас — твоя стать, твоя суть.
Знаем одно: ни мудрец, ни тиран
Не пресечет твой победный путь!
Завтра! Вижу твой мощный кряж.
Чем одаришь ты людей, ликуя?..
Что возрастишь? Какая из чаш
В ходе времен перевесит другую?

Что одолеет, что встанет над нами —
Непогрешимое взвесит Время.

Наше Сегодня — нов его лик! —
Блеском открытий озарено.
Прошлое — только букварь... Оно —
Азбука лишь к мудрейшей из книг.
Мне бы читать ее и читать,

¹ Ч а р ы г и — кожаная обувь с загнутыми носками.

Не отрывая влюбленного взгляда,
 Песни б слагать нашим дням под стать,
 Славить красу, пред которой померкло
 То, что когда-то ловило зеркало
 В руках Фархада.

Завтра! Спешу за тобой... Куда ты?..
 Повремени!.. Хоть минутку побудь
 С нами, детьми эпохи крылатой,
 К звездам впервые наметившим путь!

Нет, убегает, огнем паля..
 Вечно в пути оно — как Земля.

Завтра! Постой! Осени мой стих!
 Крыльев твоих ловлю серебро.
 В небе парят они... Все же с них
 Нет-нет на дорогу слетит перо.

Вон, серебрится издалека..
 Где я следов твоих не нашла?!
 На рукавах, на концах платка
 Перышки твоего крыла.
 На беспредельном, как мир, дастархане
 Чувствую, Завтра, твое дыханье.

Пусть я тебя не схвачу — пусть!
 В песню не заключу — пусть!
 Пусть моя жизнь — лишь одно мгновенье,
 И, не сумев одолеть высоты,
 Так и не схватит твои черты
 Мое вдохновение.
 Пусть воспоют тебя в песнях иных —
 Короток существования миг! —
 Те, что юнее и дерзновеннее.

Все же, о, Завтра, тебе — хвала!..
 Радуюсь, будто сама создала
 Новых, грядущих стихов сияние.
 Юность вернулась к душе моей,
 И все звучней, все сильнее в ней
 С Временем нашим, с людьми слияние!

Перевела ЮЛИЯ НЕЙМАН.

МИРМУХСИН

* * *

Детства моего грехи,
 вас и ныне искупаю.
 Так случайный всплеск, вскипая,
 пирит долгие круги.
 Так забвению вопреки
 память вас растит скупая.
 Злая память давних дней,
 я влачу твои вериги!..

В ней донны вьется змей
из страниц какой-то книги.
Я не помню тех страниц,
но когда пишу я, мучась,
их двусмысленная участь
перед взорами стоит.
Все, в чем в детстве я солгал —
от бездумья, из бравады, —
мстит теперь, когда я правды
сам из чьих-то уст взалкал.
Я тружусь до петухов
в искупленье прежней лени...
Только где ж ты, искупленье
незабывшихся грехов?
Я потомкам прежних птах
на окошко сыплю крохи.
Что ж могу я сделать кроме,
их судьбы не испытал?..
Суммы долга не скопить
мне в дороге этой краткой.
Материнских слез украдкой
мне вовек не искупить...

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

ТУРАБ ТУЛА

Ночлег

О родина, вместилище надежд!..
Извечная привычка любованья
становится любовью — как ни тещь
насмешников вся пылкость лобовая.
Но пусть глаза ирония смежит
или в углу хихикает бесшумно,
а истинно влюбленных не смешит
любовное безумие Меджнуна.
Покуда соловьи тебе поют,
пока весна несется в блеске мимо,
позволь, в словах я отыщу приют
моей любви к тебе неутомимой.
Позволь, я для нее построю дом.
Не за ночь, не за час, как строят джинны.
Я медленным скреплю его трудом,
чтоб он стоял годами нерушимо.
И, обожженный в солнечной печи,
в разводах черных трудового грима,
из четких фраз сформирую кирпичи,
из чутких слов я замешаю глину.
Пока меж небом и землей вишу,
пока лоза наращивает стебель,
пусть не твердят, что дом я возвожу
в какую-то немислимую степень.

Простое зданье с небом на челе.
И я мечтаю строчкою люблю,
что в нем хоть раз найдут себе ночлег
те, кто, как я, к тебе пронзен любовью.

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

РАМЗ БАБАДЖАН

Памяти армянского друга

Дай перо мне, о друг, я продолжу.
Видно, мой наступает черед.
Вот и ветер бессмертный про то же
мне за окнами нынче поет.

Где-то ждет нас в назначенном годе
день, молчаньем завешенный весь.
И друзья понемногу уходят,
остается лишь дружба навек.

Но сегодня мне, в сумерки эти,
вспоминается средь тишины,
как я ждал на недавнем рассвете
гостя-друга из братской страны,

как стихами приветствовал брата,
эти строки вином запивал,
и с Давидом сводил в них Фархада,
с Араратом его рифмовал...

Так недавно! — а даль не измерить.
Словно чья-то за этим вина —
так мучительно каждая мелочь
нынче горьким значеньем полна.

Но с отрадою я вспоминаю,
как вдвоем — армянин и узбек —
мы по нашему ездили краю,
как ты много увидеть успел.

И тебе — из неведомой дали,
из никем не открытой страны —
и нагорья армянских преданий
и узбекские нивы видны...

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

ХАМИД ГУЛЯМ

Айва

Сегодня расцвела айва с зарей —
строфа весны в тетради зимней прозы.
Плывет благоуханье над землей...
Я думал: это распустились розы.

В моем дворе, где есть на что взглянуть,
другие величавые растенья
ее готовы были зачеркнуть
своею снисходительною тенью.

Бесплодных верб и тополей зимой
не пощадил я. Был тот миг мне горек.
Под стать айве стал неказистым мой
такой густой еще недавно дворик.

Грустила оголенная трава
весной после зимы, как после сечи.
Но расцвела невзрачная айва —
на кончиках кустов соцветий свечи.

И пусть ее поил я влагой сам
и землю разрыхлил вокруг — со всеми
дивлюсь ее сверкающим цветам:
поблекли розы, уступив в красе ей.

Цветет айва, зажженная весной,
огнем, чье пламя радостно и чисто,
цветет, смущая дерзкой белизной
и соловьев, и пчел, и души чьи-то.

Цветет, сегодня краше, чем вчера,
забыв о том, как ежилась пугливо.
Ей нипочем ни холод, ни жара:
дождь не прибил и солнце не спалило.

Она способна все, что над и под —
простор и жар небес, прохладу почвы,—
вобрать в зеленый, твердый, терпкий плод,
подобный наливающейся почке.

И неподвижный зной, и ветра вой,
и холод рос она в себе смешает,
чтоб стать тяжелой золотой айвой,
что так тепло ладонь отягощает.

Я вижу осень, праздничность столов,
плод солнца спелый, золотой над ними,
и на узорном блюде — дымный плов
с айвой, чей привкус нежен и наивен.

Но это будет. А пока айва
так жертвенно, что грех просить прощенья
у верб и тополей, цветет — права
великой правотой плодоношенья.

Перевела РИММА КАЗАКОВА.

ДЖАМАЛ КАМАЛ**Касанье**

Чем дольше ты стремился к ней
глазами,
тем первое всегда страшней
касанье.
Как знать, быть может, чувства врут
и вехи
и разлучит вас это вдруг
навек?..

Когда кончается полет
негладкий,
как примеряется пилот
к посадке!
И метры заново сочти
и тонны,
пока притронется шасси
к бетону...

Чем дольше ты стремился к ней
глазами,
тем первое всегда страшней
касанье.
К строке, скрывающей в себе
глубины,
к любимой девушке, к земле
любимой..

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.



О ЧИ Е Р Ж И И Г А Ш И Х Д Н Е Й

ВЛАДИМИР ДОРОШЕНКО,
помощник бурового мастера



САМОТЛОР

И нефтяников Самотлора трудно удивить: привыкли к необычному. Оно здесь на каждом шагу. Но всесоюзный рекорд, установленный бригадой бурового мастера Петрова, и для них оказался сенсацией. Пробурить за год более 92 тысяч метров горных пород еще не удавалось никому. Большая группа рабочих награждена орденами и медалями, а бригадиру присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Сто тысяч метров — таким неслыханным достижением решили отметить буровики нынешний, определяющий год девятой пятилетки. Еще недавно о такой астрономической цифре и не мечтали.

ДЕЛО ЛУКОЯНОВА

В вагончике не продохнешь: тесно, на одном стуле по двое. Зависшее над тайгой солнце нещадно лупит в окна. От спецзвонков пахнет глиной, нефтью, потом. Сидевший на подоконнике помощник мастера Рифкат Ибрагимов не выдержал, плечом раскрыл створки. Потянуло прохладой. Понравилось: распахнули остальные окна. В комнату ворвался ровный гул бетонки. Из вагончика казалось, что по дороге идут танки.

Петров, докладывавший об итогах работы бригады за май, покосился на окно. Неторопливо промакнул лицо клетчатым носовым платком и продолжал говорить медленно, с натугой, долго пережевывая каждую фразу. Сегодня я впервые видел его при «параде». Новый коричневый костюм, белая нейлоновая рубашка. Слушали его внимательно.

— Целый год, — говорил он, — бригада была чистой как стеклышко. Душа радовалась, что переезд из Урая прошел безболезненно. Но где-то недосмотрели. За месяц у помощника бурильщика Лукоянова сразу два прогула. Не укладывается в голове, работает без году неделю, а успел наломать столько дров, что и на тягаче не утащишь... Вам решать: будем держать в бригаде прогульчиков или покажем им от ворот поворот. У меня все.

Буровики молчали, выжидая. За моей спиной кто-то прошептал огорченно:

— Расстроился Кузьмич.

Кузьмичом зовут рабочие своего бригадира. Отношение к нему уважительное, сыновнее. Его забота — чтобы люди были накормлены, устроены, обеспечены работой. Полномочия ему даны огромные, ответственность тоже. Ведь буровик что геолог: нынче здесь, завтра у черта за пазухой. И переезд на новое место — оселок, на котором обычно испытывается авторитет мастера. За первым встречным, на авось никто на край света не поедет. И сколько бы ни упирали на сознательность, долг, если мастер не может правильно организовать работу, создать условия для приличного заработка — толка не жди. У мастера заботливого, справедливого твердая дисциплина никого не тяготит: лодыря, прогульщика и пьяницу не потерпят сами рабочие. И дело не только и не столько в материальной выгоде.

В Урае, на Шаимском месторождении, зарабатывали мало: что получали — почти все проедали. На дорогу тратили по четыре часа в один конец. До буровых добирались на вездеходах, вертолетах, катерах, баржах. В любую погоду, днем и ночью. Горюшка хлебнули досыта. От макарон и сейчас отворачиваются: наелись на всю жизнь. Но никто не сбегал. Знали — по-иному нельзя, невозможно. Бригаду сплачивала взаимная ответственность, вера в каждого, в себя. И проверялась она не за бутылкой, а в труде тяжелом.

Самотлор встретил бригаду пятидесятиградусными морозами. Полосой пошли первые неудачи. Простой из-за нехватки оборудования, материалов сыпался, как горох из худого мешка. И получилось так, что на первых порах Кузьмич, вера и опора бригады, не выдержал нагрузки, оступился. Вдрызг разругавшись с главным инженером, он подал заявление об уходе. Об этом случае начальник Нижневартовского управления буровых работ № 2 Авзалетдин Гизятулович Исянгулов вспоминает теперь с улыбкой. А тогда...

— Читаю заявление, — говорит он, — а сам краем глаза наблюдаю за ним. Сидит насупившись, губы оттопырил, как мальчишка, которого незаслуженно отшлепали. Спрашиваю: «И куда же пойдешь?» «В Башкирию уеду. А то и в Урай снова. Еще не забыли. Примут», — «А бригада? Она знает?» Молчит. Ниже наклонил лобастую голову. «Значит, не знает... Хорошо, я подпишу заявление. Но что скажет бригада? Как подумают о тебе люди? Сорвались с насиженных мест, бросили все, пошли за тобой. Выходит, ты обманул их. Споткнулся о первую болотную кочку — и в самолет? Не ожидал, Григорий Кузьмич, что ты так отблагодаришь их за верность. Не ожидал...»

Может быть, именно об этом случае и вспомнил сейчас Петров, выслушивая путаное объяснение помбура Лукоянова. Может быть. Разглядываю Лукоянова. Парень на редкость симпатичный. Улыбнется — невольно и сам улыбаешься. Лицом — девица красная, а внутри — пустырь пустырем. Объясняет:

— Жена морила гараканов. Ушла в три часа на работу. Пока проветривалась комната, заснул. К утру от дуста разболелась голова. Пошел в больницу. Сделали укол. Опоздал на два часа. Вахтовые автобусы уже ушли. На попутных до буровой добраться не смог.

— А второй раз?

— Жена послала в магазин. Было поздно. Встретил знакомых ребят. Сложился, маленько вышли. Потом поцапались. Не мог выйти на работу.

— И все?

— Да.

Мне показалось, что вагончик качнулся — настолько сильной была реакция на монолог Лукоянова. Я не узнавал спокойных, всегда уравновешенных буровиков. Как ни пытался председатель собрания Петр Шилин остепенить разбушевавшееся «новгородское вече» — бесполезно. Загадели все разом. Предложения выдвигали одно жестче другого. Кузьмич молчал. Масла в огонь подлил председатель бурового комитета Галимов.

— Я коротко, для ясности, — сказал он, — чтобы вы знали, в какую копейку вылились вам фокусы Лукоянова. По производственным показателям в мае вы заняли первое место по главку. За это бригаде полагается премия — две тысячи рублей. Но вы ее не получите: есть нарушения трудовой дисциплины. Лишиться вы и премии по управлению. В итоге — каждый из вас потерял минимум по сто рублей.

Не успел сесть Галимов, сорвался с места мой сосед Шрайнер. На собрание приехал он прямо с буровой, в спецовке, влажной от пота.

— Гляжу я на тебя, Валер, и в толк не возьму, — начал он. — Парень ты молодой, вроде не дурак. Имеешь сознание. Но вот мы тебя уже битый час долбим — и ни одной вмятины. Чугунный лоб у тебя, что ли? Раз опоздал, два часа вахта просидела на автостанции, дожидаясь его величества. В другой раз, видите, случайно в загул вдарился. А ты знаешь, дурья твоя голова, если в смене не хватает одного человека, то вахта не имеет права бурить? Значит, целых восемь часов на буровой ни гу-гу. Не пройдено ни одного сантиметра. А деньги нам платят за проходку. Сам того не ведая, ты залез не только в наш карман, но и государства. Залез среди бела дня и ухом не ведешь, словно так и надо. Нет! Твердолобым не место у нас в бригаде. Уволить!

Собрание дружно запротестовало. Предложили:

— Дать строгий выговор и взять вахте под надзор... Попробовать надо. Выгнать всегда успеем.

Наблюдаю за Кузьмичом. По лицу видно: доволен. Общественное мнение сработало. Конфликт определен. Теперь или — или. При первом же новом «проколе» вопрос поставит ребром. А пока... пока надо расставить точки над «и». Сказал жестко, но без вражды:

— За прогул Лукоянов будет лишен всех льгот. Не получит премии, не пойдет летом в отпуск. Не дадут ему бесплатной путевки в санаторий, отодвинем очередь на квартиру. Учти, Валерий, зла на тебя не держим, каждый может оступиться. Но и церемониться не будем. Бригада слово свое всегда держит...

Расходились не спеша. Кто жил поблизости, отправился домой пешком. Остальные, рассевшись по «завалинкам», дружно дымили сигаретами, отпугивая комаров. Ждали автобуса. Кузьмич, освободившись от галстука, расстегнул воротник, закрыл глаза. Быстро холодало. Небо затянуло серыми низкими тучами. Днем куда-то деться от жары, а сейчас колючий ветер вызывал озноб. На Самоглоре нет ничего постоянного: все меняется на глазах, в том числе и погода. Возможны самые неожиданные фокусы. Утром хоть рубашку снимай, а вечером может повалить снег.

Мимо, беззаботно-веселый, «пропылил» с дружками Лукоянов. Чем доволен? Или общественная «баня» для него что мертвому припарка? Сказал об этом Кузьмичу. Долго молчал, не открывая глаз.

На вопрос ответил вопросом:

— По-вашему, с ходу выгонять?

— Делают же так! — ответил я. — Мы часто забываем, что на работу приходят взрослые люди. И превращать производство в детский сад — слишком накладно для государства. Воспитываем, уговариваем, а у «младенца» дети уже взрослые. Смешно. Вот и надо делать так: набе́докурил — наказали рублем. Не маленький, сразу дойдет. И так до тех пор, пока в бригаде не подберутся настоящие ребята.

Кузьмич засмеялся:

— Здорово! Раз, два — и в дамках. А копни — червоточина. Подумайте, что связывало бы людей в таком коллективе, сдерживало бы их чувства? Сознание своего долга? Нет! Страх! Боязнь в любую минуту оказаться за воротами.

— Ну и что? — возразил я. — Это поможет дисциплинировать несознательных, заставит думать только о работе, не превращать ее в перекуры с дремотой. Разве это плохо?

— Думать... — Кузьмич усмехнулся. — Где вы видели, чтобы робот думал? Он действует по программе: от и до. Ни больше ни меньше. Без души работает. А в бурении нет ничего страшнее равнодушия. Всегда чувствуешь себя гораздо сильнее, когда рядом не автомат, а живой человек. Живой! Готовый в любую минуту пойти за тобой на самый рискованный шаг. Оттого и делаем часто невозможное. Не забывайте и другое. Мы на Севере. Людей здесь негусто. Вот и приходится подстраховываться. В бригаду принимаем не каждого встречного. Отдел кадров присылает нам новичка. Две недели он стажировается. Оцениваем со всех сторон. В середине, однако, не залезешь. Бывает, ошибаемся. Но отмахиваться от живого человека негоже. Не комар. Меня вот тоже воспитывают... Главное, вовремя снять стружку и не поранить. — Тихо продолжал, все так же не открывая глаз: — Работал у нас Кашапов Асхат. Бывший моряк. Задира — поискать. Повозились с ним. Трезвый — ничего, душа парень, золотые руки. Выпьет — что конь необъезженный. Раз подрался с верховым, в кровь избил парня. Пришлось составлять протокол. Заставил расписаться. Ему сказал, что передам в милицию. Никуда, конечно, не отправил. Жена его была на сносях, сына ждали. Почему-то подумал, что этот случай не пройдет даром, примет его. И действительно — как отрезал. Выходит, разные бывают люди. К одним сразу ключи подберешь, к другим нужно время. Так и с Лукояновым. Где-то проглядели. Дали возможность... Не поймет — пусть вникнет себя.

Последние слова произнес почти шепотом. Взглянул я на него и замер: Кузьмич спал, прижавшись широким затылком к металлической стенке вагончика. Попригнали

ребята. Знали: дома их ждал отдых, прохладная чистая постель. А он? Он просто мог не доехать до дома. В любую минуту его могут вызвать на буровую. В любую! Ведь он мастер — царь и бог, за всех и вся в ответе. Да, тяжела ты, шапка Мономаха, тяжела.

ОТКРЫТИЕ ВЕКА

Так и случилось. Через полчаса в новеньком оранжевом «Урале» мы уже мчались на 77-й «куст» бригады. Там, закончив бурение скважины, вахта Александра Шрайнера готовилась к спуску эксплуатационных колонн. Но неожиданно заели центраторы. По рации вызвали Кузьмича. Шофер Василь, молодой белобрысый парнишка, азартно бросал машину на рискованные обгоны. Стрелка спидометра ниже восьмидесяти не спускалась. Мимо нас с утробным ревом, переходящим в затяжной свист, проносились мощные «Татры», «КРАЗЫ», «Ураганы». По обочине ползли вездеходы, канадские «Формосты». Белая лента шоссе, выложенная из прямоугольных железобетонных плит, терялась в зыбком мареве таежной топи.

Лязг железа, оглушающая перебранка тягачей. Вот она, знаменитая самотлорская бетонка. Не верилось, что за этим узким бетонным шнурком на сотни километров липкая, безысходная трясина. А человек взял и построил дорогу. И не временную лежневку, а капитальную. Каждый километр ее обходится примерно в миллион рублей. Не дешево. Но другого выхода нет. С дорог нефтепромысел начинается, ими он и кончается. По подсчетам специалистов, на Самотлорское месторождение необходимо перевезти более миллиона тонн грузов. Буровым, лежневкам, кустовым и дожимным насосным станциям нужны песок, бревна, трубы, оборудование. До Нижневартовска — столицы Самотлора — они идут двумя потоками: по воздушному мосту и по многоводной Оби. Караваны барж... С Большой земли везут все — вплоть до обычного речного песка, гравия. На Самотлоре песок — основа основ. Из него возводят дороги, насыпают улицы, скверы, тротуары. Он надежный союзник человека в борьбе с неприступными болотами. А они здесь везде. Супи всего лишь десять процентов. Остальное — топи, комариные мари, озера. Потому и гудит, грохочет, горбится под тяжестью грузовиков работяга бетонка — единственная ниточка, связывающая гигантское месторождение с городом, портом, продовольственной и промышленной базой.

Необыкновенное шоссе уже опоясало озеро. По краям ребраются раздавленные бревна. Ненасытные болота уже проглотили добрый десяток тракторов и вездеходов. А макушка стрелы экскаватора, соскользнувшего с настила, видна и поныне.

Чем ближе накатывался на нас Самотлор, тем заметнее редела, вырождалась тайга. Кедровые боры, подбеленные рошицами берез и осин, сменились чахлыми уродцами. Еще несколько километров — и за кабиной поплыла серовато-зеленая равнина, проткнутая жердочками карликовых сосенок. Они уже засохли и беспомощно тянули к солнцу крючковатые обрубки. Сбоку, слева и справа от бетонки — лоснящиеся туши нефтепроводов. В три, четыре ряда. Огромные черные ужи. Они, как и дорога, спешили туда, к Самотлору, к его неисчерпаемым кладовым. По этой рукотворной нефтяной реке самотлорская нефть идет на Альметьевск, в промышленные центры страны, вливается в европейскую систему «Дружба». Рядом со стальными ветеранами монтажники укладывали, сваривали новые. Шеренги экскаваторов, трубоукладчиков, тракторов и бульдозеров. Такого обилия техники не знала еще ни одна стройка. Болото разворочено траншеями. Люди торопятся. Пока еще весна, пока еще солнце не сожгло, не растопило зимний панцирь, спасительную опору. На взлобках пока сухо, но в низинах коричневая, как крепкий чай, жижа захлестывала по буфер машины, засасывала все, что попадало, неосторожно срывалось с тверди.

— Не успеют, — вздохнул Кузьмич. — Через неделю здесь и ногой не ступишь. Разольет.

— И как же?

— До зимы теперь. Пока не замерзнет снова. Жалко. Нужна тара. Ох как нужна. Из-за поворота выскочил автобус. Увидев нас, поиграл фарами.

— Что-то случилось. Останови! — приказал Петров Василию.

Притормозили.

— Вертайтесь! — крикнул высунувшийся из кабины чубатый парень. — На сорок третьем километре размыло бетонку. Плиты просели, не проехать.

— Вот те на! — воскликнул Василь. — Полпути отмахали — и назад. Чего же знаков не поставили?

— Мы утром едва проскочили, — пояснил чубатый. — Предупредили начальство. Чешутся, не дошло пока. Ну ладно, бувай..

— Теперь на Белозерку надо подаваться, — вслух рассуждал Василь. — Лишку, правда, километров двадцать, озеро обогнем с дальней стороны. Ждать, пока засыплют, — дохлое дело. Поехали?

— Валяй, только побыстрей..

Начали разворачиваться. Внизу за дорожной насыпью, у редкого перелеска два бульдозера готовили основание под трубопровод. Вдруг крайний как-то странно ткнулся носом и начал погружаться в коричневую жижу.

Растерянно выпрыгнули на бетонку. Тракторист пытался вырвать машину из цепких объятий трясины. Двигатель надрывно выл, кашлял. Бульдозер дергался, раскачивался. Но каждый рывок вместо продвижения вперед все круче заваливал его на левый бок.

— Бросай! — закричали мы все разом. — Спасайся, парены!

К пострадавшему спешил второй бульдозер. Мы же по-прежнему толпились на обочине. Между нами и попавшим в ловушку трактористом лежал широкий топкий зыбун. Так и стояли зрителями, нервно сцепив пальцы. А ребята закрепили трос. Разбежались по машинам. Газанули раз, другой. На третьей попытке лопнул трос. Мы ахнули. Бульдозер, сверкнув на солнце отполированным серебром гусениц, резко дернулся, крутнулся судорожно и быстро пошел на дно. Но тракторист не покидал машину. С каким-то обреченным упорством он продолжал бесплодную борьбу. Заглох мотор, скрылись гусеницы, а он все не показывался. Видно, заклинило дверцу.

Нет ничего страшнее, когда на твоих глазах гибнет человек и ты бессилён ему помочь. Но он все-таки спасся, выкарабкался из залитой кабины, которую кувалдой открыл его напарник.

— Фу ты, черт! — выругался Кузьмич. — До инфаркта дойдешь. Не на буровой, так в дороге схватишь. Поехали..

Белозерская дорога охватывала озеро с юга. Растительность здесь побогаче. Лес даже чем-то напоминал Подмоскovie: березы, осины, ели и, конечно, разлапистый кедрач. Природа — хозяйка рачительная. Любое возвышение, сухой бугорок забиты до отказа. Деревья дыбятся непроходимой стеной. Стоят, как курганы, среди плоской зыбуцей равнины. И вдруг свет, яркий, ослепительный...

— Самотлор! — закричал Василь. — Гляньте!

— Где?

— Вон слева! Подскачим почти впритык.

И действительно, бетонка, вырвавшись из зеленого оазиса тайги, круто вильнула в сторону, прижимаясь к берегу озера. Василь сбавил газ. Самотлор.. Вот она, «нефтяная жемчужина страны», «открытие века», «мировая сенсация 70-х годов». Какими только эпитетами не наделили его люди. Ханты назвали его Мертвым озером. Древним обитателям Приобья подозрительным казалось это забытое богом место. Чудилось им, что огромная чаша наполнена не водой, а какой-то черной маслянистой жидкостью. Дует ветер, а волн почти нет. Сколько легенд, страхов, догадок..

Да, волн действительно не было. И ветра тоже. Повисшее над дальней кромкой тайги солнце покрыло озеро серебристой фольгой, укутало прозрачным маревом. Без темных очков невозможно смотреть. Море.. Великое живое море. Противоположного берега почти не видно. Он сросся с небом. Рваными зазубринами-лиманами Самотлор лепяется за плоскую равнину, переходя в зыбун, топь. По краям его, как корабли на рейде, высились, подпирали белесое небо черные вышки буровых. За ними бились о землю огненными крыльями газовые факелы. Даже днем факелы подпаливали небо, и оно отливало золотистой лазурью, а ночью — тревожным пульсирующим заревом.

Самотлор.. Край мужественных людей, острых проблем, невероятных открытий, нефтяная надежда, опора страны. И кто бы мог подумать, что всего несколько лет назад этот край считался бесперспективным. Подумывали даже возвести в низовьях

Оби плотину и затопить болота, превратить почти всю Западно-Сибирскую низменность в искусственное море. И вдруг — подземный нефтяной океан!

Вдруг ли? Сейчас Самотлор, тысячекилометровые северные топи, называют чудом XX века, нефтяным Клондайком. И мало кто знает, что к этому «чуду» советские геологи-энтузиасты шли годами. В марте 1961 года у поселка Мегион забил первый нефтяной фонтан. Через четыре года геологи добрались до Самотлора.

Месторождение уникально не только своими громадными запасами. Проста и структура залежи. Нефть здесь обильно пропитала мощные пласты пористого песчаника. Подпираемая водой, она скопилась в богатейших ловушках-изгибах, вздутиях горизонтов. На Самотлоре эти подземные цистерны невероятно велики. И наполнены они черным золотом самой высокой пробы. Причем все скважины фонтанируют, нефть идет сама, лишь успевай подставлять «посуду». Уже в нынешнем году тюменская жемчужина даст более 60 миллионов тонн самого чистого, самого дешевого топлива. Такого стремительного роста практика нефтедобычи не знала.

Западные эксперты, нефтяные короли забили в колокола. Шутка ли, под клочком земли запрятаны моря нефти. На Самотлоре намечено пробурить около трех тысяч скважин. В скором времени только одно Самотлорское месторождение даст более ста миллионов тонн высококачественного сырья — больше, чем все нефтепромыслы Татарии, еще недавно занимавшей по добыче первое место в стране. Но и это не все. Ученые и геологи уже открыли новые кладовые черного золота, расположенные вблизи Самотлора, являющиеся спутниками месторождения-гиганта.

Люди сумели отыскать отмычку и к болотам. Пошли по единственно верному и самому разумному пути. Протянули до и вокруг Самотлора капитальное шоссе. От него, как ветви от ствола, отпочковались лежневки — временные дороги, выстланные из бревен и песка. Они идут к «кустам» — оригинальным сооружениям, позволяющим бурить в самых гиблых, практически непроходимых местах.

— Кусты, — рассказывал Петров нашему спутнику, журналисту, — сооружаются обычно зимой, когда болота скованы морозом. Места задают геологи. Бульдозерами срезается верхний слой. На подготовленную площадку настилают осиновые бревна, которые потом засыпают песком. Да вот, кстати, — кивнул в сторону Кузьмич, — можно посмотреть в натуре. Осанови, Васек.

Метров в тридцати от бетонки прямо на земле лежал огромный плот. Длина его примерно метров пятьдесят. И ширина не меньше. Бревна уложены одно к одному, в два наката. Их уже заваливали песком. Многотонные самосвалы подкатывали один за другим. Желтоватые холмики песка тут же утрамбовывал, разравнивал бульдозер.

— Закончат строители, — пояснял Петров, — придут вышкомонтажники. Проложат рельсы и на железнодорожное основание поставят буровую вышку. С одного куста мы обычно пробуриваем семь — пятнадцать наклонных скважин. Расстояние между ними примерно три метра. Железнодорожные тележки позволяют нам передвигать буровую почти без демонтажа. Восемь тракторов перетаскивают вышку легко. Выгрыш во времени огромный. А для Самотлора это особенно важно. В летнюю пору мы на бурение скважины затрачиваем неделю. Так что на учете каждый час.

Сказал и невольно взглянул на часы. Покачал головой. Заторопился к машине. Время, время... На Самотлоре оно действительно на вес золота. Стране нужна нефть, много нефти. И дать ее могут только буровики. «Урал» уже не мчится, а летит. Упругое сиденье подбрасывает, как батут. И чтобы не стукнуться головой, упираемся руками и ногами в стены и пол кабины. Но даже при такой тряске клонит ко сну. Сказывается кислородная недостаточность. Здесь содержание кислорода в воздухе ниже обычного на четверть. Оттого и хочется спать всегда, особенно в машине. Позевывает и Василий. Стараясь хоть как-то отогнать дрему, обращается ко мне, ласково хлопая по красной обшивке кабины:

— Как моя ласточка? Хороша? Первая на автобазе в зимнем исполнении. Стекла задраишь, включишь печку — и мороз побочку. Красота.

Чтобы поддержать разговор, спрашиваю:

— На Севере давно?

— С пеленок. Родители привезли.

— И как?

— Нормально! Раньше здесь дыра темная была. А теперь Вартовск — город. Когда в армии узнал, что нашему поселку присвоено звание города, не поверил. Три двора, два кола — и вдруг город. Приехал и не узнал. За три года чудо-юдо. Там, где мальчишкой едва с шестом проходил — бетонка, тротуар. На месте болота пятиэтажки. Нормально.

Знакомое чувство. Когда вылетал из Москвы, думал, что отправился в тмутаракань. Это настроение не развеял и прямой рейс Москва—Нижевартовск. Свой аэропорт. Принимает он не только «кукурузников», но и таких красавцев, как «ТУ-134». Прилетел и разочаровался. Мечтал отдохнуть от сумасшедшего ритма цивилизации, муравьиной сутолоки и бензинного чада, а попал в центр Нижевартовска и минут пять не мог перейти улицу — сплошная стена грузовиков.

Вместо дикого охотничьего стойбища — современные кварталы пятиэтажных жилых домов. В ресторан «Огни Сибири», как и в Москве, не пробиться. Очередь и в кафе «Белоснежка», «Молодежное». По вечерам вместо охоты и рыбалки, задушевных бесед у костра — «Говорит и показывает Нижевартовск». Смотри что хочешь: Москву, Тюмень, Новосибирск. Для студентов-заочников по телевизору читают лекции доктора наук, видные ученые, специалисты. Вот вам и Север, вот вам и таежная глухомань! И все это нефть. Она здесь главная движущая и преобразующая сила.

— Я мотаюсь по буровым уже двадцать пять лет, — рассказывает Кузьмич журналисту. — Повидал всякого. Какой-то перекося происходит. Устраивается человек на работу, заключает на три года договор. Но приходит срок, а он и не думает укладывать чемодан. Живет еще три-четыре года. Но в душе, в мыслях он по-прежнему считает себя временным. Когда же жена допечет, начинает утешать: «Ну еще годок, еще два, а там...» Годы летят, а он все еще не может решиться. А ведь у многих на родине свой дом, квартира, есть и машина. Мы вон с женой лет пятнадцать собираемся. Дети подросли, сами стариками стали, а все кочуем...

Слушая Кузьмича, я невольно вспомнил недавний разговор с Анатолием Вахтеровым. Он старший инженер-технолог, прикреплен к бригаде Петрова.

— Едем в отпуск, — рассказывал Анатолий, — берем с собою две тысячи рублей. Отдыхать, так с музыкой. В Тюмени у меня «Жигули». Да на книжке на черный день кое-что лежит. Вот так и живем. В месяц выходит до шестисот рублей. Негусто, правда. Бурьяльщики забывают до тысячи. Приезжают на Большую землю, как цари. Деньги, знаешь, балуют. Быстро привыкаешь не считать рубли в кармане. И от этой заразы трудно избавиться. Многие покидают Север, уезжают на Большую землю, да ненадолго. По-растрясут капиталишко и назад. Не могут: слишком сильно проела жрало большого кармана.

«Ржа большого кармана»... Этой болезнью заражена некоторая часть молодежи, новички, впервые попавшие на Север. Высокий заработок, коллективизм общежитий и самое обыкновенное ребячество почему-то вызывают непреодолимый зуд поиграть в «мультимиллионеров». Отсюда широкие жесты, перстни, кольца и прочая мишура, создающая иллюзию нмного превосходства над «мелкотсой», которую здесь окрестили «жмотами».

Как-то субботним вечером я отправился в кафе «Белоснежка». Оно было закрыто: буровики справляли комсомольскую свадьбу. У входа встретился с группой принаряженных ребят. Среди них особенно выделялся один — ростом и сногшибательным туалетом. Спортивного покроя дорогой темно-серый костюм. Из-под модной шляпы рыжий чуб. Голубая рубашка с ярким галстуком. Я даже позавидовал: где это он умудрился раздобыть такой? Галстук, видно, был его гордостью. Он то и дело поправлял огромный узел. Чтобы не сдвинуть в сторону, не смять, голову держал неестественно прямо, высоко вскинув подбородок. Товарищи подшучивали:

— Смотри, Петро, не загуди носом о тротуар. Это тебе не буровая.

Петро скосил взгляд на белые от пыли мокасины. Сморщился. Повертел на ступеньке носком. Пыль ни с места, словно приварилась. Мимо, смеясь, пропорхнула стайка девочек в аккуратных туфельках. Петро решительно снял шляпу. Оценивающе повертел ее, зачем-то понюхал и, как щеткой, начал обмахивать туфли. Отполировал, полюбовался зеркальным блеском. Затем небрежно сунул шляпу в урну и важно зашагал по ступенькам. Знай наших!

Смешно, конечно. Но это стремление пустить пыль в глаза со временем проходит. Остепенятся, обзаведутся семьями. А пока можно и потешиться на манер героев дедовских побасенок об удачливых старателях. В какой-то степени это и протест, вызов тем, кто прибыл сюда ради денег, мещанского благополучия, ради пресловутого счастья «потом»: вот-де соберем, поднакопим, а там, на Большой земле, разгеемся. И копят, трясугся над каждой копеейкой, недоедают, ходят в спецовках, лишь бы собрать. К счастью, такие гобсеки долго на Севере не задерживаются. В тайге, болотах один ничего не сделаешь, не проживешь особняком. Дух товарищества, бескорыстной взаимовыручки захватывает тебя целиком.

О встрече у кафе рассказал Петрову. Он рассмеялся:

— Пацаны. Когда-то и мы были такими. Хотели удивить мир. Когда дышится легко, то и работа не в тягость...

Наконец показался 77-й «куст» — маленький клочок искусственного островка среди необозримой топи. В центре его буровая вышка с длинным рукавом эстакады: желоба, емкости с раствором, склад с химикатами. Между ними приземистый ангар насосной. С края пригнулись два вагончика: столовая и конторка. Кузьмич нетерпеливо заерзал. Не успела машина остановиться, выпрыгнул на песок. На мостках с трубами собралась вся вахта. Плечистый помбур Ратмил Фиазов кувалдой пытался набить на трубу центратор — металлический бочонок, сплетенный из продольных стальных полос. Буровики называют его «фонарем». Деталь доброго слова не стоит, но без нее колонну не спустишь. Опираясь о стенки наклонной скважины, «фонарь» ставит ее точно по центру. И вот он оказался негодным — мал диаметр. Сколько помбур ни «эжал» — ни с места. «Фонарь» гнулся, но по трубке не продвигался.

— Брось, — сказала Кузьмич хмуро, — не рви пупок попусту. Давно копаетесь?

Стоявший рядом бурильщик Шрайнер буркнул:

— Четыре часа. — И тут же в сердцах пнул сапогом злосчастный центратор. — Взять бы его да на голову конструктора напялить. Может быть, тогда бы дошло...

На «газике» подъехал Вахтеров. Увидев в руках Фиазова кувалду, сморщился, как от зубной боли:

— Опять?

Кузьмич кивнул.

— Как видишь. Четыре часа корова языком слизнула. Хоть волком вой. Привез сварщика?

— Да, уже готовится.

— Поторопи его. — И к журналисту: — Полюбуйтесь. Изготавливает центраторы Московский опытный завод Научно-исследовательского института буровой техники. Писали, писали... Воз бумаги извели.

Действительно, хуже не придумаешь. Помбуры брали совершенно новый центратор, выбивали из него опорный штырь. «Фонарь» разваливался на две половинки. Их накладывали на трубу, и сварщик приваривал к ним пластинку, увеличивающую диаметр кольца на четыре миллиметра. Казалось, что проще сделать это на заводе, выпустить центраторы не 168, а 172 миллиметра. Так нет, не доходит.

И другое: по законам логики наука, инженерная мысль всегда должны отвечать запросам времени. Увы, не всегда. В гостинице «Самотлор» со мной жил конструктор НИИнефтемаша Леонид Викторович Кузнецов. В Тюмени и Нижневартовске он второй месяц пробивает новую буровую. Начальник Главтюменьнефтегаза Виктор Иванович Муравленко поддерживает его, как говорится, руками и ногами. Если бы не он, идея о буровой, хоть как-то отвечающей условиям Севера, так бы и повисла в воздухе. Главк выделил деньги на проектирование, помогает строить опытный образец. Однако для массового производства «северянки» потребуется время. Да еще и неизвестно, пойдет ли она. Спрашиваю конструктора:

— Как же получилось? Промышленную добычу нефти в Западной Сибири начали с шестьдесят четвертого года. Минуло десять лет, а на Север буровые по-прежнему приходят неутепленные. В чем причина? Ведь геологи предсказывали давно богатейшие запасы нефти.

— Предположение — это еще не основание для развития такого огромного района, как Западная Сибирь, — ответил мне Кузнецов. — Ждали более убедительных подтверж-

дений. Поэтому, естественно, денег на проектирование буровой в северном исполнении никто не давал. Вот и выпускаем установки, рассчитанные на бурение в условиях Азербайджана, Татарии. Они же идут и в Сибирь.

— Но за десять лет можно было перестроиться и наладить массовое производство нужных буровых.

— Можно-то можно. Но на чем? У нас пока нет специализированных предприятий, которые бы могли чутко реагировать на требование времени. Буровые установки, как правило, выпускают заводы, разные и по профилю и по технической оснащённости. На «Уралмаше», например, они вспомогательная продукция, приравненная к ширпотребу. Отсюда, естественно, и качество, не говоря уж о быстроте реакции на изменившуюся ситуацию.

Пока Кузьмич ругался с диспетчером, я забрался на вышку: высота более сорока метров. Даже в тихую погоду здесь разгуливает ветер. Вахта заканчивала подъем буровых труб — «свечей» по двадцать пять метров каждая. Внизу надрывно воет лебедка, шипят, словно рассерженные змеи, пневматические тормоза. Вышка дрожит, качается, как палуба корабля. За брезентовым пологом — мизерной защитой от ветра — плащуют о металл трубы. Это второй помощник бурильщика — верховой — принимает и устанавливает в «магазин» подаваемые снизу «серебряные сигары». Николай Ефимов на узкой площадке, где трудно и развернуться, чувствует себя как дома. Юркий, быстрый, он успевает и трубу вовремя принять и отвечать на вопросы. В бурении десять лет. На Самотлор прибыл из Урая вместе с Петровым. Объясняет:

— Ребята ехали. А я что, лысый? Куда без них? Привык. Да и работа по душе. Высота. Тайга как на ладони. Скучать не приходится. Не успеваю и глазом моргнуть — уже конец вахты. Работа здоровая, для мужчин полезительная. Бицепсы что трубы.

— А зимой?

— Ничего, бегаем.

— Как?!

— Вот так.

Николай втянул голову в плечи и, согнувшись, затрусил по металлическому пятаку. Вперед-назад, вперед-назад.

— И помогает?

— Ничего. Будешь стоять, запросто в сосульку превратишься.

Вот так всегда: ни жалоб, ни плаксивого нытья на неустроенность. И если уж совсем дойдет, вспомнит в сердцах бога и черта. Вроде полегчает, и снова «вперед-назад, вперед-назад». Таковы нефтяники Самотлора...

В бригаде Петрова работает лаборанткой Валя Гаврилова. Ей девятнадцать лет. В Куйбышевском окончила курсы бухгалтеров. Но все бросила, уехала в Нижневартовск покорять Самотлор. Мать в слезы: не пуццу! Сбежала. Решила твердо: «Нефтяником все равно стану».

Нефтяник... А сама от горшка два вершка. Лицо сплошь усеяно рыжими конопущками. Голубые глаза светятся задором. Ходит в красном свитере, синих шароварах. На шее секундомер. По нему она замеряет вязкость раствора. Всю смену возится с зеленоватой жидкостью. Руки не сохнут. И ничего: нравится! Кузьмич, довольно улыбаясь, рассказывал:

— Когда бригада поставила всесоюзный рекорд, всем буровикам выдали именные часы. Получила их и Валентина. Шутя сказал ей: «Помни, от качества раствора зависит скорость бурения. Держи его на уровне». Теперь каждый час спрашивает: «Григорий Кузьмич, сколько прошли?» «Двести сорок пять». Ответ записывает в специальную тетрадку. В одной графе — состав раствора, напротив — пробуренные метры. Вдуматься — с таких вот мелочей и начинается настоящий буровик.

Напористость, непрерывный поиск — примечательная черта самотлорских буровиков. Известно, что буровая БУ-75 малоприспособна для Севера. Зимой производительность снижается наполовину. Чтобы вышка не превратилась в айсберг, ежечасно приходится скалывать наледи. Малейшее промедление, зевок — и прихват обеспечен. Мороз тут же закует в ледяной панцирь водяные линии, ротор, автоматические ключи. Вот и парит буровая, отдувается липким белым туманом, согревая сама себя. Зимой пар для буровиков все: солнце, тепло, жизнь. Без него бы они не проработали и часу.

Не один месяц мозговали Вахтеров и Петров над утеплением ротора — самого уязвимого места в холода. Прикидывали и так и сяк. Получилось! Старший инженер-технолог (кстати, техник по образованию) и буровой мастер сделали то, что обязаны были предусмотреть конструкторы. Идея проще простого. Они приварили к нижней полый части ротора стальной лист и подвели к нему пар. Теперь на дворе сорок пять градусов мороза, а на поверхности ротора сорок тепла. И никаких проблем. Бури сколько влезет.

Но и здесь, как говорит Кузьмич, не обходится без перекоса. Главный камень преткновения — перестраховка, извечный принцип определенной категории людей: своя рубашка ближе к телу. Предложил Вахтеров промывать скважину с глубины пятьсот метров не обычной технической водой, а жидкостью со специальными добавками на нефтяной основе, которые полностью растворяют нефть и тем самым улучшают смазку долот. Такой прием почти вдвое увеличивает скорость работы. Применили на свой страх и риск. В итоге — рекорд! За десять часов пробурено 906 метров! Казалось, нужно внедрять немедленно. Но у некоторых работников управления на этот счет свое мнение.

— Не спеши, Анатолий Николаевич, — уговаривают они Вахтерова. — Не спеши. Зачем все сразу? Проверить надо. Что, если сядем? Что с нас подумают тогда?

ПОЕДИНОК

Жарко. Пыльно. Небо прокалено добела. И это на Севере. Кузьмич растерян. Лицо потное, обрюзгшее. Щелки глаз совсем затекли, точно его искусали пчелы. Впервые вижу его таким расстроенным. Все шло хорошо. И на тебе — грянула беда, отворяй ворота. На 77-м простой, здесь, на 311-м «кусте», вышли из графика. Вдобавок забарахлил передатчик. А без связи как без рук. И машина сломалась. Вот и топает мастер от одного «куста» к другому. А это четыре километра, грязь, песок по щиколотку и тридцать градусов в тени. Растеряешься поневоле. Тем более последний день: завтра в отпуск. Путевка в Сочи лежит в кармане.

К вечеру случилось ЧП на незадачливом 311-м «кусте». При спуске кондуктора у вахты Мухаметдинова произошло осложнение — не «пошел» кондуктор. Ох уж этот кондуктор... А что делать? С него начинается скважина. Крути не крути, а четыреста метров вынь и положи. На Самотлоре в этом промежутке расположены слои, богатые пресной питьевой водой. Чтобы защитить их от загрязнения раствором, нефтью, и спускается кондуктор — стальная труба диаметром триста миллиметров. Для герметичности пространство между трубой и породой цементируют. Бурить легко. Песок, глина. Турбобур входит в породу как в масло. А вот спустить кондуктор не всегда удается с ходу. На Самотлоре почти все скважины наклонные, чтобы меньше строить «кустов». Вот и попробуй загони в эту наклонную скважину стальную машину. Чуть что — стенка скважины обвалится, сразу выступ. А это конец. Труба на этом выступе тут же встанет.

Нефть... Прежде чем до нее доберешься, сто потов сойдет. Скважина не просто круглое отверстие в земле, через которое хлещет нефть. На Самотлоре она целое сооружение, закованное в сталь и бетон. И опасность на каждом шагу. Месторождение — слоеный пирог из газа и нефти. На глубине восьмьсот метров дремлет коварный и грозный Сеноман — газовый пласт. Чуть-чуть зазевался бурильщик, уменьшил удельный вес раствора — и выброс неминуем. Трубы, как соломинки, разматает, дохнет чистейшим газом, и огненный смерч загуляет по буровой. Ниже, где-то на глубине тысяча двести — тысяча четыреста метров, притаился его старший брат — Талицкая свита. И опять газ, много газа под колоссальным давлением. Держи только, удерживай. Так что не просто дойти до черного золота (а нефтяные пласты лежат на глубине тысяча восьмьсот — две тысячи пятьсот метров).

Но пробурить скважину — полдела. Чтобы она работала, давала нефть, ее обустроят. Выбрасывают бурильные трубы (их используют только для бурения) и спускают в нее стальные колонны. Их тоже цементируют. Потом геофизики на уровне залегания пластов простреливают колонну, превращая ее в решето, через отверстия которого и поступает нефть из пласта. И снова трубы. Теперь уже НКТ — насосно-компрессорные. Через них из скважины выдавливается оставшийся после бурения раствор, вода, под-

нимается на поверхность нефть. Но это все потом. Сейчас Кузьмича интересовал кондуктор.

Он сидел на корточках перед стоящим на полу передатчиком и слушал перепалку дежурного диспетчера со своим помощником. Рация 311-го не принимала. Чтобы подсказать Ибрагимову, он должен был все объяснить диспетчеру, а уж тот Рифкату.

— Кузьмич, Кузьмич! — надрывался диспетчер. — Он хочет поднять кондуктор! Что делать?

— Спроси его, — устало проговорил Петров, — сколько труб спустили?

— Ибрагимов, Ибрагимов! Кузьмич спрашивает, сколько труб в скважине?

— На двадцать четвертой колонна стала. На двадцать четвертой.

Кузьмич не двигался. Его лицо ничего не выражало, кроме полусонного равнодушия. Набухшие веки совсем закрыли глаза. Казалось, что он спал. Но это только казалось.

— Алло, диспетчер, — твердо проговорил Кузьмич, — передай: поднимать кондуктор не нужно. Пусть спускает турбобур и разбуривает пробку. Ты меня понял?

— Алло, алло! Диспетчер! — зачастил Рифкат. — Я же объяснил, что надо поднимать кондуктор. Пробыться невозможно. Пытались...

Кузьмич безнадежно махнул рукой и на рацию больше даже не глядел, хотя диспетчер с помощником продолжали бесплодную дискуссию. Вышли из вагончика. Солнце село. Но по-прежнему было светло. Прохлада северной ночи приятно освежила лицо, мокрую от пота спину. Наступила та короткая, но благодатная пора, когда уставшее за день солнце «присело» за дальнюю кайму тайги, чтобы через час-другой, отдохнув, снова выкатиться на небо. И уже в три часа ночи будет так же жарко и душно, как днем. В первое время мне казалось, что солнце висит над головой: взлети на вертолете — и дотянешься до него рукой. Зрительный обман создавали плоские болота, низко нависший, почти лежащий на вершинах кедров белесый шатер неба. Чувствуешь себя неуютно, будто ты на краю света и там, за тайгой, уже начинается преисподняя.

Кузьмич сонно прощупал взглядом небо. Расстегнув выгоревшую хлопчатобумажную куртку, провел, словно умываясь, ладонью по лицу и спокойно заплыл по лежневке на 311-й «куст». Его ждали. Переоделся. На буровую поднялся в коричневой каске и зеленом брезентовом плаще. Огромные резиновые сапоги дополняли его рабочий наряд. Привычно стал к пульту бурильщика. Куда девалась прежняя сонливость, вялость. Движения расчетливы, взгляд небольших карих глаз тверд, уверен. Таким, наверное, и должен быть настоящий бурильщик.

Но Кузьмич не играл, не представлялся. Двадцать пять лет — срок, когда работа становится продолжением натуры человека.

Кузьмич кивнул бурильщику, и тот послушно занял место первого помощника. И так всегда: кивнул, сказал два-три слова — и помбур Хасаншин уже был у ротора, готовый принять первую «свечу». Как он добился такого единства действия людей, разных по характеру, служебному положению? Раис Хасаншин — высокий, сильный парень. Рябоватое лицо, волевой подбородок. Он никогда не стоит на месте, всегда в движении, не раздумывая идет на самые рискованные операции.

Буровая не поточная линия, где человек изо дня в день выполняет одну и ту же операцию. Да, здесь существует разделение труда, специализация. Каждый знает свое место, любой в случае надобности сможет подменить товарища, прийти на помощь. Все как на обычном производстве. Разница лишь в том, что здесь рабочий имеет дело не с металлом или деревом, а с живой природой, от которой можно ожидать любого подвоха. Не зря говорят: «Бурильщик, что сапер, ошибается один раз». Так что человек-автомат здесь не подойдет, сломается. Слишком все быстротечно. Предусмотреть, запрограммировать события иногда просто невозможно. Один из таких «сюрпризов» природа преподнесла сегодня.

Как ни пытался Кузьмич «оживить» спущенный турбобур, ничего не получалось. Поммастера Рифкат Ибрагимов стоял в стороне. Молчал. Но по лицу было видно: доволен. Ведь он сразу предлагал поднять кондуктор. И не без основания. За девять лет работы на буровой он прошел такой университет, который не только расширил его инженерный горизонт, но и научил точно ставить диагноз, понимать капризы бурильного инструмента. И вот теперь его предсказания сбывались. Бурильщик Мухаметдинов хмурился. Он был того же мнения, что и Рифкат. Преданными помощниками у

Кузьмича оставались лишь помбуры Раис Хасаншин и Рафим Уреханов. Они стремглав выполняли все команды мастера.

Подняли из скважин негодный турбобур, заменили новым. Начали спускать его на забой. А для этого нужно соединить ни много ни мало двести тридцать метров бурильных труб. Присоединили одну «свечу». Опустили. За ней вторую, третью. Вверх, вниз, вверх, вниз. Скважина одну за другой жадно заглатывала их. При торможении привод лебедки тяжело вздыхал, отдавался, как допотопное животное, и вся вышка, подмости вздрагивали мелкой дрожью.

Кузьмич увеличил давление. Стрелка индикатора веса угрожающе метнулась к запретной черте. Сбавил. Потом опять тихо, тихо — вниз, вниз, пошел! Где-то там, на глубине двести пятьдесят метров, турбобур, как слепой крот, начал вгрызаться в породу. Лицо Кузьмича просветлело. Повеселели и помбуры. Раис, смеясь, толкнул плечом Уреханова и, кивнув в сторону мастера, показал большой палец.

— Я тебе говорил... Это же Кузьмич...

Взглянул на Ибрагимова. Помощник постоял-постоял, словно ожидая чего-то, и так же молча начал спускаться по лестнице. И вовремя. Не успел скрыться, как раствор неожиданно полился через рот.

...Одна попытка следует за другой.

То снижая, то вновь увеличивая давление, Кузьмичу удалось углубить турбобур еще на несколько метров. Но по выражению его застывшего лица, хмурой сосредоточенности помбуров чувствовалось, что это не те метры, что «пробка» по-прежнему стоит непроходимой преградой на пути обессилевшего турбобура. Еще несколько метров — и он стал окончательно.

Попритихли ребята, с тревогой поглядывая на Кузьмича. Для них это первое серьезное боевое крещение. А для него? Сотое, тысячное? Что придумает он на сей раз? Сидит на стальной чухке элеватора. Молчит. Только брови сцепились у переносицы.

— Пробьемся, Кузьмич? — спрашиваю я.

— Пока не ясно. Пока ничего не ясно.

Колоколом звенят над головой «серьги» крюка. Содрогаются вышка. Поражение... Кузьмич выключил лебедку. Не спеша прошлепал по грязи на открытую площадку. Закурил. Сделал три затяжки и тут же бросил едва начатую сигарету. Ничего не попишешь. Кондуктор придется поднимать. Я любопытствовал:

— А можно?

— Нужно. Если не вырвем, то надо забуривать новую скважину. А это минимум два дня да плюс нынешний — три.

...Давно уже перевалило за полночь. Давно уже спят люди, набираясь сил для наступающего дня. А здесь, на далекой самотлорской буровой, горстка буровиков продолжала вести нелегкий спор с природой. Мысленно я уговариваю Кузьмича: «Отдохни. Ты же ведь не железный. Сутки на ногах. Вторую ночь без сна. Зачем? Ведь сейчас не война. Ну обгонит тебя в июне Левин, больше пробуришь в июле. Не деньги тебя толкают на такой беззаветный труд-подвиг. Знаю. Слава? У тебя уже есть орден Ленина и орден Октябрьской Революции. Твой портрет висит в Нижневартовске на аллее Славы. В свои сорок три года ты можешь позволить себе роскошь — спать по семь часов в сутки». Вслух произнести эту тираду я, конечно, не решаюсь...

Кузьмич режет трубу сваркой, усыпая песок золотыми звездочками расплавленной стали. Ему просто необходимо к утру поднять этот проклятый кондуктор, чтобы новая вахта смогла бурить, наверстать упущенное. Вот и прожжено отверстие. В него просунули огромный стальной болт. Петлей накинули на концы трос. Пойдет или не пойдет? Чтобы не сглазить, шепчу:

— Не пойдет, не пойдет.

Струной запел канат. Внизу четырнадцать тонн. Выдержит? Лебедка стонет, задыхается. Минута, вторая... Труба закачалась и медленно, почти незаметно поползла вверх. И вдруг, когда уже все облегченно вздохнули, лопнул канат. Выстрелил, словно из пушки. Подыхнул снапом искр...

О происшествии на 311-м «кусте» начальник управления буровых работ № 2 Авзалетдин Гизятуллович узнал поздно вечером. Но вызывать Петрова не стал. На собствен-

ном опыте убедился: в такие минуты вмешательство сверху пользы не приносит. На месте всегда виднее. Кузьмичу он верил, тот бывал и не в таких переделках.

Едва Исянгулов вошел в свой кабинет, позвонил главный инженер управления Юрий Александрович Аладжев:

— Вы слышали, что натворил Петров?

— Нет.

— Вместо того чтобы, как положено в таких случаях, поднять кондуктор, он шесть часов долбил пробку. Потеряны сутки. Как хотите, Авзалетдин Гизятуллович, а у меня одна голова на плечах и лишаться ее не хочу.

Исянгулов поморщился: главный инженер, правая рука. Неплохой мужик. С одной стороны, прав — анархия в бурении может далеко завести, людей загубить недолго. А с другой — не все же могут предусмотреть инструкции. Жизнь не стоит на месте. Что ни день, то новое. И отказываться от поиска — значит, заранее обречь себя на поражение. Кто живет вчерашним днем, того бьют. И больно. Правила, инструкции — это прежде всего обобщение опыта, повседневной работы бурильщика, мастера. Его же у Петрова не занимать. Сказал:

— Хорошо, Юрий Александрович, давайте соберемся, обсудим. Послушаем Петрова, Вахтерова.

К десяти все уже сидели в кабинете главного инженера. Аладжев сразу перешел в наступление. Пройдясь по ЧП на 311-м «кусте», он обрушился на Петрова за внедрение на буровой целого ряда непроверенных новшеств. Говорил как будто убедительно, но вся его аргументация сводилась к напоминанию и неукоснительному исполнению общеизвестных положений.

— Срыв на триста одиннадцатом кусте, — сказал он в заключение, — не случаен. Это прямое следствие нарушения утвержденной технической карты. А ведь я предупреждал...

— Авзалетдин Гизятуллович, разрешите?

Кузьмич тяжело поднялся. Сжал пальцами спинку стула и заговорил медленно, с трудом выдавливая слова:

— Да, Юрий Александрович, вы нас предупреждали. Спасибо. Вы правы, можно было сразу поднять кондуктор. Без мороки! Можно... Но есть же какой-то способ, чтобы при подобных осложнениях можно было избежать этот треклятый подъем. Есть! Надо только найти его. Пусть сегодня у нас не получилось, где-то сделали не так. Но в следующий раз мы уже не будем тыкаться, как слепые щенята. Кое-чему научились. Разве этого мало? — спросил он и добавил тихо: — У меня все.

— А что скажет Анатолий Николаевич? — обратился начальник управления к Вахтерову. — Вы старший инженер-технолог бригады, ее глаза и уши.

Анатолий встал. Поправил жиденький чуб. Прокашлялся.

— Кузьмич прав. Поиск нужен. Мы не в первый раз отклоняемся от инструкции. И не однажды добивались при этом повышения скорости проходки. А это много тысяч рублей экономии.

Исянгулов остался доволен: не подвели. А ответственности он не боялся. Привык нести этот нелегкий груз...

...«ТУ-134» улетал в одиннадцать тридцать. В Сочи Кузьмича ждали жена, дети, отдых. Убрал квартиру, вымыл посуду. Успел даже погладить костюм. И только в самолете, пристегнув посадочный ремень и блаженно вытянув гудевшие ноги, почувствовал, как устал. Двое суток на своих двоих. Жалел ли он о том, что так трудно прожил эти два дня? Если так, то тогда нужно сожалеть о всей его жизни: дни ее во многом похожи друг на друга. Но он не жалел о ней. Дали бы другую, прожил бы так же. С той лишь разницей, что сделал бы больше. Для него неразделимы жизнь и любимое дело.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 150-летию со дня рождения И. С. Никитина

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

★

НАВСТРЕЧУ ВРЕМЕНИ

Есть поэты, которые как бы даются нам вместе с детством, вместе с первым, еще не определившимся в нас отношением к жизни, к природе, к красоте. И это осознание себя начинается в нас со стихов Пушкина, Некрасова, Никитина. Откуда-то издали, из прапамяти души, наплывут вдруг, захватят стихи, которые учил наизусть, учил радостно, почти празднично в первые свои школьные годы:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

И на всю жизнь осталось впечатление во мне — зоревое нетленного свечения сквозь белый пар, сквозь облака, сквозь утреннюю дремь, словно я и не заучивал этих стихов, а они сами назвучились, напелись во мне, словно и сам я участвовал вместе с поэтом в каком-то прекрасном таинстве, словно благодаря этим стихам установилась между моей душой и миром земли какая-то таинственная, но уже овеществленная в слове связь... Говорить: «Я люблю стихи Никитина» — как-то неловко, словно признаваться в любви к самому себе. Настолько прочно они входят в состав моей души. Я бы сказал, что поэзия И. Никитина стала одной из неотъемлемых черт духовного облика нашего народа.

Иван Саввич Никитин близок всем нам не только как поэт русской природы, но прежде всего как певец народного горя и гнева.

Совсем не случайно во многих его стихах, особенно последнего периода, угадывается и кольцовская удаля, и лермонтовская рвущая сердце скорбь, и некрасовский гражданский гнев. Можно смело сказать, что Никитин поднимался до высот гражданского пафоса, когда его посещала некрасовская муза «мести и печали». Печаль тоже сила, в особенности — гневная. На скорби и слезах народных были замешаны крестьянские бунты, колебавшие устои российской государственности. Никитин, как сын своего народа, знал и чувствовал подземные течения крестьянского гнева.

Уже в одном из ранних стихотворений И. Никитина «Мщение» неожиданно сквозь праздничность пейзажа зазвучал мотив протеста. Это на самой заре его творческой работы проснулись в нем социальные «гены» непокорных мужичьих низов.

«Поднялась, шумит непогодушка, низко бор сырой наклоняется...» С самых первых строк все предвещает близящуюся бурю, не зря поднялась, зашумела непогода, бор наклоняется под ветром. Все в окрестном мире взволновалось, взбаламутилось, поднялось, потому что «в зипуне мужик к дому барскому через сад густой тихо крадется». Читая архивные материалы, посвященные николаевской эпохе, невольно поражаешься количеству убийств помещиков крестьянами. Воспоминания Стогова, Валуева и других рисуют картины социальной мести крестьян своим мучителям. Ведь в разбой, как и в бунт, издавна уходила мужицкая Русь. Не зря так снисходителен был

народ к «разбойничкам», что прекрасно почувствовал Пушкин в «Дубровском»...

Он дрожит как лист,
Озирается,
А господский дом
Загорается.

Так заканчивается (заканчивается ли?) у Никитина мщение безвестного крестьянина. Не зря ведь при Николае за «красных петухов» крестьян прогоняли сквозь строй в тысячу человек по шесть раз!

Правда, социальные мотивы протеста никитинского крестьянина, поджигающего дом помещика, остаются за пределами стихотворения. Зато из других стихотворений мы узнаем о беспросветной нужде, о жестокой и бестолковой барщине — фатальном горе русского крестьянства. Русский бунт прорывался сквозь смирение. Репрессии и гнет могли усмирить мужика, но не примирить с действительностью.

Конечно, не следует сбрасывать со счетов и традиционный смиренный «византизм» патриархального сельского уклада. Проявления крестьянского недовольства сдерживались не только внешними силами, но и стародавней традицией мужицкого смирения. Уступками этой традиции порой грешил и Никитин. Отсюда бьющая в глаза противоречивость: с одной стороны, «Мщение», с другой — «Моление о чаше» или «Сладость молитвы». На одном полюсе никитинского творчества (раннего особенно) мотивы религиозного смирения, на другом, «некрасовском», — суровая правда о жизни, «печаль», переходящая в «месть».

Надо сказать, что ближайшие по времени последователи Никитина, особенно поэты А. Ольхин, А. Барыкова и даже Суриков, сузили «никитинские» мотивы, продолжив темы печали и безысходной тоски и приведя их к бесперспективному воспеванию «русского мужичка — страдальца», «простака», «человека себе на уме». Но самому Никитину подобная узость отнюдь не была свойственна. Можно утверждать, что в Никитине чаще всего побеждал Некрасов. Правда, его гнев не так ясен и целенаправлен, как некрасовский. Он почти никогда не кристаллизуется у Никитина в идеологически выверенную программу. Это и понятно: известная обособленность Никитина от самых передовых демократических сил страны, длительный отрыв от Петербурга, где накал идейной борьбы был особенно высок, от

редакций прогрессивных журналов, влияние консервативной части воронежского окружения — все это явно препятствовало мировоззренческому самоопределению Никитина как выразителя народных чаяний. Вряд ли придется сомневаться, что именно недостаточная четкость общественной позиции поэта породила внутреннюю противоречивость его творчества, метания между горячим признанием и временным неприятием Некрасова, колебания между мистической абстрактностью стихов о предопределенности человеческой участи, религиозной смиренностью и, с другой стороны, гневной печалью, диктующей поэту высокую меру социальной правды.

В этих противоречиях творчества Никитина отразилась противоречивость социального характера русского крестьянства. Но ведь известно: смирение, сирость, молитвенные порывы русского мужика нередко переплавились самой жизнью в протест, возмущение, бунт. В этом смысле Российская империя столетиями «работала» на революцию. И закономерно, что в Никитине, предельно чутком к сокровенной жизни народа, побеждал разночинец, демократ. Хотя победа эта давалась не всегда просто. Тем более что кое-кто из окружения Никитина хотел сделать из него благостного мужиковствующего поэта (как гораздо позже из Есенина). И все же чувство народной правды служило Никитину верным компасом на избранном пути.

Более всего талант правдолюбца проявился у Никитина в конце драматических для русской истории 50-х годов в стихотворениях о народной жизни, о судьбе русских мужиков, становящихся надолго основными героями литературы. Поэзия Никитина этих лет с особой полнотой отражает социальные противоречия действительности, о чем, пожалуй, ярче всего говорят стихотворения «Бурлак» и «Пахарь». Впрочем, таким уж сложился социальный климат конца 50-х годов. Статьи Чернышевского и Добролюбова, ожесточенные споры вокруг «крестьянского вопроса», гневные, обличающие стихи Некрасова — вот в чем прежде всего сказывался характер этого времени. И, пожалуй, впервые со времен Лермонтова в русской поэзии зазвучало слово «совесть» в его общественном, гражданственном значении. «Постыдно гибнет наше время!.. Наследство дедов и отцов, послушно носит наше племя оковы тяжкие рабов», — пишет в эту пору Никитин.

Уже не просто одинокое, протестующее «я» звучит в этих стихах, а собирательное, концентрированное «мы». Такая широкая «представительность» лирического голоса была в высшей степени показательна для передовой поэзии тех лет, и прежде всего для творчества Некрасова и Никитина; так за фасадом официального благополучия открывалась читателю горькая правда о жизни; так по-новому, с демократических позиций осмысливалась историческая реальность предреформенной поры. Круг идей, находящихся в обращении, незримо расширился. Внимание русской литературы все более приковывается к деревне, к мужику — наиболее драматичному, взрывчатому «материалу» эпохи.

Иван Никитин пишет в это время ряд стихотворений, темой которых становятся отдельные людские судьбы, искаленные социальными условиями. Характерны в этом отношении стихотворения «Три встречи» — о падшей женщине, перекликающееся со знаменитым некрасовским «Еду ли ночью по улице темной», — и «Жена ямщика», где у Никитина с большой силой звучит тема вдовства, тема обреченного на нищету одиночества; бедная крестьянка узнает, что ее мужик умер; эту весть ей приносит ямщик; кто-кто, а он-то уж, человек кочевой жизни, немало повидавший, хорошо знает, что ее ждет: «А ведь жалко бабу, что и говорить! Скоро ей придется по миру ходить». Такие стихи не только возбуждали сочувствие к обездоленным — они ставили перед современниками Никитина социальные вопросы, «больные вопросы», как тогда их называли.

В эти годы Никитин создает свои лучшие стихи о людях деревни, такие, как «Песня бобыля», где мужик и помещик — враги: «Он идет да поет, ветер подпеваает; сторонись, богачи! Беднота гуляет». Деревня в поэтических картинах Никитина отнюдь не средоточие «вековой тишины»; отчетливо расслоенная на голь и богачей, она видится читателю сферой пересечения важнейших противоречий века. Поэт — совесть времени. А совесть не может быть безмолвной.

И, как мы знаем на примере того же Некрасова, она нередко обращается острием против самого поэта, требуя от него беспощадной ревизии каждого прожитого дня и общей линии жизни. Горькие минуты, прове-

денные наедине со своей взыскующей совестью, были знакомы и Никитину.

Чужих страданий жалкий зритель,
Я жизнь растратил без плода,
И вот проснулась совесть-мститель
И жжет лицо огнем стыда.

Жестокий самоконтроль гражданской совести — знак причастности поэта к тревогам и болям своей эпохи, а в нашем конкретном случае еще одно из важных свидетельств органичности, глубокой выстраданности тех социальных мотивов поэзии Никитина, которые сближают ее с некрасовской.

Мотивы народной мести и печали требовали от поэта отвечающих им изобразительных средств, простоты и определенности сюжета. И здесь поиски Никитина и Некрасова идут как бы параллельно. Обоим поэтам близок опыт народно-исторической песни с характерными для нее ласкательно-уменьшительными формами («сторонушка», «березонька», «волюшка»), с прямым и задушевно открытым самовыявлением в ней лирического героя. Все это используется и Никитиным, правда не в некрасовских масштабах, но с той же целенаправленностью.

Нередко Никитин, отступая от традиционных форм народной поэзии, следовал известным пушкинским и лермонтовским образам, что далеко не во всех случаях приводило к удачам. «Царство взяток и мундира, царство палок и плетей», — пишет он в одном из своих стихотворений о России. Гражданственная суть этой формулы здесь не нашла органического, никитинского выражения, слишком близким оказался лермонтовский образ. Никитину для решения собственных поэтических задач требовались новые, предельно близкие народу по слову и выражению лирические формы стиха, стиха, приближающегося к сказовости и вместе с тем по своему словарю обыденного, свободного от привычных примет «высокого стиля». И, конечно, нужен был свой лексический строй стиха, предельно отвечающий формам народного мышления: «Уж ты плачь ли, не плачь — слез никто не видит, оробей, загорюй — курица обидит». Так поэтическая фраза приближается к смысловой уплотненности пословицы.

Уже в XX веке, в иных социально-исторических условиях, эта стиховая традиция получит свое дальнейшее развитие в песнях Михаила Исаковского, в деревенских стихах Николая Рубцова.

Следует, однако, сказать, что никитинский

стих во многом пошел по иному, параллельному пути, нежели некрасовский. Стих Никитина тяготеет к сжатой фразе, короткому размеру. Часто встречаются по-глагольному активные определения типа «медные — золоченые», что придает безрифменному стиху особую интонационную окраску и динамизм. Строфу Никитина нередко «связывают» полногласные глагольные со-звучия:

Между гор мосты
Перекинуты,
В серебро и сталь
Позакованы.

Сейчас, когда много говорят о верлибре, по-моему, стоило бы внимательно изучить структуру кольцовского и никитинского «белого» интонационного стиха. Это стих глубоко органический, отвечающий свойствам и духу русского языка. А между тем он почти не используется в современной поэзии. Как, впрочем, и «сказовый» опыт пушкинских сказок. Вслушаемся в такие никитинские строки:

Лес стоит, покрыт
Краской розовой,
Провожает день
Тихой музыкой.
Разливайтесь,
Звуки чудные!
Сам не знаю я,
Что мне весело...

(«Музыка леса»)

Здесь, в подчеркнутых концовках строк, за ударным слогом следуют два очень звучных, гласных слога, как бы загибающих; опорные звуки стиха гаснут; вот на этом затухании гласных и основана музыкальность никитинского стиха. Стихотворение ведет и организует интонация. Этот стих в высшей степени приближен к строю народных лирических песен, песен-рассказов, песен, где изливается в горькой исповеди душа. Как видно из этих частных наблюдений, никитинский стих вырабатывал свои особые интонационные формы, диктуемые их демократическим содержанием. Эти стихи не только для народа, но по насыщенности жизненным материалом, образному строю, языку — «из народа».

Первое впечатление от встречи с поэтом предопределяет в нас, может быть, на всю жизнь образ его стиха. Никитин «Утра», «Здравствуй, солнце да утро веселое!» — это Никитин на всю жизнь. И хотя, углубившись в мир этих стихов, ужаснешься жизненной

драме поэта. остро откликнешься сердцем на печальное, тягучее, словно ямщицкое уныние его песен, все равно ощутишь как горькую неправду строки об одиноком — сегодня и впредь — уделе лирического героя никитинской поэзии.

Зато, когда один я остаюсь
И о судьбе грядущей размышляю,
Как глубоко я грусти предаюсь,
Как много слез безмолвно проливаю!

Вопреки всему — преждевременному истощению сил в борьбе с нуждой, пьянству отца, косной неподвижности социального бытия в России — молодой, не согнутый бедами Никитин обращается к миру со звонкой своей строкой: «Здравствуй, солнце да утро веселое!»

Есть притягательная тайна в этой почти неосознанной, почти инстинктивной никитинской радости, чаще всего неотделимой от печали.

Проявлением неистощимых сил души видится нам, людям 70-х годов XX столетия, стойкость в терпении и нетерпеливая жажда новой доли, так ярко сказавшиеся в поэзии Никитина. И немедленного отзыва требует от нас смятенная, но не умеющая уставать душа поэта:

И мила душе
Доля всякая,
И весь белый свет
Раем кажется!

Понимаешь, читая эти стихи, что самый основной мотив никитинской поэзии — это мотив надежды. Когда человеку, задавленному обстоятельствами жизни, уже и любить и печалиться трудно, у него еще остается надежда — на счастье родины. Именно этой сердечной надеждой на светлый день Руси запаслась вся русская поэзия прошлого времени — от Державина до Блока. В этом же ряду стоит и печальник удела народного Иван Саввич Никитин.

С первого (и, конечно же, поверхностного) взгляда поэзия Никитина по своим мотивам и интонациям может показаться однообразной. И прежде всего тут виноваты составители некоторых его сборников и авторы предисловий, те, что с удивительной настойчивостью отбирали из богатейшего и разнообразнейшего поэтического наследия Никитина по преимуществу стихи, легко подводимые под одну-две тематические рубрики, не уделяя должного внимания философской лирике поэта с ее нередко кос-

мическими: мотивами, стихам, трактующим вечный вопрос о человеческом предназначении. И в результате образ поэта, его душевный мир, такой напряженный, ищущий выход и не находящий его, значительно обедняется.

А между тем стихи Никитина о себе, о загадках бытия, о «взаимоотношениях» вечности и человеческого «я» занимают видное место в русской философской лирике. В этом смысле муза поэта — прямая наследница поэзии Баратынского. Только нам никак не следует забывать, что мысль у Никитина чаще всего растворена в переживании. Поэт словно думает своими переживаниями, настолько мысль его многих стихов чувствозна, насыщена жизнью сердца. И стоит за ней обычно отчаянная, неутомимая удаля души, которая ищет для собственного выражения простые приметы каждодневной жизни. И небо у Никитина удивительно земное, свойское, что ли, как нива, как поле, как неказистая проселочная дорога по мелколесью.

Вот оттого-то так мне тяжело и больно,
Что все покоится в глубокой тишине.
Тогда как нет отрады только мне,
Тогда как плачу я от горьких дум
невольно.

Это горькая, почти вещая дума не столько об отвлеченных законах бытия, сколько о собственном, уязвленном страданиями и печалью сердце. Так и кажется порой, что все никитинские думы навспоминались сердцем, наверились, навыстрадались — столько в них подлинности. Вечность и личное, такое обыкновенное «я» у него живут то в каком-то взвихренном разладе, то в недоверчивом согласии друг с другом. Но раздумья поэта — и о вечности и о совести — всегда по-житейски обыкновенны. Горьким упреком современникам звучат никитинские стихи:

Убита совесть, умер стыд,
И ложь во тьме царит свободно;
Никто позора не казнит,
Никто не плачет всенародно!..

И мы видим: поэт мерил свою душу не отвлеченной мерой «вечности», а земной, осязаемой правдой. Однако за этой убедительной конкретностью размышлений поэта скрыт другой, философский план, другая, лирическая реальность, которую не всегда замечают. Да, читатель, разумеется, привык: познающая мысль Никитина направлена прежде всего от себя — в жизнь, в ее бы-

стрину. Но ведь и собственное «я» поэта стремится к самопознанию. Эти моменты нередко драматичны, ибо душевные рефлексии и обращения к «бытийным» проблемам, как правило, сопровождаются у Никитина острым ощущением одиночества, пугающего обрыва непосредственных связей с реальностью... И пусть это чувство приходит на мгновение, а потом опять внутренний мир поэта ощутит болевые токи действительности, все же ощущение собственного, почти «космического» одиночества не может забыться. Оно живет в тех или иных преломленных формах. Поэтому, не замечая в Никитине — скажу условно — Баратынского и Тютчева, мы обедненно воспринимаем и самого Никитина.

Никитин в своей философской лирике поэт-романтик. Романтик в том высшем, гегелевском истолковании этого слова, что романтика есть противоречие между поэзией сердца и прозой действительности.

Примириться с действительностью Никитин не мог. Сын народа, поэт остро чувствовал всю тяжесть давившего на крестьянство гнета, все горе родного народа. Казалось бы, безобразный мир должен был родить в поэте и безотрадные настроения. Но у Никитина, можно сказать, было врожденное поэтическое чувство родины. Это давало ему силы для служения своему народу, позволяло пережить в себе, преодолеть горькие сомнения, тяжелый осадок от жизненных неудач. Поэтическим восприятием родины одухотворены у Никитина не только утренние, но и — скажем так — «закатные» стихи. В одном из наиболее «никитинских» стихотворений читаем: «С какой-то отрадой непонятной на божий мир я в этот час гляжу». Гаснут «звучки» красок, мир теряет дневную определенность. День умирает. Но строки об умирающем дне свободны от налета уныния: «И чужды мне земные впечатленья, и так светло во глубине души: мне кажется, со мной в уединеньи тогда весь мир беседует в тиши». Дневные, отчетливые подробности уходят из поля зрения поэта, зримый горизонт сужается. Остается «вечный покой», как на картине Левитана.

Романтик в Никитине всегда сильнее скептика. Здоровое демократическое начало явственной традиционных томлений страждущего духа. Ибо есть родина, есть русские поля, выюжные, озвученные колокольчиками ямщицких троек. Есть надежда на завтрашний светлый день.

„Улавливая эти «выходы» поэта за черту видимого горизонта, начинаешь глубже понимать никитинскую пейзажную лирику. И не только такие стихотворения, как «Утро» или «Зимняя ночь в деревне», но и такие, как «Встреча зимы», «Подула непогодушка...», «Рассыпались звезды...». В пейзажных стихах Никитин не отделяет своего собственного настроения от настроения природы. Состав души поэта и состав явлений природы как бы один и тот же. Когда в небе бушует гроза, она бушует и в душе поэта. И если небо над землей задернуто осенней облачной пеленой, то и внутреннее «небо» такое же.

Гляжу и люблюсь: простор и краса...
В себя заглянуть только стыдно:
Закиданы грязью мои небеса,
Звезды ни единой не видно!..

Горе, печаль и радость поэт делит с природой. Чувство слитности с родной землей — одно из определяющих в лирике Никитина. И здесь приходится говорить не о любви даже, а о какой-то глубоко интимной, нерасторжимой связи двух живых душ.

В русской поэзии встреча с природой чаще всего празднична, красива, хотя и окрашена нежной печалью не щедрой на краски земли. Вот почему так любят в нашей поэзии утро — встречу самых различно настроенных красок. Вспомним утренние стихи Пушкина, Кольцова и Есенина. Утро и в поэзии Ивана Никитина — не просто состояние природы, а молодость дня. Никитин любил утреннее, морозное, вьюжное «вещество» природы. Оно обладает у него свойством течь, изменяться, вовлекать в свое движение даже инертную «руко-творную» материю. Пейзажи поэта внутренне динамичны. Неподвижность, например, летнего утра снимается у него тончайшей игрой света.

«Диалог» поэта с природой почти всегда переходит в диалог с самим собой, словно сам поэт, его сокровенный мир являются продолжением избранного его вдохновенным пейзажа.

Правда, странное дело: природа у него беззвучна. Она светится, горит, тускнеет, серебрится инеем, даже может плакать (например, сырые ветки у него «покрылись каплями слез»), но она безмолвствует. Даже гроза у Никитина безглагольная. Не оттого ли это, что свет всегда бесшумен? А Ники-

тин в своих стихах больше всего любит свет. Это редкий случай в пейзажной лирике — писать светом. Но, по-моему, лучше, чем струящимся, вечно меняющим свои оттенки светом, нельзя передать чувство бескрайнего простора, без которого российский пейзаж лишается своей сущности. А простор манит Никитина изменчивостью красок. Не от этого ли ощущения просторности родной земли так много в ритмах никитинских стихов изменчивого, раскованного, певучего? Интересно, что и пора увядания, пора усталого возраста года у Никитина почти лишена признаков уныния и старения:

У осени поздней, порою печальной,
Есть чудные краски свои,
Как есть своя прелесть в улыбке
прощальной,
В последнем объятьи любви.

Об осени он пишет как о весне. В зиме его присутствует что-то вечно летнее, солнечное, молодое. Не от силы ли народа, певцом которого стал Никитин, идет это ощущение? И все это — вопреки горькому «пейзажу» действительности! В никитинском пейзаже почти отсутствуют ноты безысходности. Через пейзаж поэт проникает не только в сегодня своей родины, но и в ее завтра. Не потому ли так сильно звучит мотив надежды в его стихах о бескрайних российских просторах, не потому ли сквозь все его стихи проходит образ утреннего пробуждения? К тому, что любишь на всю жизнь, нельзя привыкнуть. Познавая родину через ее пейзажные черты, Никитин каждый раз как бы заново открывал ее для себя. Красоту ее как тайну разгадывал каждой своей строкой. Разгадка родины была для него разгадкой жизни, поэтическое слово о родине — выраженьем самой сильной, пожалуй, единственной своей любви.

Может быть, поэтому о любви как таковой у Никитина так мало написано стихов. В его поэзии, по существу, всего одна-единственная любовь — это родная земля с ее степями и реками, с русской протяжной — сквозь века! — песней. Только так — через одну эту подвижническую любовь — и могла выразиться душа поэта:

Полно, степь моя, спать беспробудно:
Зимы-матушки царство прошло,
Сохнет скатерть дорожки безлюдной,
Снег пропал — и тепло и светло.

Так идеал никитинской нравственной красоты находит свое воплощение в пейзаже, полном свеченья и ясности.

Пожалуй, в русской поэзии ни у кого не было такой солнечности, такой веры в утро, в пробуждение, как у Никитина. А ведь его пейзаж составлен из обычных сельских примет. Но обыкновенность у него, повторяю, всегда праздничная, всегда воспламеняющаяся. И когда он говорит: «Пробудись и умойся росой, в ненаглядной красе покажись, принакрой свою грудь муравою, как невеста, в цветы нарядись»,— здесь чувствуется не только любовь, но и внутренняя озабоченность, нетерпеливая жажда обновления.

Традицию никитинского пейзажа как способа выразить себя, овесть свое внутреннее состояние в привычных, узнаваемых образах природы можно почувствовать у очень многих поэтов, пришедших вслед за ним. И больше всего, может быть, у Сергея Есенина. Я здесь говорю не о прямом влиянии. Оно отсутствует. Я говорю о том чувстве, которое входило в состав души русских поэтов вместе со стихами Никитина и которое я бы назвал напевным чувством родины. Пейзажный опыт лирики Никитина особенно явствен в поэзии Николая Рыленкова. Правда, лирический герой Рыленкова вроде бы отстраняется от участия в жизни природы. Природа здесь существует как бы сама по себе. Близко соприкоснулся с опытом никитинской философской лирики Александр Твардовский в своих последних стихах. И опять здесь я говорю не о формальной похожести двух больших русских поэтов, а о сходном восприятии мира через, казалось бы, «нейтральные» подробности жизни природы, о совместимости мира природы и мира души.

Исключительно важны в поэтическом наследии Ивана Никитина стихотворения эпические, стихотворения-судьбы, такие, как «Жена ямщика», «Песня», «Дедеж», «Староста», «Хозяин», «Старый мельник». Это песенные новеллы по своим сюжетам, по словесно-интонационной основе. Вот как-ким «запевом» начинается, например, стихотворение «Старый мельник»:

Отдыхай, старик,
Думу думая;
Замолчала-спит
Твоя мельница.

Просторное по полногласию вступление вводит нас в мир чужого горя. Песенная, распевная интонация не противоречит мрачному колориту обыкновенной деревенской трагедии и даже как бы подчеркивает разгульную, разрушительную силу, скрытую за внешней уравновешенностью каждодневного крестьянского бытия, силу, которая часто оборачивается против самой себя.

Рано кончил он
Молодой разгул,
Погубил, прожил
Силу юную.

Эта поэзия избыточной силы, которая порой даже в тягость и самой себе, нечто новое в нашей лирике. Герои Никитина сердце свое разбивают о действительность. Жизнь нередко оказывается сильнее их. В мире, приготовленном для карликов, богатырям тесно. Малогабаритная реальность российской дремучей провинции не приспособлена для героев. Именно в таком ключе раскрывается у Никитина трагедия деревенской действительности, сковывающей неимоверные силы народа. Но интересно: поражение этой силы оказывается каким-то иллюзорным, мнимым, словно она не побеждена вовсе, а отдыхает:

Отдохнуть прилег —
Спишь под музыку,
В богатырском сне
Видишь праздники.

Этот герой не очень-то похож на былинного Илью Муромца, который «сиднем сидит» и ждет своего часа, не скудея ни верой, ни силой. Даже никитинский бурлак (кстати, образ, впервые введенный в русскую поэзию Иваном Саввичем), чья семья погибла, а сам он разорен, рвется в горе своем на широкий простор: «Разгуляли тоску Волги-матушки синие волны!.. Коли отдых придет — на крутом бережку разведешь огонек в вечер темный». Обреченность ли это? Нет, скорее вызов судьбе. Все выдано русскому человеку с избытком, кроме «таланта» (в старом, народном употреблении этого слова: «удача в жизни», «светлый удел»). И это перевешивает все. Не выдано человеку доли — и он гибнет. Но гибнет весело, с каким-то дерзким вызовом.

И находит его здоровье душевное свое поэтическое выражение:

И летишь по волнам, только брызги
кругом...

Крикнешь: «Ну, теперь божия воля!
 Коли жить—будем жить, умереть—так
 умрем!»
 И в душе словно не было горя!

Есть какое-то неунывное бесстрашие в этих характерах, и выходит так, что все эти бурлаки, мельники, ямщики — люди, уязвленные жизнью, — оказываются сильнее жизненных обстоятельств, ибо и в беде и в полной, казалось бы, безысходности сохраняют нравственную силу.

Никитин открыл в русской поэзии особый вид народно-бытовых баллад, в сущности, продолжив традиции народной песни, в основе которой рассказ про судьбу-долю. Пойдя, однако, гораздо дальше традиции, он заставил своих героев не просто рассказывать о себе, но и рассказывать себя, обнажая свое сокровенное «я». Он соединил рассказ и песню, пронизав их единым ощущением драматизма человеческой судьбы. В сущности, такие показательные в этом плане стихотворения, как «Музыка леса», «Порча», — маленькие стихотворные трагедии. И опять вспоминается лучшее, что было достигнуто позднейшей русской поэзией примерно на той же линии творческих поисков. Вспоминается, в частности, Сергей Есенин с его стихотворениями из деревенского быта, стихи Исаковского, особенно из книги «Провода в соломе». Под сильным излучением никитинской эпической поэзии созданы лучшие стихи поэта Николая Тряпкина.

Особенно интересен опыт Никитина как эпического поэта в его социально-эпических поэмах «Кулак» и «Тарас». В одном из писем поэт писал: «Люди — всюду люди, есть в них много хорошего, много есть и подленького, низкого, грязного. Вините в последнем их воспитание, окружающую их среду и проч. и проч., только менее всего вините их самих».

Так поэт определил свои эпические задачи, пойдя по пути создания поэм об обстоятельствах.

В поэме «Кулак» на большой поэтической территории разворачивается перед нами драма человека, который, увы, не оказался крупнее обстоятельств. Герой поэмы Карп Лукич, мелкий торговец, разоряется, но, разоряясь, «разоряет» и счастье своей дочери Саше. Казалось, Лукич — терпеливая, незлобивая натура, но сама логика меркантильных интересов, кулац-

кого накопительства калечит его душу, делает из него злодея своей дочери и собственной жизни. Никитин одним из первых в русской поэзии открыл кулака как социальный тип, обреченный историей. В этом одна из важных заслуг Никитина перед русской литературой. Лукич послужил своего рода прообразом кулаков из поэм «Кулаки» Павла Васильева, «Страна Муравия» Александра Твардовского.

В своей поэме Никитин показал цепкость кулацкого уклада, практическую хватку кулака, его инстинктивное стремление превратить свой дом, свое хозяйство в надежную цитадель, где можно укрыться от бурь времени.

Угрюм и прочен
 Пучкова дом. На кровле тес
 Зеленой плесенью порос.
 Железом накрест заколочен
 Закрытый ставень кладовой.
 Косматый сторож, пес цепной,
 Лежит в конуре у забора.

Как это похоже на известные сцены быта кулаков из поэмы «Триполье» Бориса Корнилова, на описание кулацкого хозяйства в поэме «Золотая жила» Василия Федорова! Косная сила «обстоятельств», выраженная через характеры героев этих поэм, так очевидно саморазоблачается, что социальные выводы о необходимости преодоления этой силы оказываются естественным итогом произведений.

Социально-тематическая сторона никитинских поэм типа «Кулак» воспринята позднейшей поэзией вместе со стороны чисто эстетической. Многочисленные бытовые отступления, использование пейзажа как действующего, многоплановость рассказа — все эти черты, столь характерные для Никитина-эпика, в той или иной степени присутствуют в творчестве многих современных поэтов, пишущих о деревне.

Никитин был современником Некрасова, и его лира, повторяю, многое вобрала в себя от «музы мести и печали».

Высшее, гражданственное начало свойственно всей поэзии Ивана Никитина, не зря он о себе говорит как о «друге добра» и гражданине. В одном из последних стихотворений Никитина есть такие слова: «Нет, труд упорный — груз свинцовый. Я друг добра, я гражданин, я мученик, на все готовый...» Но гражданин в Никитине оказался сильнее мученика: сила народной

правды придавала нравственную силу его поэзии. И над всем, что любило, чем болело сердце поэта, встает образ родины, надежда на завтрашний день:

Жизнь раскинулась вольною степью..
 Поезжай, да гляди — не плошай!
 За холмов зеленеющей цепью
 Ты покоя найти не желай.

Гражданственность — органическое качество поэзии Никитина. Он не стоял в сто-

роне от социальных вопросов времени. Он ставил их и в песне, полной горьких раздумий, и в широких социальных полотнах.

И сегодня, в дни столетия со дня рождения этого большого русского поэта, мы с радостью сознаем, что творчество Никитина прочно вошло в духовный опыт, в повседневность духовной жизни советских людей, полностью сохранив свежесть и силу своего гражданского звучания и обаяние проникновенного лиризма.



АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ,
*доктор филологических наук, профессор,
член-корреспондент Академии искусств ГДР*



СИЛА ПРАВДЫ И БЕССИЛИЕ НАВЕТОВ

Исполнилось четверть века молодой социалистической державе — Германской Демократической Республике.

К своему двадцатипятилетнему юбилею ГДР пришла как страна передовой и высококоразвитой культуры, вызывающей во многих странах мира пристальное внимание и живой интерес. В частности, объективные, непредвзятые читатели давно оценили литературу ГДР, полюбили ее произведения, созданные мастерами различных поколений. художниками-новаторами, творящими новую немецкую социалистическую литературу.

За четыре года до возникновения ГДР, весной 1945 года, еще ничто, казалось, не предвещало такого быстрого подъема, такого взлета культуры — и в частности художественной культуры, — который произошел за исторически сравнительно короткое время на Востоке Германии. В ту пору, в ту незабываемую весну многие немецкие города лежали в руинах и некоторым, даже весьма просвещенным наблюдателям чудилось, что сама жизнь (не говоря уже о жизни духовной) замерла, что все решительно люди оказались в шоковом состоянии. Многие корреспонденты западных газет с легкой руки одного французского публициста утверждали, что год 1945-й следует именовать «нулевым» годом немецкой истории. Впрочем, такое впечатление могло сложиться только у людей, поверхностно знакомившихся с действительностью. На Востоке Германии, освобожденном Советской Армией из-под власти гитлеровцев, жизнь не умерла и не замерла. Антифашисты, демократы, коммунисты, возглавившие органы самоуправления, уже тогда могли опираться на неиссякаемую

энергию трудящихся, могли с помощью советской военной администрации осуществлять большую восстановительную и созидательную работу.

Наряду с задачами экономическими, политическими, хозяйственными встали и задачи оживления и демократизации немецкой духовной жизни. И новые руководители — антифашисты, демократы, коммунисты — проявили себя как люди, вполне подготовленные к осуществлению больших планов и в области культурной жизни. Из разного рода мемуарных свидетельств известно, что находившиеся в эмиграции руководящие работники Коммунистической партии Германии (и среди них поэт Иоганнес Бехер), обсуждая проблемы послевоенной Германии, вырабатывали и принципы осуществления культурной политики в освобожденной от фашизма стране. При этом, разумеется, не были обойдены и перспективы развития литературы, которым партия уделяла большое внимание. Еще с 20-х годов КПГ располагала замечательными, талантливыми и надежными кадрами литераторов, в годы антифашистской борьбы и Народного фронта окрепли ее связи со многими видными писателями-гуманистами, движение «Свободная Германия», развернувшееся в годы войны в ряде стран (Советский Союз, Мексика, Швейцария), дало антифашистской демократии новые силы, в том числе силы литературные.

В недавно вышедшем в свет коллективном труде под руководством Ганса Коха «К теории социалистического реализма»¹

¹ „Zur Theorie des sozialistischen Realismus“. Unter Gesamtleitung von Hans Koch. Dietz-Verlag, Berlin, 1974.

особо отмечаются богатые традиции, на основе которых развилась литература в ГДР. То были традиции прогрессивного национального художественного наследия, традиции немецкой гуманистической литературы, философии и эстетики. То были традиции немецкого рабочего движения и порожденной им революционной литературы. То были традиции той литературы, которая в Германии 20-х и начала 30-х годов называлась революционно-пролетарской и лучшие представители которой (Бехер, Брехт, Вольф, Зегерс и другие) твердо встали на путь социалистического реализма. То были традиции литературы антифашистской эмиграции и внутреннего сопротивления гитлеризму, традиции, окрепшие в суровых испытаниях 30-х годов и времени второй мировой войны, закалившиеся в боях в Испании и на фронтах Великой Отечественной войны советского народа, в героической подпольной борьбе против нацистских захватчиков. Почти все зачинатели литературы ГДР прошли суровую школу антифашистской борьбы — это в разной мере относится к Эриху Вайнерту, Вилли Бределю, Фридриху Вольфу, Иоганнесу Бехеру, Анне Зегерс, Людвигу Ренну, Гансу Мархвице, Яну Петерсену, Эдуарду Клаудису, Стефану Хермлину, Кубе (Курту Бартелю) и многим другим.

Наличие прочных традиций, антифашистских, демократических, наличие у ряда писателей коммунистических убеждений и боевого революционного опыта помогло им с первых дней освобождения, еще в период подготовки будущего демократического государства, занять свое место в первых рядах строителей нового общества. Всей своей деятельностью, словом и делом, писатели включились в огромную созидательную работу. Президентом первой массовой организации немецкой интеллигенции — Культурбунда — стал поэт-коммунист Иоганнес Бехер, руководителем филиала Культурбунда в земле Мекленбург — Вилли Бредель, одним из руководителей филиала в земле Бранденбург — старейший писатель, демократ и гуманист Бернгард Келлерман. Эрих Вайнерт — старый участник пролетарского революционного движения — сочетал свою поэтическую работу с обязанностями вице-президента Управления народного образования. Писатели стали организаторами новых печатных органов, содействовали созданию театраль-

ных коллективов, организации киностудии «ДЕФА».

Еще в середине 40-х годов установились дружеские, доверительные отношения между литераторами и руководством Социалистической единой партии Германии. Незадолго до создания СЕПГ — в феврале 1946 года — состоялась Первая центральная конференция КПГ, посвященная вопросам культуры. На ней с речью «За обновление немецкой культуры» выступил руководитель партии Вильгельм Пик, который отметил, что партия стоит за свободное развитие талантов, за поддержку всех творческих сил ученых и писателей, педагогов и художников, готовых посвятить свое творчество делу строительства новой, миролюбивой, демократической Германии. Вскоре после этого в результате объединения КПГ и СДПГ была создана СЕПГ, которая с самого начала своей исторической деятельности стала уделять большое внимание вопросам культуры, искусства, литературы. Начиная с первых выступлений руководителей СЕПГ — В. Пика, О. Гротевоя, В. Ульбрихта, сделанных в 40—50-х годах, и до наших дней, до выступлений руководителя партии — Эриха Хонеккера, видна большая последовательность в отношении к художественной интеллигенции. «Наша партия, — сказал в Отчетном докладе на VIII съезде СЕПГ Э. Хонеккер, — чувствует себя дружественно связанной с писателями и художниками. Они могут рассчитывать на наше понимание их вопросов и творческих проблем...» Со своей стороны, литераторы ГДР проявили себя как подлинные патриоты своего молодого отечества, как верные, надежные помощники партии.

Позволю себе привести довольно пространный цитату из упомянутой выше книги «К теории социалистического реализма». Прошу прощения за то, что цитата будет далеко не краткой, но она, думается, вполне своевременна, так как в ней четко говорится о том месте, которое литераторы и деятели искусства заняли в общественной структуре ГДР: «В их верности рабочему классу, ГДР и международному социализму, в особенности в их верности Советскому Союзу, объединяются различные поколения художников. Старшие — например, Людвиг Ренн и Анна Зегерс, Леа Грундиг и Фриц Кремер, Эрнст Буш и Вольфганг Хейнц, Пауль Дессау и Эрнст Герман Мейер — принимали, нередко всю

жизнь, участие в борьбе рабочего класса и его революционного авангарда. С их творчеством связаны возникновение и расцвет значительного немецкого искусства социалистического реализма. Целое поколение художников поднялось, как сказал Брехт об Эрвине Штриттматтере, «не из пролетариата, но вместе с пролетариатом». Без ГДР они не стали бы писателями или художниками, какими мы их знаем, но и вообще не стали бы писателями или художниками. Главное событие их жизни — освобождение от фашизма благодаря победе Советского Союза и принятие решения — нередко в результате острых конфликтов — в пользу ГДР, в пользу социализма. Подобное решение привело немало художников буржуазного и мелкобуржуазного происхождения, порою религиозных убеждений, на сторону рабочего класса. В поисках гуманистических идеалов они находили, таким образом, реальность и перспективу гуманизма. Немало способствовало этому духовная деятельность блока партий под руководством СЕПГ... Так в самую структуру художественной, творческой интеллигенции оказались заложенными те социальные исходные позиции, которые позволили художественно осветить социалистический путь рабочего класса и всего трудового народа в ГДР».

Научная история литературы ГДР еще не написана, над ее созданием трудятся коллективы ученых в Институте общественных наук при ЦК СЕПГ и в Институте мировой литературы имени Горького Академии наук СССР. Однако литературоведами и критиками-марксистами проведены немалые подготовительные работы, написаны статьи и исследования о творчестве крупнейших писателей ГДР, о путях их новаторских исканий и решений, о жанровом и стилистическом своеобразии творческого опыта писателей ГДР. Уже сейчас, бросая ретроспективный взгляд на путь развития литературы в ГДР, нетрудно увидеть, что творчество писателей ГДР на самых разных этапах выдерживало проверку временем, крепили и крепнут ее связи с жизнью, с интересами трудящихся, с общественными запросами и требованиями.

На самом раннем этапе, предшествовавшем созданию ГДР, в литературе на Востоке Германии отчетливо проявилась актуальность ее произведений. Большое место в творчестве писателей заняла тема «расчета», с недавним прошлым Германии,

гитлеризмом. Этой теме посвятили свои романы Ганс Фаллада «Каждый умирает в одиночку» и Бернгард Келлерман «Пляска смерти», на нее отозвались в публицистике Иоганнес Бехер, Александр Абуш, Альберт Норден. Вместе с тем в творчестве ряда писателей — в стихах и в публицистике Бехера, в песнях Бертольта Брехта («Песня стройки» и другие), в пьесе Фридриха Вольфа «Бургомистр Анна», в очерках и киносценариях — получили отражение и темы, подсказываемые новой жизнью.

За прошедшие четверть века литература ГДР накопила замечательные художественные ценности; она может гордиться своей социалистической классикой. Деятельность немецких писателей — мастеров социалистического реализма, вставших в первые ряды интеллигенции ГДР, завоевала любовь и признательность не только в республике, но и за ее пределами. В первой половине 50-х годов лауреатами Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» стали Анна Зегерс (1951), Иоганнес Бехер (1952) и Бертольт Брехт (1954). Это было признанием их огромных личных заслуг и оценкой высокого уровня развития передовой культуры ГДР, боевого гуманистического и социалистического характера ее литературы.

Очень скоро после освобождения Германии от гитлеризма и создания ГДР в среде литераторов и деятелей искусства возник интерес к проблемам, связанным с теоретическим осознанием художественной практики, с перспективами дальнейшего развития литературы и искусства. Обсуждались проблемы социалистического реализма, им посвящались творческие собрания, в печати появились первые статьи, рассматривавшие социалистический реализм как новый творческий метод. Естественно, что в этой связи немецких литераторов живо интересовал опыт советской литературы и советских творческих дискуссий по эстетическим вопросам. Опыт крупных мастеров социалистического реализма в Советском Союзе и других странах. С самого начала — еще в 1946—1947 годах — было очевидно, что интерес немецких писателей к методу социалистического реализма не имел ничего общего с попытками «импорта» его на немецкую почву, как то пытаются представить в своих сочинениях разного рода «советологи», столь же ненави-

дядшие литературу ГДР, как и литературу советскую, и пытающиеся приписать литературе ГДР «отсутствие традиций» и механическое копирование советского опыта. Писатели ГДР располагали прочными традициями социалистического реализма, сложившимися в немецкой литературе еще в 20-х годах и существенно упрочившимися в произведениях, созданных в годы эмиграции и внутреннего Сопротивления. Для писателей ГДР, большинство которых были живыми носителями традиций немецкого социалистического реализма, речь шла о дальнейшем развитии и совершенствовании этих традиций, об их обогащении опытом социалистического реализма литератур народов СССР, опытом прогрессивных писателей Франции, Америки, Дании и других.

Крупнейшие художники старшего поколения — Бехер, Брехт, Зегерс — внесли много нового и ценного в разработку проблем социалистического реализма, в эстетическую теорию реалистического искусства. В четырехтомном издании, в своих раздумьях об искусстве и его судьбах в нашем веке Бехер проанализировал ряд проблем, связанных с путями развития реалистического искусства современности, и противопоставил его принципы эстетическим платформам декадентского, модернистского искусства буржуазного Запада. Брехт в полемике против догматических, консервативных «заужений» в трактовке реализма широко аргументировал мысль о богатстве и многообразии реализма, существенно обогатил эстетику театра и драмы своими статьями и заметками об искусстве сцены, высказал ряд ценных мыслей о социалистическом реализме. Серьезным вкладом в теорию социалистического реализма явились многочисленные статьи и речи Анны Зегерс по вопросам литературы.

В первые годы существования ГДР обсуждение проблем социалистического реализма проходило в среде немецких литераторов в обстановке большого идейно-творческого подъема. Шло оно не без некоторых издержек, не без отдельных упрощений, о которых хорошо сказано в многолетней «Истории немецкого рабочего движения»². «В этих дискуссиях,— говорится в томе VII данного труда,— как и позднее в произведениях художественной и литературной критики, направленных на поиски

верного пути, на овладение принципами художественного воплощения, достойными величия исторических дел народа, не обходилось без сектантских преувеличений, без догматических заужений и извращений. Но главная линия этих развернувшихся благодаря инициативе партии дискуссий по волновавшим широкие круги трудящихся центральным вопросам искусства соответствовала объективным закономерностям культурных преобразований в ГДР и содействовала постепенному переходу к социалистической культурной революции».

Со временем издержки и упрощения преодолевались теоретической мыслью и художественной практикой. Литература ГДР становилась все разнообразнее по своим художественным исканиям, эстетическая мысль (представленная работами Г. Коха, В. Миттенцвая, Э. Прахта, В. Нойберта и других) — глубже, тоньше и диалектичнее.

Разумеется, процесс развития социалистического реализма в литературе ГДР отнюдь не походил на триумфальное шествие этого метода из книги в книгу, от писателя к писателю. Он сопровождался у некоторых литераторов известными творческими трудностями, напряженными исканиями, глубоко индивидуальными решениями в сфере художественного изображения или эстетической выразительности. Да он и не предполагает — вопреки утверждениям буржуазных критиков — однозначности решений, стирания индивидуальностей, их нивелировки. Наоборот, искусство социалистического реализма — это искусство, богатое разнообразными творческими индивидуальностями. И литература ГДР, в которой рядом и вместе работают столь разные художники, как Герман Кант или Эрик Нойч, как Стефан Хермлин или Пауль Винс, как Гельмут Байэрль или Петер Хакс, как Гюнтер де Бройн или Франц Фюман, как Рольф Шнейдер или Фолькер Браун (перечень этот можно легко продолжить), как раз и демонстрирует богатство и разнообразие индивидуальностей. Но справедливости ради надо сказать, что на пути развития литературы в ГДР встречались и книги таких индивидуальных решений, которые не отвечали принципам социалистического реализма и, более того, входили с ними в решительное противоречие. (Достаточно вспомнить о произведениях Манфреда Билера, в которых очерняя

² „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band 7, Dietz-Verlag, Berlin, 1966.

лась действительность ГДР и которые получили поддержку ревизионистов в ЧССР, ратовавших за так называемую пражскую весну, о некоторых лирических стихотворениях Петера Хухеля, выразивших тенденции к индивидуалистической автономности лирического «я».)

Через все творческие дискуссии, как и через всю творческую практику передовых писателей ГДР, с самого начала исторического пути республики проходила как лейтмотив борьба за искусство реалистическое, народное, связанное с народной жизнью и служащее делу преобразования жизни на началах социализма. При этом немецкие писатели и теоретики, естественно, обращались к опыту советского искусства, советской эстетической теории, находили в этом опыте поддержку в своих идейно-художественных исканиях. От старшего поколения писателей ГДР перешла к младшим поколениям добрая традиция внимательного, аналитического изучения советского художественного и научного опыта. Социалистический реализм стал основным, ведущим методом литературы ГДР. Основным, но не единственным — это следует оговорить особо, так как разного рода антикоммунистические, антимарксистские «интерпретаторы» литературы ГДР усердно распространяют лживую версию, согласно которой в ГДР якобы от всех литераторов требуют приверженности к «догматам» социалистического реализма. Не говоря уже о том, что у социалистического реализма нет никаких «догм» или «догматов», следует заметить, что само отношение к принципам социалистического реализма является, конечно, результатом свободного выбора и выражением определенного уровня идейного и эстетического развития. В литературе ГДР были и есть писатели, не занимающие последовательно социалистических позиций, но отнюдь не враждебные социалистической действительности. Такой талантливый поэт, как Георг Маурер, на определенных этапах своего пути был еще далек от социалистического мировоззрения, его лирику первых послевоенных лет нельзя назвать лирикой социалистического реализма. Но Георг Маурер непрерывно развивался, он был подлинным патриотом своей республики, и его нельзя представить себе нигде вне ГДР и ее литературы. Один из крупнейших писателей ГДР — Иоганнес Бобровский стоял на рели-

гиозно-гуманистических позициях. Он был замечательным художником, сильнейшим реалистом, поэтом в прозе и неповторимым мастером в поэзии. Гуманизм его все более насыщался социальными мотивами, ГДР была для него его домом. Но никто и никогда не воспринимал Бобровского как социалистического реалиста. В общественно-идеологической структуре ГДР он находил себе место как писатель и как мыслитель по социально-этическим вопросам. Уже эти две характерные фигуры реально свидетельствуют о том, что вопреки легендам буржуазной критики социалистический реализм никому в литературе не навязывают. Художники приходят к нему — приходят по убеждению и по влечению. Литературная панорама ГДР служит тому реальным доказательством. Из нее явствует, что большинство писателей, пришедших в литературу после войны (Эрвин Штриттматтер, Юрий Брезан, Франц Фюман, Дитер Нолль и другие), избрали своим творческим принципом социалистический реализм. Своими произведениями эти писатели расширили и обогатили наши представления об искусстве социалистического реализма, внеся в него новый жизненный и художественный опыт, новые индивидуальные творческие решения.

Двадцать пять лет — это и мало и много. Мало по сроку, много по насыщенности этого отрезка времени необычайным трудовым и творческим созидательным энтузиазмом. Развитие литературы в ГДР — это поистине ускоренное развитие, ускоренное по темпам, но отнюдь не «скоростное» по качеству. В книге «К теории социалистического реализма», на которую я уже ссылался, собран материал, показывающий, как в литературе ГДР запечатлелось и отразилось идущее в жизни сближение всех социальных групп общества, их объединение вокруг главной силы прогресса — рабочего класса и его партии, выразительницы общенародных интересов. Литература ГДР отобразила важнейшие этапы развития республики, она смогла выполнить эту благородную задачу, ибо она участвовала в осуществлении исторических задач, которые выдвигались перед обществом, перед народом на каждом из этих этапов.

Выступая на Шестом (1972) пленуме ЦК СЕПГ, писатель Бернгард Зеегер превосходно выразил позицию литератора ГДР, принцип социалистической литературы республики. «Не созерцать — действо-

вать, не говорить о боях — участвовать в них!..» — воскликнул он в этой речи. Мы знаем, что развитие литературы отнюдь не всегда совпадает с этапами исторического развития общества. Но в ГДР — в республике, сразу вставшей на путь революционных преобразований действительности, деятельно включившейся в социалистическое содружество наций, — литература заняла активные позиции и оказалась включенной в реальные созидательные дела. Она стала частью тех духовных свершений, которые проходили в стране на этапе антифашистско-демократического обновления. При выходе к новому историческому рубежу, к новому пятилетию, ко второй половине 50-х и к началу 60-х годов — этапу борьбы за победу социалистических производственных отношений, — литература ГДР в значительной мере благодаря своему социалистическому содержанию и опыту вновь оказалась включенной в великие дела, творимые народом во имя победы социализма. С начала 60-х годов ГДР осуществляет курс на развернутое строительство социализма, на сознательное и планомерное построение развитого социалистического общества. ГДР стала прочным форпостом мира и социализма в Европе, органической, неотъемлемой частью системы европейских социалистических стран. Это, естественно, отразилось на процессах дальнейшего развития и роста социалистической культуры в стране. Существенно возросла роль литературы в жизни общества, расширилось ее место в строительстве развитого социалистического общества.

Наиболее значительные литературные произведения, появляющиеся в ГДР в 60-х и начале 70-х годов, — это произведения социалистического реализма, ярко представляющие нам положительный опыт современности, показывающие трудности развития и реальные возможности их преодоления, остро критикующие недостатки, атакующие все то, что мешает поступательным процессам, духовному росту людей, новым, социалистическим отношениям. Среди таких произведений — романы Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп» (1963), Эрика Нойча «След камней» (1964), Германа Канта «Актный зал» (1964). Видное место в литературе ГДР заняли романы: Анны Зегерс «Доверие», Макса Вальтера Шульца «Мы не пыль на ветру», Гюнтера де Бройна «Буриданов

осел», Вернера Хайдучека «Прощание с ангелами», проза Бригитты Райман, Гедды Циннер, Кристи Вольф, Гельмута Заковски, Бернгарда Зеегера, Бенито Вогацки, Петера Эделя и многих других писателей. Окрепла литература для детей и юношества, в развитии которой сыграли активную роль некоторые писатели старшего поколения — Людвиг Ренн, Алекс Веддинг. С рядом интересных книг выступили литераторы, обладающие большим опытом партийной работы и борьбы против фашизма, — это книги Отто Готше, Фрица Зельбмана, Вернера Эггерата и других, передающие молодому поколению читателей героические традиции немецкого рабочего движения. В поэзии и в драматургии отчетливо выразились новаторские тенденции учеников и продолжателей Брехта.

Литература ГДР заняла большое место не только в жизни своего народа — народа ГДР, но и в духовном развитии современного человечества. Она воспринимается как часть мировой художественной культуры социализма. Это обстоятельство отчетливо осознается самими писателями ГДР, оно особо отмечается руководителями СЕПГ. Так, Курт Хагер в докладе на Шестом пленуме ЦК СЕПГ специально остановился на международном аспекте тех задач, которые решает вместе с литераторами стран социалистического содружества литература ГДР. Среди этих задач он выделил борьбу за социалистический гуманизм, против империализма и реакционной буржуазной идеологии. «Реальный социалистический гуманизм и массовое формирование свободной социалистической личности, — сказал Курт Хагер, — оказывает все более сильное воздействие на борьбу народов против империализма. Схватка за будущее и место человека в нынешнем мире все больше становятся центральным вопросом идеологической классовой борьбы».

В этой борьбе немецкому социалистическому искусству принадлежит роль видная, боевая и благородная. Трудно перечислить все произведения немецких художников, мастеров социалистического искусства, которые в лирике и эпосе, в романе и новелле, в рассказе и очерке, в пьесе и сценарии, в оратории и симфонии, в фильме и спектакле, на полотне и в скульптуре запечатлели образы, дела и подвиги, выразили боевую философию и этические принципы новых героев жизни, ставших героями искусства. От стихотворений Бехера и

пьес Брехта, от романов Анны Зегерс и ее новеллистического цикла «Сила слабых», от романов о героях рабочего труда и рабочей борьбы, от произведений прозы, театра и кинематографа, посвященных подвигам немецких антифашистов, от произведений о первых активистах социалистического производства и обновления сельского труда, от скульптурного памятника немецкому борцу за испанскую свободу, в образе которого Фриц Кремер запечатлел черты Эрнста Буша — замечательного актера и певца-антифашиста, от многочисленных живописных, литературных и скульптурных портретов героев социалистического труда, от поэмы Кубы (Журта Бартеля) о Человеке, проникнутой идеями Маркса, Энгельса, Ленина, и оратории Фридриха Вольфа, посвященной памяти Лило Герман — первой женщины-антифашистки, лавшей под топором гитлеровского палача, от фильмов об Эрнсте Тельмане, Карле Либкнехте, героях Сопrotивления из группы Харнака — Шульце-Бойзена, о коммунистах — героях фильмов по романам Бруно Апица «Голый среди волков» и Отто Готше «Знамя Кривого Рога», от романов Вилли Бределя из истории немецкого рабочего класса — от этих и многих других талантливых произведений идет в литературе и искусстве ГДР восходящая линия художественного освещения жизни-борьбы за социализм, художественного раскрытия характеров новых людей, кровно преданных идеям и идеалам социализма, убежденных противников капитализма и буржуазной реакции.

Нет ничего удивительного в том, что именно такая литература, социалистическая, антиимпериалистическая, идеологически активная, вызывает — так же, как и советская многонациональная литература — раздражение и озлобление в лагере наших идеологических противников. В последние годы в буржуазной печати все чаще и чаще появляются разного рода сочинения, направленные на дезинформацию относительно литературы ГДР. В одной только ФРГ за каких-нибудь три года вышло несколько книг, создающих превратное представление о литературе ГДР, о писателях, творящих эту литературу. Некоторые из таких книг сочинены известными антикоммунистами, «советологами»-антисоветчиками, врагами социализма и социалистической культуры.

Именно так (и никак иначе) следует ат-

тестовать толстые книги, написанные Петером Демецем, Фрицем Радацем и Гансом-Дитрихом Зандером. Две последние изложены с претензией на систематические курсы истории литературы в ГДР. Книга Петера Демеца берет тему шире, ее автор замахнулся размахистее: он желает представить читателям нечто вроде очерков немецкоязычных литератур (ФРГ, ГДР, Австрии и Швейцарии), обзоров этих литератур, портретов их видных представителей.

Своей грубой тенденциозностью, неприкрытой предвзятостью книга Демеца «Сладкая анархия»³ (переведенная с «американского») вряд ли может произвести сколько-нибудь серьезное впечатление на читателей. То место, которое автор отводит литературе ГДР, свидетельствует о совершенной его необъективности. Несколько страниц брани, выдаваемой за обзор, стереотипное «обвинение» в том, что социалистический реализм, дескать, навязан насильственно писателям — советским и немецким, и прочие подобного рода благоглупости — вот, в сущности, и все, что Петер Демец сумел сообщить читателям. Среди портретов писателей, которых в книге немало, для писателей ГДР почти не нашлось места. Даже Эрвин Штриттматтер — международно признанный крупный художник — не может удовлетворить «эстетическим критериям» Демеца, его произведения не разбираются, а сам он порицается мимоходом за... «старомодный реализм» (стр. 49). Приемы «критики» у Демеца архипростые — ложь, брань, наветы. Книга его лишена даже видимости серьезности в той части, которая отведена литературе ГДР.

В весьма неприглядном виде предстает и другой «критик» литературы ГДР — Фриц Радац. Книга его «Традиции и тенденции (Материалы к литературе ГДР)»⁴ обладает видимостью исследования: она превосходно издана, снабжена указателями, оснащена библиографически. Автор даже сообщает, что в сокращенном виде его сочинение было защищено в качестве диссертации.

Итак, претензия чуть ли не на науку. А на самом деле — типичное дилетантство, и

³ Peter Demetz. Die süsse Anarchie (Deutsche Literatur seit 1945). Propylaen-Verlag, Berlin (West), 1970.

⁴ Fritz J. Raddatz. Traditionen und Tendenzen (Materialien zur Literatur der DDR). Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main, 1972.

притом худшего пошиба. В специальной работе, рекомендуемой в качестве исследования, нет и намека на анализ поэтического мастерства писателей, о которых Фриц Радац рассуждает вкрявь и вкось. В своей неприязни к писателям ГДР Радац не стесняется собирать и рассказывать сплетни, носящие откровенно обывательский характер. В рассуждениях этого автора господствует произвол: ему ничего не стоит исключить из истории литературы ГДР не кого иного, как Бертольта Брехта, ограничиться упоминаниями о Фридрихе Вольфе и Гедде Циннер, бросить несколько замечаний о Бобровском-поэте и обойти Бобровского-прозаика и, наоборот, поговорить о Фюренберге-прозаике, замолчав великодушного поэта Фюренберга.

Книга Фрица Радаца туго набита разного рода измышлениями и оскорбительными характеристиками известных, широко популярных писателей, которые не угодили Радацу своими стойкими и последовательными передовыми убеждениями. Всячески создается впечатление и муссируется версия о том, будто культурно-политический курс в ГДР был неорганичен для демократического развития. В этой связи в прямом противоречии с фактами утверждается, что «год 1945-й был не только политически часом нуля, применительно к которому ни в какой мере не было запрограммировано дальнейшее развитие, но он не был явным образом и временем культурно-политических проектов» (стр. 46).

С нескрываемой злобой, в грубых выражениях отзывается Радац о таких крупных писателях, как Анна Зегерс, Людвиг Ренн. О романе Зегерс «Доверие» говорится: «Это книга не только плохая. Это книга бессовестная» (стр. 239). Про Ренна сказано, что он пишет «мертво и банально» (стр. 253). Столь же оскорбительно третируются социалистические поэты-агитаторы Эрих Вайнерт, Куба. Их стихи характеризуются как «антилитература», хотя они не однажды приводили в волнение миллионы сердец. Столь же издевательски пишет Радац и об известном лозунге Фридриха Вольфа «Искусство — оружие!».

Однако все рекорды клеветы и злобы побивает Ганс-Дитрих Зандер в книге «История художественной литературы в ГДР»⁵. Позиция этого автора, претендующе-

го не только на роль хроникера, но и на роль теоретика искусства, может быть определена разве что словами Щедрина — «скрежет зубовой». Он не щадит решительно никого, не останавливается перед авторитетами Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера, грубо их поносит (стр. 73—74); роман Зегерс «Мертвые остаются молодыми» называет произведением, обозначившим «фазу нисхождения» таланта писательницы, ругает «Крестonosцев» Стефана Гейма (стр. 85; еще бы, роман против американских милитаристов!), именует замечательного поэта и деятеля культуры Бехера «Тартюфом культурной политики» (стр. 97), неустанно «клеимит» Стефана Хермлина, ругает всех авторов, писавших о рабочем классе, о крестьянстве.

Навязчивую идею всех «советологов» о том, что социалистический реализм якобы «экспортируется» из Советского Союза в другие страны, Зандер излагает совсем уже в гротескном виде. Всю литературу ГДР он объявляет «подражанием советской модели» (стр. 14), утверждает, что литература ГДР «лишена традиций» из-за «импорта» социалистического реализма (стр. 298), повторяет эти нелепые измышления бесчисленно, даже не замечая, что приводимые им перечни произведений писателей ГДР реально опровергают его наветы.

Зандер делает специальные «теоретические» экскурсы в советскую литературу, с которой он «расправляется» в манере разнузданного «советолога». При этом теоретический уровень его рассуждений оказывается поистине нищенским. Достаточно сказать, что «большевистской агнографии» он приписывает мысль, будто социалистический реализм «продолжает буржуазный реализм» (стр. 41). Какая уж тут теория!

Впрочем, для того чтобы составить себе представление о том, кто именно занимается «обличениями» литературы ГДР, а заодно и клеветой на советскую литературу, стоит привести одно характерное замечание этого радетеля «демократии». Касаясь мельком некоторых эпизодов из истории гитлеровского райха (подавление ремовского путча и т. п.), Зандер пишет: «В третьем райхе произошел переход от революционной диктатуры к тоталитарной диктатуре» (стр. 58). Так вот он кто такой, этот «демократ» Зандер! Вот его «визитная карточка»! Он и нынче, сорок лет спустя после захвата власти Гитлером, склонен считать этот акт «революционным». Да, такой «писа-

⁵ Hans-Dietrich Sander. Geschichte der schönen Literatur in der DDR. Rombach-Verlag, Freiburg, 1972.

тель» не может не быть ненавистником всего советского, всего геддеэровского, не может не быть врагом литературы советской и литературы ГДР.

Демец, Раддац, Зандер... Ложь, фальсификация, подтасовки данных — таковы «исследовательские» методы «критиков». Они не затрудняют себя сбором точных фактов, не обременяют себя поисками аргументов. Есть, однако, и такие буржуазные историки литературы ГДР, которым интерес к фактическим данным отнюдь не противопоставлен, которые собрали немало фактических сведений, но освещают эти данные и сведения не без влияния «советологических» и ревизионистских рецептов.

Показательны в этом отношении объемистые книги Вернера Бреттшнейдера «Между литературной автономией и государственной службой (Литература в ГДР)»⁶ и Конрада Франке «Литература Германской Демократической Республики»⁷. Само название книги В. Бреттшнейдера весьма характерно для позиции ее автора по отношению к литературе ГДР. Это — выражение распространяемой «советологами» мысли о том, что писатель в ГДР — лицо «огосударственное» и что лишь некоторая часть литераторов позволяет себе отстаивать «автономии лирического «я» (как определяет это состояние В. Бреттшнейдер).

Вернер Бреттшнейдер собрал в своей книге уйму фактов, которые в глазах думающего читателя могут существенно поколебать, если не опрокинуть, большинство «теоретических» обобщений автора. В самом деле, рассуждения Бреттшнейдера о социалистическом реализме настолько путанные и нечеткие, что они во многом опровергаются рассказом о практике писателей социалистического реализма. Бреттшнейдер в полном согласии с принятыми в «советологии» легендами пишет, что «темы и мотивы... поощряются начальством под девизом «партийности» (стр. 140), но из сказанного о творчестве ряда писателей отчетливо видно, что их темы и мотивы никем им не навязаны, а избраны ими по велению сердца и совести и что этот выбор не расходитя с интересами народа и партии.

Каждый раз, когда Бреттшнейдер приво-

дит фактические материалы, его тенденциозные обобщения повисают в воздухе. Так, например, он утверждает, что в ГДР драматургия получает слабое развитие. Причины? И Бреттшнейдер принимается их искать. Оказывается, слабое развитие вызвано: а) «монополией» драматургии Брехта, б) «русским влиянием», которое породило... кантаты и оратории. Но, во-первых, тезис о «монополии» брехтовской драматургии никак не доказан, да и не может быть доказан. А во-вторых, такого рода каверзное (или, точнее, курьезное) воздействие русского искусства также ничем не доказывается и, конечно, просто является мифическим. Остается реальный материал о работе драматургов, сведения о пьесах, а обобщение, сделанное автором, растворяется в небытии. Правда, слово — не воробей, фразы произнесены и записаны. Но эффект их ничтожный.

Хуже обстоит дело тогда, когда тенденциозные идеи автора начинают уродовать, искажать материал. Так, к примеру, Бреттшнейдер явно извращает факты, когда пишет о «разорванности» гармоничнейшего лирика Бехера или утверждает, что в книгах Бехера о поэзии выразилась «трагическая самокритика» (стр. 176), — содержание этих книг не излагается и читатель может поверить на слово Бреттшнейдеру, который пишет решительную неправду. Так же уродует Бреттшнейдер реальный материал, когда пытается «подогнать» творчество некоторых весьма социальных поэтов под свой предвзятый тезис о борьбе за автономию лирического «я».

Книга Конрада Франке, изданная не просто хорошо, а роскошно, на превосходной бумаге, с прекрасными фотоиллюстрациями, написанная в тоне подчеркнутой объективности, также не обладает научной непредвзятостью. Но фактов Франке собрал великое множество, а факты, как известно, вещь упрямая, многие из них противятся тенденциозному их освещению.

Автором этой книги проделан огромный собирательский труд. Справки о писателях, занимающие иногда несколько страниц, порою же несколько строчек возникли в результате кропотливого изучения материала. Но и в этих справках, а тем более в обстоятельном обзоре, в «панораме», Конрад Франке далеко не так объективен, как это им декларируется. За внешне спокойной тональностью чувствуется полемика, порою открытая, порою завуалированная. Франке систематически, последовательно берет под

⁶ Werner Brettschneider. Zwischen literarischer Autonomie und Staatsdienst (Die Literatur in der DDR). Erich-Schmidt-Verlag, Berlin (West), 1972.

⁷ Konrad Franke. Die Literatur der Deutschen Demokratischen Republik. Kindler-Verlag, München, 1971.

сомнение принципы культурной политики, осуществляемые в ГДР. Он не согласен с социалистической политикой в области искусства и литературы и всячески дает это понять и почувствовать. Его позиции — типично либералистские, отмеченные буржуазной ограниченностью, неспособностью осмыслить проблемы, о которых он тщится рассуждать.

Франке ничего не стоит приписать Ленину мысль, совершенно не вяжущуюся с ленинскими взглядами. Он утверждает, что Ленин якобы не считал возможным создание пролетариатом большого искусства до построения социализма, «на пути к нему» (стр. 180). Франке даже не попытался задуматься над отношением Ленина к Горькому, к его великому, новаторскому искусству. Не владея основательно принципами марксистско-ленинской эстетики, не будучи способным в них разобраться, Конрад Франке упрекает писателей ГДР за то, что они, видите ли, не захотели считаться с «теорией» Роже Гароди о «реализме без берегов» (стр. 122). Расхожие для буржуазной прессы либералистские и обывательские мотивы основательно испортили книгу Конрада Франке, бросили тень и на его собирательскую работу.

Как видим, буржуазный мир, буржуазная литературная критика защищаются от литературы ГДР, боятся ее популярности, страшатся той правды, которую она несет читателям. В условиях напряженной и острой борьбы буржуазной реакционной идеологии против идеологии демократической и социалистической литература ГДР заняла свое место в передовых рядах социалистических литератур нашего времени. Накопленные ею художественные ценности делают ее литературой сильной, обладающей богатой жанровой палитрой и множеством ярких, талантливых художников. Эта литература сильна своей правдой, той прав-

дой, которую дает художникам передовое мировоззрение, которая открывается им в самой жизни, которая глубоко пережита, выстрадана в суровой и прекрасной революционной борьбе.

Правдивое искусство социалистического реализма — главная линия в развитии литературы ГДР, это сила, с которой не справиться, не совладать буржуазным дезинформаторам. Ложь, клевета, злостные вымыслы и наветы неизбежно отступают перед правдой. Можно писать и печатать сколько угодно «историй» литературы ГДР, основанных на искажениях и подтасовках, — каждая из них померкнет перед правдивыми книгами, с которыми не выдержат соперничества никакие хандбухи, состряпанные в целях дезинформации и дезориентации. Этими словами я не намерен преуменьшить значение разного рода реакционных буржуазных наветов. Они безусловно опасны. Но в конечном счете они обречены на провал. У них нет будущего.

Нельзя, невозможно скрыть от мира величие правдивого искусства, если за ним стоит четверть века непрерывного, упорного, новаторского, творческого труда, если у него за плечами более ста лет революционных традиций, национальных и интернациональных, и многовековой художественный опыт нации и человечества, если у него давно и прочно образовалась нерушимая связь с культурой Советского Союза и с культурами других социалистических стран и свободолобивых народов. Все это есть у литературы Германской Демократической Республики, у писателей ГДР, прошедших славный путь вместе со своей страной, вместе со своим народом.

У нее есть прошлое, есть прекрасные традиции. У нее есть настоящее, есть современные новаторские дерзания. И у нее есть будущее, сулящее новые творческие дерзания и новые творческие победы.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Деднов. Напряжение поиска. — **Л. Лебедева.** Доброе начало. — **Олег Смирнов.** Дорога поколения. — **Я. Гордин.** Плоды упрощения.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Косолапов. Проблемы формирования нового человека. — **Георгий Айдинов.** Пером очевидца. — **Н. Новиков.** Пульс планеты. — **Е. Амбарцумов.** Не вполне различимое будущее.

Литература и искусство

НАПРЯЖЕНИЕ ПОИСКА

Олег Куваев. Территория. Роман. «Наш современник», 1974, №№ 4, 5.

Место действия романа — Территория, «полярное государство из гор и тундры». Рядом Река. Их объединяет единой волей и режимом «Северстрой». Посреди «Северстроя» — Город. Есть еще Поселок. Остальные слова в романе пишутся так, как мы привыкли.

Река и Территория плохо воспринимаются как понятия географические, в романе подерживается условность места и действия. Этим сохраняется не только художественная, но и этическая цельность романа. Ввод подлинных географических названий и точных примет времени сделал бы, пожалуй, невозможной эту книгу с ее приподнятым эмоциональным строем, потребовал бы большей исторической полноты и точности.

Каждой из трех частей «Территории» предпослано «всестороннее описание предмета». Этот предмет — золото, а «описание» — сведения и суждения о нем, почерпнутые из Ветхого завета и письма Колумба, из Геродота и газет 1967—1974 годов. Наверное, это нужно, чтобы читатель яснее представил себе роль «прекраснейшего металла» в судьбах человечества, а затем уже погрузился в будни современного золотоискательства. Впрочем, «описание предмета»

лишь пробегаешь глазами; «история вопроса», конечно, захватывающая и значительная, но к героям романа она имеет мало отношения; они освобождены писателем от «золотой лихорадки»: «Золото само по себе не вызывало у них никаких эмоций. Тусклый, грязноватый металл, имеющий дурную лишнюю ценность. Очень опасный металл, если у тебя мозги пойдут набекрень...»

Здесь к золоту испытывают лишь профессиональный, изыскательский интерес. Для героев романа поиски золота — это прежде всего отчаянно тяжелая и яростная работа, оправдание и надежда их жизни.

Первая, как бы заявочная глава обещала, однако, такую «даль романа», где, казалось, восторжествует прекрасный миф о суперменах с тяжелыми квадратными подбородками и героике их деяний.

Нам открывается мир, занятый милыми иерархическими забавами, которым так приятно подыгрывать. Некий Чинков (позднее станет ясно, что он — главный инженер геологоразведочного управления Поселка), по прозвищу Будда, сидит в кресле, «больше смахивающем на трон» (далее — «тронное кресло»). Не без иронии, но и не без легкой аккуратной лестии секретарша на-

зывает Чинкова «и. о. господа бога», «великим человеком» или обращается к нему так: «вам, падишам», «вы, наместники». Затем явился «личный адъютант Чинкова», а когда началось важное совещание, то пожаловали «аристократы-основатели», «корифеи», «преторианская гвардия», способная «сместить любого руководителя «Северстроя», а сам главный начальник выходит в «свет» «в окружении приближенных».

Густой дым служебной романтики повисает над тем собранием «корифеев», «мамонтов золотой промышленности» или еще любовнее — «старых ездовых псов, которые тянут нарту валюты для государства». «Аристократы», «плебеи», «падишахи», «сверхчеловеки», «наместники» — все это, само собой разумеется, не вполне серьезно, это свояская шутка, уместная в кругу своих, «корифеев», каждый из которых, по словам автора, «нес за плечами груз легендарных лет... прошел жестокую школу естественного отбора».

«Корифеев» роннит между собой то, что «они гоняли собачьи упряжки во времена романтического освоения Реки, гибли от голода и тонули. Но не погибли и не потонули. Глушили спирт ящиками во времена славы, но не спились. Месяцами жили на допинге, когда золога требовала война, и не свихнулись. Тех, кто свихнулся, спился, утонул, — тех не было здесь, и даже память о них замылась». Есть в романе и такое пояснение: «Впрочем, на земле «Северстроя» слабый не жил. Слабый исчезал в лучший мир или лучшую местность быстро и незаметно. Кто оставался, тот был заведомо сильным».

Заведомо слабый и заведомо сильный. «Быстро и незаметно». «Память замылась»... Таковы уроки «жестокой школы естественного отбора»? И не пожалей и не протяни руки?.. И не дрогни душой?..

Что это — подлинная «мораль» «корифеев» или издержки авторского увлечения внешней импозантностью «сильных натур»? Хочется думать, что последнее. В самой поэтике романа есть повышенная тяга к внешней «взвихренной» изобразительности, но из-за ее недостаточной внутренней обоснованности пластический образ при этом возникает далеко не всегда.

Портрет Чинкова, к примеру, образуется так: «взгляд тяжело опущен», «чугунное лицо», сидит «в идольской позе», «темнолицый, улыбочивый и тяжелый», «грациозный бегемот в дорогом темном костюме», «благо-

нравно сложены руки с очень маленькими женственными кистями», «по-девичоночи хихикнул», «по-детски безмятежным голосом сообщил» и т. д.

Писатель хочет убедить, что прозвище Будда тут в самый раз, прилагает все новые и новые усилия, но, как и повсюду в романе, такая монументальная изобразительность в манере «сказаний» Виля Липатова (вспомните хотя бы Анискина, похожего на «восточного бога» и русскую печь) к успеху не приводит. Конечно, все сравнения на что-нибудь да годны, но надежда тут одна: на доверчивое и пылкое воображение читателя, которое «довоссоздаст».

Про одного человека можно ни с того ни с сего обронить, что он «стал веселый, улыбочивый, как лягушонок из детской книжки»; про другого — что он «напоминал литую глыбу с мягкими кошачьими движениями»; про третьего — что он «со слоновьей грацией сидел на стуле». Вряд ли такая «изобразительность» способна передать душевный строй реальной человеческой личности.

К счастью, Олег Куваев по мере развертывания романа все менее и менее прибегает к расхожим литературным приемам, все честнее и непосредственнее следует за живым и сложным материалом жизни, уходя от внешнего, отвлеченно-романтического — к реальному человеку, его судьбе, к его внутреннему существу, к самому способу жить. И всюду, где давление пережитого, настоятельная потребность во всем рассказать о «работагах» эпохи «Северстроя» (автор романа работал на Чукотке и Колыме после окончания геологоразведочного института) взяли верх над побочными мотивами, заставив забыть о «литературе», там неизбежно Олег Куваев обретает свою речь и свое лицо.

«Территорию» критика сразу включила в разговоры о переменных в «производственном» жанре и в типе «деловых» людей. В «Территории» люди действительно показаны не дома, а на работе, и Чинков действительно деловой человек, радеющий об интересах государства. Но роман сосредоточен не на Чинкове, и хотя тема Чинкова важна сама по себе и любопытна, она всецело подвластна главнейшим, менее всего утилитарным настроениям и целям романа. Не случайно, завершив эту тему, писатель продолжает роман, продлевая самое существенное в нем — суровые и прекрасные маршруты своих героев. Мы так и остаем

их там, на полпути, у холмов Нганай, у реки Малый Китап, расслышав в предвечерней тишине шум примуса из палатки и увидев, как «на легких ногах» сбегает к ней по склону, словно к дому родному, вернувшийся из недельного странствия по тундре Сергей Баклаков..

«Мы все обреченные люди, — думал он на ходу. — Мы обречены на нашу работу. Отцы-пустынники и жены-непорочны, красотики и миллионеры — все обречены на свою роль. Мы обречены на работу, и это, клизма без механизма, есть лучшая и высшая в мире обреченность». (Пусть читателя не смущают некоторые выражения Баклакова, они «торчат» и корячат слух в цитате, но не в романе, где к ним привыкаешь и они более не шокируют.)

Писатель будто ждал таких проясняющих суть, отчетливых слов, чтобы поставить последнюю точку.

Эти слова итога и еще несколько патетических фраз затем про то, что ожидает Баклакова и его товарищей впереди («Им предстояло удержать в памяти это лето до конца дней...»), и, наконец, полемическое, страстное обращение к читателям «от автора» впрямую указывают на истинную живую душу романа, на его истинный смысл и пафос. И работа тут — ключевое слово, но не в будничном своем значении.

Перед нами особая работа — «по старой методике «Северстроя» («делай — или умри»), хотя движет ею в романе не чей-то «волей» нажим, не отсутствие выбора, а уникальная способность человека в напряжении каждодневного труда сохранять и восстанавливать себя, выстаивать, осознавать свое достоинство и значение. Однажды Куваев, делясь своими размышлениями «о смысле жизни», написал: «В результате я... додумался до апробированного поколения вывода, что главное — это работа, вернее, степень ее интересности. Все остальное (заметим это. — И. Д.) — сопутствующие явления». Убежденно и настойчиво эта мысль проведена через книги писателя. Возможность такой воистину интересной работы («не надо скучнить жизнь», — О. Куваев) особенно широка там — на Чукотке, на Колыме, в Арктике. Это работа геологов, рыбаков, летчиков, метеорологов, вообще всех, кто отдал лучшие годы и силы тому легендарному краю. В то, что «это и есть единственно правильная жизнь на земле», уве-

ривал не только промывальщик Салахов из «Территории» — из этой веры состоит сам воздух любимого Куваевым мира. Единственно правильная и достойная жизнь в этом мире — это жизнь без якоря, без «регламента», без лишних «мемуаров» (то есть обременительных расслабляющих воспоминаний), без «словесной водички», жизнь и работа скитальцев, поисковиков, одиноких чудаков и мудрецов, истинных мужчин, а не добродетельных ангелов.

Вот одно из опорных рассуждений то ли самого писателя, то ли его лирического героя: «Я скажу, почему походная палатка иногда кажется более надежным убежищем, чем городской дом. Потому что в палатке ты прежде всего считаешь живую силу: свою и товарищей». И еще: «В такой палатке ты не боишься грядущего дня, а возле костра смотришь на жизнь так, как и надо на нее смотреть, — в упор и открыто».

Тут можно при желании разглядеть и своеобразную реакцию на обилие обесцененных высоких бумажных слов, и апелляцию к самым несомненным и простым основам человеческого единения.

Но припомним, что как ни важна сама работа, еще важнее «степень ее интересности», а все остальное — «сопутствующие явления». Область «явлений», однако, очень велика, и среди них есть такие, которые к «сопутствующим» никак не отнесешь, скорее все остальное им сопутствует. Недаром от века существуют вопросы: во имя чего работа? во что станет она человеку? умягчит его или возвысит?

Иногда кажется, что писатель забывает о существовании таких и подобных вопросов, но литературе пристало на них отвечать. Или искать ответ, или, наконец, самой задавать их.

Так что же ведет героев «Территории»? Деньги? И они, конечно, но этот мотив отеснен, и притом убедительно. Любовь к своей земле, к ее испытующим и вдохновляющим пространствам? Да, и об этом написано тоже. Но сильнее всего — «обреченность» «на нашу работу», «лучшая и высшая в мире обреченность». Высокий стиль тут налицо, но и серьезное драматическое отношение к жизни — тоже. Здесь есть попытка осознать себя и свою работу (пот, кровь, риск) не столько в системе «Северстроя», сколько в «системе» общественной необходимости. Недаром даже ночной крик диких гусей для Баклакова и его спутни-

ков — это «крик, тревожный, как долг, и ясный, как жизненная задача» (разрядка наша. — И. Д.).

Чинков в романе централен, как ось, вокруг которой раскручивается вся работа. Баклаков, если можно так сказать, центральнее, потому что он — единственный в романе — дает нам достоверное и взволнованное ощущение этого мира, этой природы, этих людей.

Мы встречаемся с Баклаковым перед его уходом по маршруту, едва не ставшему последним. Мы расстаемся с ним в разгар новой поисковой страды, когда нагрузка опять «выше предельной». Работа для него — образ жизни, реализуемое призвание и претворение убеждения. Баклаков молод и честолюбив, ему хочется, чтобы и его имя легло на карту, но это потом, когда-нибудь, а сейчас важно, что есть случай «скромно, без шума, доказать, что ты можешь».

Баклаков будет спешить, горячиться, рисковать, но собой — и никогда другими. Эта работа, требующая мужественных действий и решений, полной отдачи сил, интуиции и расчета, делает Баклакова счастливым: «Сердце ровно отстукивало свои пятьдесят ударов в минуту, кровь, не отравленная еще никотином, алкоголем и болезнями, так же ровно и мощно бежала по жилам. Прекрасна страна из желтой тундры, темных гор и блеклого неба! Прекрасно одиночество рекогносцировщика среди неизученных гор и долин!» На протяжении всего романа, даже в трудные минуты, это ликующее мироощущение не оставляет Баклакова.

Баклаков — одержимый, живой, во плоти, в реальном неблагостном мире, в конторах и бараках Поселка, равный со всеми в палатке, в пути, в «общаге», где «густой запах... невыспавшегося человеческого тела», — всюду и всегда он чист и светел, почти как Мальмгрем из калатозовской «Красной палатки».

Работа Баклакова такова, что порою он проходит по самому краю, рискуя сорваться. Одно это выводит его из круга героев тех «производственных» драм и повестей, где в основном рискуют должностями и борются за них же. Баклаков, пожалуй, ближе к героям Василя Быкова; он, как и они, испытывается жесткими обстоятельствами, и в его ответных действиях, а не словах — мера его человеческой ценности. Разница же та, что для быковских героев «сопутствующие явления» войны-работы

сохраняют решающий смысл. Им, к примеру, не все равно, какой ценой они взорвали мост, чем заплатили за успех, они не могут смириться с тем, чтобы смерть людей, даже в бою, была напрасной, бессмысленной, «не за понюх табаку». (А помните: «слабый исчезал в лучший мир»?) Куваева и его геологов проблемы такого рода занимают мало. Надо, видимо, понимать так, что ни на Территории, ни на Реке они не возникали.

Кажется, «сопутствующие явления» задевают в романе лишь одного человека — Андрея Гурина. Этот «геологический ландшафтанехт», высокий профессионал с «блестящими бумагами», в японских сапогах и с польским рюкзаком, «единичный философ», как он сам себя называет, и парадоксалист, занят преимущественно тем, что по разным поводам высказывается. Его обличения «потребительского века» язвительны и порою точны. Но Гурин — это только слова, позы и сверкающая амуниция. Его полусерьезная, с горьким привкусом самоиронии («Я приспособленец. Пытаюсь отстоять свое «я» среди всеобщего забалдения») выдает душу одаренную, но опустошенную, проболтанную. Не зная, что там, за этими словами, за этим светским трепом действительного, что творится в этом человеке на самом деле, мы и не жалеем его и зла к нему не питаем.

Куваев не развенчивает Гурина, как вообще никого не развенчивает и не разоблачает. Он даже рад, что люди как не похожи друг на друга, и ему доставляет удовольствие эту несхожесть и даже противоположность изображать, хотя ему, конечно же, больше по душе те, кто, подобно Баклакову, суровому и безотказному Монголову, Жоре Апрятину, Копкову, не разменивает на слова свои принципы, знания, не заслоняет собой других, а повседневно и надежно, не ноя и не красуясь, вместе с другими делает свою работу, которая по крайней мере сейчас — превыше всего, и нет доли лучше.

Баклаков живет и действует «по Чинкову», по его приказам и заповедям. Некоторые из них производят впечатление: «Ваша личная задача иметь раскаленный мозг, выработать идеи и тут же согласовать их с принудительной силой реальности. В просторечии это называется мудростью». И не чинковское ли будущее светит Сергею впереди?

Кое-что они — начинающий и многоопытный — понимают сходно. Например, свою работу.

«Когда меня хватит третий инфаркт,— сказал Чинков,— я хочу в этот миг перед смертью знать, что выполнил почти все, к чему был предназначен». Предназначен и обречен — это что-то фатальное, но, к счастью, совпадающее с волей и страстью этих людей.

Чинков поглощен золотом Территории, прочей жизни у него нет, одна неистовая служба.

Когда Гурин говорит о Чинкове, что он «великий», потому что у него есть цель, ум и «абсолютно нет предрассудков, именуемых этикой», то это невольно настораживает. Когда же сам Чинков, обиженно открещиваясь от клички Будда, гордо произносит: «Нет заповеди, которую бы я не нарушил», то кажется, что бравады в этих словах больше, чем правды.

Наконец, когда Чинков добродушно бурчит о том, что он, «кроме эдакого героизма и разэдакой романтики», еще «кое-что» в людях видит, потому что понимает в них «кое-что», как «людоед», то это «людоедство» воспринимаешь только как шутку. У читателя нет оснований считать Чинкова, скажем, имморалистом, безнравственным дельцом, деспотом, попирающим законы. В романе тому доказательств нет, как нет и доказательств величия. Конечно, Чинков действовал в рамках необычной производственной системы — «замкнутой организации, именуемой «комбинатом. особого типа», и ему приходилось к ней приравливаться. Однако нас смущает ушедшая поначалу вглубь, но снова и снова дающая о себе знать весьма сочувственная, романтически окрашенная мысль о сильных мужах мира того. Она поблескивает и в шуточке о «людоеде», и в той фразе о нарушенных заповедях, и еще, к примеру, в поучительной беседе старых друзей — Чинкова и заместителя министра Сидорчука. Начинает Чинков.

«— Где твои деньги были месяц назад? Я все полевые партии ограбил. Нищими их отправил. Они гипертониками вернутся.

— С каких это пор ты жалельщиком стал?

— Я о неиспользованных возможностях жалею. Гипертония должна быть оправданна...

— А где твой промывальщик-гений? Хочу познакомиться.

— Там, на Кольцевой. Если привезет нужные результаты, я его в старшие инженеры произведу. Диплом нарисую об окончании вуза. Если привезет именно то, что жду, я его кандидатом наук назначу.

— Наместник! — вздохнул Сидорчук. — Император. Нерон с Калигулой тебе рукоплещут. В какой круг ада заявку подал?»

У этого разговора какой-то металлический привкус. Ирония Сидорчука ничего не меняет. Обаяние и широта сильной личности покоряют и его.

И еще одна сильная личность возникает в воспоминании. У Лидии Макаровны, чинковской секретарши, «был муж, диктатор золотого прииска. Но нет уже мужа, сгоревшего от допинга — чифир пополам со спиртом,— в бессонные годы, когда золото требовала война и служебное порицание, если требовалось, было одним: высшая мера». Судьба, что и говорить, трудная, но невольно задумываешься и о тех, кто ходил под «диктатором», то золото добывая, и тоже исчез в лучший мир, и о том, каково было им при «диктаторе», и вообще уместен ли в этом случае пусть бледный, но романтический ореол?

Нет, герои романа не берут уроков в «жестокой школе естественного отбора». Бахлакова не стало бы уже на первых страницах, если бы школила его та школа и не спас оленевод Къе. Именно взаимопомощь помогает героям Куваева выстоять в драматических поединках с природой и пространствами. Вот почему культ мужского братства в «Территории» понятен и естествен.

Рядом с геологами в романе много разного и пестрого люда, «работяг под кличками и без них». Иные из них с их запутанными, шальными судьбами только представлены, введены, их мир остается неясным, недоступным («черт знает, что творилось под этой «облезлой шапкой из заячьего меха!»), разве что странным, чудным еще одной подробностью экзотического уклада тамошней жизни. Жаль, например, что непринужденно и ярко введенные в повествование судьбы Салахова, Бога Огня, Малыша, Седого, Васьки Феникса, Вальки Карзубина остаются неразвернутыми, хотя сама логика действия требует выявления их человеческой самобытности.

В рассказе Куваева «Через триста лет после радуги» есть некий Миха, старый, пьющий, бездомный. Твердую и жирную

черту под судьбой его писатель подвел так: «Жизнь кудрявого Михи равнялась по простоте равнобедренному треугольнику. Одной стороной... являлась работа, вернее добывание денег, второй — добывание любой жидкости, содержащей алкоголь.. Третьей стороной... являлась сама Михина жизнь, как мостик перекинутая через поток денег и алкоголя...»

Такая геометрия, такой и с черпы в а ю щ и й подход к человеку в рассказе даже пугает. Тем более что есть в нем примечательные слова: «Во всяком человеке — человек с большой буквы. Иногда его трудно извлечь, иногда невозможно, но пробовать нужно всегда. Запомни это на всю жизнь, инженер». Теперь Куваев это помнит хорошо, той «геометрии» в романе нет, торжествует вера в здоровые силы каждого человека, в определенный смысл каждой человеческой жизни, но почему-то вот вспомнился тот дядя Миха... «Извлечение» из личности «пестренькой» человека (и вовсе не обязательно с большой буквы), обусловленного всей совокупностью обстоятельств, происходит в романе иногда наскоро, упрощенно, выглядит беглым пересказом чьей-нибудь судьбы, что вряд ли согласуется с требованиями избранного жанра.

В романе О. Куваева действует психологический закон, по которому мы, вспоминая самую светлую пору своей жизни, щедро заливаем тем нашим светом всю окрестность: мы поглощены собой, нам слишком хорошо, мы упоены счастьем любимой работы и прекрасными, зовущими далями будущего.

Воспоминания растревожили душу, и Куваев написал «От автора», закончив это обращение к читателю так: «...почему же, допустим, вас не было на тех тракторных саях и не ваше, а чье-то другое лицо обжигал морозный февральский ветер? Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?»

Конечно, важно, каким тоном произнесены эти слова, но они таковы, что вызова и упрека из них не вытравишь. Кажется, ни одна книга фронтовика не заканчивалась упреком тем, кто не мерз в окопах, а работал в тылу. Заметим также, что, к нашему общему счастью, всю Россию посадить в тракторные сани системы «Северстроля» было невозможно, потому что кто-то должен был пахать землю, стоять у станков, строить новые города.

Впрочем, лучше всего писателю Куваеву отвечает в самом романе Сергей Баклаков. Он вынужден прервать свою работу на Севере, чтобы на родине, в вятском селе, похоронить отца. И вот там-то, сидя в маленькой бедной своей комнате, вспоминая отца, прожившего жизнь дежурным по станции, и мать-учительницу, которую было не отличить от крестьянских женщин в те далекие годы, Баклаков «вдруг подумал об их... гордости, их суперменстве и уверенности, что они — соль земли».

Из всех вопросов «под занавес», обрушенных писателем на наши читательские головы, существен последний: «Довольны ли вы собой?»

«Территория» побуждает к размышлениям на эту тему, обостряя в нас ощущение жизни как единожды данного нам испытания и чуда.

Таким образом, преимущества походной палатки очевидны, но их не стоит преувеличивать; золото Территории никогда не станет «солью земли»; романтический ореол хорош не ко всяким предметам и лицам.

Впрочем, судя по «внутреннему диалогу» с наиболее близким ему героем, О. Куваев сам выходит на путь борьбы с «романтическими» издержками своего письма.

И. ДЕДКОВ.

Кострома.



ДОБРОЕ НАЧАЛО

Сердце Зари. Восточный альманах. Выпуск первый. М. «Художественная литература». 1973. 604 стр.

Времена, когда с названиями двух частей света — Азии и Африки — почти неизменно сочеталось или ассоциировалось слово «экзотика», уже миновали. Правда, миновали не так давно — вряд ли мы ошибем-

ся, определив рубеж окончанием второй мировой войны. Но это рубеж. Для того, чтобы некоторые стороны многочисленных и древних культур перестали быть предметом любопытства и удивления для тех, кто

знал о них не из непосредственного опыта, а больше понаслышке, объектом уничтожения — когда бездумного, а когда и тщательно продуманного — для тех, кто принимал участие в практике колониальных захватов и колониальной эксплуатации, понадобились не месяцы и не годы, а долгие десятилетия. Десятилетия политической, экономической и военной, а со стороны закабаленных народов — повстанческой борьбы, приведшей в конечном счете к крушению колониализма, к дискредитации его идеологии в мировом масштабе. Но была и иная борьба — за настоящее, разностороннее и углубленное изучение и понимание культур народов Востока и Африки в их истории, в их современном состоянии. Востоковедение и африканистика, созданные и развиваемые учеными, литераторами, художниками, кинематографистами разных стран, сделали немало открытий, накопили немалый материал. Вклад востоковедов России, Советского Союза велик и значителен. И чем ближе к нашему времени, тем острее и злободневнее проблематика, теснее соприкосновение между эпохами давно ушедшими и нынешним днем.

Выпущенный издательством «Художественная литература» сборник, романтически озаглавленный «Сердце Зари», — первый сборник серии, которая носит слегка овеянное тенью былой экзотики название «Восточный альманах». Уже самым своим построением, самым характером подбора произведений сборник этот утверждает, с одной стороны, мысль о связи истории с современностью, с другой — общечеловеческий характер и общемировую значимость процессов, происходящих в странах Азии и Африки и отражаемых их литературами сегодня.

Теперь уже, наверное, только специалисты помнят давнюю, довоенную попытку издавать у нас альманах восточных литератур. Он так и назывался «Восток». Вышло лишь два сборника: один представлял образцы литератур Ближнего Востока, другой — Дальнего. В этих книгах было немало полезного и интересного, над их подготовкой трудились исследователи-востоковеды и квалифицированные переводчики, но, к сожалению, издание носило — может быть, потому, что в нем в основном давались отрывки, — несколько не динамичный, лишенный цельности характер. Оно ничем не перекликалось с современными литературами, не имело, так сказать, сверхзадачи.

Читатель, взяв в руки сборник «Сердце Зари», естественно, захочет первым делом узнать, с какими литературами и какими произведениями может он познакомиться. Просматривая содержание, обращаешь внимание на то, что материал не сгруппирован по какому-либо из строго филологических принципов. Он расположен свободно. Вслед за открывающими альманах стихами бенгальского поэта Шубхаша Мукхопадхая помещен роман японского писателя Масудзи Ибусэ «Черный дождь». Затем особый раздел отведен поэзии Вьетнама XIX века, а за ним идут произведения африканских писателей Джека Коупа (ЮАР) и Воле Шойинки (Нигерия), африканские мифы и сказки... Турция, Индия, Индонезия, Малайзия, Китай... Миниатюры из японского сборника повестей XI века и рассказы современного малайского прозаика Шахнона Ахмада... Имена, хорошо нам известные, как, например, имя турецкого сатирика Азиза Несина, и имена, известные у нас еще очень мало...

Пестрота калейдоскопа? Нет, это тщательно продуманная композиция, в которой каждая публикация — будь то произведение современное, каких в сборнике большинство, или создание писателя прошедших времен, — занимает не только свое место, но и выполняет свои функции в составе целого. Добиться такого звучания книги было, конечно, нелегко, тем более нелегко, что все, здесь помещенное, в переводе на русский язык публикуется впервые.

Одно из самых значительных произведений сборника — роман «Черный дождь», занимающий около трети книги. Это роман о Хиросиме. Наверное, не только японцы, но и большинство человечества предпочло бы, чтобы не было всей этой литературы, не было породившей ее причины. В. Маевский, представляя читателям роман Масудзи Ибусэ, приводит цифры об убитых и раненых во время атомной бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Вся вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней, а Хиросима и Нагасаки «только» несколько сот тысяч, но трагедия атомных секунд, как очень точно и выразительно названо это событие автором вступительного слова, не только подвела ужасающий итог небывалой в истории человечества войны, она стала вечным предупреждением всем людям, которые в состоянии мыслить о будущем Земли.

Автор «Черного дождя» избрал для сво-

его произведения форму дневника, но использовал ее своеобразно. Дневниковые записи девушки Ясуко и ее дяди Сигэмацу Сидзума, относящиеся к августу 1945 года, перемежаются с повествованием о жизни маленькой семьи из трех человек — Сигэмацу, его жены Сигэко и Ясуко — спустя годы после войны. За это время Ясуко из школьницы превратилась во взрослую девушку, которую «никак не удавалось выдать замуж». В деревне знают, что она в конце войны была в Хиросиме и попала под атомную бомбардировку — она, конечно, больна лучевой болезнью. Кто же захочет создавать семью, заранее зная, что обречен на горестные заботы о тяжело, скорее всего смертельно больной жене? И тогда Сигэмацу принимает решение переписать дневник Ясуко и дать его прочесть свахе как доказательство того, что девочка была далеко от места трагедии и не получила опасную дозу облучения. Сигэмацу берется за дело, но ему приходится прервать свою работу на том месте дневника, где Ясуко рассказывает о хлынувшем с неба после бомбежки черном ливне. «Почему он так скоро кончился, этот мерзкий черный ливень? Да и ливень ли это? Какой-то хитрый оборотень... Много раз мыла я руки родниковой водой, но никак не могла оттереть пятна — так крепко въелись они в кожу».

Тогда, в те первые часы и дни, люди не знали, чем страшен черный дождь, гадали, почему он оставляет несмываемые пятна. Теперь это известно всем. Дневник Ясуко не поможет девушке выйти замуж...

Сигэмацу решает переписать и свой тогдашний дневник. Ведь он, Сигэмацу, находился всего в двух километрах, а не в десяти, как Ясуко, от эпицентра. Ему обожгло щеку, но он жив и здоров.

Текст дневника Сигэмацу больше всего потрясает в романе. Надо сказать, что произведение вообще написано в подчеркнуто ровном, спокойном, сдержанном тоне, ему свойственна сугубо бытовая, что ли, интонация. Но тем больше оно впечатляет — так шепот иной раз сильнее крика... Негромко, медлительно повествует дневник Сигэмацу о том, что все мы должны считать самым страшным в истории человечества.

«— Госпожа Такахаши, на вас столько пыли. Как будто седой парик на голове.

Женщина наконец выпустила мою руку и стала отряхивать волосы. Пепел посыпал-

ся на лицо, на плечи. Тогда она начала его сдвигать. Это получалось у нее еще успешнее. Затем она наклонилась вперед, продолжая энергично отряхивать волосы.

Я последовал ее примеру. С головы у меня посыпался мелкий пепел, словно я дунул в потухшую жаровню, полную золы».

Эта цитата выбрана наугад. Цитировать можно с любого абзаца — получится не менее сильно. Мне кажется, что читатель романа время от времени вынужден поднимать голову от страниц книги — чтобы опомниться. Так, во всяком случае, приходилось делать мне.

В романе есть и записи Сигэко, сделанные у постели уже заболевшей племянницы, и дневник попавшего под бомбежку врача Иватакэ, который остался жив после перенесенной им сильной формы лучевой болезни, и короткая запись жены Иватакэ — о том, как она помогала мужу выздороветь, доставала необходимое ему питание... Для них и для многих тысяч других людей секунды атомной трагедии растянулись на невыносимо долгие годы, и об этом должен знать и помнить каждый из нас, и детей, и внуков наших.

Большинство других произведений современных писателей и на современные темы, помещенных в альманахе, так или иначе связано с проблемой соприкосновения разных культур и цивилизаций в процессе становления новых национальных государств Азии и Африки. Острее и выразительнее всего повернута эта проблема в произведениях Джека Коупа и Воле Шойинки.

Прежде чем говорить о рассказах Коупа и пьесе Шойинки «Лев и жемчужина», я позволю себе привести высказывание итальянского кинорежиссера Фолько Куиличи, прекрасно знающего, любящего и понимающего Африку и ее самобытную культуру. Его книга «Тысяча огней» не только рассказывает о большой киноэкспедиции, но и содержит выводы автора о том, как представляет он себе соотношение: доколониальная история Африки — ее колониальная история — ее современное состояние. Куиличи пишет: «Вчерашний обитатель саванны или лесов, попавший в совершенно иной мир большого города, в результате почти мгновенной метаморфозы теряет свои лучшие природные качества... он становится наглядным свидетельством крайней степени отчуждения человека в современном обществе. А «отчуждение» —

это глубочайший духовный кризис, и его последствия, безусловно, дадут о себе знать на всем необъятном Африканском континенте. Главным виновником этого кризиса была и остается западная цивилизация».

И далее: «По мнению одних, кризис удастся преодолеть, только когда жители центральноафриканских стран воспримут прогресс, не отказываясь одновременно от своих древних традиций. Подобная эволюция происходит, например, с такими народами, как японцы, индейцы, китайцы. Экваториальная Африка может и должна использовать новейшие достижения техники, но ей необходимо найти свой путь развития и прогресса».

В Азии и Африке немало народов, которым история предложила если и не такую прямую альтернативу, то, во всяком случае, необходимость выбора именно своего пути, причем прежде всего это путь независимости, путь освобождения в любом смысле — нравственном, социальном, политическом, экономическом. О том, насколько труден этот путь, думаешь, читая рассказ Коупа «Добыча шакала», в котором мастерски написан некий Андреас Те Хоом — живое воплощение всего худшего, что принесла в Африку колонизаторская «цивилизация». О том, насколько желанна свобода, говорит небольшой рассказ, давший название всему выпуску альманаха. Умирает старый хозяин негрятинки-рабыни, няни Гриет, как зовут ее в доме. Женщину, обезображенную возрастом, но еще более — годами подневольной жизни, в детстве насильно захватили в рабство. Она была красивым ребенком, потом стала красивой девушкой, и имя у нее было чудесное — Сердце Зари, как у одной из звезд на небе Африки. Хозяин умер, и Гриет свободна. А нужна ли ей теперь свобода, ей, множеством нитей связанной с семьей хозяина, ей, нянчившей его белых детей и его внуков, рожавшей от него же своих детей, состарившейся и давно утратившей очарование женственности?

«Гриет оставила детей и побежала... Она бежала и бежала, спотыкаясь о камни и цепляясь за вересковые кусты и оставляя на них клочки одежды. Потом она сорвала с себя уже ни на что не годное тряпье и остановилась... Светало... Она подняла руки к... трем звездам, уже тускнеющим и едва видимым сквозь предрассветную мглу, — и ошалела от счастья. С прошлым покончено. Она свободна. Принадлежит себе — только себе!»

В истории можно найти немало подтверждений тому, что недостаточно получить свободу, надо ее удержать, надо мудро использовать и предоставляемые ею возможности во имя счастья большинства. Воле Шойинка в своей пьесе развенчивает попытки прямолинейного внедрения завоеваний прогресса, с тонкой иронией высмеивает наивность неофитов свободы, представляющих себе новую жизнь как отказ от традиций, дорогих народу и необходимых ему не только в настоящем — в будущем. Но ведь на любви людей к добрым традициям паразитируют и традиции отжившие; их носители могут быть сильными и опасными противниками тех, кто борется за новые отношения между людьми, между человеком и обществом. В столкновениях вождя Бароки и учителя Лакунле в пьесе Шойинки пока побеждает первый — именно потому, что второй еще плохо представляет и с чем надо сражаться, и какими средствами, и во имя чего конкретно.

Предлагая читателям альманаха только произведения, впервые публикуемые в русском переводе, составители и редакторы должны были продумать и систему подачи, комментирования материала.

Надо сказать, что и это сделано с учетом интересов читателя. Комментария как такового в книге нет — он бы, вероятно, «отяжелил» подобное издание. Но все произведения, нуждающиеся в пояснении, снабжены статьями специалистов, как, например, «Джатаки» — предисловием Б. Захарьина, старые японские повести — вступлением В. Сановича и т. п. В книге не воспроизводятся оригинальные иллюстрации, она снабжена лишь несколькими стилизованными шмуцтитулами А. Коноплева, но есть вполне уместная в этом сборнике статья «Из истории мусульманской миниатюры», автор которой А. Дехтярь на весьма ограниченном количестве страниц умещает и свою концепцию и ее подтверждение примерами.

Альманах, как принято говорить теперь, несет значительное количество свежей, общественноинтересной информации — это немалое достоинство. Но не меньшим, а может быть, самым большим достоинством книги надо считать то, что она не просто знакомит — она тревожит, волнует, будит мысль, эмоции. Ее нельзя читать равнодушно.

Серия задумана интересная, серьезная, нужная, хотелось бы пожелать успешного ее продолжения.

Д. ЛЕБЕДЕВА.

ДОРОГА ПОКОЛЕНИЯ

Л. Грачев. Дорога от Волхова. Литературная запись Г. Комиссаровой. «Дружба народов», 1974, № 3.

В последнее время иные критики не устают повторять: документальная литература потеснила литературу художественную. Говорится это с категоричностью, которая суть родная сестра запальчивости. Но ежели взглянуть на дело трезво, то обнаружится: подлинную, большую художественную литературу документалистика не потеснила — и не могла потеснить. А вот посредственную, ремесленную беллетристику не только потеснила, а даже решительно оттеснила — и не могла не оттеснить. Потому что правда факта всегда выше бескрылого, не освященного творческим взлетом сочинительства. С высокой же, с истинно талантливой, правдивой литературой документалистика дружит, в читательском восприятии они как бы дополняют друг друга, взаимопроникая, взаимообогащаясь.

Но это к слову; отступление, впрочем, уместно, поскольку речь пойдет о документальной прозе — о воспоминаниях Л. П. Грачева «Дорога от Волхова». Имя Леонида Павловича Грачева достаточно известно. На Первом всесоюзном съезде советских писателей, сорокалетие которого мы недавно отметили, выступал двадцатисемилетний директор Окуловского бумажного комбината Леонид Грачев, по просьбе Алексея Максимовича Горького он доложил съезду о подарке рабочих писателям — пятидесяти тоннах бумаги, выработанной за месяц сверх плана. Затем он — директор Камского бумажного комбината, заместитель наркома лесной промышленности, в годы Отечественной — генерал, заместитель командующего Волховским фронтом по тылу, после войны министр целлюлозно-бумажной промышленности, начальник ОГИЗа СССР, Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Ныне Л. П. Грачев — директор издательства «Известия», хозяйства большого и сложного. Кстати, на этом посту он трудится бессленно уже семнадцать лет... Богатая, насыщенная жизнь, истоки которой — у Древнего Волхова.

Воспоминания Л. Грачева начинаются любопытным эпизодом:

«— Товарищ генерал! Время!

Я и сам понимал: надо торопиться. До Новгорода еще восемьдесят километров, вот-вот налетит немецкая авиация, а сапоги будто пристыли ко льду Волхова. И хоть

картина для глаза стала уже привычной — снег присыпал красные горки кирпича, отчаянным узлом вознеслись в космах проволочки балки фабричных цехов, — не мог я отвести взора... Здесь был мой дом, здесь я родился, здесь Волхов учил нас, фабричных мальчишек, мужеству. Здесь прошла моя комсомольская юность».

Да, вот так распорядилась судьба: генералу Грачеву пришлось воевать в родных местах, с которыми столько связано! Родившийся в бедной рабочей семье, он прошел суровую трудовую школу. Активный общественник, комсомолец, вожак молодежи... О детстве и юности им рассказано живо, достоверно, искренне, с убедительными и зримыми подробностями, какие нельзя выдумать.

Мемуары Л. Грачева написаны в свободной, раскованной форме, без пунктуального соблюдения хронологии, и это позволяет автору совершать «выходы» в нынешнее бытие, сопрягая прошлое и настоящее. Но, конечно же, основное внимание уделено именно юности, когда он начал формироваться как личность, как гражданин. Об этом рассказывается с тактом, со скромностью, даже с самокритичностью. И еще: Л. Грачев повествует не только о себе, но и о товарищах по фабрике, по комсомолу, по профсоюзной работе — обо всех, с кем так или иначе соприкасался, повествует уважительно и тепло.

Отличное это поколение! Автор пишет: «Поскольку я был секретарем комсомольской ячейки, мне часто приходилось ездить в Новгород на различные конференции, и это каждый раз было для меня большим праздником. Жизнь в городе резко отличалась от нашей, фабричной. Приезжали ребята, кто из Валдая, кто из Старой Руссы, кто из Боровичей, из деревень, все рассказывали о своих делах, друг у друга чему-то учились. Говорит человек, что у них в организации имеются такие-то трудности, и ты все время думаешь, прикидываешь, а что бы ты сделал на его месте, чтобы их преодолеть. Если чувствуешь, есть что сказать, берешь слово.

Тогда на комсомольских наших конференциях не было ни докладов, ни прений. Собирались мы в какой-нибудь комнате

Дворца труда, съезжалось нас человек сорок, не больше. Садились мы в кресла. Кругом — роскошь, зеркала, все-таки дом бывшего предводителя дворянства. Сидишь, чувствуешь свою силу и вместе с тем большую ответственность за дело, которое тебе поручено.

Понятно, никто из нас, детей рабочих и крестьян, сидевших тогда в «предводительских» креслах, не мог и предположить даже в самых смелых мечтах, что Федор Логинов из Боровичского уезда станет министром энергетики СССР, Георгий Наумов — заместителем министра сельского хозяйства СССР по вопросам электрификации, Саша Кривцов — заместителем председателя Комитета физкультуры и спорта при Совете Министров СССР, Михаил Денисов — министром химической промышленности СССР. Сидел вместе с нами запевавшая наших комсомольских песен Алексей Кузнецов, работавший в эконоправе Боровичского уездного комитета комсомола. Отличался он особой серьезностью, сосредоточенностью, деловитостью. Стал он впоследствии секретарем ЦК КПСС. Был среди нас Владимир Новиков — нынешний заместитель Председателя Совета Министров СССР, дипломат в ранге посланника Александр Мартынов, Михаил Иовчук — ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС...

Можно было бы перечислять и перечислять имена наших комсомольцев, оставшихся рабочими, крестьянами, верно исполняющими или исполнившими свой гражданский долг перед Родиной...»

Да, это так. Не все становились министрами, но все — дети Октября, дети свободы — становились хозяевами страны, горячими патриотами отчизны, стойкими интернационалистами, борцами за идеи Ленина, за коммунизм. И как бы потом ни складывались обстоятельства — порой драматически, — эти люди до конца были верны духу своей комсомольской юности.

С особенной теплотой и проникновенностью вспоминает Л. Грачев о родителях, многое сделавших, чтобы воспитать Леню (восьмого по счету ребенка в семье, всего родилось десять, выросло шесть) на крепких рабочих традициях. Отец и мать были безотказны в труде, душевно широки, сочувливы, деликатны. Не могу не привести цитату:

«Мать была глубоко верующим человеком, совсем неграмотная, но деликатность

ее была настолько велика, что у нас никогда не было икон. Она никогда не крестилась, ни садясь за стол, ни вставая. Ей не хотелось огорчать отца.

Перед войной она часто приезжала ко мне в Москву и очень гордилась тем, что я стал заместителем наркома лесной промышленности. Обычно, когда она приезжала, я спрашивал ее:

— Мама, куда тебя отвезти, что ты хочешь посмотреть?

Она всегда отвечала одно:

— У меня, сынок, путь один. Машина твоя мне не нужна. Пойду я пешком. Сначала к Ленину. Если есть очередь, встану. Если нет — не пускают, постую, посмотрю на то место. Потом пойду в музей, послушаю его голос. Останется время, схожу в церковь. А нет, завтра.

Иногда под хорошее ее настроение, бывало, скажу:

— Мама, бога ж нет, напрасно ты силы тратишь, ходишь в церковь.

Она отвечала:

— Сынок, я не хочу спорить, но больше так не говори.

Правда, если не ладились дела у дочерей, у Тони, Фисы или Ани, она говорила:

— А может быть, действительно бога нет.

Я спрашивал ее:

— А почему же ты так решила?

— Я так молось! Наверно, никто так у бога не просит, чтобы помог, а он не хочет никак... Ну, на том свете увидим, если он есть, так хорошо, а если нет, так нет...

Во время войны она оставалась в блокадном Ленинграде. Я, будучи заместителем командующего войсками Волховского фронта, просил товарищей, которые пробирались по Дороге жизни через Ладогу, навестить ее. Вначале она чувствовала себя хорошо, но потом заболела от голода цингой. На мои просьбы эвакуироваться, переданные через товарищей, она отвечала отказом: «Я этого Литру (так она называла Гитлера) не боюсь».

Только когда ей стало совсем плохо и ей внушили, что старики должны покинуть город, чтобы облегчить его снабжение, она согласилась уехать из Ленинграда».

Таких выразительных мест, посвященных матери, в мемуарах Л. Грачева немало, и в сумме они создают впечатляющий, обаятельный портрет русской женщины. На

мой взгляд, приведенный отрывок свидетельствует об умении Л. Грачева лепить характеры, проследить человеческие судьбы. И во-вторых, отрывок типичен для его авторской манеры, в основе своей разговорной.

В «Дороге от Волхова» за судьбой автора встает судьба целого поколения. И если у читателей мечтателей пробуждаются к этому поколению добрые чувства, то здесь прямая заслуга Л. Грачева, точно передающего черты своих сверстников. И еще одно чувство рождается у читателей — чувство ответственности за то дело, которому старшие посвятили всю жизнь без остатка.

Л. П. Грачеву было что вспомнить, а Г. Комиссаровой было что записать. Мне хотелось бы сказать одобрительное слово о ее литературной записи, добротной, квалифицированной. Лишь кое-где Г. Комиссарова не устояла перед литературными красотами и банальностями, совершенно чуждыми стилю «деловой прозы» Л. Грачева.

Во вступительной заметке к «Дороге от Волхова» первый секретарь Правления Союза писателей СССР Георгий Марков рассказывает, как в свое время начальник Главполиграфиздата Л. П. Грачев помог ему правильно и оперативно, в течение по-

лучаса, решить трудные, запутанные вопросы, связанные с работой Иркутского издательства. «Нам был преподан,— пишет Г. Марков,— урок настоящего, большевистского стиля работы». Я тоже мог бы припомнить, как лет двадцать назад Л. П. Грачев в том же качестве приезжал в Читу и помог мне, тогдашнему руководителю местной писательской организации, решить те же непростые проблемы. А позже, приезжая из Читы в Москву, я не раз получал в его служебном кабинете эти уроки деловитости, принципиальности, широты мышления. В последние годы довелось общаться с Леонидом Павловичем как с директором издательства «Известия», и я увидел: прожитое и пережитое не состарило его, не изменило. Говорю это к тому, чтобы подчеркнуть: на разных постах трудился Л. П. Грачев, много поучительного повидал этот интересный, незаурядный человек. Ему не только было что вспомнить. Еще в большей степени ему есть что вспомнить. Ибо опубликованные в «Дружбе народов» главы — начальные, повествующие преимущественно о детстве и юности. Не сомневаюсь, что читатели с нетерпением будут ждать дальнейшего рассказа Л. П. Грачева.

Олег СМИРНОВ.



ПЛОДЫ УПРОЩЕНИЯ

Владимир Иванов. Ларец мудреца. Лениздат. 1973. 216 стр.

Батюшков сказал о Крылове: «Этот человек загадка, и великая!» И это совершенно справедливо. Загадочность биографии великого баснописца, загадочность его судьбы, загадочность его характера и даже его творчества прекрасно видели уже современники. При этом современники знали и понимали многое, чего не могли знать жившие позже. Они знали живой контекст крыловской жизни, знали эпоху кснца XVIII — начала XIX века, которая сформировала Крылова и определила его судьбу и особенности его творчества. Парадоксальность «века Екатерины», когда небывалый для российского самодержавия либерализм власти сочетался с изощренным лицемерием, коварством и жестокостью; парадоксальность короткого царствования Павла (воспитанник конституционалиста Никиты Панина и надежда оппозиции показал себя на деле достойным учеником Калигулы);

парадоксальность царствования Александра, которое началось обширными либеральными замыслами, а закончилось всероссийским людоедством Аракчеева, — вот что определило загадочную и трагическую судьбу Крылова.

Дело усложняется еще и тем, что сам Крылов всячески старался затруднить работу будущим биографам. Он скрывал, пугал, недоговаривал. Он не хотел, чтобы кто-либо проник в его прекрасную и страшную молодость. Чтобы кто-либо понял причины, превратившие его в увальня, домоседа, жестокоского шутника под личиной добродушного ленивца.

«Этот человек загадка...» И каждую новую книгу о Крылове мы открываем с интересом почти детективным — скажет ли нам автор что-нибудь новое, закроет ли он хотя бы одно из многочисленных белых па-

тен крыловской биографии, приблизится ли хоть на шаг к разгадке?

Автор повести «Ларец мудреца» — скажем сразу — пошел по разочаровывающе простому пути. Пути хрестоматийному в дурном смысле слова.

Разочарование начинается с первых страниц, на которых рассказывается о соре молодого Крылова с генералом Соймоновым. Эта ссора и вызвавший ее конфликт Крылова с Княжниным — один из интереснейших эпизодов биографии героя, требующих исследования и объяснения. Ибо подоплека их, развитие и последствия крайне темны. А между тем это был роковой момент в жизни Крылова.

Что произошло? Молодой драматург и мелкий чиновник Иван Крылов написал и размножил резкий до грубости памфлет «Проказники». Центральное положение в нем занимали популярнейший драматург того времени Княжнин и его жена. Появление «Проказников» вызвало неудовольствие весьма влиятельного вельможи генерала Соймонова. Соймонов был не только начальником ведомства, в котором служил Крылов, но и заведовал императорскими театрами. Таким образом, начинающий писатель был целиком в его власти. Как же реагировал Крылов на обиду Княжнина и гнев Соймонова? Он написал откровенно издевательское письмо Княжнину и неслышанное по дерзости письмо Соймонову. Оба письма были пущены по рукам.

И тут возникает несколько вопросов. Почему Крылов избрал мишенью для памфлета именно Княжнина, талантливого драматурга, либерального деятеля, человека, пострадавшего в молодости от жестокости императрицы? Что, кроме темперамента и уверенности в своей значительности, придавало Крылову дерзости в отношениях с Соймоновым? И наконец, почему, оскорбив одного из влиятельнейших людей империи, молодой чиновник и малоизвестный литератор остался безнаказанным? И даже стал издавать без всяких препятствий журнал?

Ни на один из этих вопросов В. Иванов даже не пытается ответить. И потому глава, посвященная этим важнейшим событиям, оказывается совершенно невразумительной.

Между тем попытка ответить на эти вопросы необходима для понимания дальнейших событий, о которых рассказывает В. Иванов.

Дело в том, что есть множество косвенных обстоятельств, существенно меняющих то представление о молодости Крылова, которое он хотел внушить позже своим современникам. Есть указания на то, что молодой Крылов был связан с оппозицией, ориентировавшейся на великого князя Павла Петровича.

Иванов сам же пишет о знакомстве молодого Крылова с императрицей Марией Федоровной, супругой Павла, но объясняет этот весьма загадочный факт очень уж неубедительно. «Русская императрица по-русски говорила плохо. Фрейлины и статс-дамы по-немецки и по-французски хвалили ее величество Марию Федоровну за заботы о российской литературе. А секрет был в том, что императрице давно осточертели военные упражнения ее супруга и она была рада каждому собеседнику, не затанутому в военный мундир. Иван Андреевич получил приглашение бывать при дворе». Хорошая история получается, если принять ситуацию в толковании В. Иванова! Мелкий чиновник в отставке, ушедший из литературы (ибо Крылов еще в последние годы екатерининского царствования уехал из Петербурга и литературой практически не занимался), оказывается гостем и собеседником императрицы только потому, что ей и поговорить не с кем.

Крылов был действительно хорошо знаком с императрицей, она действительно рекомендовала его в секретари к князю Голицыну. Более того, по имеющемуся свидетельству, Крылов был хорошо знаком и с самим Павлом. Но дело было, разумеется, не в том, что императорской чете поговорить не с кем было. Думается, что Крылов в 90-е годы был куда более значительной фигурой, чем он сам потом о себе рассказывал. В книге эти моменты начисто отсутствуют.

Е. Иванов все время проходит мимо важных, чреватых сложными связями фактов, не пытаясь эти связи выявить. Он знает, например, о знакомстве Крылова с Державиным. «Он (Крылов. — Я. Г.) бывал у Державина, тогда хозяйкой дома была Екатерина Яковлевна — черноволосая Пленира...» Вот и все. А Крылов не просто «бывал» у Державина, как бывали многие. Он был близок с державинской семьей. В. А. Оленина, несомненно со слов самого Крылова, писала о том, что Крылов очень любил первую жену Державина, «которую он считал гениальной и которая как ему,

так и мужу своему сделала много добра». Столь близкие отношения Крылова с первым русским поэтом и крупным чиновником тоже могли бы многое подсказать автору повести. Но он не обращает на них внимания.

Привычка не замечать факты, скрытые под слоем общеизвестных событий, характерна для всей книги. А между тем факты эти определяющие. Их отсутствие лишает книгу глубины и новизны.

Глава о «Почте духов» крайне важна — издание «Почты...» было подвигом, звездным часом молодого Крылова. В. Иванов же рассказывает об этом так, как можно рассказать о любом среднем сатирическом русском журнале XVIII века. Все русские сатирики того времени так или иначе отличали неправедных судей, разгульных франтов, жестоких деспотов. Но «Почта духов» имела свои особые тенденции. В журнале Крылов попытался сформулировать свои философские и политические воззрения, программу оппозиции, ориентированной на наследника. Издание это могло бы дать обширнейший материал для художественного анализа взглядов и человеческих качеств молодого Крылова.

В. Иванов, следуя своему принципу, посвящает «Почте духов» маленькую главку, заполненную пересказом, как правило, отнюдь не самых существенных отрывков. И все.

Таким образом, фигура молодого Крылова оказывается схематичной и одномерной, взгляды и устремления его — неопределенными и отсеченными от реальных страстей и проблем эпохи. Демонстрируются только те его связи, которые можно найти в любом популярном очерке.

Но именно связи молодого Крылова с крупными людьми эпохи, и главным образом с партией наследника, и придавали ему смелость, устойчивость. Определяли во многом характер его журнальной деятельности.

Знание механизма государственной жизни, глубокое разочарование литератора-мыслителя в возможности повлиять на работу этого механизма и привели позже к самоизоляции, закрытости крыловской жизни.

Глубоко лежащие сложные связи тянутся из XVIII века, молодости Крылова, в век XIX, в пору его зрелости. Не разобравшись в существе явлений первого периода, которые, естественно, не исчерпываются упомянутыми выше, В. Иванов не смог ска-

зать ничего принципиально нового и значительного и о периоде втором.

В этих главах, посвященных Крылову-баснописцу, тоже можно найти примеры упрощений. Вот речь идет о мрачном времени после катастрофы 14 декабря, об издании в это время басен Крылова. «Строжайшим цензором был сам Оленин. Крылову скрепя сердце пришлось пойти на уступки. Первой была поставлена басня «Конь и Всадник» с моралью: «Как ни приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная ей мера не дана». Нет оснований думать, что столь красноречивое положение этой басни, первой в книге, трактующей самые злободневные вопросы, было навязано Крылову. Зрелый Крылов отнюдь не был сторонником вооруженных переворотов. А по В. Иванову получается, что все дело в цензуре да Оленине, а настоящие симпатии Крылова были-де на стороне декабристов. (Надо помнить, что басня была написана в 1814 году, после падения Наполеона, и выражала ясное отношение Крылова к революции и ее последствиям.)

Упрощены и отношения Крылова с Вяземским. Если принять точку зрения автора книги, то все дело в личных пристрастиях Вяземского. Между тем подоплека этих отношений, равно как и полемика Пушкина с Вяземским о Крылове, была связана с литературной ситуацией первой четверти XIX века.

Слишком одномерно показывает автор и отношение Николая I к литературе. В. Иванов пишет: «Пушкина можно было ругать сколько угодно, но «Юрий Милославский» был одобрен царем». Казалось бы, классическая ситуация: «Пушкина можно... ругать сколько угодно». Но ведь глумление Булгарина над «Евгением Онегиным» вызвало гнев Николая и едва не повлекло за собой закрытие «Северной пчелы». В чем же дело? В книге это не объяснено.

Автора повести о Крылове нельзя обвинить в незнании материала. Неточности, которые он допускает, минимальны и, как правило, неприципиальны. Он явно ознакомился с большим количеством специальной литературы. В повествование введено много деталей, касающихся, правда, не столько Крылова, сколько эпохи вообще.

В чем же источник слабости В. Иванова в данном случае?

Вопрос этот связан с вопросом более общим: при каких условиях компилятивная литература является благом? А книга В. Иванова не есть художественная проза. Это именно беллетризованная научно-популярная литература компилятивного характера.

Большинство наших научно-популярных книг компилятивно. Но лучшие из них обобщают прежде всего материал, недоступный широкому читателю. А кроме того, материал этот выстроен в них таким образом, что возникает стройная и сложная картина эпохи, судьбы, творчества героя. Возникает не только перечень фактов, но характеры людей. А в некоторых случаях авторам таких книг удается самостоятельное решение проблем.

В книге В. Иванова свежего материала, относящегося непосредственно к Крылову, к сожалению, нет. Сведения, которые сообщает нам автор, в общем-то, не выходят за пределы двух известных, неоднократно издававшихся книг — Н. Степанова «Крылов» (в серии «Жизнь замечательных людей») и И. Сергеева «Крылов» (М. «Детская литература». 1966. 3-е издание).

Картина эпохи, представленная В. Ивановым, тоже не являет каких-либо принципиально новых для широкого читателя черт. Сложный и загадочный характер своего героя автор упростил, ограничившись именно констатацией событий.

В. Иванов и сам, очевидно, чувствует слабость своей позиции. И в последней главе книги пишет: «Ивана Андреевича Кры-

лова считают самым загадочным из русских писателей». Но поскольку и намека на эту загадочность нет на страницах его собственной книги, где благополучно существует трудолюбивый, прогрессивный, благоразумный и такой насквозь понятный дедушка Крылов, то автор довольно прозрачно намекает, что загадочность эта — едва ли не выдумка мемуаристов: «О Крылове писали завистник Лобанов, литературные разбойники Булгарин и Греч, желчный Вигель, пристрастный в оценках князь Вяземский и другие». Но, скажем, воспоминания Вигеля — ценнейший документ. И прямое дело историка или литератора, занимающегося историей, уметь, сопоставляя различные сведения, отличить правду от вымысла. А кроме того, есть ведь и «другие». Есть свидетельства неоспоримые. В том числе свидетельства самого Крылова — в его произведениях. А произведения эти надо уметь читать.

Беда В. Иванова в том, что он пользовался главным образом материалами, уже использованными его предшественниками, и на эти использованные материалы не сумел взглянуть по-новому.

Беда В. Иванова и в том, что, взявшись за такую сложную задачу, как жизнеописание Крылова, он, не имея собственной точки зрения, не сделал даже попытки подойти к проблеме как исследователь.

Я. ГОРДИН.

Ленинград.



Политика и наука

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Л. И. Брежнев. О коммунистическом воспитании трудящихся. Речи и статьи. М. Политиздат. 1974. 559 стр.

В 20-е годы на комсомольских собраниях, на многолюдных диспутах — в ту пору молодежь ими очень увлекалась — мы со всем пылом юности и свойственной ей категоричностью суждений буквально до хрипоты спорили о том, как будут жить люди при коммунизме и, главное, как и не это будут люди. Честно говоря, в наших представлениях о человеке нового общества было тогда немало наивного. Но

что касается самого существенного, основного, мы были уверены, что не ошибаемся. Ведь надежным ориентиром в этих жарких диспутах нам служила изумительная по своей идейной целеустремленности, богатству содержания и глубине мысли, по силе воздействия на наш разум и чувства речь Владимира Ильича Ленина на III съезде комсомола.

Из этого ленинского, программного для

союзов молодежи выступления становилось предельно ясно, что люди нового общества должны быть не только беззаветно преданными идеалам коммунизма, но и людьми хорошо образованными, овладевшими высочайшими знаниями и всеми богатствами культуры, людьми с новой, коммунистической моралью. И приступить практически к воспитанию таких людей необходимо было, не откладывая этого сложнейшего дела в долгий ящик, а сейчас же, немедленно, в экономически и культурно отсталой, разоренной первой мировой и гражданской войнами стране, подавляющее большинство населения которой оставалось неграмотным, а десятки малых народов не имели даже своей письменности...

Современной нашей молодежи те годы представляются бесконечно далекими. Самоотверженный, воистину героический труд советских людей, руководимых ленинской партией, до неузнаваемости преобразил нашу страну, выступающую ныне во главе социального и культурного прогресса. Мы живем сегодня в развитии, зрелом социалистическом обществе, успешно ведем коммунистическое строительство. В совместном созидательном труде, в борьбе за социализм, в боях за его защиту духовно выросли и закалились советские люди. Но и в наши дни задача формирования нового человека, проблемы коммунистического воспитания трудящихся, и прежде всего молодежи, продолжают быть в центре внимания партии, всей советской общественности.

Более того: чем успешнее идем мы вперед по пути коммунистического строительства, тем эти проблемы становятся все актуальнее и актуальнее. Такова диалектика развития самого передового в мире социалистического строя. Как говорил Леонид Ильич Брежнев, «ныне темпы общественного прогресса, темпы нашего продвижения к коммунизму все заметнее зависят от интеллектуального потенциала общества, от развития культуры, науки, образования». Коммунизм невозможен без всестороннего развития самого человека, без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей. Невозможен так же, как невозможен он и без соответствующей материально-технической базы.

Конечно, на современном этапе развития советского общества задачи коммунистического воспитания трудящихся стали несо-

измеримо сложнее, намного глубже, масштабнее, чем те, которые выдвигались и решались партией в первые годы советской власти, в переходный от капитализма к социализму период.

Безвозвратно отошли в прошлое годы, когда в нетопленных аудиториях и общежитиях полуголодные рабфаковцы — будущие командиры производства, начальники строек, будущие инженеры и партийные работники, от шинелей, бушлатов и кожанок которых еще пахло пороховым дымом сражений гражданской войны, — упорно овладевали основами политических и общеобразовательных знаний, а в тысячах, десятках тысяч советских деревень долгими зимними вечерами, втиснувшись за школьные парты, бородастые мужики при скудном свете копилки водили заскорузлыми пальцами по страницам букваря и натужно читали по складам: «Мы не ра-бы...»

Это было начало невиданной в истории человечества культурной революции, осуществленной в нашей стране по гениальному ленинскому плану. Советский Союз давно стал страной сплошной грамотности. Наш народ сегодня смело может быть назван одним из самых образованных народов в мире. За годы социалистического строительства партия вырастила, воспитала многочисленные кадры высококвалифицированных, преданных делу коммунизма специалистов для всех отраслей народного хозяйства, науки и культуры.

Поистине огромных успехов достигла в своем развитии наша культура — социалистическая по содержанию, по главному направлению своего развития, многообразная по своим национальным формам, интернационалистская по духу своему и характеру. Впитавшая в себя все лучшее, прогрессивное из культурных ценностей прошлых эпох, советская, подлинно народная культура знаменует собою новый шаг вперед в духовном развитии человечества. Все более весомым и зримым становится ее вклад в сокровищницу мировой культуры.

В докладе «Пятьдесят лет великих побед социализма» Леонид Ильич Брежнев говорил: «Чтобы измерить глубину перемен, которые принес с собой социализм, нужны и кропотливый труд ученого, и вдохновенная песнь поэта. За 50 лет в жизни народа изменилось абсолютно все. Мы создали совершенно новый мир: мир новых — соци-

алистических — отношений, мир нового — советского — человека. Гигантски раздвинулся духовный горизонт советских людей, изменились их нравственный облик, отношение к труду, друг к другу. Обновленная и преображенная социализмом предстала перед человечеством наша страна во всем своем могуществе и величии, во всем блеске таланта своего замечательного народа».

В своей поистине всеобъемлющей деятельности в области коммунистического воспитания трудящихся, воспитания молодежи партия, как и во всех других сферах, всегда всесторонне и трезво оценивает то, что уже сделано, что достигнуто, и с учетом этого выдвигает задачи, полностью отвечающие интересам народа. И как бы сложны эти задачи ни были, они всегда реальны, всегда выполнимы.

Каковы же эти задачи на современном этапе развития советского общества? И как партия обеспечивает успешное их решение?

Глубокие, всесторонне аргументированные ответы на эти вопросы дает сборник речей и статей Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева «О коммунистическом воспитании трудящихся», выпущенный недавно Издательством политической литературы. Сборник содержит документы и материалы за период с 1964 по 1974 год, в которых широко освещаются проблемы идеологической, массово-политической и культурно-воспитательной работы. Некоторые выступления публикуются впервые.

И хотя большинство вошедших в книгу речей и статей нам хорошо знакомо, их читали и активно обсуждали в своих коллективах, внимательно, с живым интересом изучали миллионы людей; хотя у нас еще свежи впечатления от сравнительно недавних выступлений Леонида Ильича — на XVII съезде ВЛКСМ и на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа Москвы, — книга «О коммунистическом воспитании трудящихся» сразу же после ее выхода в свет привлекла внимание широких кругов советской общественности, в том числе нашей творческой интеллигенции.

Этому, разумеется, есть свое объяснение. Дело, очевидно, не только в том, что рассматриваемые в книге проблемы настолько животрепещущи, настолько жизненно важны, что никого из сознательных

советских граждан не могут оставить равнодушным. Дело еще в том, что собранные в одной книге речи и статьи Генерального секретаря ЦК КПСС, охватывающие целое десятилетие, помогают нам во всей полноте представить себе сложную, многогранную работу партии по коммунистическому воспитанию народа. Они раскрывают перед нами плодотворную теоретическую деятельность партии и гигантский опыт КПСС по практическому применению марксистско-ленинской теории в современных условиях.

Мы видим, с какой научной глубиной осмысливает наша партия сложные явления общественной жизни, ее главные тенденции, как на основе подлинно марксистско-ленинского анализа и обобщения живого опыта миллионов партия, ее ленинский Центральный Комитет делают выводы, обогащающие, двигающие вперед теорию научного коммунизма и практику созидания коммунистического общества в нашей стране. Решения XXIII и XXIV съездов КПСС, важнейшие документы партии, доклады и выступления Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева — огромный вклад Коммунистической партии Советского Союза в развитие вечно живого марксистско-ленинского учения. Он, этот вклад, высоко ценится нашим народом, миллионами и миллионами борцов за идеалы коммунизма во всем мире.

Источник всех успехов нашей партии — ее ничем не колебимая верность ленинизму. В докладе «Дело Ленина живет и побеждает», посвященном столетию со дня рождения Владимира Ильича, в других вошедших в книгу выступлениях и статьях ярко показаны величие и всемирно-историческая роль основателя Коммунистической партии Советского Союза, создателя первого в мире социалистического государства, вождя международного рабочего класса, гениального мыслителя и революционера. «Ленин, — говорится в книге, — решительно воевал против принижения революционной теории, выхолащивания ее творческого характера, сведения ее к сумме готовых рецептов. Вся жизнь Ленина была непрерывным творчеством — творчеством в теории, в политике, в организации классового борьбы, в партийном и государственном строительстве. Качества творца-созидателя он воспитал и в великой партии, которая продолжает с честью нести ленинское знамя, знамя коммунизма».

Творчески развиваемая марксистско-ленинская теория позволяет партии правильно предвидеть ход общественных процессов, выработать верный политический курс, избегать субъективистских решений и ошибок во всех областях, в том числе и в такой, пожалуй, самой сложной, я бы сказал, самой тонкой сфере, как воспитание людей, формирование их духовного облика, их моральных качеств.

Задачу формирования нового человека, важнейшая отличительная черта которого — высокая степень общественной сознательности и беззаветная преданность идеалам коммунизма, человека с высоким уровнем культуры и образования, подлинного советского патриота и убежденного интернационалиста, партия считает одной из главных задач в коммунистическом строительстве. Конечно, морально-политические качества советских людей формируются всей атмосферой, всем социалистическим укладом нашей жизни. Но это процесс отнюдь не стихийный, его эффективность зависит прежде всего от целенаправленной, настойчивой идейно-воспитательной работы партии, всех ее организаций.

Под руководством партии в решении этой задачи активно участвуют Советы депутатов трудящихся, профсоюзы, ленинский комсомол, трудовые коллективы, наши Вооруженные Силы, различные общественные организации и добровольные общества трудящихся, творческие союзы и культурно-просветительные учреждения. В деле формирования нового человека все более возрастает роль общеобразовательной школы, средних специальных и высших учебных заведений.

На страницах сборника со всей обстоятельностью показано, чего ждет сегодня партия, чего она добивается от всех названных массовых организаций и учреждений; показано, что сделано и делается партией для повышения эффективности их участия в коммунистическом воспитании граждан советского общества.

Заботами партии в нашей стране, как об этом и мечтал Ленин, создаются все более благоприятные условия для всестороннего развития личности, для богатой, содержательной духовной жизни каждого человека, повышения его благосостояния, для непрерывного нравственного и физического совершенствования.

Особое внимание уделяет партия воспитанию молодежи. Об этом свидетельствует

уже сам факт неоднократных выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС перед молодыми строителями коммунизма — на XV, XVI и XVII съездах ВЛКСМ, на пленумах ЦК комсомола, на Всесоюзном слете студентов... Проблемам воспитания молодежи посвящены и многие другие страницы сборника. Эти проблемы, как известно, заняли большое место в работе XXIV съезда КПСС, в его исторических решениях.

Современная молодежь — а молодые люди в возрасте до тридцати лет составляют сегодня более половины населения Советского Союза — олицетворяет будущее нашей страны. Это наша смена, принимающая эстафету старших поколений. Вот почему партия считает воспитание молодежи важным общепартийным, общегосударственным делом.

Советский народ может по праву гордиться своей молодежью. Сотни тысяч наших юношей и девушек героически трудятся сегодня на ударных комсомольских стройках, возводят корпус автомобильного гиганта на Каме, сооружают Байкало-Амурскую магистраль. Они достойно продолжают и развивают славные трудовые традиции молодежи первых пятилеток — строителей Магнитки и Сталинградского тракторного, Днепрогэса и Комсомольска-на-Амуре.

Сегодняшняя наша молодежь — у пультов управления гигантских электростанций, у самых совершенных современных станков и автоматических линий, в конструкторских бюро и электронно-вычислительных центрах, в научных лабораториях и институтах. Она на переднем крае битвы за хлеб. Она штурмует космос. Неся воинскую службу в рядах наших Вооруженных Сил, она надежно оберегает завоевания социализма, мирный труд советского народа.

Леонид Ильич Брежнев всегда с большой теплотой и любовью говорит о нашей молодежи. «Немало еще существует людей, — отметил он в одном из выступлений, — которые пытаются бросить тень на нашу советскую молодежь. А я бы сказал, что это — прекрасная молодежь... И наш долг — всячески помогать ей. Помогать овладевать навыками труда, высотами культуры, нашим коммунистическим мировоззрением».

«Молодежь Советской страны, — читаем мы в другом месте сборника, — ее вождь — многомиллионный комсомол, надеж-

ный резерв нашей партии, с честью оправдывают надежды партии и народа. Мы, люди старшего поколения, говорим с уверенностью: будущее страны в хороших руках, а это значит, что мы работаем и боролись не напрасно».

Большая ценность книги «О коммунистическом воспитании трудящихся» не исчерпывается тем, что в ней научно обобщены гигантские успехи партии и народа в экономическом, социально-политическом и духовном развитии советского общества, даны глубокие теоретические обоснования проблем формирования нового человека, всесторонне освещены те качества, которые партия настойчиво стремится привить всем советским людям. В книге раскрыты конкретные пути и методы достижения этой цели, охарактеризован весь арсенал испытанных средств идейно-политического влияния, которыми располагает партия и которым она мастерски пользуется, рассмотрены вопросы партийного руководства научными организациями, народным образованием, культурно-просветительными учреждениями, средствами массовой информации и пропаганды, литературой и искусством, наступательной борьбой против буржуазной и ревизионистской идеологии.

Главным в идейно-воспитательной работе партия всегда считала и считает формирование у трудящихся масс коммунистического мировоззрения, воспитание их на идеях марксизма-ленинизма. Овладение советскими людьми марксистско-ленинской теорией — вот та основа, тот надежный фундамент, на котором зиждется успех всей идеологической работы партии в массах. Вооруженный марксизмом-ленинизмом, советский человек ясно понимает цели, которые ставит партия, сознает свой долг, свои обязанности перед обществом, выступает активным борцом против буржуазной идеологии и морали.

В книге «О коммунистическом воспитании трудящихся» большое внимание уделено задачам борьбы против буржуазной идеологии, правого и «левого» оппортунизма, анализу особенностей идеологической борьбы в современных условиях — условиях разрядки международной напряженности. Разрядка напряженности побуждает империалистов приспособлять свою тактику к новой обстановке. Не прекращая экономической и политической борьбы, не отказываясь от военных провокаций, они

направляют особые усилия на борьбу идеологическую.

На полный ход запущена гигантская пропагандистская машина, широко используются все находящиеся в распоряжении буржуазии инструменты воздействия на умы и души людей — печать, кино, радио, телевидение, так называемая массовая культура. С их помощью идеологи империализма стараются одурманить народные массы в собственных странах и распространить свое влияние на какую-то часть населения социалистических стран Эфир в наши дни густо заполнен передачами радиостанций «Свободная Европа», «Немецкая волна», Би-би-си и прочими «радиоголосами», изрядно поднатворевшими на всевозможных измышлениях о жизни нашей страны и братских стран социализма.

Наши идейные противники не гнушаются буквально ничем. Они используют и фальсификацию марксизма-ленинизма, и клевету на социализм, на Советский Союз, на нашу литературу и искусство, и проповедь аполитичности и индивидуализма, и националистические предрассудки, и шитые белыми нитками сказки о чуть ли не райской жизни трудящихся при капитализме... Они всячески пытаются влиять на морально неустойчивых, идейно незрелых людей, несколько не стыдясь при этом использовать в своих целях отщепенцев и перерожденцев, заклеянных презрением советского народа и народов братских социалистических стран. Любым попыткам такого рода должен даваться решительный отпор.

На Западе есть круги, которые хотели бы принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем распространить и на идеологическую сферу. Стремление Советского государства к расширению и развитию экономических, научно-технических и культурных контактов они тщатся использовать для того, чтобы в обмен на эти контакты выторговать у нас политические и идеологические уступки. Советские люди отвечают на это: «Не тратьте попусту время, господа!»

Наша партия вновь и вновь подчеркивает, что в области идеологии нет и не может быть мирного сосуществования, как нет и не может быть классового мира между пролетариатом и буржуазией. Партия рассматривает идеологическую борьбу в современных условиях как острейший фронт классовой борьбы, в которой нет места политическому безразличию и пассивности.

Успехи продвижения Советского Союза вперед по пути строительства коммунистического общества завоевываются самоотверженным трудом нашего рабочего класса, колхозного крестьянства, нашей интеллигенции. Формирование нового человека происходит прежде всего в трудовом коллективе, в процессе труда, одухотворенного высокими и светлыми идеалами коммунизма. И закономерно, что проблема воспитания у всех советских людей коммунистического отношения к труду глубоко и всесторонне освещается в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС.

Партия всегда придавала большое значение воспитательной силе положительных примеров. Нашей гвардией мирного времени, золотым фондом советского народа, «передсмотрящими», людьми «как бы из будущего» называет Леонид Ильич Брежнев растущую год от года когорту передовиков коммунистического труда. Опираясь на их опыт, изучая его и распространяя в массах, партия ускоряет движение всей страны по пути к коммунизму.

Задача состоит в том, чтобы научить сначала большинство, а затем и всех трудящихся работать так, как работают сегодня наши славные передовики, мастера труда. И мы знаем, видим, как много делает партия в этом направлении, разжигая огонь всенародного социалистического соревнования, умело сочетая моральные и материальные стимулы в труде.

Горячо приветствуя зародившиеся в нашем рабочем классе движения наставников молодых рабочих, Леонид Ильич образно назвал инициаторов этого движения людьми, как бы передающими эстафету труда из настоящего в будущее. «Следует пожелать,— подчеркнул он,— чтобы движение наставников стало массовым, охватило все уголки страны, все заводы, фабрики, шахты, рудники, стройки, колхозы и совхозы. Это замечательное, благородное дело, товарищи!»

В социалистическом обществе трудовое воспитание человека должно начинаться с детских лет. И здесь велика роль семьи, школы, пионерской организации, комсомола. Нельзя равнодушно проходить мимо не столь уж редких случаев, когда, вместо того чтобы воспитывать трудовые навыки у детей с самого раннего возраста, иные родители растят таких иждивенцев, барчуков, с пренебрежением относящихся к труду.

Воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к труду всегда было и остается предметом особой заботы партии. «Это большой государственный вопрос,— говорил Леонид Ильич Брежнев на XVII съезде ВЛКСМ.— В его правильной постановке и решении заинтересованы все: трудовые коллективы, общественные организации, школа и семья. Он затрагивает судьбы миллионов людей, больше того — будущее нашей страны».

Широко представлены в книге проблемы нравственного воспитания трудящихся. В нашей стране сложилась самая передовая, самая гуманная система нравственных норм и общественных ценностей, утвердилась замечательная атмосфера творческого труда и доверия к людям, происходит активный процесс формирования лучших человеческих качеств. Эти качества — трудолюбие, честность, скромность, чувство собственного достоинства, товарищество, взаимное уважение, высокое сознание общественного долга — стали неотъемлемыми чертами морального облика миллионов трудящихся. Привить их, эти прекрасные качества, всем советским людям, каждому человеку — такова задача, выдвигаемая партией. Успех ее решения во многом зависит от создания в каждом коллективе здоровой моральной атмосферы, от повышения уровня идейной требовательности к каждому члену общества.

На страницах книги со всей остротой ставятся задачи борьбы с недобросовестным отношением к труду, расхлябанностью, недисциплинированностью, эгоизмом, стяжательством, потребительским отношением к жизни, различными нарушениями советских законов, норм социалистического общежития и другими социальными болячками, унаследованными от прошлого и чуждыми социалистическому обществу по своей сути. «Партия, — подчеркивает Л. И. Брежнев, — считает своим долгом обращать внимание всего нашего общества на эти явления, мобилизовать народ на решительную борьбу с ними, на их преодоление, ибо без этого нам коммунизма не построить».

В арсенале средств идейного и эстетического влияния на формирование духовного мира и нравственного облика строителей коммунизма важное место занимают советская литература и искусство. Партия неоднократно подчеркивала, как высоко ценит

она труд наших писателей, деятелей искусства, целиком отдавших свой талант на службу народу, делу построения коммунизма. Все возрастающей роли литературы и искусства на нынешнем этапе развития советского общества, анализу их успехов, критике недостатков, проблемам партийного руководства литературой и искусством в современных условиях посвящены многие страницы сборника.

«Именно средствами художественного творчества, в образах литературы, кино, живописи,— говорится в книге,— можно особенно ярко и впечатляюще, обращаясь не только к разуму, но и к сердцу человека, показать величие наших дел и чистоту наших идеалов. И в решении этой задачи огромную, ничем не заменимую роль призвана играть наша художественная интеллигенция, творческую деятельность которой высоко ценят партия и весь наш народ».

Литература и искусство в нашей стране стали, как и предвидел Ленин, частью общепролетарского дела. В ходе строительства социализма сформировался новый облик творческой интеллигенции — интеллигенции, живущей одними интересами с народом. Проникнутые благородным духом партийности, служения народу, советская литература и искусство превратились в мощную силу коммунистического воспитания.

В книге подчеркивается, что наша литература и искусство — плоть от плоти героического советского народа, что они росли, мужали, совершенствовались вместе с нашей страной и достигли выдающихся высот. «Произведения советской литературы и искусства,— говорит Леонид Ильич Брежнев,— составляют наше бесценное духовное богатство, нашу социалистическую общенациональную гордость. Немалая часть из них вошла в фонд сокровищницы мировой культуры. Все замечательное, что создано советскими писателями, художниками, композиторами, деятелями театра и кино, жи-

вет и будет жить в народе, служить торжеству наших великих идеалов».

Исключительно высокая оценка! Она вдохновляет наших художников слова, мастеров кисти и резца, всю творческую интеллигенцию на новые свершения.

Партия уделяет первостепенное внимание развитию литературы и искусства. Выступая против администрирования и произвольных решений в этих вопросах, она оказывает всемерную поддержку и помощь нашим творческим организациям. Свою задачу партия видит в том, чтобы направлять развитие всех видов художественного творчества на активное участие в великом процессе построения коммунистического общества в нашей стране.

Все более крепнут связи советской творческой интеллигенции с жизнью, с коллективами строек и промышленных предприятий, колхозов и совхозов. В союзах писателей, художников, композиторов, кинематографистов утвердилось здоровая, товарищеская, подлинно творческая атмосфера. Все это способствует созданию новых, глубоких по содержанию, масштабных произведений, в которых — и для наших современников и для будущих поколений — в яркой художественной форме были бы запечатлены общенародное дело созидания коммунистического общества, процессы формирования нового человека. Партия, народ наш верят, что такие произведения будут созданы.

* * *

...Прочитана последняя страница книги. Закрываешь ее с чувством законной гордости за нашу великую ленинскую партию — непревзойденного вдохновителя и организатора масс и мудрого их воспитателя. Представляя собою значительный вклад в развитие теории и практики коммунистического воспитания трудящихся, эта книга — боевое, действительное оружие в нашей борьбе за коммунизм.

В. КОСОЛАПОВ.



ПЕРОМ ОЧЕВИДЦА

В. И. Медведко. Записки председателя колхоза. Харьков. Издательство «Прапор». 1974. 132 стр.

В середине минувшего лета «Правда» опубликовала беседу с Михаилом Шолоховым — «Прикосновение к подлин-

ному»¹. Говоря о причинах популярности мемуарных книг, Михаил Александрович

¹ «Правда». 31 июля с. г.

отметил: «Писателям-профессионалам иной раз нелегко тягаться с такой литературой. Это — свидетельства очевидцев и участников событий».

Именно своей достоверностью, глубоким знанием жизни нынешней деревни, ее проблем, большой искренностью и подкупает прежде всего книга В. Медведко.

Небольшой объем книги (шесть печатных листов) и закономерное тяготение автора к экономике, к практической стороне дела не позволили в полной мере запечатлеть характерные черты, свойственные облику посланцев партии, которые «в трудные для сельского хозяйства пятидесятые годы принесли с собой в колхозное производство, — как пишет В. И. Медведко, — свежую струю, трезвый расчет, научный подход к пониманию событий и явлений, партийное отношение к делу, что, несомненно, отразилось главным образом на культуре производства».

Но, думается, в высокой степени красноречивы сами дела одного из тридцатитысячников, посланного в 1955 году председателем колхоза в Сумскую область. Автор показывает процесс преодоления трудностей, свойственных деревне тех времен, говорит о душевной отзывчивости тружеников села на все новое, что сулит перемены к лучшему.

Колхоз имени Петровского. Каким он был, когда В. И. Медведко собирались избрать председателем? «По размеру средний, наиболее отдаленный от районного центра и от ближайшего города Шостки... Земли считаются худшими даже в условиях Полесья. Поэтому урожай зерновых не превышал за последние годы 8 ц с гектара. Оплата трудодня чуть ли не самая низкая в районе. А если к этому добавить, что колхоз не электрифицирован и даже не радиофицирован, то можно понять, что он собой представлял даже среди других экономически слабых колхозов района».

За предыдущие десять лет тут сменилось восемнадцать председателей. «Вот изберут меня завтра девятнадцатым председателем. Как-то я поведу дело? — сомневается Валерий Иванович. — Чем же я лучше тех, что были до меня?.. Советуюсь с активом. И вот решаем всю свою и общую энергию, весь энтузиазм людей направить на первых порах на электрификацию села, которая должна была сразу же изменить и лицо производства, и быт людей, поднять общий дух колхозников и,

если хотите, — вернуть им веру в свои силы».

По образованию историк, по основной профессии журналист, Валерий Иванович хорошо понимал, что одной интуицией да личной самоотверженностью ему никак не обойтись. Руководитель колхоза обязательно должен быть и агрономом, и зоотехником, и механизатором. Значит, надо учиться дальше. И он учится. Прежде всего у тех, кто рядом с ним — у колхозников, специалистов, радетелей земли, знающих и любящих ее. Потом еще окончил аспирантуру при Украинской сельскохозяйственной академии, защитил диссертацию. Материалы для нее дала ему жизнь, то главное, за что всем миром взялись, чтобы поднять хозяйство. Уже само название диссертации — «Организация внутривозвращенного расчета в колхозах при различных формах оплаты труда» — говорит о том, как много внимания было уделено в хозяйстве материальной заинтересованности людей в общественном труде.

Вероятно, нет надобности вспоминать о каждом этапе перестройки, пройденном колхозом имени Петровского под руководством своего нового председателя. Они характерны для всего нашего сельского хозяйства. Особенно после мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС. В том-то и сила, и авторитет, и значение опыта тридцатитысячников, что они твердо верили в принципиальную линию партии в деревне. Но делали это творчески, с умом и тактом, учитывая местные условия и возможности, порой предвосхищая своими делами то новое, что через некоторое время закреплялось директивами очередных пленумов ЦК КПСС.

Денежная форма оплаты труда колхозников, оплата за стаж, комплексные бригады, помесячные планы производственных затрат, создание аграрно-промышленных предприятий — по всем этим ступеням шагал и колхоз имени Петровского, закономерно ставший впоследствии образцово-показательным хозяйством.

Говоря о пути становления колхоза, о нынешних его достижениях, автор в то же время не пытается приуменьшить еще существующие трудности. Он уделяет большое место рассказу о проблемах сельского хозяйства, которые ждут своего решения.

И еще об одном достоинстве книги — она показывает не только что, но и как делалось в хозяйстве, чтобы за сравни-

тельно короткий срок поднять его на совсем иной уровень, как произошли коренные перемены в производственных делах, в облике села, в условиях быта колхозников. И мы убеждаемся, что для достижения этого вовсе недостаточно, как утверждают порой иные очеркисты, лишь одной хозяйственной хватки самого председателя и бесстрашия его в битвах с разного рода не слишком дальновидным местным начальством. На многих конкретных примерах мы видим, сколь благотворно влияет на производство обстановка взыскательности, неудовлетворенности, творческого поиска, которую удалось создать в колхозе. Председатель, партийная организация — в этом не раз убеждаешься, читая книжку, — как раз и должны быть теми своеобразными «кондиционерами», которые вырабатывают этот климат в коллективе, всячески способствуют созданию атмосферы всеобщей заинтересованности в колхозных делах. А разве не от увлеченности своим делом, не из желания умножить трудовую славу своего коллектива, своего района, своего края начинаются те самые высокие понятия, которые мы обозначаем привычными словами — энтузиазм, патриотизм? Патриотизм не умозрительный, отвлеченный, теоретический, а наш, советский — органически связанный с жизнью, с трудом, со стремлением приносить как можно больше пользы своей стране.

«Хочется быть не созерцателем, а участником всенародного движения за успешное претворение в жизнь предначертаний нашей родной Коммунистической партии», — говорит В. И. Медведко в своей книге.

Особым смыслом наполняются эти слова потому, что сказаны они Валерием Ивановичем в очень тяжкую пору его жизни. Уже многого добилось хозяйство, которым он руководил. За успехи, достигнутые в производстве зерновых культур, Валерий Иванович был награжден орденом Ленина. Но автор понимает, сколько еще предстоит сделать, сколько нерешенных проблем выстроилось в очередь. И вдруг все рухнуло. Годы напряженной работы сказались на здоровье, председателя колхоза разбил паралич.

«Что это? Всему конец? Ты навсегда вычеркнут из активной жизни? Но другой жизни я себе не представлял, — пишет Валерий Иванович. — ...А что, если назло всем чертям и недугам побороться?.. И на-

чались бесконечные тренировки... Пять лет — массажи, лечебная физкультура, упражнения со всевозможными резинами, пружинами, палками... И вот я — старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института лубяных культур. Благо он находится в родном мне Глухове, куда я переехал после заблуждения... Сегодня я не председатель колхоза. Но мысленно не отрываюсь от колхозного производства. И это не только не мешает, а, наоборот, помогает заниматься научным трудом... Я счастлив, что сегодня снова в строю».

Отрадно, что все больше у нас появляется книг новаторов производства, руководителей предприятий, хозяйств. Но есть одно обстоятельство, которое тревожит. И в книгах, где разговор ведет сам автор, да и в произведениях, где есть ссылка на литературную запись, проявляется стремление некоторых редакторов во что бы то ни стало придать рассказу «читабельную» форму. Вот и полезной, нужной и, несомненно, интересной книге В. И. Медведко, написанной в целом деловым, точным языком, вредят «оживляющие» вставки. Тем более что они появляются рядом с толковым описанием производственного опыта, анализом деятельности хозяйства, раздумьями о путях совершенствования его экономики и потому выглядят как инородное тело. «Оживление» это выглядит особенно неуместно по соседству с отдельными страницами, написанными наукообразным языком.

Обидно и то, что в книге немало стилистических небрежностей, которые редактор, конечно же, должен был устранить. Например, такие: «Поля... прерывались заболоченным лугом, среди которого чаще стали встречаться озера» (стр. 20); «Под сенью обступивших вокруг клуба старых лип были расставлены скамейки, стол, покрытый красной скатертью» (стр. 22); «Не помогло и извещение о том, что я, будучи побитый верховой лошадей, нахожусь в тяжелом состоянии» (стр. 31).

Худо, понятно, когда спотыкаешься о шероховатости такого толка. Но когда к ним добавляются еще нарушения единства стиля, требований жанра, еще хуже.

Думается, что при редактировании мемуарной литературы необходимо четкое понимание специфики этого жанра. Здесь от редактора требуется особенно бережное отношение к авторскому слову. Обаяние правды, достоверности описываемых собы-

тий особенно дорого в этих произведениях и особенно легко может быть нарушено неловким «олитературиванием», которое непременно воспринимается читателем как фальшь, как детонирующая нота.

Пусть книги такого рода представляют

собой хотя и не всегда гладко выстроенные, но непосредственные впечатления очевидца, нежели подмену их посредственными литературными украшениями. От этого выигрывает и история, и автор, и читатель.

Георгий АЙДИНОВ.



ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

А. И. Луковец. На разных полюсах. М. «Мысль». 1974. 502 стр.

Книга названа очень точно: «На разных полюсах». Едва ли правы те, кто утверждает, что газетная статья, очерк живут один день, а после выхода номера они умирают. Жизнь опровергает эту точку зрения. Достаточно вспомнить многие вышедшие в последнее время книги, в которых собраны журналистские статьи, очерки. Они с большим интересом встречены читателями. Очевидно, главный залог долголетия газетных материалов — глубина и широта разработки темы, взыскательный отбор жизненных фактов, четкость и яркость их изложения, публицистичность. Думаю, что к таким изданиям относится и книга журналиста-международника А. Луковца.

Автор поставил перед собой сложную задачу: нарисовать в очерках и путевых заметках широкую картину современного мира, показать политическую, экономическую, духовную жизнь стран социализма и ряда капиталистических государств. За последние полтора десятка лет ему довелось побывать в качестве корреспондента газеты «Правда» либо в составе делегаций советских журналистов в двадцати пяти странах мира.

Красной нитью через всю книгу проводится четкая грань между двумя мирами — новым миром социализма и старым миром капитала. Мир социализма характеризуется высокой энергией созидания, рождаемой в широких народных массах в процессе революционных преобразований, неуклонно крепнущим единством и сплоченностью стран социалистического содружества, их верностью принципам марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, преданностью делу мира и международной безопасности. Для его антипода — капиталистического мира характерны сегодня все углубляющийся кризис буржуазной системы, непрерывные экономические потрясения, крах попыток монополий осwoбодиться из тисков неразрешимых социаль-

ных противоречий, стремление всячески затормозить процесс международной разрядки.

В чем же секрет успехов стран нового мира? В чем животворный источник их быстрого экономического роста? Прежде всего в социалистическом строе, пробудившем к жизни, активной деятельности невиданные силы, а также единство, всестороннее братское сотрудничество социалистических государств, над дальнейшим укреплением которого неустанно трудятся коммунистические и рабочие партии.

Книга знакомит читателя с процессом созидания в Польше, Чехословакии, Германской Демократической Республике, Венгрии, Болгарии, Монгольской Народной Республике, Югославии, на Кубе. Будни братских стран насыщены делами и событиями, показывающими высокий трудовой энтузиазм, социалистическую сознательность созидателей нового мира. История стран социализма создается людьми труда — теми, кто строил Новую Гуту под Краковом и Восточно-Словацкий комбинат возле Копице, Дунауиварош и кремиковский гигант, кто возводит ныне кварталы в Аламаре у Гаваны и города в пустыне Гоби. Автор старается сообщить читателю свое взволнованное отношение к людям братских стран, к их большой созидательной деятельности. С большой теплотой пишет А. Луковец о людях социалистического мира, показывая их душевную щедрость.

Разумеется, жизнь стран, где автор находился длительное время, обрисована в книге полнее, разностороннее, насыщена большим количеством фактов, событий. Так, в Польской Народной Республике А. Луковец около шести лет работал собственным корреспондентом «Правды». Жизнь братского польского народа увидена зорким глазом журналиста, знающего и любящего эту страну. Он с горячей заинтересованностью знакомит читателя с Варша-

вой и металлургами Новой Гуты, шахтерами Силезии и крестьянами Познаньского воеводства.

Приводя убедительные факты, свидетельствующие о поистине замечательных достижениях тружеников братских стран, автор не обходит и те трудности, проблемы, с которыми приходится им встречаться в процессе строительства нового общества. Однако это трудности роста, и они успешно преодолеваются благодаря высокому энтузиазму народов и правильному руководству марксистско-ленинских коммунистических и рабочих партий. Залог новых побед — в созидательной деятельности, в дальнейшем упрочении мира и социализма, в единстве и сплоченности стран братского содружества.

«Мифы терпят крах» — так озаглавлен второй раздел книги. В нем автор делится впечатлениями о Франции, Федеративной Республике Германии, США, Канаде, Австрии и других странах капиталистического мира. Время ставит перед журналистом-международником немало вопросов, на которые надо ответить со знанием дела. И А. Луковец в целом справляется с этой нелегкой задачей.

В книге главный удар сосредоточивается на империалистической реакции и ее пособниках, пытающихся вернуть мир в «окопы» «холодной войны». Авторские симпатии, несомненно, на стороне тех в капиталистических странах, кто поддерживает политику мира и разностороннего сотрудничества с Советским Союзом и другими социалистическими странами, на стороне тех, кто своими действиями способствует дальнейшему потеплению политического климата в мире.

Большое место в книге отведено жизни и самоотверженной борьбе трудящихся в странах капитала за социальные права и улучшение их экономического положения. Автор как бы разоблачает появившуюся в последнее время на Западе фальшивую теорию «классового мира». Дело в том, что некоторые буржуазные теоретики всячески пытаются доказать, будто классовые столкновения, борьба рабочих за свои права в развитых в промышленном отношении капиталистических странах происходила лишь в первые годы после окончания второй мировой войны. А позже, по их словам, воцарился якобы «классовый мир», ибо было создано общество, полностью удовлетво-

ряющее материальные и духовные потребности всего населения, в том числе рабочих.

Убедительно показана трудная деятельность коммунистических партий, ведущих непримиримую борьбу за права трудящихся, за мир и демократию, борьбу с распространением в рабочем классе капиталистических стран иллюзий относительно возможностей устранить извечный антагонизм между трудом и капиталом.

Автор встретил в капиталистических странах много людей, для которых главная забота — мир. Однако всюду ощущается противостояние с одной стороны тех сил, что выступают за мир, а с другой — тех, кто мира и по сей день не приемлет.

К противникам мира и делового сотрудничества между странами различных социальных систем относится и лидер западногерманских ультра Франц-Иозеф Штраус. Но он действует не в безвоздушном пространстве. Лидер ХСС опирается на силы, являющиеся сегодня, как и прежде, мотором реакции: на военно-промышленный комплекс, к которому Штраус-миллионер принадлежит и сам, будучи членом наблюдательных советов авиационных фирм. В компании с баварским ультра выступает и заокеанская империалистическая реакция. Но в наше время важно то, что истерическим кликушам от «холодной войны» уже не удастся заглушить голос тех трезвых политиков, государственных деятелей, которые реалистически думают о будущем своих народов, о том, чтобы в конце концов люди могли спокойно жить. И это четко показано в книге.

Характерная черта мира 70-х годов XX века — поворот международных отношений к нормальным, разумным формам межгосударственного общения на основе принципов мирного сосуществования стран с различными общественными системами. Процесс разрядки уже привел к поистине историческим достижениям. Но этот процесс развивается не сам по себе, не автоматически. Для перестройки системы международных отношений необходимы постоянная политическая борьба, упорство, терпение, государственная мудрость. В книге ясно показана широкая поддержка прогрессивными кругами капиталистических стран инициативной миролюбивой внешней политики Советского Союза, Программы мира, выдвинутой XXIV съездом КПСС.

Н. НОВИКОВ.



НЕ ВПОЛНЕ РАЗЛИЧИМОЕ БУДУЩЕЕ

Э. А. Араб-Оглы. В лабиринте пророчеств. Социальное прогнозирование и идеологическая борьба. М. «Молодая гвардия». 1973. 304 стр.

Автор этой книги хорошо известен читателям периодических изданий. Его внимание неизменно привлекают примечательные новинки на идеологическом рынке западной литературы, и он без промедления знакомит с ними советских читателей. При его посредстве нам были представлены Арнольд Тойнби, Чарлз Рейч с его «Зеленеющей Америкой» и многие другие зарубежные «властители дум». Э. Араб-Оглы был первым в освещении у нас столь разных тем, как, скажем, исследование научной фантастики и социальное моделирование.

Может сложиться впечатление, что такая неотступная тяга к разнообразным новинкам оборачивается недостаточной основательностью: надкусив яблоко с древа познания и перебросив его неискушенным, автор уже тянется за другим плодом. К тому же любимым его жанром оказываются небольшие эссе, тогда как замысел фундаментальной монографии или диссертации вызвал бы у него идиосинкразию. Резон для этого есть — большое число страниц отнюдь не равноценно знаку качества. Однако любовь Э. А. Араб-Оглы к «малому жанру» не должна заставлять нас думать, что он попросту спешит снять сливки с разных банок — он скорее открывает банки, тогда как их питательное содержимое нередко достается другим.

И если кандидат философских наук Э. Араб-Оглы собрал наконец часть своих статей в книгу, то преодолеть идиосинкразию его побудило, видимо, издательство «Молодая гвардия», под благотворным давлением которого сборник был перестроен в интересную монографию, дающую, несмотря на очерковый характер отдельных глав, целостное представление об определенных аспектах идейной жизни современного Запада.

Основная тема книги, отраженная и в подзаголовке, — футурология, наука о будущем. Ныне на Западе футурология стала поистине модной наукой, а вера в могущество ее методов приняла прямо-таки религиозный характер. Прогнозы строятся буквально всеми и повсюду, причем с тем большей охотой, чем больше срок, на который они рассчитаны: ведь по мере его удлинения возрастает гарантия безответствен-

ности... Безудержность моды рождает и ответную реакцию — скептическое к ней отношение. Вот здесь-то совершенно незаменима объективная, трезвая оценка возможностей новой отрасли знания, на которую способен только специалист. И Араб-Оглы делает совершенно справедливый вывод:

«Марксисты не отвергают и не умаляют огромного значения научной методологии и техники социального прогнозирования, в том числе экстраполяции, аналогии, моделирования. Однако сами по себе эти методы, как бы они ни были совершенны, не могут гарантировать достоверности прогноза. Тем более такая достоверность не вытекает из различных частных методик вроде «дельфи», «паттерн» и т. д., покоящихся в конечном счете на квалифицированном учете и обобщении мнений о будущем, ибо они оставляют открытым вопрос, чьи интересы эти мнения выражают и чем обусловлено наличие именно тех, а не иных мнений. Экстраполяция способна дать нам определенные знания о будущем, поскольку оно всегда так или иначе является продолжением настоящего; но оно же вместе с тем является отрицанием настоящего, перерывом постепенности, а следовательно, объективно ограничивает экстраполяцию. Аналогия помогает уловить определенную повторяемость в поступательном развитии общества (в другом месте автор замечает, что «историческая аналогия может быть весьма поучительной для предвидения будущего». — Е. А.), но последнее предполагает вместе с тем и возникновение чего-то существенно нового, что не в силах предусмотреть никакая аналогия. Моделирование позволяет ограничить круг реальных вариантов, устранив из анализа мнимые и формальные возможности, но само по себе не предопределяет их вероятности».

Поддавшись именно мнимым возможностям социального предвидения, немалое число «прогнозистов» попадало в смешное положение. Не в доказательство, а по аналогии напомним, что Наполеон, делевший план вторжения в Англию, отверг паромход Фултона как нечто непрактичное. В романе Герберта Уэллса о XXI веке «Когда спящий проснется» война ведется при помощи летающих со скоростью нескольких сот километров в час аэропланов, с которых пи-

лоты швыряют ручные бомбы. Как видно, способность к научной фантастике отнюдь не равнозначна дару предвидения... Араб-Оглы рассказывает, что советник президента Франклина Рузвельта по вопросам науки Ванневар Буш, понявший перспективы расщепления атомного ядра и немало способствовавший реализации Манхэттенского проекта, тем не менее считал вздором разговоры о возможности создания межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками и с высокой точностью попадания. «История общественной мысли,— заключает автор,— в определенном смысле может быть названа также и кладбищем предсказаний и пророчеств».

В свое время Ленин говорил: «...Революцию нельзя предсказать, она является сама собой». Может показаться странной эта констатация принципиальной невозможности точного предсказания социального будущего в устах великого марксиста, защищавшего принцип детерминизма от нападок его противников. Но ничего странного тут нет. Ибо социальный мир гораздо менее «строен», чем мир физический, здесь куда запутаннее и многообразнее причинные цепи событий, и они никогда не смогут быть охвачены полностью нашим сознанием. Поэтому-то сегодня мы понимаем, насколько заблуждался Лаплас, который, перенося детерминизм классической механики на хаос общественных явлений, декларировал принципиальную возможность точного, вплоть до деталей предсказания будущего. Потому-то столь быстро обнаруживается несостоятельность некоторых чрезмерно детализированных широкоэшелонных программ будущего.

Вполне оправдана ирония Араб-Оглы по поводу инвентаризации будущего общества, по поводу столь же доскональных, сколь и беспомощных росписей порядка «коммуникации» человечества. «Маркс и Энгельс, как и Ленин, не имели ничего общего с такого рода утопиями, которые охотно распространялись на тему о том, сколько ступенек должно быть во «Дворце справедливости» будущего общества, но не могли сказать, какие промежуточные ступени ведут человечество в это общество из настоящего... Основоположники марксизма не стремились предвосхищать то, что нельзя было научно предвидеть».

В этой связи стоило бы сказать, что там, где человек науки признавал свою близорукость, пророческую силу обретал голос

художника. Более верным, чем предвидение, не так уж редко оказывалось предощущение благодаря силе воображения, мыслившего вне точного расчета.

Вот Бэкон и Шекспир, два великих современника. Созданная первым модель будущего общества в «Новой Атлантиде» кажется сегодня наивной и нарочитой именно из-за своей умозрительности, тогда как фраза второго о «еще не родившихся государствах и неведомых наречиях» (из «Юлия Цезаря») восхищает мудрой широтой. Впрочем, подлинно великого ученого роднит с художником именно воображение, порождающее — напомним знаменитую фразу Бора — достаточно безумные теории.

В противовес мнимо безошибочным методикам социального прогнозирования Араб-Оглы с полным основанием указывает на стохастический, вероятностный его характер, на «веер альтернатив», лежащих перед обществом. Но широта веера ограничена исторической обусловленностью общественных намерений и желаний, как и средств, обеспечивающих достижение этих намерений; веер этот еще более сужается, как только выбор между альтернативами сделан. Собственно говоря, именно из этих методологических предпосылок исходили в своих известных прогнозах Маркс, Энгельс, Ленин; и если эти прогнозы подтверждались, то, в частности, потому, что они указывали направление и последовательность грядущих событий, а отнюдь не точные их сроки и детали.

Время одномерно — будущее необратимо. В этом его отличие от физического эксперимента или химической реакции, которые в случае неудачи могут быть повторены в новых, несколько измененных условиях. Ставший уже избитым образом, лабиринт науки тем и отличен от лабиринта будущего, что в первом можно, вернувшись ко входу, начать путь сначала; в лабиринте же будущего такой возможности нет, и выход из него — в противоположной стороне от входа.

Отсюда трудность корректировки крат- и среднесрочных прогнозов. Потому-то мы являемся свидетелями их сокрушительного опровержения и конфуза их авторов. Взять, скажем, современный энергетический кризис капиталистического мира. Сейчас ясно, что прогнозы потребления электроэнергии в США, составленные 10—15 лет назад крупнейшими тамошними специали-

стами, оказались сильно заниженными, ввиду чего американские конгрессмены сетуют на «никудашные прогнозы». Но ведь сам по себе рост дефицита энергоресурсов при нынешней структуре их потребления предсказывался, был очевиден и все более активный пересмотр финансовых отношений между нефтедобывающими странами и нефтяными монополиями Запада; не хватало лишь одного — умения связать динамику различных показателей воедино, в реально возникший узел энергетического кризиса. Именно — запутанный узел всякого рода противоречивых тенденций и интересов, ибо очевидно, что отнюдь не нехватка горючего сама по себе породила его...

Причина столь серьезных промахов в том, что эти прогнозисты, по выражению Араб-Оглы, извлекают из компьютера только то, что предварительно в него вкладывают, иначе говоря, экстраполируют свое собственное, социально окрашенное, в конечном счете статичное представление о мире. Они рассуждают по давно устаревшей формуле — «природа не делает скачков». Казалось бы, как не заметить скачков общественной истории — революций? Но дело в том, что обычно в основе прогнозов американца Г. Кана и ему подобных лежит сравнительно краткий период непосредственно предшествующих лет, выглядящий более или менее спокойным. Поэтому и экстраполяция обретает характер простого количественного нарастания.

Такого рода промашки представляют западную футурологию в ее истинном облике — не столько способа научного анализа, сколько орудия политической борьбы. Когда знакомишься с аргументацией футурологов разных направлений — от консервативного до ультралевого, создается впечатление, что присутствуешь при партии в покер или же при биржевой горячке: одни — оптимисты — играют на повышение, другие — пессимисты — на понижение, причем каждый блефует, оперируя фиктивным, несуществующим «научным капиталом». Орудием блефа оказывается так называемое самооправдывающееся пророчество — «иначе говоря, теоретически несостоятельное предположение, будто тот или иной прогноз, убеждая людей в мнимой неизбежности определенного исхода событий в будущем, становится уже в силу этого главной причиной своего собственного воплощения в действительность». Принцип, известный каждому по воспоминаниям дет-

ства, когда казалось, что если чего-нибудь сильно захочешь, то это обязательно сбудется. Азартный игрок в футурологический покер предпочитает громогласные пророчества, рассчитывая благодаря шумной похвалбе грядущими своими успехами сорвать банк сиюминутной популярности, не задумываясь о завтрашнем дне, когда блеф раскроется. Впрочем, более распространен скрытый тип самооправдывающихся пророчеств. Например, футурологические сценарии Г. Кана на первый взгляд предоставляют «известную свободу выбора между многочисленными и разнообразными альтернативами. На самом же деле при внимательном ознакомлении с «вероятными, но малоисключающими» вариантами будущего, содержащимися в книге, эта свобода (с точки зрения их предпочтения) оказывается мнимой». Но история не следует ни открытым, ни закамуфлированным пророчествам. Как говаривал Гегель, ирония истории в том, что в результате действий людей получаются совсем иные результаты, чем они хотели.

Марксистский критический разбор западных футурологических концепций предпринят Араб-Оглы в тоне очень корректной полемичности. Автор не клеймит загодя своих оппонентов, он добросовестно излагает их аргументы, и, опровергая их, делает это не грубо, но легко и остроумно, даже элегантно, орудуя не дубиной, а рапирой, демонстрируя не неуместный гнев, а ироническую улыбку.

В руках автора футурология оказывается при этом как бы призмой, через которую просматривается вся идеологическая жизнь современного Запада. Она предстает у Араб-Оглы не в черно-белом двухцветье, присущем работам в духе некой «пропагандистской социологии», где и консерваторы и их левые антагонисты свалены в одну кучу с уничтожающей надписью «буржуазная идеология», а во всем реальном ее многообразии.

Взять, скажем, разбор доктрины «технологического детерминизма», порожденной иллюзорной верой во всемогущество науки и техники и стремящейся подменить социальную революцию «социальной технологией». Эта, по выражению автора, идеология «Большой науки» (отличная от идеологии «Большого бизнеса» Кана, Бжезинского, Шонфилда) уже в силу самой своей социальной сущности не есть нечто однозначно контрреволюционное; она совмещает

апологетику с социальной критикой, эволюционирует влево и вместе с тем попадает в туликовые ситуации.

Как видно, полемичность рецензируемой книги носит познавательный-конструктивный характер. Это неперемное качество марксистского обществоведения, которое, как подлинно живое, развивающееся учение, творчески использует достижения мировой научной мысли.

Противоречия раздирают и доктрину буржуазно-либерального реформизма, который, по свидетельству автора, переживает глубокий концептуальный кризис, приводящий к расколу: одни его представители, как, например, Мэмфорд и Эллюль, утрачивают веру в благотворность научно-технического прогресса, другие приходят к буржуазной апологетике, третьи переходят на демократические позиции.

Демократически-просветительской тенденции, как ее определяет Араб-Оглы и которая сейчас весьма влиятельна на Западе, автор с полным основанием уделил особое внимание. Мы иной раз с известным невниманием относимся к ее сторонникам или же укоряем их за неполное согласие с марксизмом. Как будто плохо, что они хотя бы частично перенимают у марксизма критическое отношение к буржуазной действительности! Заслугой Араб-Оглы как раз и является умение вычленив в их воззрениях позитивные, с нашей точки зрения, моменты, предоставить им слово для полемики со своими оппонентами, стоящими как правее, так и «левее» их. Причем слово это оказывается весьма убедительным, когда, например, Чарлз Рейч разбивает псевдорадикальную, по существу пессимистическую концепцию Герберта Маркузе.

Но и демократически-просветительские и ультралиберальные концепции, которые Араб-Оглы также подвергает основательной критике, носят по преимуществу утопический характер. Популярные в среде левой интеллигенции радикальные идеи привлекают нередко искренностью, даже чистотой антикапиталистического протеста и разочаровывают беспомощностью позитивных выводов. Сила и слабость, созвучность массам и отдаленность от них — казалось бы, несовместимые качества, но они присущи реальному явлению и потому нуждаются в точной и свободной от предвзятых оценок. Критикуя слабости так называемых «новых левых», Араб-Оглы подмечает их бесспорную заслугу как свое-

го рода «катализатора» массового антикапиталистического недовольства, эволюцию некоторых из них от «реакций луддитского характера» к пониманию преимуществ научно-технического прогресса, к стремлению использовать их в интересах демократического развития.

Видя критерий прогресса в росте производительности труда, автор правильно обнаруживает первооснову этого показателя в развитии человеческого интеллекта, в совершенствовании человека не как владельца машины, а как их создателя. Отсюда необычно широкое понимание производительного труда как труда не только физического, но и интеллектуально-творческого. Приведенное автором в споре с «технологическими пессимистами» доказательство от противного остроумно и в то же время убедительно. Рассмотрим его применительно к энергетическому кризису.

Если поверить склонным к преувеличениям западным наблюдателям, чуть ли не вровень с монополистическим капиталом стала новая сила — нефтяные шейхи, а экономический центр несоциалистического мира того и гляди переместится на Ближний Восток. Аргумент — резкий рост золотых запасов нефтедобывающих стран и неожиданное обеднение Западной Европы и Японии. Но ведь социально-экономический потенциал страны зависит не столько от энергоресурсов и золота, сколько от «серого вещества». Именно оно поможет найти и освоить новые источники энергии. С другой стороны, резкий рост национального богатства неизбежно ускорит прогресс. Наша страна вырвалась вперед в мировом развитии благодаря не золоту, добытому в Сибири или полученному помещиками в обмен на вывезенную пшеницу, а — революции. Поэтому если сегодня среднедушевой доход в Саудовской Аравии оказался выше, чем в Англии, то это не значит, что первая обогнала вторую.

Прогресс... Это, можно сказать, лейтмотив книги, и звучит он неизменно в мажорном тоне. Однако именно мажор этой своей неизменностью несколько настораживает. «Неизмеримо возросла власть человека над природой и собственной судьбой... Возможные трудности, стечения обстоятельств должны быть предусмотрены заранее, и в случае необходимости соответствующие меры заготовлены заблаговременно». Эта преобладающая у Араб-Оглы уверенность — «как пожелаем, так и сделаем» —

явно не вяжется и с его собственной критикой «технологического детерминизма», и со сложностью социальных проблем, о которых он пишет.

Возможно ли в принципе предусмотреть все «трудности» и «стечения обстоятельств»? Думается, разумнее было бы убавить оптимистического рационализма и сохранить место для неизведанного, непредсказуемого, следуя не Пфулю («die erste Kolonne marschiert»), а Толстому, да и Эйнштейну, и Борну, и другим мудрейшим, которые знали пределы науки и человеческих расчетов. Как не согласиться с Араб-Оглы, когда он критикует стоивший столько неприятностей «метод импровизации решений», за которым стоит самоуверенное невежество. Но ведь самоуверенное всезнание ничуть не лучше, тем более что сегодня именно его личину принимает невежество.

Араб-Оглы даже вывел закон «ускорения поступательного развития общества». Эпитет «поступательный» очень полюбился автору, и он наделает им буквально все естественные и общественные процессы. А есть ли реальное содержание у этого громкого, но не очень-то внятного слова? Есть ли в нем хотя бы намек на издержки прогресса? Отражены ли в этом слове мрачные эпохи, подобные гитлеровской, означавшие попятное движение для многих стран?

Автор весьма эффектно сопоставляет «век нынешний и век минувший», но так, как если бы он сравнивал достоинства с пороками. Чистую благотворность научно-технического прогресса он выводит из того, что, «сократив производительность труда вдвое, вы оставите общество без реактивной авиации и электронной промышленности и сделаете сотни тысяч людей безработными...» и т. д. и т. п. Но ведь к перечислению, чего лишится общество в таком случае, можно было бы добавить и ядерное оружие и дурман «массовой культуры». Замечает ли автор, что он уподобляется одному наивному персонажу из упомянутой им «Утопии 14» Курта Воннегута? В этом романе о будущем технократическом обществе разыгрывается следующий диалог между юным инженером — опорой режима и оппозиционером-радикалом, борющимся за душу Джона, человека с улицы, который куда более угнетен и одурочен, чем его предок.

«Юный инженер. Скажи мне, Джон,

до того, как взошла эта звезда... случалось ли тебе иметь телевизор с экраном шириной в двадцать восемь дюймов?

Джон (озадаченно). Нет, сэр.

Юный инженер. А прачечный агрегат или кухонную печь с дистанционным управлением, или электронный пылеулавливатель?

Джон. Нет, сэр, ничего этого у меня не было. Такие вещи могли себе позволить только люди богатые...

Юный инженер. Слышал ли ты когда-нибудь, Джон, о Юлии Цезаре? Слышал? Вот и прекрасно. Так как ты полагаешь, Джон, мог ли этот Цезарь со всем его богатством и могуществом, когда весь мир лежал у его ног, мог ли он иметь тогда то, чем владеешь сегодня ты, мистер Простак?

Джон (пораженный). А ведь подумать только, и в самом деле не мог. Ха! Ну что вы скажете!

Радикал (яростно). Я протестую! Какое отношение может иметь Цезарь к нашему делу?

Юный инженер. Ваша честь, я пытался показать, что Джон, стоящий сейчас здесь перед нами... стал богаче, чем могли себе представить Цезарь, Наполеон или Генрих VIII в самых смелых своих мечтах!..

Джон. Все это так, клянусь богом, но...»

Так не будем же забывать обо всем, что кроется за этим «но». Между тем создается впечатление, что, увлеченный идеей «поступательности», Араб-Оглы сбрасывает всякие «мелочи» со счетов истории и как бы выпрямляет ее ход — причем не только в прошлом, но и в будущем. Так, он смело утверждает, что через несколько десятилетий, даже если частнокапиталистическое производство еще сохранится, его доля в совокупном общественном продукте упадет до 15—20 процентов (и не замечает, что сам впал в многократно высмешанный им грех экстраполяции). Развивая свою мысль, он заключает, что общество не допустит сохранения чересчур уж малочисленной привилегированной группы и, следовательно, частнокапиталистической собственности в целом. Как будто капитализм не демонстрировал своей способности приравниваться к меняющейся обстановке и как будто сейчас новые его формы типа национальных монополий не берут на себя не только промышленное, но и «научное» производство!

С полным основанием иронизируя по поводу футурологических сценариев Кана,

напоминающих «фильмы ужасов», Араб-Оглы заключает: «Ведь народы не безучастные зрители и не безмолвные статисты истории. Из всех многочисленных сценариев будущего они предпочтут те, которые завершатся счастливым концом, а не трагическим эпилогом». Красиво сказано, однако стоит помнить и о том, что никто еще не выбирал несчастливый конец, а все же это предпочтение не мешало происходить историческим трагедиям. Так что остережемся оптимизма Панглосса.

Представляется, что напрасно Араб-Оглы с порога отвергает тревожные прогнозы группы американских футурологов во главе с Форрестером и Мидоузом. Можно считать недостаточно подтвержденными их конкретные цифровые выкладки; но они аргументированно отметили чреватый взрывами характер таких процессов, как рост потребления электроэнергии и минерального сырья и загрязнение окружающей среды. Впрочем, в другом месте Араб-Оглы, по существу, сам становится на ту же точку зрения. Ссылаясь на сказку Кэрролла об Алисе в Зазеркалье, Араб-Оглы резонно замечает: «В самом деле, разве мы ведем себя по отношению к невозобновляемым естественным ресурсам планеты сколько-нибудь предусмотрительнее, чем Мартовский Заяц и сумасшедший Шляпочник во время безумного чаепития: как только очередная порция чая и печенья была съедена, они просто передвигались к следующей порции и не желали слушать ни о том, что бу-

дет, когда исчезнет последняя порция, ни о том, кто будет мыть посуду».

Зря упрекал автор Форрестера — Мидоуза и за экстраполяцию, поскольку в их работах этот метод, учитывающий и экспоненциальный рост упомянутых процессов и — хотя в недостаточной степени — «обрезающие» экспоненту факторы, в корне отличается от экстраполяции Кана, построенных на арифметической, линейной пропорциональности, неприменимой к социально-экономическому развитию.

Можно и нужно критиковать катастрофическое видение Форрестером — Мидоузом будущего, простирающееся из утопичности их мировоззрения; но нельзя не согласиться с ними, когда они задумываются о последствиях неконтролируемого экономического роста. Нередко забывают о том, что рост этот не самоцель, а лишь средство достижения определенных социальных целей. Рост производства при капитализме есть прежде всего функция основного закона этого экономического строя — стремления к максимальной прибыли. Разумеется, это не означает, что надо впасть в другую крайность и принять популярную сейчас на Западе концепцию «нулевого роста» — новейшее кредо социального консерватизма..

Итак, спорность решения автором некоторых проблем лишь заостряет интерес к его содержательной и поучительной книге.

Е. АМБАРЦУМОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



В. ГУРА. Роман и революция. Пути советского романа. 1917—1929. М. «Советский писатель». 1973. 400 стр.

Книга «Роман и революция» написана ученым-педагогом, и уже этим определяется ее специфика. Научный характер подчинен в ней профессиональной направленности: исследовательская добротность, строгость и ясность в оценках общественных и литературных явлений, фактическая достоверность, логическая стройность и последовательность в раскрытии главной проблемы — пути советского романа, проблемы, освещенной в педагогическом аспекте. Рискну утверждать, что пути советского романа впервые исследованы с такой материально-исторической, литературно-фактической наполненностью, какую мы находим в книге В. Гуры.

От романа Горького «Мать» — к «Чапаеву», «Железному потоку», «Разгрому», а от них — к «Жизни Клима Самгина», «Хождению по мукам» и «Тихому Дону» — вот генеральный путь движения советского социалистического романа к своей вершине — к эпосе Такова стержневая мысль книги «Роман и революция». Мысль, разумеется, не столь уж новая.

Однако видные литературоведы — М. Храпченко, Л. Тимофеев, А. Бушмин, Л. Ершов, С. Петров, выдвигая примерно ту же идею, но решая иные исследовательские задачи, обращались к проблемам романа попутно, освещали их на выборочном материале. Никто из этих авторов не ставил главной задачей исследовать становление советского романа в целом как ведущего жанра литературы.

Виктор Гура решает эту задачу одновременно и как теоретик и как историк литературы. Наряду с известными произведениями им привлекается большое количество повестей и романов, вышедших за период с 1917 по 1929 год. Это понадобилось исследователю для обоснования важных положений и выводов.

Советский роман развивался сложными путями. В 20-е годы шел острый спор об этих путях. Романы Ф. Сологуба, А. Ремизова, Е. Замятина, А. Белого, Б. Пильняка выдвигались рядом критиков как «новое слово», соответствующее новому времени, как закономерное отрицание классического романа, окончательно устаревшего, мол, в эпоху «бунта революции», «бунта метели», «бунта чувств». Произведения этих писателей Виктор Гура подвергает квалифицированному анализу, убедительно объясняя, почему этот путь был отвергнут нашей ли-

тературой, нашей жизнью. Потому, справедливо утверждает исследователь, что эти произведения обнажали изъяны модернистского романа, оказавшегося и при соприкосновении с современностью явно нежизнеспособным, непригодным к созданию объемной панорамы жизни в ее движении, столкновении крупных человеческих характеров, в борьбе за торжество новых идеалов и отношений.

Чтобы показать, как рождался подлинно революционный, советский роман, Виктор Гура рассматривает произведения Павла Бессалько, Алексея Библика, Н. Степного (Афиногенова) — вещи, как правило, не очень зрелые, забытые сегодня. Но историк литературы не имеет права о них умолчать, потому что их авторы, стремясь освоить опыт Горького, готовили почву для рождения подлинно художественного советского романа.

В книге «Роман и революция» проанализировано множество произведений и других авторов, ныне почти неизвестных широкому читателю. Произведения эти оказались необходимыми исследователю для создания реальной картины сложной и противоречивой литературной жизни тех лет, для выявления ее главных закономерностей и больших достижений.

На таком широком и четко вычисленном фоне с особой, резкой наглядностью выделяются вершины советского эпоса — «Жизнь Клима Самгина», «Хождение по мукам» и «Тихий Дон». О них Виктор Гура говорит обстоятельно, им посвящены целые главы книги.

Обширнейший материал, исследованный В. Гурой, явился благодатной почвой для выводов общего характера. Вот одно из ведущих положений, которое пронизывает книгу и украшает ее: чем реальнее и ближе к жизни становился советский роман, чем глубже выражал он идеи Октябрьской революции, тем полнокровнее и неудержимее врываются в него великие традиции классической литературы, тем выше становился его философский и эстетический уровень.

С. Шешуков.



С. ЛИПКИН. Рожденный из камня. Повесть по мотивам кавказских сказаний. М. «Детская литература». 1974. 174 стр.

Кайсын Кулиев, написавший предисловие к этой книге, торжественно называет ее «замечательной». И обосновывает свое и без того авторитетное мнение.

Такая оценка неудивительна. Повесть

создавалась на основе большого материала — эпоса о богатырях-нартах, рожденного многими народами Кавказа: абхазцами и адыгейцами, балкарцами и кабардинцами, карачаевцами, осетинами, черкесами. И, как любят выражаться переводчики книг для детей, «пересказал» эти многонациональные сказания (и собрал, свел воедино — отметим особо этот кропотливый труд) один из лучших знатоков и крупнейших переводчиков поэзии Востока С. Липкин. Так сказать, гарантия качества подразумевалась.

Меня лично тронуло в книге другое. Ее первоисточник, ее стиль, ее стихия — эпос. А она — лирична. И зная собственные стихи автора этой книги, думаешь, как много он сказал здесь «от себя». Тем более что эпос остался эпосом и верность первоисточнику (не надеясь на свою эрудицию, в третий раз сошлюсь на Кулиева) безупречна.

Вот нарт Кытаван, первый поэт и первый музыкант на свете, слышит «голос в собственном сердце»:

«Песня — источник людской мудрости, а мудрость есть память былого, трепет настоящего и постижение будущего. Поэтом нельзя петь звуки, лишённые смысла. Только тот вправе спеть песню, кто каждый звук ее наполнит мыслью. Слова песни должны следовать в лад звукам напева, в них тоже должна быть мера. И тогда-то звук найдет в другом звуке отзвук, и этот отзвук называется рифмой... Но если в звуке есть мысль, то усиливается мысль и в отзвуке. Подумай сам: один в поле не воин. Чтобы защитить свою страну от врагов, нужно идти в битву сообща. Значит, там, где содружество, там и мужество... А чего хотят недруги нартов? Хотят они разрушить дома нартов, погасить огонь в очагах. Значит, там, где пламя очага, там нужна защита от врага. Ни один звук песни не должен быть пустым, без смысла, ни один отзвук не должен быть лишним, без надобности. Пусть знают дети Кавказских гор, что боролись их предки со злом ради добра, с ложью ради правды, проливали нарты свою кровь ради любви. Так пусть всегда на слово «кровь» слышится отзвук — «любовь»...»

Разве этот лирический трактат, не лишенный познавательности, не индивидуальная эстетическая программа поэта, отчасти, если угодно, даже полемическая? И в то же время разве взгляд на суть поэзии (и поэтики!) не выражен по-фольклорному наивно и мудро?

В знатоке эпоса пробудился лирический поэт. Липкин «олиричивает» эпос — не с тем, чтобы менять его смысл и суть, но чтобы уточнить его нравственные ориентиры.

Как известно, народный эпос всегда достаточно противоречив в этическом смысле; его излюбленный герой, совершающий чудеса героизма и великодушия, может вдруг поступить недостойно. Это исторически понятно: человечество, страдая и отступая, трудно вынашивало свои нравственные критерии. Так и в нартском эпосе: его герой Сосруко, рожденный из камня, увы, не всегда безупречен.

У Липкина Сосруко — чистое воплощение чистого добра. И добра активного: он даже (для кавказца — особая дерзость) готов оспорить древний обычай, если тот жесток. Вольность ли это (хотя бы и допустимая, тем более в книге, предназначенной детям)? Я думаю, нет. Это не вольность, а верность. Верность сути эпоса, а не противоречиям его. Верность здоровой душе народа, вере в это душевное здорье.

Нартские мотивы книги — в естественной переключке с мотивами иных эпосов. Тут есть и свой, кавказский Прометей, и свой хитроумный Одиссей, побеждающий одноглазого великана, и свой Ахилл — вплоть до почти буквальных совпадений: как у Ахилла была уязвимая пятя, так у Сосруко есть уязвимое и роковое для него место, бедра, за которые обхватил его клещами кузнец Девет Златоликий, закаляя новорожденного над горном. Но в этом эпосе звучит голос нарождавшейся вслед за ним, выраставшей из него лирики, голос поэта, выражающего народную мудрость: «Никогда не ищите силы, которая сильнее вас, а ищите добро, которое добрее вас».

Ст. Рассадин.



НАТАЛИЯ ИЛЬИНА. Светящиеся табло. Фельетоны разных лет. М. «Советский писатель». 1974. 335 стр.

Героями, вернее антигероями, Н. Ильиной являются ханжи и невежды, сплетники и мизантропы, перестраховщики и разгильдяи, короче говоря, все те, о ком пишут и остальные сатирики. Но основным объектом своего анализа писательница избрала сферу обслуживания, обстоятельно ее исследовала и готова доказать любому, почему «бессмысленная, идиотская растрата времени и нервов граждан очень невыгодна государству».

Фельетоны Н. Ильиной построены как сплав иронического очерка или беллетристики с проблемной статьей, а превалирует, как правило, в этом союзе статейная аргументация. Если попытаться провести какие-то аналогии с прошлым, то ее фельетоны напоминают «правдивские» фельетоны-рассказы И. Ильфа и Е. Петрова с их крутыми переходами от гнева к смеху. Правда, Н. Ильина редко пользуется гиперболизацией, ее основное оружие — тонкая насмешка. Нет у нее и особой комической интриги — обычно описывается один или несколько сходных случаев-примеров, и когда явление типизировано, следует вывод.

Вторую половину сборника составляют литературные пародии. И так же, как в первой части, «разоблачение» ведется не на основе единичных фактов (персональных имитаций как раз мало). Объектом пародирования становятся часто жанровые «сферы» (путевой очерк, радиосценарий) или периодические издания (календарь, тонкий журнал). Здесь примечательна ироничная манера письма. С серьезным видом, например, Н. Ильина уговаривает сатириков

писать басни: «Имен там не требуется. Вы называете обличаемого медведем и спите спокойно. Если медведь и вздумает обидеться, то вам от этого ни тепло, ни холодно». Или же разрешает заменять зверей на неодушевленные предметы: «Пусть в вашей басне разговаривают Автомат со Скрепером, Бульдозер с Трактором, Экскаватор с Эскалатором. От этих масок в басне повеет свежим дыханием современности». Это смешно и точно целит во всех любителей подобных «примет времени».

В «Светящихся табло» читатели встретятся с произведениями, первые из которых датированы 1955 годом. Не всякий фельетон представляет интерес по прошествии нескольких лет, разве что с бытописательской точки зрения. Эти же фельетоны (к сожалению, конечно) не утратили во многом своей актуальности. Они продолжают работать на современность.

А. Хорт.

★

ЛЕВОН МКРТЧЯН. Черты родства. Ереван. «Айтаван». 1973. 218 стр.

Эта книга Л. Мкртчяна, по словам автора, «не писалась, а складывалась из написанного». Это сборник статей много и интересно работающего критика, свидетельство расширения его исследовательского кругозора, возмужания его таланта. Об этом говорят, в частности, статьи о Достоевском и Чехове — своеобразные по замыслу и свежие по мысли этюды, пример живого, не музейного прочтения великих классиков русской литературы.

Одна из ключевых в сборнике статей — «От «Рождения Ваагна» до Саят-Новы» посвящена многовековой поэтической традиции Армении, которая привлекает сегодня все больше внимания. Вышедший недавно в серии «Библиотека поэта» том «Армянская средневековая лирика» (составитель Л. Мкртчян) позволяет увидеть, как много сделали для воспроизведения ее на русском языке русские поэты и переводчики, начиная с Валерия Брюсова, ее первого горячего пропагандиста. И все же каждый, кто прикасался к древней армянской поэзии, понимает, какие еще неведомые нам богатства она в себе таит. Легко предсказать, что читательский интерес к средневековой армянской поэзии будет возрастать, и не только к таким ее гигантам, как Наррекаци, Кучак, Саят-Нова. Думается поэтому, что статья Л. Мкртчяна, отмеченная тонкой наблюдательностью, богатая материалом, опирающаяся на исследования последних лет, привлечет широкое внимание любителей поэзии.

Значительная часть книги состоит из работ о современной поэзии, русско-армянских литературных связях, теории художественного перевода. Все это области, в которых Л. Мкртчян давно зарекомендовал себя знатоком. Важно подчеркнуть, что художественный перевод рассматривается в его книге, как та сфера литературного творчества, в которой практические осуществляются сложные и тонкие процессы

взаимовлияния и взаимообогащения культур советских народов. Поэтому автора интересует прежде всего реальная жизнь перевода в новой среде, в восприятии нового читателя, в текущем литературном процессе. Этот подход, не отменяя, естественно, необходимости внимательного анализа соответствия перевода подлиннику, дает необходимую широту взгляду на закономерности, определяющие само соответствие. Говоря о Тихонове и Ушакове, Исаакяне и Кулиеве, Гитовиче и Хелемском, автор нигде не отсекает проблематику их поэзии от проблематики переводческого творчества. В беседе с Амо Сагианом, вошедшей в книгу, приведены такие слова: «Когда я думаю о том, что мною сделано, я думаю не только о своих стихотворениях, но и о своих переводах».

Книга открывается большой статьей о В. Звягинцевой. Л. Мкртчяна связывала с Верой Клавдиевной Звягинцевой многолетняя дружба, что помогло ему нарисовать с живой непосредственностью ее облик — облик человека необычайного жизнелюбия и стойкости, непреходящей убежденности и принципов. Многочисленные отрывки из писем, записи бесед с Звягинцевой придают статье особое обаяние.

О В. Звягинцевой как переводчице армянской поэзии, современной и древней, говорилось уже немало. Особенность работы Л. Мкртчяна состоит в том, что он стремится на основе конкретного анализа показать, как прекрасного русского поэта, питаемого соками русской земли, вдруг «перекинуло к солнцу в жерло, к лиловатым снегам Арагаца». В. Звягинцева не раз говорила об этом с некоторым даже недоумением как о загадке, как о «тайне». Это и есть «тайна», ибо взаимопроникновение литератур идет через конкретные творческие судьбы, в которых далеко не все можно разложить по полочкам очевидной логики. Но Л. Мкртчян убедительно раскрывает общую закономерность, стоящую за поэтической судьбой В. Звягинцевой и типичную для советской литературы. Он обоснованно утверждает: «Дороги России, дороги революции и интернационального братства привели Звягинцеву в Армению».

«Черты родства» — так назвал Л. Мкртчян свою книгу. Это название выражает основную ее мысль, основное направление исследования, актуальное и плодотворное.

П. Топер.

★

ХУДОЖНИКИ ТЕАТРА О СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ. Составители: Ф. Сыркина, Б. Кноблок, А. Мовшенсон, Е. Буторина. М. «Советский художник». 1973. 423 стр.

Как определить жанр этого сборника? Мемуары? Да, в книгу включены воспоминания о Таирове и Станиславском, Немировиче-Данченко и Мейерхольде. Выдающиеся режиссеры открываются здесь новыми сторонами своего творческого, да и чисто человеческого облика, потому что речь о них ведут художники. Название

книги соответствует автобиографическому характеру собранных материалов. Перед нами — обстоятельные рассказы о работе над одним-единственным спектаклем (например, художник Ф. Федоровский рассказывает о поисках живописного решения «Бориса Годунова» Мусоргского, Михаил Бобышов — о воплощении своей любимой темы «Петербург — Петроград — Ленинград» при постановке балета «Медный всадник») и развернутые теоретические выступления о принципах оформления спектакля. В ряду последних следует особо отметить темпераментный монолог С. Юнович о специфике театральной живописи, а также интересное выступление В. Шестакова — ближайшего соратника Мейерхольда, одного из основоположников и горячих сторонников конструктивизма. В составе сборника раздумья К. Юона, выдержанные в строго академическом тоне, и полемичные, задиристые высказывания И. Рабиновича, автора декораций к знаменитой «Лисистрате». Под общей «крышей» издания собрались люди, представляющие один творческий метод, но бесконечно разнообразные в отношении творческом.

Вехи истории советского театра запечатлены на страницах книги необыкновенно живо. Солнечные краски вахтанговской «Принцессы Турандот», суровая патетика «Оптимистической трагедии» в Камерном, героический пафос охлопковской «Молодой гвардии» — все эти черты давних спектаклей здесь приобретают временную протяженность, вписываясь в контекст нынешних эстетических поисков.

В книге можно вычлениить три главные темы: работа художника над оформлением советской пьесы; живописное решение шекспировских спектаклей (с этой проблемой мы знакомимся в ее ярком истолковании А. Тышлером и В. Рындиным, Н. Медовщиковым и Н. Шифриным); специфика деятельности художника в театре музыкальном, в разных аспектах рассматриваемая В. Дмитриевым, П. Вильямсом и А. Константиновским. Каждая из ведущих тем подана отчетливо и рельефно. Столь же отчетлива неповторимость художников, отразившаяся в материалах сборника. Некоторые из них уже ушли от нас, завещав мастерам театра свое замечательное наследие. Когда читаешь острую саркастичную статью Н. Акимова или методичное повествование А. Босулаева, сами авторы рисуются читателю ясно и живо. Достоверность человеческого облика пишущих и придает особое обаяние книге.

Ее выход — результат объединенных усилий целого коллектива составителей, в котором историки искусства и художники гармонически дополняют друг друга. Насыщенная богатой информацией вступительная статья Ф. Сыркиной и собранные в книге тексты сочетают убедительность документа, своеобразие мемуаров с глубиной и непосредственностью изложения.

Е. Луцкая.



АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ. Франсуа-Жозеф Тальма, («Жизнь в искусстве») М. «Искусство». 1973. 248 стр.

Французский театр был одной из самых больших привязанностей Александра Дейча. В молодости он увлекся мольеровской проблематикой. Так, не один год он отдал разработке истории бродячих сюжетов, в частности сюжету о Дон Жуане. В последующих публикациях Дейч анализирует французский театр в его противоречивой связи с проповеднической философией XVIII века. Он обращается к Вольтеру, Даламберу, Дидро. Драматургия Мариво, Реньяра, Мерсье, комедии Бомарше, антиклерикальные пьесы — вот материал, которым оперирует А. Дейч в этих публикациях. В 30—40-х годах выходит серия очерков А. Дейча об актерах эпохи французской революции, оформленная затем в книгу «Красные и черные» (1939). Тогда же он обращается к жизни и деятельности одного из реформаторов французского театра той эпохи, выпустив в серии «Жизнь замечательных людей» монографию «Франсуа-Жозеф Тальма» (1934).

Интерес к личности великого Тальма не покидал А. Дейча всю жизнь. Накапливались новые материалы, происходило переосмысление целых исторических пластов; не один год А. Дейч работает в архиве Комеди Франсез, в Национальной библиотеке и в Библиотеке Мазарини в Париже, консультируется в Драматическом центре имени Леона Шансереля. И вот спустя сорок лет после выхода первой монографии А. Дейча о Тальма издательство «Искусство» выпускает его вторую, завершающую книгу. Речь идет, конечно, не о переиздании — в центре этой работы новая постановка проблемы, новый концептуальный ход, новые данные, хотя принцип остался прежний — хронологический.

Особенность работы А. Дейча — в полноте передачи острого трагизма эпохи, эпохи столкновения доктрин якобинцев и жирондистов, монархистов и республиканцев, бонапартистов и идеологов режима Реставрации; Тальма становится камертоном этой трагической эпохи. У А. Дейча он не столько актер, сколько воин, и подмостки для него — не просто место для выступления, а скорее поле брани. Тальма выступает в книге А. Дейча как провозвестник той новой театральной эстетики, которая проложила путь французскому демократическому театру XIX века.

На родине артиста нет новейших исследований о нем — только фрагментарные заметки «по поводу» можно встретить о Тальма в двух-трех суммарных работах по истории французской сцены. Элементы канонизации и идеализации образа великого трагика ощущаются в монографии Огюстена Тьерри, равно как и в ряде статей, появившихся в 1963 году, когда Франция отмечала двухсотлетие со дня рождения Тальма.

В отличие от такого подхода к жизнеописанию Тальма советский исследователь стремится показать не только взлеты, но и падения великого артиста. А. Дейч

вскрывает противоречивость взглядов Тальма после переворота 9 термидора. Пристрастие Тальма к мятущимся героям шекспировского репертуара он объясняет тем, что герои эти обычно оказываются разочарованными в идеях, которым они себя посвятили (так трактовал Тальма ряд пьес Шекспира, шедших во французских интерпретациях).

Выходом из нравственного тупика стал для Тальма его приход к идеям молодого В. Гюго, к рождающемуся романтизму. Прекрасно написан эпизод встречи старого Тальма с юношей Ламартином, принесшим актеру свою трагедию «Саул». Один из столпов театрального классицизма, отвергаемого романтиками, по существу, готовил почву для нового искусства.

Но не только в новой постановке проблемы ценность книги А. Дейча. Александр Дейч пишет о Тальма так, словно он видел его лично, присутствовал на его спектаклях, словно великий артист делился с ним своими сомнениями, надеждами, желаниями. В подлинности источников не сомневаешься — они названы тут же, по ходу развития сюжета; но документ влетен в художественную ткань столь неназойливо, столь органично, что становится главным побудителем эмоционального воздействия книги. Париж, эпоха, люди, одежды, нравы — все прописано мягкой акварелью современника. Но А. Дейч не стилизует свою прозу виньетками эпохи, а умело реконструирует «жизнь человеческого духа» времени.

Лесь Танюк.

★

АЛ. МИХАЙЛОВ. Ритмы времени (Этюды о русской советской поэзии наших дней). М. «Художественная литература». 1973. 528 стр.

Книга Ал. Михайлова «Ритмы времени» — о современном состоянии русской советской поэзии, о закономерностях ее развития, о тех поисках, которые ведут сегодня самые несходные поэтические индивидуальности.

Центральная мысль автора: современная поэзия развивается в сторону более глубокого исследования жизни, постижения ее сокровенных глубин. В согласии с этим находится и общее построение книги, и ее микроструктура, и сам характер анализа. В начале работы, где «завязывается» ее проблематика, критик вводит в развернутую систему оценок и сопоставлений большинство авторов, представляющих поэзию интересующего его периода (вторая половина 50-х и 60-е годы). Он зорко обнаруживает родственное в различном — в Михаиле Светлове и Евгении Евтушенко, Александре Прокофьеве и Вадиме Шефнере, Андрее Вознесенском и Евгении Долматовском, Василии Казине и Владимире Гордейчеве, Михаиле Дудине и Дмитрие Ковалеве... При таком обилии имен (я называю лишь их часть) разбор неизбежно ведется по самым основным «показателям».

Главный пафос исследуемых им поэтических явлений Ал. Михайлов обозначает при помощи блоковской формулы «И вечный бой».

Анализу того, как этот пафос претворяется в самой поэтической практике, и посвящена центральная часть книги. Перед нами в разных ракурсах и тематических поворотах предстают поэты, активно работавшие в 50—60-е годы. Критик говорит об истоках философской силы, неповторимой поэтичности наиболее значительных произведений тех лет А. Твардовского. «Середину века» В. Луговского Михайлов рассматривает как «бой» за революцию, за ее идеалы в обстановке, когда по-особому обострился интерес ко всей нашей революционной, советской истории. В творчестве каждого поэта он прежде всего ищет глубину чувств. «Если поэт обнажает свое сердце и мы видим следы страданий, если он идет к убеждениям, преодолевая драматические противоречия своей природы, то у нас возникает к нему доверие», — говорит автор книги, вводя нас в поэтический мир Вас. Федорова.

Но как бы подробно автор книги ни останавливался на том или ином поэте, в центре его внимания — литературный процесс. Разговор идет на материале почти всех стихотворных жанров, с привлечением самых несходных имен, а также с экскурсами в самые различные этапы советской поэзии, Н. Грибачев, Р. Казакова, В. Цыбин, А. Романов, А. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Заболоцкий, И. Сельвинский, М. Алигер, А. Тарковский, В. Соколов, С. Куняев, А. Кушнер, Б. Ахмадулина... Хочется назвать хотя бы эти имена вместе с уже названными прежде, чтобы дать представление о поэтических голосах, из которых складываются «ритмы времени» в этиодах Ал. Михайлова.

В книге речь идет не только о подлинных образцах поэзии, но и о той серенькой стихотворной продукции, поток которой, увы, все еще не иссякает. Язвительно и точно пишет критик об авторах, которых прежде всего соблазняет легкость ориентации — на календарь, на давно примелькавшиеся штампы. И мне представляются важными те страницы книги, где Ал. Михайлов находит сильные слова против скороспелой «поэтизации» явлений вполне почтенных, жизненных, но не ставших предметом поэтического переживания.

Нетерпимость критика к поэтическому браку воспринимаешь здесь как одно из проявлений его глубокой заинтересованности в общем росте и эффективности нашей поэзии. Эта заинтересованность в сочетании с отличным знанием художественной практики советских поэтов, ясным взглядом на закономерности развития нашего искусства во многом и определяет положительное значение книги Ал. Михайлова.

А. Абрамов.

Воронеж.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом. 223 стр. Цена 43 к.

Германская Демократическая Республика. Справочник. 111 стр. Цена 16 к.

С. Гершберг. Это было в Запорожье. Из записок журналиста-правдиста 40-х гг. 112 стр. Цена 21 к.

Забота партии и правительства о благе народа. Сборник документов (Октябрь 1964—1973). Составители: К. Черненко, М. Смиртюков. 847 стр. Цена 1 р. 58 к.

Ю. Корольков. Феликс — значит счастливый... Повесть о Феликсе Дзержинском. (Серия «Пламенные революционеры»). 463 стр. Цена 88 к.

Н. Новинов. Мираж «Организованного общества» (Современный капитализм и буржуазное сознание). 214 стр. Цена 32 к.

Они встречались с Лениным. Воспоминания ветеранов Советских Вооруженных Сил. Составители: М. Ангарский, И. Данишевский. Предисловие П. Батова. 174 стр. Цена 47 к.

В. Потапов. Социалистическая Республика Румыния. Справочник. 95 стр. Цена 15 к.

М. Ярошевский. Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития психологической науки. Издание 2-е, дополненное. 447 стр. Цена 96 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Балябин. Забайкальцы. Роман. 847 стр. Цена 2 р. 11 к.

Б. Галанов. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь. 343 стр. Цена 94 к.

В. Дмитриев. Реализм и художественная условность. 279 стр. Цена 41 к.

Ю. Збанацкий. Волны. Роман. — Малиновый звон. Роман. Перевод с украинского. 624 стр. Цена 1 р. 34 к.

Ю. Пожера. Мне чудятся кони. Повести, рассказы, очерки. Перевод с литовского Ф. Дектора. 424 стр. Цена 82 к.

Д. Самойлов. Волна и камень. Книга стихов. 103 стр. Цена 28 к.

Н. Фортунатов. Пути исканий. О мастерстве писателя. 239 стр. Цена 84 к.

А. Шогенцуков. Свежесть гор. Стихи и поэмы. Перевод с кабардинского. 191 стр. Цена 51 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андрич. Травничья хроника.— Мост на Дрине. Перевод с сербскохорватского. («Библиотека всемирной литературы»). 686 стр. Цена 2 р. 26 к.

Я. Козловский. Воочию. Стихотворения. 302 стр. Цена 77 к.

Машадо де Ассис. Записки с того света. Роман. Перевод с португальского Е. Голубевой и И. Чижеговой. 237 стр. Цена 37 к.

Б. Мейлах. Жизнь Александра Пушкина. 338 стр. Цена 1 р. 9 к.

П. Панченко. При свете молний. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Перевод с белорусского. Вступительная статья Я. Хелемского. 366 стр. Цена 1 р. 34 к.

Л. Теранопян. Пафос преобразования. Заметки о современной деревенской прозе. 360 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. Явич. Избранное. Послесловие Ю. Рюрикова. 622 стр. Цена 1 р. 19 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Д. Болдуин. Выйди из пустыни. Рассказы и публицистика. Перевод с английского. 208 стр. Цена 58 к.

В. Карленко. Эхо гнева. Стихи и поэма. 128 стр. Цена 43 к.

Польский рассказ. Перевод с польского. Вступительная статья В. Хорева. 432 стр. Цена 1 р. 54 к.

В. Портнов. Дорога к себе. Повести. 220 стр. Цена 32 к.

Б. Сиротин. Среди людей. Стихи. 127 стр. Цена 39 к.

В. Урин. Книга жизни. Новые стихи и лирика военных лет. 126 стр. Цена 36 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Алексин. Повести. Предисловие С. Михалкова. 575 стр. Цена 1 р. 32 к.

Я. Гашек. Фиолетовый гром. Юмористические рассказы. Перевод с чешского. Составление и предисловие С. Востоковой. 175 стр. Цена 48 к.

С. Георгиевская. Бабушкино море. Повесть. 128 стр. Цена 98 к.

А. Казанцев. Фэзты. Фантастический роман. В 3-х книгах. 463 стр. Цена 89 к.

Н. Кальма. Сироты квартала Вельвилль. Роман. 207 стр. Цена 48 к.

О. Коряков. Формула счастья. Повести. Предисловие В. Лукьянина. 287 стр. Цена 60 к.

С. Львов. Можно ли стать Робинзоном? Публицистические очерки. 11 стр. Цена 34 к.

С. Медынский. Самый главный орден. Документальные рассказы. 144 стр. Цена 1 р. 14 к.

В. Осипов. Апрель. Повесть. 238 стр. Цена 58 к.

В. Пермяк. Долговечный мастер. О жизни и творчестве Павла Важова. 222 стр. Цена 1 р. 1 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

М. Агашина. Песня. Стихи. 176 стр. Цена 46 к.

И. Алексеев. Алмазное сердце России. Стихи. Перевод с якутского. 110 стр. Цена 28 к.

«СОВРЕМЕННОК»

С. Борзунов. Подвиг, отлитый в строки. Повести о журналистах. 256 стр. Цена 66 к.

В. Казин. Три поэмы. 76 стр. Цена 42 к.

З. Тхагазитов. Лицо земли. Стихи. Перевод с кабардинского и предисловие Г. Себрякова. 127 стр. Цена 43 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Кант. Актный зал. Роман. Перевод с немецкого А. Исаевой, И. Каринцевой. (Библиотека литературы ГДР). 383 стр. Цена 1 р. 49 к.

Е. Коссак. Ленин и культура. Перевод с польского. Предисловие И. Бэлзы. 231 стр. Цена 50 к.

Г. Продль. Фемида бессильна. Перевод с немецкого. (Сборник очерков о преступности и «правопорядке» в современном буржуазном обществе). 479 стр. Цена 1 р. 12 к.

Ф. Саган. Немного солнца в холодной воде и другие повести. Перевод с французского. Предисловие Л. Зониной. 303 стр. Цена 1 р. 3 к.

В. Хайнсен. Черный котел. Роман. — Пропаше музыканты. Роман. Перевод с датского. («Мастера современной прозы». Дания). 527 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Шрейер. Глаз, звинченный в небо. Хроника воздушного шпионажа. Сокращенный перевод с немецкого. Научный редактор Т. Емельянов. 230 стр. Цена 44 к.

«МЫСЛЬ»

И. Беляев, Е. Примаков. Египет: время президента Насера. 399 стр. Цена 1 р. 65 к.

Идейное единство и художественное многообразие советской прозы. 336 стр. Цена 1 р. 28 к.

С. Канев. Октябрьская революция и крах анархизма (Борьба партии большевиков против анархизма 1917 — 1922 гг.). 416 стр. Цена 2 р. 14 к.

И. Кузнецов. Вячеслав Алексеевич Карпинский. («Партийные публицисты») 109 стр. Цена 19 к.

На суше и на море. Повести, рассказы, очерки и статьи. Составитель С. Ларин. (Путешествия. Приключения. Фантастика. Факты. Догадки. Случаи). 415 стр. Цена 1 р. 62 к.

А. Цветно. Советско-китайские культурные связи. Исторический очерк. 133 стр. Цена 47 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Алексин. Яблоня во дворе. Рассказы и повести. Москва. «Московский рабочий». 487 стр. Цена 1 р. 4 к.

Белыми скалами линия фронта легла... Рассказы и воспоминания. Петрозаводск. «Карелия». 303 стр. Цена 78 к.

Х. Давлетшина. Иргиз. Роман. Перевод с башкирского В. Василевского. Уфа. Башкиргоиздат. 696 стр. Цена 82 к.

И. Кашафудинов. Гавань Надежды. Повесть. Тула. Приокское книжное издательство. 119 стр. Цена 19 к.

И. Коробейников. Голубая Елань. Роман. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 463 стр. Цена 1 р. 4 к.

О. Мернулов. Ради тебя. Роман. Алма-Ата. «Жазушы». 303 стр. Цена 68 к.

А. Ткаченко. Время долгой зимы. Повествование. Хабаровск. Книжное издательство. 590 стр. Цена 1 р. 6 к.

Ю. Трусов. Хаджибей. Роман-трилогия. Киев. «Днипро». 560 стр. Цена 1 р. 4 к.

Р. Файзуллин. Суровая нежность. Стихи. Перевод с татарского. Казань. Таткнигоиздат. 208 стр. Цена 47 к.

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 22/VIII 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 22/X 1974 г.
A 02374. Формат бумаги 70×108^{1/16}, 23,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.) Зак. 2882.
Тираж 165.000 экз.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5, в комбинации печати издательства «Радянська Україна». Киев 47, Брест-Литовский проспект, 84. Зак. 06085.

Цена 70 коп.

70636